

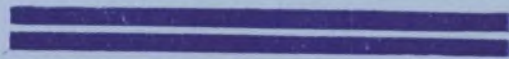
ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ  
МИИР

НОВОБЫИ МИИР

1982

9



1982



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 9

Сентябрь, 1982 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
СТАНИЦА ВЕШЕНСКАЯ, ШОЛОХОВУ М. А.	2
В. И. КОНОТОП — <u>Дорожить землей</u>	3
НАДЕЖДА КОЖЕВНИКОВА — Елена прекрасная, повесть. Предисловие Юрия Нагибина	15
ДАНИИЛ ГРАНИН — Ты взвешен на весах..., рассказ	72
ГАЛИНА ШЕРГОВА — Смертный грех, поэма	87
ИЛЬЯ ШТЕМЛЕР — Универмаг, роман. Продолжение	110
<b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
АЛЕКСАНДР ЛЕВИКОВ — Горькая сладкая жизнь	184
<b>ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ</b>	
ПИСЬМА Л. Н. ТОЛСТОГО БРАТУ СЕРГЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ. Предисловие Э. Е. Зайденшнур	202
<b>НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ</b>	
ЭДУАРД РОЗЕНТАЛЬ — На берегах Конго	211
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
И. СТРЕЛКОВА — Человек, время, надежды	227
КОНСТАНТИН КЕДРОВ — Звездная книга	233
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
Руслан Киреев. Транзитом через жизнь.—И. Винокурова. «Есмь я, и буду...».—А. Зверев. Будни забытой улицы.—Леонид Бежин. Ответ- ственность за слово.	260
<i>Политика и наука</i>	
Александр Егорович. Энергия наших побед.—Айдер Куркчи. Восток: из средневековья в современность.—Ю. Орфеев. Что такое научный факт.	260
<b>КОРОТКО О КНИГАХ:</b>	
Г. Койранская.—Рассказ-80. ♦ Ирина Шевелева.—Лидия Григорьева. Майский сад. Стихи. ♦ Эдуард Пронилов.— Леонид Попов. От океана до океана. Стихотворения и поэмы, Леонид Попов. Близкое солнце. Стихи и поэмы. Леонид Попов. Сти- хи. ♦ В. Павлов.—Николай Паниев. Болгария: годы и лю- ди. ♦ А. Попов.—Х. Юкава. Лекции по физике	268
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	272

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»

Москва

---

---

Станица Вёшенская  
ШОЛОХОВУ М. А.

*Дорогой Михаил Александрович!*

Исполнилось полвека с тех пор как была написана и напечатана первая книга Вашего романа «Поднятая целина», ставшего классическим произведением литературы социалистического реализма. Мы, сотрудники журнала «Новый мир», горды тем, что именно в нашем журнале в 1932 году роман впервые увидел свет. Созданный по горячим следам событий, в трудную и бурную пору коллективизации страны, Ваш роман был воспринят как свидетельство художника-коммуниста о коренном преображении деревни.

Поставленные Вами в центр сюжета героические характеры стали для многих поколений советских людей и для прогрессивных читателей за рубежом образцом служения великому делу переустройства мира на началах социальной справедливости.

Желаем Вам, Михаил Александрович, автору бессмертной книги, новых творческих успехов, крепкого здоровья.

***РЕДКОЛЛЕГИЯ.***

---

В. И. КОНОТОП,  
*первый секретарь Московского обкома КПСС*



## ДОРОЖИТЬ ЗЕМЛЕЙ

**Е**сли посмотреть на карту Подмосковья, в центре ее увидим вытянутый на десятки километров с севера на юг овал столицы, а вокруг — 39 районов, 70 городов, столько же поселков городского типа, 6,5 тысячи деревень. Все это опутано вязью железных и шоссейных дорог, рек и каналов, да еще невидимых на карте линий связи и электропередачи. И за каждым кружочком на карте, знаком, географическим названием стоят живые люди, их труд, их судьбы, конкретные дела и проблемы. Это объект повседневных забот и внимания нашего обкома, моих товарищей по работе...

Сам я родом из-под Харькова, но в здешних местах работаю вот уже более сорока лет. Начинал инженером на Коломенском заводе имени Куйбышева, с 1948 года — на партийной работе, прошел школу секретаря парткома завода, секретаря сельского райкома партии, более четверти века назад был избран секретарем обкома и вот уже девятнадцать лет — первый секретарь. Подмосковье мне стало родным.

Всегда стараюсь помнить, что уже в названии своем наша область несет дорогое каждому советскому человеку имя Москвы. Для всех, кто трудится здесь, это почетно и ответственно. Но гигантский город в центре области придает нашему хозяйству существенную, важную специфику.

Более 8 миллионов человек живет в Москве, 6,5 — в городах, поселках и деревнях области. Много москвичей работает на предприятиях Подмосковья, но еще больше людей регулярно ездят на работу в столицу. Неразрывны хозяйственные и социальные связи между крупнейшим городом нашей страны и сравнительно небольшой по площади областью.

В то же время, напомним, Подмосковье — один из наиболее развитых в экономическом отношении районов страны, здесь размещено множество промышленных предприятий металлургической, машиностроительной, химической, легкой промышленности. Прокат и литье из Электростали, тепловозы из Коломны, минеральные удобрения из Воскресенска, ткани из Орехово-Зуева, киноаппараты из Красногорска — вот далеко не полный перечень выпускаемой у нас самой современной продукции, которая хорошо известна во всех уголках страны и за рубежом. У нас изготавливаются все тракторные косилки и бытовые швейные машинки, половина ткацких станков и вагонов метро, каждый третий городской автобус. Каждый шестой метр ткани выпускается на предприятиях текстильной промышленности области.

Еще напомним, что в Подмосковье более 200 научно-исследовательских и проектных организаций. Среди них такие известные во всем мире научно-исследовательские центры, как Объединенный институт

ядерных исследований в Дубне, Научный центр биологических исследований в Пущине на Оке, комплекс академических институтов в Троицке...

Как и по всей стране, промышленная и научная сферы в нашей области продолжают развиваться, строятся новые предприятия, расширяются и реконструируются существующие, одновременно ведется широкое строительство жилья, социальных и культурных объектов, дорог.

Я смотрю на карту Подмосковья и буквально вижу, как с годами сокращаются на ней зеленые пятна — леса и поля, те участки земли, которые самой природой призваны кормить человека. Конечно, в области немало неприкосновенных зеленых площадей — сельскохозяйственных угодий, заказников, лесопарковых зон, — но развитие экономики, строительство постоянно требуют новых участков земли, и это объективный, неизбежный процесс. Хотя, замечу здесь, чрезмерный интерес к строительству в нашей области проявляют очень многие министерства и ведомства, и это не всегда оправданно.

Учитывая ограниченное количество пахотных земель в области и их сокращение за счет застройки, сооружения различных коммуникаций, мы стараемся не только сохранить пашню, но и увеличить ее за счет освоения новых земель. Так, в 1981 году под различные виды строительства было отведено 480 гектаров, в то же время вновь введено 4700 гектаров. В целом за десятилетку пятилетку абсолютный прирост пашни составил более 11 тысяч гектаров.

И все же всех нас волнует: что ждет наше чудесное по красоте природы Подмосковье, какова перспектива развития его аграрной сферы, каково, если поразмыслить еще шире, будущее нашей деревни, ее жителей? Сегодня, когда мы все живем под впечатлением решенной майского Пленума ЦК КПСС и приступаем к решению грандиозной Продовольственной программы нашей партии, эти вопросы для всех нас, и в первую очередь для меня и моих товарищей по работе, становятся самыми актуальными.

Должен сказать, что сельское хозяйство в нашей области в настоящее время обладает достаточно высокой эффективностью. Посудите сами. У нас 1,8 миллиона гектаров колхозных и совхозных угодий (290 совхозов, 56 колхозов и 26 птицефабрик), это 3,8 процента площадей всего Нечерноземья. А продукции мы с них берем более 10 процентов от всего производства зоны — 9,7 процента молока, 8,5 процента мяса, 21,2 процента яиц, 20,6 процента овощей. Аграрный комплекс области вносит крупный вклад в обеспечение продуктами питания столицы.

Мы, однако, хорошо знаем, что исчерпали далеко не все резервы, что подмосковная земля способна на значительно большее. Надо нам всемерно повышать культуру земледелия и животноводства, бороться за улучшение использования земли, экономию и бережливость по отношению к этой земле. При умелом и рачительном хозяйствовании земля способна отдавать с лихвой вложенные в нее финансовые и трудовые затраты. Землей надо дорожить, чтобы каждый ее квадратный метр давал человеку и продукты питания, и доход, и удовольствие. При этом нельзя забывать, что Подмосковье с его прекрасными ландшафтами и многими памятниками культуры — наше русское национальное богатство и относиться к нему следует бережно, стараясь не разрушать доставшееся от предков наследство.

Вспомните, каким было подмосковное село еще примерно двадцать лет назад. Трудно даже представить, но во всей области не существовало ни одного современного животноводческого комплекса. Подчеркиваю: ни одного... Не было и современных крупных механизированных ферм, где животноводы трудились бы посменно, как теперь, с применением современной техники и агрегатов. Земля во

многих хозяйствах находилась в плохом состоянии: гумус — плодородная корочка земли — шел на убыль, истончался с каждым годом. Деревенские люди стремились уйти на жительство в города, перебраться в столицу. Приедешь, бывало, в деревню, даже на центральную усадьбу колхоза или совхоза и видишь картину грустную. Постройки обветшали, все не благоустроено, в школах — в одной комнате по несколько классов, магазины старые, в непригодных помещениях, вся техника круглый год под открытым небом.

Мы на местах чувствовали, что надо было что-то делать, круто менять положение. Требовались крупные материальные вложения. Скажу больше: ощущалась надобность в полной перестройке села, переломе отношения к нему. Таким переломным моментом в нашей жизни стал мартовский (1965) Пленум ЦК КПСС. Он открыл широкие перспективы развития деревни и ее производства, нацелил нас на создание комплексов по производству мяса, молока, птицы, на сооружение больших птицефабрик. Цель была поставлена ясно и точно. И за семнадцать лет, прошедших со дня мартовского Пленума, сделано очень много.

Сегодня мы имеем в области мощное специализированное сельское хозяйство. Оно ежегодно поставяет жителям области и столицы более четверти миллиона тонн мяса и птицы, свыше 1,5 миллиона тонн молока, три с лишним миллиарда яиц. Более 400 сельских хозяйств располагают основными фондами в 4 миллиарда 200 миллионов рублей. Построены крупные специализированные животноводческие комплексы: одни хозяйства выращивают нетелей, другие содержат молочное стадо, третьи выращивают молодняк на мясо. Сегодня в Подмосковье действуют вновь построенные после мартовского Пленума помещения на 980 тысяч голов крупного рогатого скота, созданы емкости для 3,4 миллиона тонн силоса и сенажа, овощехранилища более чем на 0,5 миллиона тонн, зернохранилища — на 665 тысяч тонн, склады для хранения минеральных удобрений на 555 тысяч тонн.

Сейчас, если возникает задача создать новый животноводческий комплекс, всем сразу понятно, о чем идет речь. А тогда ведь все было куда сложнее. Какие по масштабу и технологии комплексы создавать в подмосковной деревне? Где взять проекты? Как наладить строительство? В те годы многие специалисты настаивали на чрезмерно крупных фермах — больше 4 тысяч коров или больше 200 тысяч свиней, — на полной автоматизации крестьянского труда. И создавать их предлагали по простейшей схеме: ставить все поголовье под одну крышу, оборудовать механизмами — и готово! Но не тут-то было...

Ряд подобных экспериментальных комплексов оказался неудачным. Так, в совхозе «Лотошинский» соорудили крупный комплекс, оборудованный сотней электромоторов. Оказалось, что стоимость комплекса, потребление электроэнергии и потребность в специалистах столь велики, что никакой реальной выгоды совхоз не получил.

Прошли годы, прежде чем удалось разработать оптимальные проекты и пустить их в дело. Сейчас, кстати, мы имеем, например, отличный проект унифицированного скотного двора, сбора которого на месте проводится за два-три месяца после доставки материалов и оборудования. Сегодня мы не стремимся к очень крупным фермам — строим не более чем на 1000—1200 коров. Причем строим комплексы очередями: первая для содержания 400 голов строится за сезон, а целиком самый крупный объект сдается в эксплуатацию через два-три года. Отдельные блоки помещений автономны, обеспечены каждое своим оборудованием, их легко запустить в работу. Последовательно к комплексу пристраиваются родильные отделения, кормоцехи, оборудуются площадки для выгула скота. Тем самым содержание молочного стада превращается в поточную технологическую систему, дающую обильное и дешевое молоко.

Пришлось немало потрудиться, чтобы добиться таких результатов. А сколько было поисков, которые не всегда кончались успехами, сколько бессонных ночей прошло в раздумьях о том или ином решении!

Совсем недавно казалось, что содержание кур-несушек в клетке нецелесообразно и неестественно. А сейчас трудно представить крупные птицефабрики с производством в год сотен миллионов штук яиц при иной технологии содержания птицы.

Или другой пример. Когда был поставлен вопрос о строительстве крупного тепличного комбината «Московский» площадью более 50 гектаров под стеклом, то были очень большие сомнения в целесообразности и возможности таких хозяйств в наших условиях. Но нас поддержал Леонид Ильич Брежнев, и мы ему очень благодарны за это. Весь последующий опыт показал, что и в условиях Подмоскovie такие хозяйства являются весьма эффективными и позволяют круглый год снабжать трудящихся свежими овощами. В настоящее время, как известно, такие крупные тепличные комбинаты строятся по всей стране.

Отлично зарекомендовал себя комплекс в совхозе «Путь Ильича» Подольского района, где, кстати, электромоторы используются лишь на дойке. На одного работника здесь приходится примерно 25 коров — почти в два раза больше, чем в среднем по области. Доярки комплекса получили в прошлом году по 400 тонн молока при надоях по 3870 килограммов с каждой коровы (по области на доярку приходится в среднем по 80 тонн). А ведь люди и в других местах не хуже, но условия работы, организация труда, технология производства в совхозе «Путь Ильича» созданы лучшие.

Значит ли это, что мы прекратили поиски и остановились на каком-то одном проекте животноводческого комплекса? Нет, и сегодня примерно 22 тысячи голов крупного рогатого скота содержится в опытных условиях. Эксперименты продолжаются — мы испытываем различные технологии и уверены, что такой подход оправдывает себя. Думается, без интенсификации поиска невозможно заранее подготовиться к следующей ступени повышения эффективности аграрного производства. Это как на крупном промышленном предприятии, где обязательно ведутся опытно-конструкторские и экспериментальные работы, без которых технического прогресса в производстве не будет.

Сегодня в нашем деле трудно обойтись без помощи науки. Поэтому мы постоянно обращаемся к услугам специализированных НИИ, которые расположены в нашей области. В прошлом году для внедрения в практику колхозов и совхозов было передано более 20 разработок по важнейшим проблемам интенсификации производства зерна, картофеля, овощей, молока, мяса, яиц. Общий экономический эффект от внедрения достижений науки и техники, прогрессивных технологий, новых форм организации труда только за прошлый год составил 4,6 миллиона рублей.

Возьмите картофель, о котором на Руси давным-давно все известно: когда сажать, когда окучивать и пропалывать, когда поливать и собирать урожай. Но и здесь ведутся опыты и эксперименты. Научно-исследовательский институт картофельного хозяйства недавно передал в нашу область на государственные испытания высокоурожайный гибрид, обещающий добавку урожайности с каждого гектара на 35 процентов. Институт предложил также новые схемы посадки картофеля, выдал исходные данные на разработку сельскохозяйственных машин, уменьшающих долю ручного труда. По опыту учхоза «Михайловский» Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева освоена новая технология приготовления рассыпного сена. Большая работа в области проведена по внедрению низковакуумной дойки по предложению ВИЭСХ.

Я мог бы назвать десятки примеров участия науки в наших сельскохозяйственных делах. Но, думаю, важны не только отдельные факты — между наукой и практикой нужно создать такое взаимодействие, чтобы помощь нашим колхозам и совхозам была еще эффективнее, а главное, была бы постоянной. Сейчас мы закрепили все районы области, нуждающиеся в помощи, за 9 научными организациями, разрабатывающими проблемы животноводства. Эти НИИ уже провели массовое обследование маточного поголовья крупного рогатого скота, составили рекомендации по улучшению воспроизводства и кормления молочного стада. Все это даст солидный экономический эффект, будет способствовать повышению продуктивности. Добавлю, что на 1982 год наши НИИ заключили с колхозами и совхозами 45 договоров на научно-техническое сотрудничество, ожидаемый эффект от их научных разработок достигнет 5,6 миллиона рублей.

Один из показателей интенсивности ведения сельского хозяйства — плотность скота на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий. В Московской области на 100 гектаров угодий приходится 62 головы крупного рогатого скота, из которых половина коровы. Если сравнивать опять же со средними показателями по Нечерноземью, то в нашей области плотность скота значительно выше.

Теперь на основе созданной базы (по количеству коров) мы добиваемся значительного увеличения производства молока за счет дальнейшего повышения продуктивности стада. Но дело это непростое. Для достижения этих целей требуется резкое увеличение производства кормов.

Главная беда подмосковной земли — сильная закисленность. На кислой земле урожай бедный, а иногда совсем никудышный. Борьба с закисленностью должна вестись повсюду, упорная, безостановочная. В результате настойчивого требования обкома партии в области недавно сооружены мощные заводы по производству извести тонкого помола, созданы новые механизмы для внесения ее в почву. В течение последних лет обработку известью проходило по 200 тысяч гектаров ежегодно, за пять лет площадь кислых земель сократилась в два раза и сейчас составляет пятую часть пашни. Вот где наш резерв!

Опыт показывает высокую эффективность специальных отрядов плодородия, оборудованных техникой, машинами. У нас в области первый такой отряд организовал коммунист Н. Е. Татарников в 1970 году в совхозе «Курсаково» Истринского района. За прошедшие двенадцать лет плодородие почвы поднялось настолько, что урожай в хозяйстве выросли в два с лишним раза. Сейчас отряды плодородия организованы по всей области, они вносят по 12—13 тонн органических удобрений на гектар пашни ежегодно. И результаты этой работы уже сказались: гумус опять начал увеличиваться, а вместе с ним и урожайность.

Пойменные осушенные и поливные земли Подмосковья — чистое золото, бесценный клад. Даже в прошлом засушливом году овощеводы добились на них урожайности по 400 центнеров с гектара, причем дали ни много ни мало 8,4 процента всех заготовок овощей в Российской Федерации. Это с площади всего лишь 25 тысяч гектаров! И все-таки пока к пойменным землям мы относимся не слишком по-хозяйски, нередко совершаем здесь ошибки, которые могут оказаться непоправимыми.

Кто бывал на Оке возле Серпухова, тот видел, как нарушена пойма Оки при выемке гравия. Мощные экскаваторы, колонны самосвалов безостановочно брали из поймы реки этот нужный строительный материал. Разумеется, возить его издалека недешево, в масштабах той или иной стройки даже убыточно. Но ведь куда расточительнее разрушать пойму прекрасной нашей реки. Гравий, хоть и дорожке, можно найти в других местах, а пойму-то не восстановишь, она исчезнет навсегда. Потерянного уже, конечно, не вернешь, и сей-



час мы с еще большей настойчивостью добиваемся запрещения разработки пойменных земель для добычи нерудных материалов.

Еще об одной возможности эффективного использования земли. Получают те или иные организации участки под застройку. Хорошо, если бы перед началом любого строительства плодородный слой почвы был аккуратно снят и передан колхозам и совхозам для благоустройства их угодий. К сожалению, пока немногие из застройщиков поступают именно так — как рачительные хозяева. Не потому ли, что земля им обходится баснословно дешево? На ее аренду идут столь невысокие суммы, что их и считать не принято.

Проектируя новые объекты, надо думать об экономии площади. Любое предприятие, даже небольшое, требует себе по нескольку гектаров, хотя при желании и более тщательной проработке проекта заказчик и проектировщик могли бы обойтись в несколько раз меньшей площадью.

Не пора ли нашим плановикам научиться рассчитывать подлинную цену земли, исходя из многолетней ее урожайности, стоимости продуктов питания, которые она способна дать? Застройщик должен хорошо знать ценность земли и стараться экономить ее по мере возможности. На XXVI съезде партии был выдвинут лозунг, ставший всенародным: «Экономика должна быть экономной!» Думается, этот девиз применим и к нашему важнейшему достоянию — земле.

С 1965 года партия взяла курс на увеличение капитальных вложений в сельское хозяйство, на укрепление его материально-технической базы, совершенствование планирования и экономического стимулирования производства продукции питания. Вместе с тем в последние годы возникла объективная потребность в новом сильном импульсе, который придаст бы ускорение развитию нашей деревни. Это было наглядно видно и на примере нашей области.

На майском (1982) Пленуме ЦК КПСС была утверждена Продовольственная программа. В этом исключительно емком, научно обоснованном документе нашла свое дальнейшее творческое развитие аграрная политика партии с учетом тех глубоких изменений, которые происходят в нашей экономике, в агропромышленном комплексе, в материальном благосостоянии советских людей. Думается, одна из самых сильных сторон Продовольственной программы состоит в том, что она с особой силой связывает воедино две задачи: обеспечение продуктами питания городов и подъем благосостояния села. Это единственно верный подход к аграрной политике. Говоря о второй задаче, мне хочется привести слова Л. И. Брежнева, сказанные на майском Пленуме: «...чем энергичнее и основательнее будем мы заниматься жилищным, культурно-бытовым, дорожным строительством на селе, тем производительнее будет крестьянский труд». Не случайно на эти цели страна в 80-е годы направляет колоссальную даже по нашим советским масштабам сумму — 160 миллиардов рублей.

Никогда не следует забывать, что земля — для людей. Чем лучше, счастливее, радостнее будут жить на ней люди, чем больше удовлетворения будет давать крестьянский труд, тем ближе мы к заветной цели — коммунизму.

Коммунисты и раньше стремились к улучшению жизни крестьянина, прилагали немало усилий, чтобы сделать ее зажиточнее, культурнее. Но не всегда были у нас для этого условия и возможности. Не следует думать, что дело упиралось только в финансирование. Мы и раньше вкладывали в село значительные денежные средства. Но порой из-за неподготовленности к перестройкам на селе вели дело не так, как самим хотелось бы.

Возьмите такой факт: строительство в подмосковных деревнях многоэтажных домов. Дело это было прогрессивным, но в известной степени вынужденным. Прежде всего это был скорейший путь обеспечения деревни жильем, причем жильем комфортным, городского ти-

па. Нам были выделены значительные государственные суммы, освоить которые можно было только на основе наличных технологических возможностей — домостроительных комбинатов. Но в Московской области ДСК поставляли дома единственного типа — многоэтажные, выбора у нас, по существу, не было.

За последние пятнадцать лет на селе было построено домов общей площадью 9 миллионов квадратных метров. Теперь в этих домах живут сельскохозяйственные рабочие, специалисты, колхозники, много молодежи. Сейчас у нас на селе каждый третий механизатор и полевод не старше тридцати лет, а средний возраст работающих тридцать семь лет. Можно считать, что благодаря усиленному жилищному строительству на постоянную работу в село удается привлекать ежегодно до 60 тысяч человек, в основном молодых людей.

Однако по ходу дела выяснилось, что многоэтажные дома — не самый лучший вариант. Поселяя крестьянина в многоэтажном доме, «поднимая» его на третий или пятый этаж, мы буквально отрываем его от земли. В квартире у него есть все удобства, но зато нет рядом подсобных хозяйственных построек для скота и птицы. Ему, правда, выделяют участок неподалеку от дома, там у него огород. Но, лишившись коровы, колхозник или рабочий совхоза вынужден покупать молоко и молочные продукты в магазине, где они, кстати, не всегда бывают.

С другой стороны, многоэтажки на селе привлекают молодежь, специалистов, которые не хотят обзаводиться хозяйством. Пустующих многоэтажек у нас, конечно же, нет, и все же в целом строительство их мы решили постепенно притормозить.

Разумеется, молодежь привлекает работа на селе не только из-за хорошего жилья. Очень важно заинтересовать ее самим делом, умелой и современной его организацией.

Хорошо видно это на примере Луховицкого района. Здесь начали с того, что при школьных классах стали создавать полеводческие и механизаторские бригады, которые имеют свой, школьный, подряд на поле. И выращивают неплохой урожай. После окончания школы ученики становятся механизаторами, полеводами, животноводами. Они не только хорошо знают фермы, поля и технику, но уже организованы в бригады. Луховчане пошли и дальше: они ежегодно создают новые молодежные отряды на селе. Члены отряда концентрируются в отделениях совхозов и колхозов, работают вместе, рука об руку.

Опыт луховчан мы стремимся распространить по всей области, сегодня уже создан единый штаб подмосковного молодежного отряда сельских механизаторов, полеводов и животноводов, объединяющий тысячи молодых колхозников и рабочих совхозов. Все большее распространение получает подмена школьников взрослых работников на период их отпусков с соответствующей, разумеется, оплатой труда.

Но вернемся к строительным делам. Хотя мы продолжаем строить многоэтажные дома в деревне, область взяла теперь курс на одноэтажные деревенские дома усадебного типа из готовых блоков. Причем они благоустраиваются не хуже городских. Квартиры в них размещаются в двух уровнях. Сегодня у нас есть возможности для производства в год почти двух тысяч таких домов из местных материалов — кирпича, арболита, газосиликата, керамзитобетона, дерева. В ближайшем будущем мы будем возводить в год до 60 деревень по 30—35 домиков разнообразной архитектуры.

Сейчас создаются комсомольско-молодежные строительные бригады, которые будут возводить дома хозспособом, как это делается в совхозе «Нара» Наро-Фоминского района. А с двенадцатой пятилетки мы вообще будем строить в основном только одноэтажные дома: к тому времени область будет располагать для этого значительными индустриальными мощностями.

Между прочим, и тут нас некоторые товарищи уже критикуют.

Зачем, говорят, пастуху или доярке два уровня в квартире? А я на это скажу: еще лучше бы строить крестьянские дома трехуровневыми — один этаж для родителей, другой для детей, третий для внуков. И на каждом должны быть свои удобства, отдельные санузлы. Из такого дома семья не уйдет в город! А кроме того, мы считаем, что должны строить жилье и соцкультбыт с учетом потребностей жителей села лет на двадцать вперед, чтобы потом нам не пришлось краснеть за упрощенчество, которое сейчас может показаться выгодным. Вообще же всякие преобразования в деревне следует проводить осторожно, оглядываясь на традиции и обычаи русского села.

Вот, казалось бы, простой вопрос. Мы рассматриваем в обкоме архитектурный проект новой деревни, и я замечаю, что ширина улицы планируется всего двадцать метров. Как говорится, два воза с сеном разойдутся, и ладно! Если исходить только из принципа экономии земли, то все правильно, больше и не надо. Но почему же наши предки жили широко? Деревенская улица была нередко метров сто шириной! Приглядитесь к быту села — и поймете, что эта ширина не чрезмерна, а очень разумна. Окна избы выходят в передний садик, перед штaketником стоят скамьи. На них сидят пожилые люди. От дома к дому тянется дорожка, по ней ходят за водой к общему колодцу. Здесь же играют дети под присмотром стариков. За этой дорожкой обычно идут посадки деревьев, отделяющих шоссе от жилой зоны. А само шоссе, конечно, кладется неширокое, пусть будет двадцать метров. Такой порядок привычен нашей деревне, он отражает в какой-то степени и широту русских людей, и их привычку держаться вместе, на миру.

Мне думается, заниматься отбором проектов новых домов, а также размещением производственных построек, жилья и соцкультбыта должны в первую голову сельские Советы и руководители хозяйств. Пусть не ждут, когда архитекторы привезут им «красивые» проекты, а сами проявят инициативу, посоветовавшись предварительно с колхозниками, с рабочими совхозов. И тогда выстроенная деревня будет их кровным детищем — коллективным творением проектантов и тех, кто будет жить в новых или реконструированных деревнях.

Многие годы мы вели перестройку подмосковной деревни. Прежде всего надо было создать колхозные и совхозные центры, благоустроить центральные усадьбы, где живут большинство крестьян. Здесь создавались фермы, машинные дворы, прочие хозяйственные постройки, возводились клубы, магазины, школы, детские сады, сюда были проложены хорошие дороги. То был первый этап переустройства, давший значительные плоды. Сегодня можно сказать, что он в большинстве хозяйств завершается. Куда бы вы ни приехали, центральная усадьба колхоза или совхоза, центральные их отделения выглядят неплохо. Что называется, на уровне.

Кое-где, однако, увлеклись процессом концентрации производства и особенно жилья и соцкультбыта, многие деревни начали объявлять неперспективными, переселять оттуда людей на центральные усадьбы. Оставшиеся в глубинке деревни как бы оторвались от центра. А ведь глубинка была и остается корнем русской деревенской жизни! Из него растет и все дерево. Сегодня, после майского Пленума, пришла пора обратить внимание на развитие в области всех населенных пунктов, расположенных на территории того или иного хозяйства.

Примерно в семидесяти километрах от Москвы и тридцати километрах от райцентра города Дмитрова расположено крупное хозяйство — совхоз «Рассвет». В нем проживает около 1200 трудоспособных человек, из них половина занята непосредственно в сельскохозяйственном производстве, остальные работают в магазинах, школе, клубе, на железной дороге. На центральной усадьбе с точки зрения удобств живут очень неплохо, но в отдаленных деревнях (их здесь всего 31),

в отделениях совхоза заметно похуже. Мне пришлось побывать в некоторых из них, своими глазами поглядеть на тамошнее житье-бытье.

Вот деревенька Головино. В ней всего 20 изб, многие из них покосились, обветшали, хозяева забросили их и уехали. В деревне постоянно проживают 6 человек, всего двое трудоспособны. Что делать с такой деревней, где несколько пустующих участков, колодец и больше ничего? Сносить? Переводить на центральную усадьбу? Но правильно ли это будет? Электричество здесь есть, радио провели. Если от Рогачевского шоссе построить хорошую дорогу, которая по стоимости строительства может быть не дороже нового поселка, благоустроить улицы, дать людям возможность трудиться недалеко от дома, привлечь сюда работников — деревня оживет! В ней люди жили, может, триста лет. И она давала и молоко, и мясо, и птицу. Зачем ее ликвидировать? Это же не по-хозяйски.

Не лучше дела в соседней Лукьяновке: на 34 дома 16 трудоспособных человек. 6 домов ветхие, владельцы о них, видимо, забыли. Чтобы поднять деревню, надо немного: проложить четыре с половиной километра хорошей дороги вместо нынешней грунтовки. Вложения небольшие, а результат скажется быстро.

От запустения в деревнях страдает не только хозяйство, страдают люди, это плохо отражается на психологическом климате, настроении людей. Что же делать? Прежде всего надо решительно отказаться от деления деревень на перспективные и неперспективные — все деревни должны жить. Один из эффективных путей к этому, нам кажется, — дав соответствующие права владельцам унаследованных домов, требовать, чтобы они заботились о своих строениях, приводили их в порядок и хотя бы сезонно пользовались ими. Сейчас владельцы домов находятся в несколько неопределенном состоянии: то ли данная деревня будет развиваться, то ли колхоз будет сносить их дома. Поэтому и забрасывают они свое имущество — избы ветшают, приходят в негодность, портят вид деревень, земля вокруг зарастает бурьяном. А пустующая земля — это не только недополученный урожай, на ней плодятся сорняки и сельскохозяйственные вредители, которые постепенно перекочевывают на соседние участки, на поля колхозов и совхозов.

В прошлом году мы попросили руководителей совхоза «Рассвет», а также и сельский Совет дать свои предложения по развитию и благоустройству центральной усадьбы и всей территории совхоза. Для помощи местным товарищам подключили проектировщиков из областного архитектурно-планировочного управления. В результате очень добросовестной работы получился интересный план.

Сейчас практически завершено выполнение первой очереди этого плана — обустройство центральной усадьбы. Совхоз перешел ко второму этапу, связанному с реконструкцией отделений. Третьим этапом будет решительное развитие глубинки. Конечно, этапы — это условно, процесс переустройства совхоза будет идти параллельно по всем трем направлениям, это предусмотрено планом.

Выводы, полученные на основании материалов по совхозу «Рассвет», мы обсудили на объединенном заседании бюро МК КПСС и президиума исполкома Мособлсовета народных депутатов, приняв соответствующее постановление. Претворение его в жизнь потребует, конечно, времени, большой организаторской и воспитательной работы, хорошего хозяйственного расчета. Но все это несомненно даст прекрасные результаты. А главное — нам теперь ясна цель и пути ее достижения.

Надо сказать, что такого же рода работа уже сегодня ведется во многих хозяйствах области. Поезжайте посмотрите, какие красивые деревни в совхозах «Нара» Наро-Фоминского района, «Борец» Дмитровского района, в колхозе «Путь Ильича» Волоколамского района. Отличные домики, красивые, добротные. Построены они, кстати, на

кооперативных началах, часть денег вкладывает колхозник или работник совхоза, а ссуду дает государство. В области сейчас 38 таких кооперативов, 15 из них строятся. В отделенческих центрах хозяйств будут создаваться производственные постройки, общественные бани, небольшие клубы, магазины. Школы же находятся на центральной усадьбе, где имеются или будут построены интернаты.

Чем важна такая перестройка? Традиционный быт русской деревни сохранен, при этом он улучшен, окультурен. Ничего ценного из старого не упущено, зато прибавилось много нового, удобного, полезного крестьянину. Из такой деревни, как говорится, калачом никого не выманишь. А если к тому же заработки хорошие, под боком земля и хозяйственные постройки, то и производительность труда в поле и на ферме высока.

Особую важность сегодня приобретает продукция личных подсобных хозяйств. Они тоже вносят свой вклад в реализацию Продовольственной программы. На долю индивидуального сектора в нашей области сейчас приходится около 100 тысяч тонн молока, около 400 тысяч тонн картофеля, около 100 тысяч тонн овощей, более 300 миллионов яиц ежегодно. Много фруктов, ягод, грибов, цветов. Это составляет примерно 13—15 процентов валовой продукции нашего села. Хочу специально отметить, что произошел сдвиг и в животноводстве подсобных хозяйств: в минувшем году число коров, находящихся в личном пользовании, увеличилось на 500 голов.

Подсобные хозяйства мы будем теперь еще больше укреплять, поддерживать, давая возможность трудиться на земле горожанам, родственникам жителей деревни, пенсионерам. Более трех миллионов дачников выезжают на лето в Подмосковье, снимают дома и комнаты. Многие из них с удовольствием согласились бы поработать на прополке, поливе, косьбе сена, уборке урожая.

Огромное значение для хозяйства и культуры области имеет лес. Я имею в виду не только заповедные леса под Серпуховом, где следует, видимо, организовать русский национальный парк, но и вообще леса Подмосковья, важнейшую составляющую нашей, так сказать, биосферы. Из 46 тысяч квадратных километров площади области 42 процента занято лесными массивами. Ежегодно мы производим посадку леса на площади до 10 тысяч гектаров.

Проблема сохранения лесов, рек и речушек Подмосковья, его озер и прудов — не только наша, местная. Она затрагивает и другие области, а с ними вместе многие крупные промышленные центры страны. Вокруг лесов появились отличные дороги, а машин и мотоциклов сейчас у людей много. Летом в выходные дни леса буквально набиты отдыхающими. Думается, что нашей общей заботой должно стать повышение культуры пользования лесами и водоемами. Запретами тут дело не решишь — надо воспитывать людей. И лес, и реки, и земля — все они для человека, дорожить землей значит дорожить людьми.

Прекрасную инициативу проявили подольские товарищи. Они первыми в области организовали проведение месячника по очистке леса. Только в одну из суббот месячника почти 10 тысяч человек приводили в порядок 950 гектаров леса. Эта инициатива поддержана всеми трудящимися области. Каждую субботу в летний период тысячи людей выходили в пригородные леса — вели посадки, убирали сухой, валежник, подновляли места отдыха, устанавливали знаки.

Реальность наших планов неразрывна с качеством труда наших людей. Сегодня предмет нашего особого внимания — работа с отстающими хозяйствами. Из 400 колхозов и совхозов области около 100 убыточны. А ведь совсем рядом с убыточным нередко располагается крепкое хозяйство. Невольно возникает вопрос: в чем причина такой большой разницы в показателях?

Много раз мне приходилось бывать в Можайском районе. Земли там пестрые. Есть и заболоченные, кислые, малоурожайные. Приехал в совхоз «Клементьево», в отделение, где руководит делами М. Ф. Гуков,— совершенно иная картина! Он за прошлый год сумел получить по 21 центнеру зерновых с гектара, картофеля — по 215, кукурузы — по 500 центнеров. Те же показатели по району вдвое ниже. В чем секрет? У Гукова за механизаторами закреплена земля, весь ее севооборот. Вот уже пятнадцать лет как оплата труда поставлена в зависимость от урожая. Выходит, одна только организация труда может отлично подвинуть вперед все дело.

После майского Пленума мы начали повсеместно внедрять новую, более прогрессивную систему дополнительной оплаты за повышение урожайности всех культур и продуктивности в животноводстве.

Ведущую роль в совершенствовании сельскохозяйственного производства играют коммунисты, партийные организации колхозов и совхозов. Сегодня в нашей области на селе более 40 тысяч коммунистов, партийная прослойка составляет 15 процентов среди всех работающих, еще выше она среди механизаторов.

«Многое зависит и от руководителей сельскохозяйственного производства,— говорил на майском Пленуме Л. И. Брежнев.— Можно быть уверенным за тот участок, во главе которого находится человек, знающий дело, болеющий за дело, умеющий работать с людьми. О таких руководителях говорят — человек на своем месте».

Есть у нас в Коломенском районе совхоз «Акатьевский», долгие годы он считался отстающим. В нем часто и без особого толка менялись руководители. За десятую пятилетку в директорах совхоза побывали двое, главными зоотехниками трое, главными агрономами тоже трое. О какой стабильности в работе, о каких далеких планах могла идти речь в совхозе? В дело вмешалась партийная организация, принял участие и горком партии. Стали думать: кто же возьмет на свои плечи отстающий совхоз? На это пошел коммунист Александр Николаевич Иванов. Он сразу понял, что в первую очередь надо сказать людям правду в глаза — об их работе, о положении хозяйства, а затем добиться, чтобы они поверили в свои силы. В коллективе регулярно стали проводиться не только партийные, но и рабочие собрания. Рабочим собраниям мы вообще придаем большое значение — здесь можно по-настоящему объединить коллектив и нацелить его на решение любых задач, здесь можно отдать должное передовикам производства и действительно осудить нерадивых работников.

Откровенные деловые разговоры с главными специалистами совхоза повел новый директор вместе с секретарем парткома Ю. А. Зархарченко. И вот что удивительно: Иванов, человек негромкий, кричать и командовать не любит и, мне кажется, не умеет. Он и не командовал, а убеждал. И добился, что его распоряжения стали выполняться с охотой. Резко уменьшилось число прогулов, выговоров, невыполнений заданий. Буквально за несколько месяцев обстановка в совхозе переменилась к лучшему, почти втрое уменьшилась текучесть кадров. Прошел хозяйственный год, и совхоз получил третье место по району за высокие показатели, он стал прибыльным. Вот что значит толковый, грамотный руководитель и умелые действия партийной организации!

Невозможно в короткой статье рассказать о всех самоотверженных тружениках и партийных руководителях Подмосковья, с которыми мне доводится постоянно работать вместе. И все же хочу коротко сказать еще о двух руководителях хозяйств. Интересно, что они почти соседи, их хозяйства в одном, Домодедовском, районе, и они, что называется, конкурируют между собой.

Сергей Иванович Жиленко, возглавляющий колхоз «Заветы Ильича», — бывший моряк, прошел всю Великую Отечественную, закалка у него крепкая. Говорит медленно, но веско — скажет как от-

рубит. В совхозе он хозяин, у него копейка в щель не завалится — все на счету. И, главное, за что бы он ни взялся, все катится ладом.

Когда началась перестройка села на началах внутрирайонной кооперации, мы побывали всем активом у товарища Жиленко. И вот представьте: председатель колхоза, имеющего высокую продуктивность молочного стада, получающего высокие урожаи, сам, по собственной инициативе предлагает в интересах всего района заняться полной перестройкой структуры своего производства — организовать крупное нетельное хозяйство и создать новые межхозяйственные связи. Мы, конечно, его поддержали. И вскоре колхоз «Заветы Ильича» стал головным предприятием районного объединения, специализирующимся на выращивании нетелей.

Семен Сергеевич Никулин, директор совхоза «Повадинский», внешне кажется всегда спокойным, но характер у него тоже упорный и идей в голове полно. Он тоже человек судьбы примечательной. Участвовал в обороне Москвы, окончил Тимирязевку, работал председателем Подольского райсовета, потом в облизполкоме (сначала возглавлял сельхозотдел, потом был зампредседателя), несколько лет работал в Кении (был, так сказать, полпредом нашего сельского хозяйства) и вот — директор крупного подмосковного производства. Одним из первых «Повадинский» перешел в содержании скота на промышленную основу. Совхоз держит молочное стадо в 4 тысячи коров, все они размещены на механизированных фермах, в отличных условиях. Совхоз отличается высочайшая культура производства, он один из крупнейших в области поставщиков молока.

Хорошее деловое соперничество двух крупных специализированных хозяйств, возглавляемых замечательными людьми, новаторами, коммунистами Жиленко и Никулиным, — надежный путь к высоким результатам, отличный пример для всех тружеников нашего села.

Я рассказал здесь только о двух наших замечательных руководителях. Но, если б позволила размеры журнальной статьи, с удовольствием поделился бы впечатлениями о совместной работе и встречах со многими другими, такими, как директора госплемзавода «Коммунарка» А. Н. Монахова и совхоза-техникума «Холмогорка» М. М. Горшков, председатели колхозов имени Горького В. Ф. Исаев, имени XXII съезда КПСС А. К. Маринич, имени Ильича М. В. Поляков, имени Ленина В. И. Шеволин и М. З. Захаров, имени Владимира Ильича И. И. Кухарь, «Россия» Т. И. Барышев. Да разве всех перечислишь...

Сегодня наша область вместе со всей страной вступила в новый этап своей работы — борьбы за выполнение Продовольственной программы нашей партии. И мне радостно видеть, с какой энергией и энтузиазмом, с каким глубоким пониманием задач коммунисты и все трудящиеся Подмосковья взялись за осуществление новых планов развития сельского хозяйства области. Не сомневаюсь, что результатом этого уже в ближайшее время будет значительное улучшение снабжения трудящихся Москвы и области ценными продуктами питания.

Важнейшим условием выполнения этих задач должно быть бережное, заботливое отношение и высокоэффективное использование нашего бесценного богатства — земли!



---

НАДЕЖДА КОЖЕВНИКОВА



## ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ

### Повесть

*Надежда Кожевникова пришла в литературу, успев окончить Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. Лишь потом она взяла прямой путь к своей словно с детства предопределенной профессии — через Литинститут имени М. Горького и монинский семинар молодых. С тех пор Н. Кожевникова выпустила немало книг: «Человек, река и мост», «Ворота в Новый город», «Бремя молодости», «О любви материнской, дочерней, возвышенной и земной»; она печатается в журналах, совмещая чисто беллетристическую работу с журналистикой. Мне нравится, что молодая писательница работает так широко: рассказы, повести, очерки, критика, публицистические раздумья, оперативный репортаж. Оказывается, ранняя литературная профессионализация совсем не опасна и не губительна, коли есть талант, трудолюбие, активный интерес к жизни и любовь к людям.*

*На страницах «Нового мира» Надежда Кожевникова выступает достойно — с тонкой психологической повестью, чисто женской по содержанию, но отнюдь не гамски-рукодельной по исполнению. У нее крепкая, емкая фраза и твердая этическая позиция.*

Юрий НАГИБИН.

**Е**лена Георгиевна постоянно опаздывала на службу. Прийти вовремя, казалось, было выше ее сил, хотя она очень старалась. Она говорила: «Ну подумать! Оставила в запасе полчаса, все должна была успеть! Прямо рок какой-то меня преследует...»

Ее выслушивали сочувственно. Ее любили. Она не проявляла в работе излишнего рвения, не заводила интриг, была разговорчива и чувствовала себя, казалось, очень уютно в этом женском коллективе. Отправляясь в обеденный перерыв по магазинам и увидев что-нибудь дефицитное, скажем свежие огурцы или бананы, покупала на целый отдел. Но, опаздывая по утрам, в конце рабочего дня уйти не спешила: все стояли уже в пальто, а она все еще беседовала по телефону.

Ей многое прощалось. Сотрудницы покрывали ее грешки перед начальством, и начальство делало вид, что верит: «Где Елена Георгиевна? Ах, только что вышла? В машбюро спустилась? Ну хорошо...» А на самом деле она, к примеру, сидела в парикмахерской. Правда, на рабочем столе стояла ее ядовито-зеленая сумка, и сотрудницы указывали на нее начальству как на вещественное доказательство присутствия Елены Георгиевны на боевом посту.

Она была высокая, статная, с пышными рыжевато-каштановыми волосами, которые свободно гривой спадали до плеч, и вообще производила впечатление. Что называется, эффектная женщина и нравилась мужчинам. То есть мужчины не успевали подумать, нравится ли



она им, как их точно за ниточку дергали, и все они будто по команде сбрасывались ей вслед.

Можно сказать, у нее был дар вызывать в людях к себе симпатию.

Она душилась терпкими духами, довольно сильно красилась, вдевала в уши длинные серьги, напоминавшие елочные украшения, но даже самая что ни на есть дешевка на ней как-то смотрелась.

Она улыбалась всем подряд загадочно-обольстительно, но выражение ее красивых, с опущенными книзу уголками зеленоватых глаз настораживало: в них было что-то собачье.

Беседуя по телефону, она не старалась говорить тихо, не пользовалась намеками — ее простодушная открытость оказывалась иной раз на грани то ли бесстыдства, то ли беззащитности. Говорила всегда многословно и с такой интонацией, точно ждала совета, точно сама ничего не могла решить.

Над своим рабочим местом Елена Георгиевна повесила веселую картинку, где медвежонок с очень важной миной влезал на трехколесный велосипед, а на стол поставила керамическую вазочку и плетенную из соломки кошку с задранной хвостом. Деловые бумаги у нее в ящиках были перемешаны с косметикой, с надорванными пачками печенья, с конфетами россыпью. И никогда она не старалась показаться умнее других, хотя была толкова и у нее нередко совета спрашивали, но эти качества она вовсе вроде бы в себе не ценила, а говорила как бы: я женщина, женщина, и все.

Выглядела она на тридцать пять, хотя на самом деле уже сорок три исполнилось, но Елена Георгиевна возраста своего вроде бы не чувствовала, и другие тоже его не замечали.

На плитке как раз закипал чайник — они каждый раз эту плитку запрятывали, чтобы не видела противопожарная охрана, — у Елены Георгиевны конфеты нашлись, она их выложила на тарелку, и тут зазвонил телефон. Они переглянулись, они всегда так при каждом звонке переглаживались, как заговорщицы: кого? кто?

Трубку сняла самая из них молодая, стажерка Танечка, стараясь скрыть разочарование, сказала: «Елена Георгиевна, вас...»

Елена Георгиевна, слегка улыбаясь, прижала к уху трубку. Они все внимательно за ней следили — они были коллектив и считали, что глядеть так в их праве. Они ждали события, но в глубине души разуверились, что событие действительно может в такой обстановке произойти...

Елена Георгиевна стояла у телефона молча. Слушала. Они заметили: она оперлась ладонью о стол, точно потеряв равновесие, ища опоры. Они заметили: она улыбнулась растерянно. Сказала: «Погоди. Дай мне...» Но, видно, ее опять перебили. Она сказала: «Хорошо». Она сказала: «Буду». Она не успела сказать никаких завершающих слов — на том конце провода скорее всего бросили трубку.

Она села. Обвела взглядом своих коллег. Кожа лица ее стала дряблой, серой, пористой, пудра отслоилась, на ресницах комочками застыла тушь — ей можно было дать лет пятьдесят, не меньше.

Она сказала: «Мне надо уйти». Она поднялась, накинула на голову платок каким-то старушечьим скорбным жестом, запахнула пальто. Она взяла свою ядовито-зеленую сумку и вышла. Она вышла, и никто слова не проронил.

Она спешила, она задыхалась, она боялась опоздать — какой-то рок ее преследовал, всегда, всегда она опаздывала. Хотя договорилась на четыре часа и времени было достаточно, но все могло случиться — с ней, да.

Еще переходя улицу, она заметила, что ее уже поджидают. Бегом — она знала, что не надо бежать, — кинулась к скверу, платок сполз, сбился на плечи. Не отдышавшись, выдохнула:

— Здравствуй!

И тут же поняла, как неуместна ее радость. Ее восторг, ее восхищение, дурацкая ее умиленность — ей все это швырнули обратно. И тогда она повторила иначе, глухо:

— Здравствуй, Оксана.

Ей кивнули. Оксана сидела в той же позе, в какой Елена Георгиевна увидела ее издали: нога на ногу, руки в карманах, капюшон длинного черного пальто откинут, сияют золотом волосы. Узкое бледное лицо ничего не выражает, то есть выражает одну враждебность.

— Я с тобой встретилась по делу, — Оксана проговорила, почти не разжимая губ. — Может, слышала, я замуж выхожу. Папа устраивает свадьбу в «Национале». И вот что хотела спросить: та тахта, ну знаешь, она раньше в моей комнате стояла, на заказ ее делали — может, уступишь? — Усмехнулась: — Если жалко, я, конечно, переживу...

— Не жалко. — Елена Георгиевна не могла отвести от нее взгляда, вбирая, впитывая каждую черточку. Она настолько забылась, что не чувствовала себя оскорбленной, униженной, — просто глядела.

И Оксана под ее взглядом заерзала. Встала.

— Что ж, пока. Ты ведь с работы ушла.

— Ничего, — сказала Елена Георгиевна в том же забытии, оставаясь сидеть.

Оксана стояла над ней высокая, тоненькая, прекрасная! Елена Георгиевна, не удержавшись, улыбнулась. Оксана нахмурилась и вдруг прокричала:

— Чему ты улыбаешься, чему?

— Я? — Елена Георгиевна вздрогнула. — Так... Погоди, — зашепила, — одну минуту...

— Минута, — Оксана отрезала, — ничего не даст. Никогда ничего не дает одна минута. И уж особенно в нашем с тобой, мама, случае.

Елена Георгиевна машинально кивнула. Зачем она кивнула? Ей было так страшно раздражить дочь! Вот она и кивнула... Она подняла глаза, снизу вверх взглянула — заискивающе, наверное, получилось, — и тут ее как жаром обдало. Тут, запоздало, она возмутилась:

— Ты только за этим меня вызвала? Чтобы еще раз, еще раз...

Оксана скривилась:

— Пошла истерика... С меня — хватит.

Она уходила. И чем дальше, тем пристальнее Елена Георгиевна вглядывалась в ее уменьшающуюся фигуру — до боли, до рези в глазах. Оксана становилась все меньше: вот будто с первоклашку ростом, а вот почти как детсадовская, а вот превратилась в совсем крохотный комочек плоти — и тогда она прижала ее к груди и разрыдалась.

Свое детство Елена Георгиевна слабо помнила. То есть не помнила, чтобы была в ее жизни некая безмятежная, безоблачная пора, какой детство обычно и характеризуют, не помнила себя счастливым ребенком, всех любящим и всеми любимым.

Казалось, первое чувство, которое она испытала и которое запомнилось, была ревность: ей исполнилось пять лет, когда родители разошлись — мать ушла к тому, кого полюбила.

Отношения с отцом сразу оборвались, он только присылал алименты. Страсти, видно, настолько были накалены, что о благопристойных отношениях бывшие супруги не могли и думать. Елена — мать и в детстве называла ее так торжественно — получила в новой семье отдельную комнату, о ней заботились, ублажали как могли, но она сразу выказала неблагодарность и вообще многие дурные свойства.

Она не тосковала об отце, она его забыла. Она видела, что мать и отчим живут хорошо и что к ней они внимательны, но откуда-то у нее взялись дикие повадки: глядела исподлобья, молчала, грызла

ногти, выдергивалась из-под материной руки. Мать одевала ее нарядно, а она, отправляясь гулять, нарочно рвала, портила вещи.

Отчим держался с ней ровно, но серые его глаза глядели рассеянно. Он хорошо относился к детям, собакам, кошкам, он их гладил, с ними заговаривал. Кошки мурлыкали, собаки глядели преданно, Елена же выставляла колючки и сжималась в комок.

В шесть лет она самостоятельно выучилась читать. Мама была в восторге. «Смотри, Валерий,— говорила, хвастаясь,— Елена уже до Гоголя добралась». Отчим доброжелательно улыбался и покупал ей прекрасно изданные книжки.

Она стала запирается в своей комнате. Она любила читать допоздна, любила грызть в постели подсоленные черные сухарики. Мама запирается запретила. Брыбалась ночью и насильно гасила свет. И сухарики — это ведь только засорять желудок!

Мама кричала, и Елена кричала. Отчим, очень спокойный, появлялся в дверях: «Нина, ну что ты, право...» Вроде он в защиту Елены выступал, но ни Елена, ни мама благородное вмешательство его не ценили. Когда он уходил, мама — она тогда была очень порывистая — кидалась Елену обнимать, шептала: «Доченька, доченька моя...» Елена гладила мать по спине, а когда, примирившись, они расставались, снова принималась грызть припрятанные сухарики.

В школе она испортила отношения с учительницей, указав на допущенную той грамматическую ошибку. Мама, чтобы как-то уладить положение, вступила в родительский комитет. Но на родительских собраниях Елену все равно честили, и мама возвращалась с них пылающая. «Ты же умная,— убеждала она дочь чуть ли не со слезами,— так зачем же, зачем?»

Елена молчала.

У нее была очень красивая мать. Даже не просто красивая — великолепная. Сверкающая, улыбчивая, душистая. И умная настолько, что скрывала свой ум. Улыбалась, воркующе что-то нашептывала мужу, и только морщинка между светлых бровей выдавала напряжение, сосредоточенность. Нашепчет — и муж убежден: надо делать именно так, именно то, что жена советует.

Елена наблюдала: ух как хитра, как лукава ее мать! Серебристо-пепельные волосы, поднятые вверх от затылка, открывали нежную шею, ушки крохотные, с капельками серег. И умела мать улыбаться застенчиво, как девушка.

Елена наблюдала: мать вставала рано, когда весь дом еще спал, в пестром лифчике, пестрых трусиках делала перед зеркалом зарядку, принимала душ — женщина после тридцати должна особенно тщательно следить за собой,— ставила чайник на плиту, готовила завтрак, и когда муж пробуждался, она уже была свежа, бодр.

Это была работа, служба ежедневная, ежечасная по укреплению брака, семьи. В любви — эх, милая! — тоже надо трудиться. Надо нести неусыпный караул, бдить. Знать, помнить о тысячах разных деталей. Мужчина, муж, нуждается в терпеливейшей дрессировке. Мужчина, чем он сложнее, чем многодумней... тем, впрочем, легче найти к нему подход. Главное... Ну об этом еще рано говорить, придет время.

Елена, укрывшись с головой одеялом, чувствовала приближение: в половине девятого ей надо было идти в школу. Она не спала, сон рассеялся, но вставать не хотелось: разболтанность — и непростительная! — валяться, уже проснувшись, в постели. Безволие — самый тяжкий грех!

Мать срывала одеяло. Елена сжималась калачиком. Мать улыбалась: ну-ну,— и только морщинка между светлых бровей выдавала ее раздражение.

В пижаме с задранной штаниной, со всклокоченными волосами, Елена, жмурясь, натываясь на стены, плелась в ванную. Мимо за-

стекленной двери в кухню, где отчим кофе пил. Сидел за столом в отглаженной рубашке, при галстукe, развернув во всю ширь газету. Секундное скрещение взглядов, мгновенная оценка, глухое, сдавленное осуждение. Елена бормотала «доброе утро», защелкивала за собой в ванную дверь.

Пускала воду, струя лилась, впивалась в сверкающую голубоватой эмалью раковину. Зеркало, туманясь горячим паром, впускало постепенно Еленино лицо: крупный нос, длинный рот, глаза волчонка, горящие непримиримостью.

Она все больше становилась похожей на своего отца, гонявшего мать по квартире и вопившего: «Убью, убью!» Он готов был и в самом деле ее убить — эту женщину, предавшую его любовь. А в загсе три разводе он плакал — мать говорила об этом кому-то из своих подруг...

Зубная паста горечью заполняла рот, белая тонкая струйка стекала по подбородку. Елена стояла, глядя в зеркало, опершись ладонями о раковину.

В дверь стучали. Мать рвала дверь: «Ты слышишь? Ты что там делаешь?!»

Елена отворяла, глядела невозмутимо. Отчим стоял в прихожей уже в пальто. «Да иди ты, Валерий, иди», — мать чмокала его в щеку.

Елена с пустым портфелем шла проходными дворами, кратчайшим до школы путем. Медленно-медленно, останавливаясь, заглядывая в чьи-то окна. В школе — так, что слышно было на улице, — гремел звонок. Она выжидала у ограды. И только когда звонок смолкал, срывалась, рысью вбегала в вестибюль — и бегом по лестнице, по гулким пустым коридорам.

«Опять?» — раздельно произносила учительница. Елена стояла с опущенной головой, спиной прислонившись к двери. Поднимала глаза — и класс ждал восторженно. «Садись, — быстро, с опаской говорила учительница, — садись, Соловьева».

Ей предстояла переэкзаменовка: по физике и химии. Нашли учителя, маленького, с большой, неровно подстриженной головой. Он носил твидовый — твид был дешев — пиджак с подложенными ватными плечами.

В тесной Елениной комнате письменный стол еле умещался: учитель и ученица сидели рядом, близко, как за одной партой. Бледным, обескровленным как бы пальцем учитель водил по строкам текста, накладное ватное его плечо касалось плеча Елены. Его подбородок, Елена всматривалась, покрыт был черными точками не укротимой бритьем щетины. Пористый нос тянул книзу большую лобастую голову. Елена следила за движениями бескровного пальца и вдруг, непонятно зачем, коснулась ладонью шершавой щеки. Он вздрогнул, отпрянул, чуть не подпрыгнул на стуле. Глаза его с желтоватыми белками наполнились смятением. Елена, откинувшись на спинку своего стула, беззвучно, не разжимая губ, засмеялась.

На переэкзаменовке ей натянули переходной балл и сделали вид, что не заметили, когда у нее вдруг поехали из-под чулок шпаргалки.

Мать взяла ее с собой к морю отдохнуть (отчим поехать не смог, ему отсрочили отпуск). С обязательной жареной курицей, яйцами, сваренными вкрутую, бутылками теплой минеральной воды они втиснулись в вагон. Двое военных вышли из купе — из деликатности.

Подтянувшись, подпрыгнув легко, Елена влезла на верхнюю полку...

В школе преподаватель физкультуры вызвал мать и сказал, что советует определить дочь в баскетбольную секцию. Мать загорелась, Елена же сказала, что тренировки слишком частые. Англичанка тоже советовала... И учительница пеня предложила, но Елена, тупо, упрямо глядя на мать, бурчала, что и с обычной программой еле справляется — куда ей!

Мать выслушивала, не спуская с дочери цепкого взора. «Послушай,— сказала однажды,— станешь человеком, личностью. И многое тебе простится, пойми. Иначе,— она помолчала,— даже любимой, только любимой жить трудно. Небезопасно и... И унижительно.— Вздохнула.— Да и не получится это у тебя».

Елена моргнула. Когда мать с ней так разговаривала, она терялась. Проще было всему сопротивляться, против всего бунтовать...

Они долго, томительно ехали. Мать выскакивала на полустанках, носилась по перрону в халате с оборками, приглядываясь, прицениваясь, что почем продают. Приносила в газетных кулечках ягоды, мало-сольные огурцы. Елена с хрустом надкусывала их, пробуя. И иной раз ловила на себе материн взгляд, беспомощный и удовлетворенный.

Их соседи, военные, от деликатности краснели, потели, выходили в коридор покурить, а возвращаясь, присаживались рядышком на край полки. Мама улыбалась оживленно и хмурилась. Елена грызла куриную ножку и вытирала незаметно пальцы о край простыни.

Мелькнуло море. Впервые брызнуло при повороте за железнодорожным мостом — и нельзя было ошибиться, спутать эту плавную синь с рекой, прудом, озером, и даже перестук колес будто стал глуше, точно все захлестнуло мерной, упругой волной.

Носильщик, чудной, точно пьяненький, с облупленным на солнце кроличьим носом, возник в купе, и мама быстро им распорядилась. Жуликоватое его лицо приняло мученическое выражение, когда он двинулся, навьюченный их вещами, и они следом за ним.

Мама кипела, хваталась то за Елену, то за сумку и взглядом ловила спину носильщика: он быстро пробирался вперед сквозь толпу. А Елена, шаркая по пыльному асфальту, распутив губы, озиралась: прямо в земле, а вовсе не в кадках росли с волосатыми стволами пальмы и низкорослые деревца, сплошь осыпанные розовыми цветочками. Елена воровато сдернула один цветок, понюхала, сморщилась от отвращения: он пах ядовитой пряной сладостью.

В гостинице мать раскладывала вещи по рассохшимся скрипучим ящикам шкафа, а Елена, босая, уже в купальнике, выбежала на балкон: у моря вповалку, точно в беспмятстве, лежали люди. И плеск, плеск, вкрадчивый плеск волн!

«Мама,— нетерпеливо, жадно взглянула она на мать,— можно?» Мать, встряхнув и повесив на плечики безобразное, по моде шитое платье, кивнула рассеянно: «Иди... Только,— крикнула уже вслед,— недолго, слышишь?»

По раскаленной гальке, раня ноги и не замечая боль, Елена торопливо и неловко от торопливости побежала, остановилась, присела и запустила руки в гриву урчащей воды. Выпрямилась и с улыбкой неслыханного наслаждения вошла в море по колено, по пояс, по горло. Волосы облепили лицо. Она раскинула руки. Поймала волну и поплыла. Огромен, пуст, необъятен был перед ней горизонт, она не хотела и думать, что придется ей возвращаться...

Бывало, их принимали за сестер, и мама — ха-ха! — смеялась: «А кто же старшая?»

Сестры, ясно. И ясно, что не близнецы. Одна очаровательная, прелестная, другая угрюма, дика. Да и купальник у той, что очаровательна, такой красивый, а у Елены-то сиреневое безобразие, лифчик на толстых бретельках и стоящие колом трусы.

А, все равно!.. Елена далеко-далеко заплывала, яростно молотила ногами, по-дельфиньи отфыркивалась. Пусть они там, на берегу, забавляются, пусть!

Мама каждый день ходила на почту, звонила в Москву отчиму. Она была очень обязательная: раз обещала, значит, ясное дело, нужно выполнять свой долг.

Елена следила: мать к себе близко никого не подпускала. На розовом махровом полотенце лежала, подсажив руки под голову, чуть

согнув в коленях ноги, и поза эта тоже была у нее обдуманна: и оболстительна в меру и целомудренна. А Елена лежала прямо на жаркой гальке вниз животом. Вокруг ходили ноги, и если чьи-то вдруг задерживались рядом, она приподнимала голову, как сторожевой пес.

Пожалуй, впервые за многие годы Елена видела мать так часто, так близко. Удивлялась ее разговорчивости. Обычно мать с утра уносила из дому, у нее всегда жуткое количество было дел (Елене порой казалось, что мать нарочно их придумывает), и в дом врывается вихрем, тайфуном — не подступишься. Оглядывала дочь блестящими глазами: «Опять сидишь? Опять лежишь? Как можно ничего не делать!» Но странно, материна неукротимая энергия действовала на Елену как сонное зелье: тяжесть какая-то появлялась в теле, в глазах рябило, туманилось и спать хотелось, спать и ничего не слышать, не видеть.

Отчим тоже много работал. И даже пес Тоби, очень породистый, пройдя обучение в специальной школе, поражал всех дисциплинированностью, вышколенностью. Одна Елена казалась в семье каким-то вырожденком, даже обед себе разогреть не хотела, предпочитала грызть подсоленные сухарики. И никакого в ней не было честолюбия. «Слушай,— говорила ей мать,— с твоими способностями ты ведь первой из первых могла бы быть!» Елена в ответ только усмехалась.

Она ревновала. Ревность возникла в ней с того момента, как только она себя помнила. Как только научилась себя осознавать. Как только переступила порог своей собственной комнаты, а может, еще и раньше.

Она сказала себе: «Ага! Вот они как постарались, как ловко все устроили, детскую соорудили, игрушек навезли — лишь бы я им не мешала!» Сказала, возможно, другими словами, но смысл был такой. И все последующие годы она видела, воспринимала все именно в этом свете: ее задабривают, ее покупают — чувствуют, значит, что виноваты перед ней.

Ах, они любят, не могут жить друг без друга! В первом браке мама ошиблась и по ошибке дочку родила — ее, Елену. Ну так она живет, она растет, и никуда не деться от нее маме. И уж, будьте уверены, она, Елена, горечь той давней ошибки маме ничем не подсластит!

Вот с чем она жила и ради чего старалась — отравить чем только можно их прекрасную, в полном друг с другом согласии жизнь. Пусть же платят за то, что им так хорошо, так замечательно, за то, что ради этого своего безбрежного счастья они отняли у нее, Елены, отца.

С отцом она не встречалась. Однажды было, правда, свидание: ей исполнилось тогда двенадцать и она пришла в дом к отцу.

Он открыл дверь, заклацали многочисленные цепочки. С порога она взглянула — вот, вот в кого она пошла! Крупный нос, длинный рот, глаза недоверчивые, колючие, но это ведь те же, что и у нее, глаза.

«Папа!» От неожиданности, верно, он не ответил на ее поцелуй. Она его простила, она все тогда готова была простить ему. «Проходи», — буркнул он и первым прошел по коридору в комнату.

Спортивные старые брюки сидели на нем мешковато, в тапочках замяты задники. Она вошла: неужели правда, что она родилась и жила когда-то в этом доме? Ничего не узнавала, не помнила, глядела во все глаза. Какие-то пыльные чучела зверей со вставленными стеклянными рыжими зловещими глазами. Ружье, криво висевшее над тахтой. Столик под темной — н е м а р к о й — бахромчатой скатертью, печенье в вазочке и на подносе три чашки.

Женщина, новая жена отца, бледнолицая, с резкими чертами, улыбнулась ей сладко, притворно и как бы с тайной угрозой. Елена растерянно опустила на стул. Отец сел напротив. Женщина продолжала стоять.

«Выйди», — не оборачиваясь сказал отец. Елена не сразу поняла — кому? И женщина тоже вроде не сообразила. «Выйди, говорю», — повторил отец с той же совершенно бесцветной интонацией. Женщина, дернув шеей, вышла. Елена продолжала сидеть, обомлев.

Отец молча, пристально ее разглядывал, она чувствовала, но боялась встретиться с ним глазами.

«Твоя мать...» — так начал он свою первую обращенную к дочери фразу.

Наверно, он долго молчал, долго накапливал, чтобы выложить враз: ненавижу, ненавижу эту женщину, предавшую, обманувшую, отнявшую всю радость жизни, пустыню выжженную оставившую после себя, лишившую дара любить, быть даже просто милосердным, — она, предательница, все светлое, все хорошее унесла с собой!

«Твоя мать... — Он захлебывался, замолкал, а потом снова: — Твоя мать...» Замолчал вдруг надолго, точно забылся. И: «Твоя мать... Ах, какая она была! И как ей это удавалось? Что может быть после нее, кто может с ней сравниться...» Он мрачно оглянулся на дверь и неожиданно хрипло рассмеялся. «Твоя мать... — Глаза его впились Елене в лицо. — Учти. Никогда не прощу. Тебе — тоже».

Она испугалась. Она не могла преодолеть свой страх. Ей хотелось сбежать, скрыться. Она привстала. «Что ты! Куда? — он спросил. — Чай будем пить. — И улыбнулся вдруг с обезоруживающим детским простодушием. — Галь, Галюнь, — позвал ласково, — чай-то скипел? А то Еленка вроде бежать надумала...»

Больше она не приходила в этот дом. Одного свидания оказалось достаточно. После него она вернулась с отвердевшим, как маска, лицом. Проща к себе в комнату, ускользнув от матери в коридоре. Закрыла плотно за собой дверь, легла ничком и впилась зубами в подушку.

Но мать услышала, вошла, взглянула. «Доченька, — зарыдала с Еленой в голос. — Ах зверь, какой же зверь! Доченька, доченька! Ну что ты, не надо было туда ходить... Зверь, зверь, зверюга!»

А Елена, корчась и не выпуская подушку из зубов, другое разглядела: робкую, детскую улыбку отца, его нескладность — такую же, как у нее. Такое же, как у нее, его одиночество.

...Теперь ей исполнилось пятнадцать. В ситцевом неуклюжем лифчике и трусах, торчащих колом, она лежала на горячей гальке и слушала, что говорила мать.

А мать говорила невнятно, но многословно. О женском, девическом — гордости, кажется, чести. О том, что такое репутация. А также злые языки. И чувстве собственного достоинства. И незамазанности. И цельности. Говорила пылко, увлеченно, но с каким-то тайным страхом в глазах. Запиналась, подыскивала слова — Елена ее не торопила. Если честно, и не очень-то слушала. Солнце жгло, раскаляло тело, лишая веса, очертаний, чувствительности. Это было потрясающее ощущение — легкости, бездумия, полета.

Мать говорила: «И надо очень за собой следить. Пожалуйста, поверь моему опыту». Елена поднимала пылающее лицо: «Пойду окурнусь, а то совсем изжарюсь».

К вечеру жара спадала. Южное небо, плотно прошитое звездами, шелесты, шорохи, звуки — все в темноте обретало как бы большую отчетливость, выразительность, тайну. Те пахнувшие ядовитой прямой сладостью цветы, как выяснилось, назывались олеандры. Низкорослые кустики с твердыми, словно из жести листиками — самшит. А лавровым листом для варки супа можно было здесь запастись на всю жизнь.

Елена шла по аллее, освещаемой матовым светом фонарей: точно сотни маленьких лун были подвешены на столбах, затененных

кронами деревьев. Чуть поодаль, отступив на два шага, шел за ней Толя — оба они лучше всех на пляже играли в волейбол. Гравий скрипел под ногами, они свернули с аллеи. Толя раздвинул кусты: там стояла в укрытии скамейка.

Они уселись по разным концам. Молчали. Толя протянул руку. Рука показалась голубоватой и как бы бескостной в темноте. Ладонь была жаркая, потная, а из пальцев будто ушла вся сила. Он дрожал. И Елена — из жалости, со взрослой какой-то заботой, желанием утешить, уберечь — потянулась к нему. Он сжал ее крепко, нашел ее рот... Это было потрясающее ощущение — легкости, бездумия, полета.

Последний, десятый класс. Елена стала держаться гораздо спокойней. Ровнее. Небрежней, с затаенной усмешкой в глазах. Глаза у нее были зеленые, прозрачные — и совершенно дикие временами.

Это была дикость силы, внезапно осознанной, почувствованной. Она выходила на улицу — взгляды всех встречных мужчин обращались на нее. А она еле сдерживалась от хохота: такими нелепыми, глупыми казались ей эти мужчины, тупо, растерянно уставившиеся на нее.

Да, теперь она поняла, почему вот и у матери ее вдруг твердел от сдерживаемого смеха округлый подбородок, искры появлялись в глазах: пьянящее чувство власти, безнаказанности, вседозволенности, неодолимости соблазна — а соблазном-то была она!

Выйдя из подъезда своего дома, Елена первым делом стаскивала вязаную шерстяную шапочку, совала ее в карман: каштановые густые пряди расплескивались по плечам, снежинки падали и, как звезды, оседали на волосах. Она шла, вскинув голову, притягивая, как магнитом, взгляды, с абсолютной уверенностью, что пока поет, звенит в ней ее сила — победам не будет конца.

Она забавлялась: в автомобиле, скажем, выбирала себе жертву — какого-нибудь очень пристойного, солидного представителя мужской половины человечества, в барашковой, скажем, шапке, с шарфом, заботливо укрывающим горло, и наблюдала за недолгим, надо заметить, превращением этого homo sapiens в покорное, млеющее от преданности животное. Лицо его багровело, что было, верно, результатом борьбы с самим собой. И вот когда, пропотев, задавив в себе голос разума, он уже и не думал сопротивляться, тогда случалось самое смешное: его глаза, приковавшиеся намертво к лицу Елены, чуть ли не выпадали из орбит, повисали, казалось, на тоненьких ниточках. Елена думала: «Вот что значит проглядеть глаза».

Но сама она относилась к своей внешности вполне трезво, знала, что вовсе не безупречна ее красота: крупный нос, длинный рот — они никуда не делись. Перемены-то произошли скорее внутренние.

Длинные ноги — если взглядеться, в них легкая кривизна замечалась. Плечи были, возможно, излишне широки. О лице и говорить нечего, все в нем было неправильно, не по канонам. Лоб с неровно, низко растущими волосами она старалась прикрывать челкой. Уши торчали. А изящная горбинка материнского носа у нее перешла в грубую волнистую линию, в конце обвислую и сближенную чересчур с верхней губой. Ей неприятно делалось, когда на нее в профиль глядели.

Но все это были пустяки. Она смеялась во весь свой длинный рот с белыми варварскими зубами, и ямочки прорезались на румяных щеках, и в зеленых глазах прыгали сумасшедше-веселые огоньки.

Высокий рост, длиннющие ноги придавали движениям ее плавность, томность: она не спешила, просто шагала и оказывалась далеко впереди; не вспрыгивала на подножку троллейбуса, а только заносила ногу; не обегала металлический барьер, отделяющий тротуар от проезжей части, а перелетала через него без всякого видимого



усилия. И от этой легкости, гибкости ее долгого тела на лице ее расцветало выражение благодушия, снисходительности и лукавства.

Да, она стала ровнее, но такая ровность внушала подозрения матери, Елена чувствовала на себе ее цепкий взгляд. Мать, по-прежнему деятельная, все чаще теперь к Елене цеплялась. И крикливость мать себе стала позволять без всякого даже повода.

Как-то Елена пошла вечером Тоби выгулять — это ей в обязанность вменялось. Зима была. Дома, глядясь в зеркало, Елена надела вязаную шапочку, но уже в лифте стянула ее с головы. У подъезда ее ждал Игорь.

Тоби прыгал, шалил, как может шалить благовоспитанный, прошедший специальную выучку пес, а Елена и Игорь сидели на бетонной приступочке соседнего подъезда и беседовали.

Сколько они так сидели? Да вроде недолго... Но у Елены потемнело в глазах, тело обмякло, когда увидела она, как чуть не снялась с петель дверь их подъезда — оглушительный хлопок! — и в тапочках на босу ногу, в шубе, накиннутой поверх халата, вынеслась во двор ее мать, огляделась — и вот уже стоит перед обмершей, скорчившейся на бетонной приступочке парочкой.

Мать хотела что-то сказать — и задохнулась. И тут Елена ощутила удар по левой щеке.

— Не ходи в мороз без шапки! — мама выкрикнула. Удар по правой. — Не сиди на холодном — сколько раз говорить!

Мать развернулась, стремительно зашагала прочь. Тоби бросился за ней.

«Зачем же она босиком?» — пронеслось в голове у Елены.

Мать скрылась, и дверь за ней так же оглушительно захлопнулась.

Елена встала. Игорь — он казался ей таким взрослым прежде! — глядел на нее круглыми глазами, приоткрыв удивленно рот. Крохотная, пижонская по тем временам кепочка еле удерживалась на его затылке. Куртка распахнута, и виден был узкий галстук с вышитой кошечкой, кокетливо обернувшейся собственным хвостом.

Елена посмотрела на кошку, посмотрела на кадыкастую шею Игоря, посмотрела в удивленно-бессмысленные черные его глаза.

— Ну ладно, — сказала, — иди.

— А ты? — выдавил он растерянно.

— Что я? — Она вынула из кармана вязаную шапочку, надела. — Я тоже пойду. Пора уж.

Мама плакала. Сидела на широкой своей кровати, опустив ноги, не достающие до пола, и тихо, жалобно, пс-детски всхлипывала. Елена гладила маму по спине, успокаивала.

— Нет, ты не понимаешь, — пыталась мама выговорить сквозь слезы, терла глаза мокрым комочком платка. — Не понимаешь... И не слушаешь! Как сделать, чтобы ты услышала? И почему я не могу тебя уберечь? Столько грязи вокруг. Зубами, когтями драться за тебя готова, да ведь ты сама...

Мать смолкла, с тревогой взгляделась в дочь.

— Скажи, скажи мне все. Правду. Я помогу. Только скажи.

Елена слегка, почти незаметно отодвинулась от матери.

— Что ты, мама...

— Ну да, я знаю. Если бы в семье ты жила... если бы я тогда удержалась, заставила бы себя, скрутила...

— Мама, зачем? Не надо, прошу тебя.

— Конечно. Ты права. Тем более что ничего бы это не изменило. Это я так говорю. Ищу просто объяснения. Потому что я сделала все что могла. И с Валерием мы живем так, что это только примером может быть. Никаких угрызений... А от тебя совсем немного требовалось. Малость! Но ты...

Она спохватилась, сжала с силой в своих руках руки дочери.

— Пойми. Ты вырастешь, ты тоже станешь матерью, и не дай бог дожить тебе до таких вот минут, когда вдруг почувствуешь полное свое бессилие. Любовь — и страшную, страшную жесточенность. Да, родила — и готова просто убить. Ужасно... Все знаешь — что подсказать и как, а тебя не желают слушать. Твое, родное, а никакой твоей тут власти нет. Почему? Ну что я могу с тобой сделать? Ведь все предвижу, все могу предсказать, а ты... ты ускользаешь. Раньше надо было говорить? Но когда? Вчера еще разве могло прийти в голову? Боишься ранить, оскорбить. Опомнишься — поздно уже, никакая палка не поможет.

Елена улыбнулась.

— Что ты смеешься? Тебе смешно?

Елена опустила глаза, пряча улыбку.

— Вот ведь в чем дело, — мать продолжила, — тебе кажется: все, что с тобой происходит, это впервые. Никто раньше ничего подобного не испытал. А было все, тысячу раз было! Господи, думала: научу, всему научу свою дочку. Ты в кроватке маленькая, жалкая такая лежала, помню. Ноги-руки длиннющие, слабые, а темечко совсем прозрачное, мягонькое. Я так за тебя боялась. К чему я это?.. Ах да! Ну ведь совсем недавно я тебя родила. Совсем недавно воображала: вот вырастешь... Роддом, отец твой за нами приехал... Нет, я не о том... Болела ты. Все словно вчера. Характер твой не сразу выказался. Хотя, собственно, что? Ну упрямство, лень, обидчивость не в меру. Так я же любила тебя! На Валерия, как кошка бешеная, кидалась, терзала, мучила, недоверчивостью изводила — ты разве знаешь? — потому что неродной он отец. Родной бы побил, и то бы, наверно, смолчала. А у неродного и за взгляд там какой-то глаза выцарапать готова была. Разве тебе понять? Счастливая моя жизнь — сколько в ней муки! Лежу ночью, гляжу в темноту: а спишь ли ты за стенкой? Встать, подойти, поправить одеяло — вот о чем думаю. Ты, видно, считала: мы с Валерием душа в душу живем. А сколько криков, скандалов он от меня получил — из-за тебя. И ни за что. Просто потому, что с самого первого дня, только поженились мы с ним, гладить меня начало — не то чтобы вина, двойственность какая-то. Каждый шаг, каждую минуту — два человека во мне. Один — твердый, знал, как тебя воспитывать, какие запреты должны быть, строгости. А другой ничего не знал, ничего не думал, одного просил, желал, требовал: прижать тебя к себе, нарветься вдоволь, забыть, кто мать, кто дочь, — одно мы целое.

— Ну, — Елена усмехнулась, — первый второго побеждал, как я понимаю. Второй намного, видно, слабее был...

Мать вскинула подбородок, прищурилась:

— По-ня-ла! Все поняла. Спасибо, доченька.

Дотянулась босыми ногами до пола, встала, прошлась по ковру. Поправила у зеркала прическу.

— Тебе завтра в семь вставать? Не проспешь?

— Есть будильник... Но ты, мама, все же зря так жестоко обошлась с тем, со вторым. Действительно было бы неплохо, если бы ты себе почаще позволяла приласкать меня...

Говорили, что даже когда она смеялась, глаза у нее оставались грустными. Она пыталась проверить — пробовала засмеяться перед зеркалом, но неприятным получался смех, неприятен взгляд: слишком пристальный, высматривающий, жадный. Думала: вот бы увидеть себя со стороны. Обидно, что она сама себя хуже других знала, прелесть собственную не могла разглядеть, а ведь все находили ее прелестной...

Какое такое имелось в ней богатство, восхищение вызывающее, зависть, а она что же, не способна оказывалась его оценить? С улыбкой...

немного рассеянной, немного недоуменной, выжидательной оглядывалась она вокруг: кто поможет, кто ответит и разъяснит, расскажет ей о ней самой же?

Поэтому когда с ней заговаривали в метро, шли следом по улице, останавливали в подземном переходе, она не бросала трезвое, ледяное «нет», а задерживалась, пусть на мгновение, в нерешительности, но явно ожидая продолжения — об этом говорило ее лицо, взгляд туманный, призывающий.

В том, кто ею вдруг заинтересовался, она готова была видеть прежде всего привлекательные черты: либо высокий рост, либо изящную ироничность в интонациях. Он был хорош — хорош был каждый ее заметивший, выделивший ее из толпы. Благодарность, признательность тут же в ней вспыхивали и выражались в улыбке доверчивой, поощряющей.

А почему — нет? Почему тот, кто замер, заведев ее в переулке, не мог быть тем, кого и она ждала? Откуда и кому знать? Разве существуют особые приметы? Ну просто человек, безликий, посторонний, спешил куда-то и вдруг обернул к ней свое удивленно-радостное лицо и сразу обрел неповторимость, единственность.

И она не жалела, если даже и ошибалась. Не винила ни их, ни себя. Не оставалось обид, потому что обидчики не запоминались. Она как бы слепла — подчинялась любви, любовь любила, ну а после... Так все вдруг становилось вяло, пресно — к опостылевшему, накутившему какой мог быть интерес?

И она не чувствовала разочарования, ни минутной даже усталости, опустошенности. Все, что случалось, случалось в п е р в ы е. Шептала самозабвенно: «Ты мой единственный...» А после не могла представить даже лица.

Ей исполнилось двадцать.

В суконной юбке и черном, под горло свитере Елена сидела в гостях у толстой Вари. Варя жила в коммунальной квартире с такой же толстой матерью, и в доме у них всегда гостей закармливали пирогами, ватрушками, точно была эта семья одержима идеей, чтобы худые вообще на свете перевелись.

Елена вздыхала — и ела. Пила из огромной вызолоченной чашки сладчайший чай. Варина толстая мать в пестром, блестящем, из китайского скользкого шелка халате без умолку говорила. Толстая Варя, перевернувшись лежащую на подоконнике кучу книг, тоже села чаевничать.

Варя говорила басом, хрипло смеялась, но каждая сказанная ею фраза сверкала, блистала умом. Елена пила чай, надувала щеки, сдерживалась изо всех сил, чтобы не прыснуть. Варька как скажет — за живот только держись. Всех мела своим острым языком и себя саму со всеми вместе. Толщина собственная, угрожающая усатость, спина грузчика и дворницкие повадки — чем не повод для упражнений язвительного ума? Варька была, что называется, самородок.

Ее мать, портниха, обшивала пол-Москвы, и у Вари, крутившейся целый день под ногами у заказчиц, какая могла найтись духовная пища? «Перед, кажется, вздернут... Лиф не жмет?..» Варька подбирала лоскутья, сосала конфеты, подсовываемые материнскими клиентками, и забавляла тех в паузах между примерками от них же услышанными анекдотами.

В комнате, где они с матерью жили, даже намека не было на домашний уют, какую-либо упорядоченность. На большом обеденном столе вперемешку с вазочками, сахарницами, чашками лежали обмылки, мелки, жестяные коробки с булавками, обтрепанные журналы мод. А в центре комнаты как алтарь — гигантское трюмо, от которого некуда было спрятаться, — притягивающее, втягивающее в себя

всех и вся. Такая его зловещая вездесущность утомляла, взвинчивала — и запах пудры, женского пота, духов.

Но Варька как-то наловчилась отдельно, обособленно существовать в непотребной этой обстановке. Когда она начала читать и как вообще появились у них в доме книги, неизвестно, но Варька глотала их так же жадно и неразборчиво, как материны пироги.

Мать хвасталась ученостью, образованностью дочери, но и она обомлела, узнав, какой Варька выбрала себе путь: с ее-то внешними данными решить стать актрисой? О господи...

Но Варьку в театральное училище приняли. Длинноногие красотки оказались за бортом, размазывали, рыдая, по щекам голубую, розовую, черную краску, а бокастая, тяжелая, грозно насупившаяся от смущения Варька в десятый раз читала в списке зачисленных свою фамилию — и не верила.

Не верила, когда уже плясала на учебной сцене разудалый танец пирата, обвязав голову пестрым материным платком, с дутой золоченой серьгой в ухе, и зал изнемогал от хохота, а у нее самой в глазах стояли слезы: правда ли, возможно ли?.. Она топала по хлипким доскам сцены своей ножкой тридцать девятого размера, веселя, дразня зал, и никто не подозревал, что обыгрывая свою неуклюжесть, некрасивость, превращая их в оружие таланта, она томится по легкости, изяществу, хрупкости, жгуче завидуя и жгуче презирая это, не данное, недоступное ей.

Ну да, они, сидящие в зале, не догадывались, что чем им смешнее, тем больнее ей, что на ее смертельной тоске настояно безудержное их веселье, что, торжествуя сейчас над ними, она себе, им всем! — мстит, но что в этом торжестве есть и ее к ним благодарность и что вообще вот сейчас — высшее наслаждение для нее.

Она была доброй, Варька: к слабым, больным, убогим тянулась, вставала на защиту их. И в разлапистых, пухлых, «дырявых» ее руках деньги не задерживались, водой утекали. Но желание пробиться во что бы то ни стало, любой ценой, владело ею, и доброта легко обращалась в коварство, снисходительность в жестокость, дружба в предательство. Главное — выжить. И более того, конечно — заявить о себе.

Но Елена не была ей конкуренткой, общие профессиональные интересы их не связывали — какой-то Институт иностранных языков, да разве там делу учат?! — и потому, верно, она Елену любила искренне, без каких бы там ни было потайных ходов. И любовалась ею, умилялась даже. Вот и сейчас.

— Какая же ты бледненькая, тоненькая! — вздохнула сокрушенно, в Елену вглядываясь, заботливо и в то же время собственнически толкая ее к дивану. — Сиди. Не обедала небось? Все кусочничаешь. Суп надо есть! От супа вся сила!

Елена слабо, беспомощно улыбалась. Рядом с мясистой квадратной Варькой она чувствовала себя маленькой, хрупкой. И ей приятна была Варькина покровительственность, позволяющая ничего самой не решать, не думать ни о чем серьезном, просто сидеть заторможенно и шуриться, как кошка.

Упорный бычий взгляд темных выпуклых Варькиных глаз оставался на Елене.

— Слу-а-ашай! — она вдруг воскликнула. — Я щас тебя никуда не пущу! Ко мне человек один придет, по делу. А ты будешь на диване сидеть. Да, вот так... — Варька отступила, склонила набок голову. — Именно. Очень прекрасно.

— Что ты? — Елена рассмеялась. — Точно прицеливаешься. Кто придет? Что еще надумала?

— Увидишь. — Варька решительно задвинула стул. — Человек... Да и не надо тебе знать, не поймешь, не разберешься. После объясню.

Впрочем... Талант — ты что-нибудь про это понимаешь? Талант — очень неудобная вещь. Со всех сторон углы, нигде аккуратно не помещается. И такая сила, что всех — под себя. Тощенький, невзрачный с виду, а весь изнутри клокочет. Улыбается ласково, а в глазах: вот прирежу сейчас!

— Обрисовала, ничего себе... Я красивых люблю, зачем мне невзрачный?

— Дура! — Варька стукнула кулаком по столу, золоченая высокая чашка жалобно звякнула. И тут же — иначе, вкрадчиво: — Прошу тебя, Еленочка, не ерепенься. Я ведь, знаешь, когда что задумаю, так просто не отступлюсь. Меня сейчас осенило! Кончать пора с твоей бесхозностью. И как я раньше не сообразила... Который час? Он, конечно, опоздает, но так или иначе придет.

— Так что же, я до ночи сидеть тут буду? — Елена произнесла капризно.

— Подумаешь, какая паинька. А то ты не задерживалась никогда! Сиди. Я сейчас твое будущее устрою — делов-то!

Елена засмеялась, запрокинув голову на спинку дивана, и вдруг почувствовала в себе дрожь. Варька стояла над ней, глядя задумчиво и безжалостно, по-чужому. Точно на жертву. Елена подумала, что участь ее решена.

Раздался звонок, резкий, требовательный.

— Он, — сказала Варя, — странно, что не опоздал.

Елена заспешила принять независимый вид. Гигантское зеркало поймало ее в себя, вынудив у нее просительную, униженную улыбку.

Бурая портьера на двери колыхнулась, впустив в комнату Варю и вихрастого, узкого, непомерно вытянутого в длину, в высоту — мужчину, мальчика? Трудно было угадать его возраст. Порывистость, неслаженность какая-то его движений разительно не соответствовали старческой застылости лица, глубинному спокойствию глаз, светлых, небольших, почти скрытых под набрякшими веками. Но вот он улыбнулся; улыбка, юношески открытая, еще больше состарила его. Глубокие складки обозначились от крыльев носа, морщинки сеткой разбежались от глаз, рот сжался в узкую щель — но вместе с тем какая же обаятельная была у него улыбка!

— Николай, — ворчливо-ласково произнес он, пожимая костлявыми холодными пальцами Еленину руку. Сел, выставив острое колено, заплетя длинные ноги, точно запутавшись в них.

Варя налила ему чай в высокую чашку, и он сосредоточенно-бездумно бросил в нее один за другим восемь кусков сахара.

— Как ты можешь пить такой сироп! — сказала Варя. — Уж на что сама люблю сладкое...

— Сладкое — другое дело. И я, кстати, к нему равнодушен. Есть вообще скучно. А так одним махом утоляю голод и питаю мозг. — Он улыбнулся. — Хорошо чай завариваешь.

— Спасибо. Только за чай ты и можешь похвалить. А так... от тебя дождешься.

Елена с удивлением отметила, как переменилась в присутствии Николая Варя: обиженной прежде она не видела ее никогда. А тут каждое Варино слово, каждый жест отмечены были именно обидой, нескрываемой, намеренно подчеркнутой, чего, впрочем, Николай как бы не замечал.

— Должна тебе сообщить, — Варя села за стол напротив него, — старушек у нас в квартире ты совсем затерроризировал, они теперь тихие, покорные, только испуганно на меня косятся, думают, может, я бандерша какая, а вот соседи снизу вчера приходили и сказали, что так дело не оставят: у них чуть люстра не рухнула. И вообще они желают ночью спать. Так что решай, где будем теперь репетировать...

— Да... — Николай отхлебнул из чашки. — У Кости нас тоже вытурили. Полгодика бы протянуть...

— Тебе же обещали...

— Ну, милая! Рано еще, сыро еще... Котят в мешке никому брать неохота. Хорошо нужно показаться и уж наверняка бить. А пока кто в нас заинтересован?..

— Как знаешь.— Варя обиженно выпятила губу.

— Я-то знаю.— Улыбка его стала жесткой.— Но пустыми обещаниями ни вас, ни себя не намерен кормить. Сейчас одно надо: работать. В любой обстановке, в любых условиях. Это у нас никто не отнимет, и тут уж все зависит только от нас.

— Коля, меня-то избавь от проповедей. Скажи еще: бескорыстным в искусстве надо быть. Тьфу! Меня вот в кино приглашали — отказалась, известно тебе? Такая роль! Бабы-яги. И съемки в Ялте.

— Подвиг твой,— он коснулся Вариного плеча,— никогда не забуду. Тем более что ты еще раз десять напомнишь сама. Только лучше подумай, где нам теперь репетировать...

— У меня! — для самой себя неожиданно вдруг выкрикнула с дивана Елена.— У меня можно!

— У тебя? — переспросила басом Варя.

— Ну да. Мать с отчимом на месяц уезжают, если месяц что-то вам дает...

— Месяц! — Николай присвистнул.— Да мы днями живем. Только... вы подумайте. Это ведь, знаете, кутерьма. Народ шумливый, одним словом, актеры. Хотя,— произнес с иной, потеплевшей вдруг интонацией,— ребята хорошие.

— А вы? — Елена спросила.

— Что я? — Он усмехнулся.— Хороший ли? Нет, злодей. Карабас Барабас — плеткой их, плеткой! А потом они всем скопом той же плеткой — меня. И гораздо больше.— Сощурился.— Они умеют больше, чем я.

Были ли у нее какие-то планы, расчеты? Да нет, скорее поддалась минутному настроению: показалось, что и Николай и Варя забыли о ней, захотелось о себе заявить хотя бы так: «У меня можно!» Это во-первых. А во-вторых, так жаль вдруг себя стало! Подумалось: как она ни торопится, а что-то очень увлекательное, существенное, настоящее ускользает от нее. Ей двадцать лет, а временами она уже ощущает скуку. Воображение, силы уходят на то, чтобы уклониться от навязываемых обязательств, правил, общепринятого. Скажем, как половчее обмануть мать, прогулять занятия в институте, лукавить с одним, водить за нос другого, вздыхать о третьем, никого не любя. И вот уже накапливается в ней раздражение: пестрая пустота — вот что такое ее жизнь.

Сжавшись в комочек в углу дивана, забытая, как кукла какая-то, она вдруг всей кожей ощутила свою униженность. Несправедливо! Когда о серьезном, так, значит, она не нужна и слова не смеет высказать, а ведь она не дура... Детство, ревность, боль — столько в ней всего накопилось, в чем она так и не разобралась, что давило подспудно и от чего так хотелось освободиться!

Светлые небольшие глаза Николая скользнули по ней, и в застылом глубинном спокойствии их она угадывала ту силу, которая может и раздавить, и возвысить, и уничтожить, и воскресить. И она расплалась под тяжестью этого взгляда покорная, робеющая.

С той же робостью, отупляющей, вызывающей физическую слабость, дрожь в пальцах, лихорадочный румянец на щеках, она встретила его на пороге своей квартиры, куда он заявился поздно вечером с ватагой шумных, развязных незнакомцев. Их было человек десять. Побросав в передней пальто, они ринулись в комнату и начали, не спросив разрешения, двигать мебель, освобождая центр.

Плохо, бедно и вычурно одетые, с болтающимися на шеях длинными шарфами, кто в лыжных ботинках, кто в лакированных рас

трескавшихся туфлях, они что-то напевали, пританцовывали, точно сами себя зачем-то возбуждали, желая быть не тем, что они есть, и не только не стыдясь своего грубейшего притворства, но гордясь им.

На Елену они внимания не обращали, и такая невоспитанность тоже, по-видимому, была для них не случайной, а утверждаемой как особое право, как привилегия, только им и дозволенная.

Елена внесла большое блюдо с бутербродами: оно мгновенно опустело. Елена усмехнулась и тут встретила взглядом с Николаем — и опустила глаза.

Он хлопнул в ладоши — точно дрессировщик, она подумала, — и те, перестав жевать, совсем по-детски разом на него взглянули. Елена почувствовала вдруг жалость к ним и тихо вышла из комнаты.

Сидя на кухне с книгой, она слышала его окрики:

— Думайте, думайте! Сочиняйте. Что же вы, восемь человек, не можете привлечь внимания к себе? Вы должны есть публику! Где ваша активность? Неинтересно же на вас смотреть, уйти хочется. Зрители думают: ну влипли, когда же кончится первый акт?.. Ну представьте, что в зале сидит комиссия, которая собирается закрыть ваш театр, а вы их разубедите, добейтесь, чтобы вам жалованья прибавили. Ну поднатужьтесь, чтоб хоть по пятерке накинули.— И снова: — Вася, когда ты здесь, близко, стоишь, в твоих глазах заметна фальшь. И не чувствуется отношения твоего к происходящему. Полное отсутствие активности. Думай, действуй, соображай.

Елена отложила книгу, вошла на цыпочках в комнату — никто ее не заметил, не до нее было. Она даже попятилась — что это, скандал?

Высокая рыжая девушка с распатланными волосами, придерживаемыми обручем из серебряной фольги, показавшаяся Елене по первому взгляду гордячкой, воображалой, выкрикивала сквозь рыдания:

— Не позволю! Не позволю так обращаться с собой! Это дискриминация! Я человек, в конце концов, не только актриса!

Она кричала это Николаю, который с ленцой глядел на нее. И вдруг тихо, отдельно произнес:

— Ну хватит. Прекратить. Времени мало, не до истерик.

И рыжая мгновенно стихла. Вышла на середину комнаты, обняла себя руками за плечи.

— Послушайте, — начала сдавленным голосом, — если это правда...

— Плохо, — прервал ее Николай. — И я ведь уже объяснял, можно было дома поработать и не отнимать у всех время.

— Я еще раз попробую, можно? — рыжая произнесла с мольбой. — Мне вот эта тумбочка мешает, не могу сосредоточиться, она какая-то... корявая.

Елена вышла: тумбочка, видите ли, не понравилась! Она услышала взрыв хохота. Ну народ... У нее слипались глаза...

Варя ей объяснила: их курс — они кончали училище через полгода — образует новый театр-студию. Руководитель — Николай. Официально они пока не признаны, поэтому-то нет и помещения, но о них уже говорят, на учебной сцене их уже видели. И все у них совершенно по-новому и репертуар особый. «Вот увидишь, — Варя сказала, — мы такой еще устроим шум!»

А пока они шумели у Елены в квартире. Елена уже втянулась в ночные бдения, сдружилась кое с кем из дерзких своих гостей. Впрочем, они и не чувствовали себя в ее доме гостями — оттого, верно, что вообще существовали бездомными. Домом для них должен был стать их театр.

Николай пригласил ее на какую-то премьеру, где собирался, опять же по Вариной информации, «весь свет». Елена готовилась к этому вечеру, как к балу, так ей представлялось — премьеры!..

Он сказал: «Встретимся на Маяковской в шесть». Опасаясь потерять красоту при давке в общественном транспорте, Елена прибыла — о чудо! — точно в назначенный час на такси.

Его не было. Она встала, как договорились, под часами. Очень медленно движется время, когда глядишь на большой циферблат. Стрелки как бы пришаиваются к делениям, потом, будто лапки насекомого, судорожно дергаются, припадают к новой цифре. Сердце бьется, часы стоят.

И в четверть седьмого его не было и в половине. Она стояла уже без надежд, устав обманываться, завидев в толпе кого-то, с ним схожего. Но вернуться, проделать обратный путь домой, скинуть платье нарядное и влезть в халат — при мысли об этом полным своим поражении подкашивались ноги. «Буду стоять тут, пока не упаду», — она решила, уже не интересуясь часами.

Он выскочил из-за ее спины, схватил за руку. Ни слова оправдания. Крикнул: «Бежим». И поволок за собой. Она бежала, спотыкаясь на каблуках.

Фойе уж опустело. Какой там бал! Он запихнул ее в задние ряды забитой уже до отказа ложи — и исчез. Тупо она глядела на сцену, не видя, не слыша ничего.

Он появился в антракте. В том же бесформенном свитере, в котором каждый вечер она видела его, встрепанный, лихорадочный, бешено энергичный.

Его энергия ее одурманивала: она шла за ним, боясь потерять его в толпе, а он кому-то кивал, с кем-то переговаривался, вовсе не считая нужным ее представить, хотя она стояла рядом.

Странно, но такая его невоспитанность не вызвала у нее протеста. Она как бы со всем смирилась, все приняла: и неряшливость его в одежде, и несолидность, суетность в поведении, и даже неуважительное его к ней отношение. Он ее подавлял. Но почему? Кто он был — руководитель несуществующего театра? идейный вождь нескольких юных честолюбцев? доморощенный диктатор, усмиряющий истеричных девиц? Кто, в самом деле?

Театральная премьера вовсе не воспринималась им как праздник, каким-то там балом. Он говорил Елене: «Стой. Вот этот мне нужен. Попался! Теперь не уйдет». И устремлялся к солидного вида мужчине, притирал его к стенке и, страстно жестикулируя, начинал говорить... Возвращался, довольно сверкая глазами: «Так... Теперь где-то тут должен быть еще один очень нужный товарищ. А, вот он! Ну-ну»...

Елена уже успела узнать, что по отношению к самому себе Николай был абсолютно небрежен, ел что попало, во что попало одевался, к вопросам быта проявлял не только полное равнодушие, но откровенно презирал тех, кого интересовал этот самый быт. С солидными, сановными людьми так держался, что они шокированными оказывались его дерзостью. И вместе с тем если надо было что-то для и х театра, ради общего дела, он в самые недоступные, в самые высокие сферы находил ходы. И не робел, не пытался подольститься — требовал. Убежденных противников в соратники обращал и самых равнодушных заражал своей одержимостью. Надо — просиживал часами в приемных, обольщал секретарш, но только они теряли бдительность, врвался в кабинет и добивался, насильно вырывал обещанную поддержку.

Идеализм уживался в нем с грубым цинизмом, цепкостью хищника. Черствость с чувствительностью. И трудно было угадать, когда он притворялся: когда проявлял поразительное душевное понимание с полуслова, полувздоха или когда ледяное презрение обнаруживал — презрение ко всем людям, только на то годным, чтобы ими повелевать.



Как-то после ночной репетиции он остался у Елены ночевать. Сказал: «Утром надо быть в министерстве, нет смысла ехать домой. Ничего, ты не против?» Она подумала: повезло ей, что она живет в центре. Но такая нанесенная себе же самой пощечина ее не расхолодила.

Смущенная его недогадливостью — он стоял рядом, курил спокойно, пока она стелила постель, — она старалась скрыть от него неловкость, дрожь ослабевших рук. Отошла, поглядела в окно. Дождь лил, дождю она взмолилась: приблизь, приблизь его ко мне. Дождь был ее настроением, ее грустью, пусть несколько наигранной, но почему бы ему ей не подыграть, не снизить — такая малость: дождь заметить, услышать и утешить ее, обнять...

Она обернулась. Он уже лег, натянув одеяло под подбородок. Розовый, выстеганный квадратами атлас не обнаруживал очертаний его тела, точно под одеялом не было ничего, только голова торчала как отрезанная.

Странно маленькой показалась ей вдруг эта голова, и дико сделалось, страшно.

У ее матери было чутье! Поразительно, с какой готовностью она приняла Николая. С широкой, чуть лукавой улыбкой распахнула для него двери своего дома. Елена и не подозревала, что мать ее может с такой легкостью дерзости сносить, так заинтересованно слушать, так тактично вдруг исчезать и что такая она, оказывается, театралка...

У самой Елены с Николаем все оставалось зыбко, зато в отношениях его с ее матерью сразу все сладилось, оба нашли друг с другом верный тон. Ироничный слегка, позволяющий выказывать обоюдное восхищение, не впадая в подобострастность, вольный, но без фамильярности — больше чем родственник, общинческий скорее.

Этот тон, хотели они того или не хотели, как бы вытеснял, отдалял от них Елену. Точно с ней-то уже все было решено и ошредено — определенность разве может волновать?

Николай Елене не сделал предложения, тем не менее она считалась его женой — так ее окружающие воспринимали, — и она постепенно привыкла к этой роли, хотя неуверенно, несмело чувствовала себя в ней.

Она виделась с ним, как правило, поздно ночью. Станный, нереальный даже какой-то гость, он появлялся у нее в комнате, и слова застревали в горле, когда она видела измученное его лицо, взгляд потухший, безгубый рот. Он с усилием улыбался: «привет» говорил.

Зачем она была ему нужна? Это оставалось для нее загадкой, о которой она не смела спрашивать, потому что другие вроде знали, и только она не могла понять...

Другие и представить себе не могли всей путаности их отношений. Как-то, не выдержав, она пожаловалась матери, но та, вскинув удивленно брови, произнесла осуждающе:

— Как ты можешь, когда человек так занят, когда у него в жизни такой серьезный этап, он так изматывается, что мне глядеть больно, — как ты можешь отвлекать, мучить его ерундой? — И после паузы: — Такому служить надо, понимаешь? Это работа — рядом с талантом жить. А ты со своим бабством...

Елена опустила глаза. Мать, которую она разбудила, выглядела в этот поздний час свежей, бодрой, совершенно уверенной в словах, в своих заключениях. У Елены дрогнул подбородок — какая же она жалкая в сравнении с матерью. Пробормотала:

— У меня, кажется, будет ребенок.

— Ну и прекрасно! — мать воскликнула. — Это удача — от такого человека ребенка иметь.

...Теперь Елена спала днем, а ночью поджидала Николая. В ин-

ституте ей дали академический отпуск, и безделье ее уже не нарушалось ничем.

Новому театру-студии выделили наконец помещение в полуподвале, но эта победа мало тронула Елену — ей-то чем было гордиться?.. Николай приходил ночью, она кормила его на кухне, стараясь не шуметь, не разбудить, не дай бог, мать с отчимом, каждой клеточкой осознавая удручающую свою непривлекательность и смущаясь поэтому его взглядов, давя в себе раздражение, скуку, жалобы, оставленная не чем иным, как страхом, хотя и не понимая толком, чего боится и почему.

Ребенок в ней рос: она ждала его рождения как нового испытания, которое отнимет у нее еще больше сил, красоты, молодости. Она и попыток не делала чем-то свое состояние облегчить. Она умела либо целиком безудержно отдаваться веселью, либо наращивать, накапливать в себе тоску. В тоске прошли все месяцы до рождения у нее дочери, Оксаны.

Няньку звали Евдокией. В широкой ситцевой в мелкий цветок рубашке она колыхалась в слабом свете ночника у решетчатой кровати. Елена стояла рядом, глядя на орущего младенца, шепча испуганно:

— Что же это, что же это...

— На руки возьми, притрей,— ворчливо сказала нянька,— верно, животик пучит.

Елена притянула дочку к груди, чувствуя возмущенное сопротивление в крохотном тельце, судорожно-отпихивающие движения рук, ног.

Чувством протеста, исходящим от ею рожденного существа,— вот чем было отмечено начало ее материнства. Оксана дни и ночи кричала. И даже когда сосала Еленину грудь, щекастое лицо ее выражало недовольство: мол, все равно ни за что не смирюсь. Она постоянно чего-то требовала, сжимала ручки в кулачки, и всегдашняя ее сердитость казалась угрожающе комической.

Елена то смеялась, то пугалась и не решалась признаться никому, что временами ей вдруг чудилось, что Оксана действует не по младенческому неразумению, а нарочно, со зла и все она понимает и наблюдает за всем, злорадно посмеиваясь.

Нянька тоже постоянно бурчала. Деньги ей платила Еленина мать, и потому к Елене она не относилась как к хозяйке, называла на «ты» и явно невысоко ее ставила. Седые волосы свои нянька заплетала в тощенькие косицы, свисающие по обе стороны пятнистого от лопнувших кровеносных сосудов, крупного, сытого лица, и выглядело это, как если бы баба-яга переделалась школьницей.

Впрочем, с Оксаной нянька умела ладить. Девочка даже одаривала ее порой улыбкой, сдержанной, правда,— так мог бы улыбнуться каменный идол, крупнощекий, крупноголовый, самодовольно и неприступно глядящий в никуда.

Глаза у Оксаны были той мутноватой голубизны, какая обычна у новорожденных, веки красные, безресничные, но уже характерным, упрямо-выпуклым был лоб.

Как-то, устав кричать, Оксана занялась в кровати погремушками — сосредоточенно, набычившись по обыкновению, ими громыхла — и вдруг поглядела очень разумным, очень спокойным взглядом на свою мать. Елена аж задохнулась: это было первое признание. «Боже мой,— подумала она,— когда же? И будет ли это? Мы обо всем поговорим!»

Мгновенно ей представилось: они сидят, беседуют с Оксаной как подруги. Вот когда она собеседницу себе найдет, найдет опору — ту, кто избавит ее наконец от одиночества, от холода внутреннего.

Такая, видно, была у нее судьба — всю жизнь искать того, возле кого можно будет отогреться...

А маленькое существо, целиком уместившееся на подушке, перестроило быт целой семьи, вынудило отказаться от привычек, соблюдаемых десятилетиями. В ванной — хорошо еще, что она была просторной, не такой, как в современных домах, — в три ряда от стены до стены висели пеленки, а другие отмокали в тазах, ванная уже не могла служить никому укрытием, блаженным для раздумий местом. И в кухне постоянно что-то кипело, обостряя кисло-сладкие запахи, пропитавшие весь дом, и нянька своим обтянутым пестрым ситцем задом оттирала входящих к двери, в переднюю — в кухню теперь царствовала она одна.

В постоянной этой кутерьме Елена впервые заметила и оценила деликатность отчима. Он затаился в стенах своей комнаты, но застенчивость его была не враждебной, а смиренной, покладистой. Он, как и прежде, не лез ни во что, но в его сдержанности и даже некоторой робости, с которой он привыкал к вторгшемуся в его жизнь существу, Елена отметила что-то очень мужское, подлинное, благородное, чего она раньше в нем не понимала.

Однажды (она стирала в ванной и за шумом воды не слышала ничего) вбежала к Оксане и застала там отчима. Он растерянно отступил: «Тебя требует, меня не хочет». И Елена рассердилась на дочь — и на себя в лице Оксаны, такую в детстве неблагодарную, рассердилась. Девчонки! — неужели хоть каплей добра, тепла не могли они ответить на заботы этого человека?..

Он постарел. Старела и мать. Но ее старость тяжелила, огрубляла, а отчима высушивала: изжелта-бледное лицо, пух серебрищихся слабых волос и, главное, впечатление хрупкости, бесплотности — вот что было в нем новым.

Новым также стал взгляд: верхние веки как бы растянулись, одрябли, глаза то ли уменьшились, то ли запрятались вглубь и глядели воспаленно, с напряженной выжидательностью.

Елена думала: как много за свою жизнь этот человек наработал и как всегда был непритязателен. Вспоминала совместные с ним обеды, ужины: он ел рассеянно и точно не замечая, что лежит перед ним на тарелке, — усталость, скапливающаяся годами, тормозила, притупляла все ощущения в нем и все, что происходило вокруг, до него долетало в слабых, запаздывающих отголосках. Как эхо. Тем и объяснялась, может быть, его кажущаяся безучастность.

Елене прежде казалось, что он скрытен от холодности, а тут скорее была реакция защиты. И любовь его к Елениной матери питалась, возможно, его от нее зависимостью, восхищенной и в чем-то эгоистической благодарностью ее жизненной силе, живучести, приспособленности к тому, перед чем он сам пасовал.

Но все эти Еленины открытия мало что могли изменить в сложившихся давно отношениях. Хорошее куда проще оборачивается дурным, чем дурное хорошим. Тем более в узком кругу семьи. Сила инерции не дает заметить новое в привычном. Разочарования дорого стоят и долго помнятся. В определенном же возрасте у человека появляется особая к себе бережность: плохо ли, хорошо ли, но пусть лучше будет по-прежнему. Перемены — они не к добру. Тут уже даже не сознание диктует, а физиология.

Наблюдать за стареющими людьми всегда грустно, тягостно. Но Елена в размышления такие не углублялась, для нее они лишь как фон были. Она ждала от своих близких понимания, соучастия, но те, ей казалось, как-то даже демонстративно посторонились. Сносили бытовые неудобства с жертвенным терпением, в чем тоже виделась нарочитая отстраненность. Девочка плакала, Елена, пытаясь ее успокоить, оглядывалась на дверь: орущий младенец всем мешал, утомлял — молчаливое осуждение таилось по всем уг-

лам этой квартиры. И одиночество с материнством ее словно бы еще более ужесточилось. Одна, одна, целыми днями одна! Николай возвращался поздно, измочаленный, от усталости совсем равнодушный — и это уже было нестерпимей всего!

Он даже не подходил к детской кроватке. Первый его вопрос: есть что пожевать? Снимал пиджак, вешал на спинку стула. Елену точно обдавало кипятком. Казалось, вот-вот сердце остановится, так было больно, обидно.

Однажды он взял дочку на руки, по комнате прошелся, прижимая к себе. И вдруг лицо его исказилось гримасой брезгливости. «Возьми,— сказал отрывисто. — Да заведи же скорее!» Елена испуганно, не понимая, приняла у него дочь. Он выскочил в ванную оттирать свои брюки: ну да, они у него были единственные...

О театральные свои дела он почти ничего не рассказывал: за полночь, при спящем ребенке какие могли быть разговоры? Да, верно, и Елена, встречающая его в ночной рубашке, растрепанная, не располагала к откровениям на такие темы. Впрочем, неприятностями он вообще предпочитал ни с кем не делиться. Елена знала только то, что удавалось услышать из его телефонных разговоров.

Ему звонили и ночью: она цепенела, опасаясь, что звонок перебудит весь дом. А он спросонья гаркал, не понижая голоса: «Да, слушаю!» То ли не умел, то ли не желал вникать ни в какие сложности совместного существования.

Как ни странно, но ему все прощалось. Не прощалось Елене. Мать выговаривала: в ванной всю ночь горел свет, в холодильнике банка со сметаной опрокинута — нельзя ли все-таки поаккуратней? Мелочи, пустяки, но как же они изводили! И тут Елена снова оказывалась одна. Николая мелочи не касались — он был выше! Он был где-то...

Он презирал домашние свары и сам же с бездумной небрежностью провоцировал их. Телятина, нашпигованная чесноком, вовсе не для него предназначалась: Еленина мать и отчим ждали гостей. Николай, возвратившись с ночных репетиций, сметал то, что в холодильнике попадалось. Он не вникал. До такой ерунды ему не было дела. Он, черт возьми, работал! Да что за мещанство, в конце концов... Болото какое-то! Куда попал? Тоже, называется, интеллигентные люди. Зажирели, оступели от сытости. Посредственности, бездарности, их добродетели гроша ломаного не стоят. И вот же устраиваются, преуспевают. И дают, дают других... «Кто тебя давит?» — спрашивала Елена. Николай негодуяюще взмахивал рукой. Замолкал. Замыкался, убежденный в своей правоте. И вообще все вокруг были правы. Только она, Елена, одна не права.

В мае вместе с няней и ребенком она перебралась на дачу, снятую опять же на деньги отчима. Проезжая на такси через дощатый, огороженный скошенными низкими столбиками мост, увидела то ли пруд, то ли озеро. Вода, покрытая кое-где пятнами ряски, недвижимая, густая, бездонная, потянула к себе как магнитом.

Как давно она не видела моря! Как давно не ощущала ласкового его прикосновения, мгновенно освобождающего от всех пут, разочарований, огорчений, и из самого нутра тогда поднимался ликующий, победный — зверью, а не людям ведомый — счастливый вопль...

Сарафан — широченная юбка, облепляющая при каждом шаге ноги, и вызов не в обнаженных плечах, а в прикрытых тонкой материей коленях. Шея, руки — бледны, застенчивы, а бедра, живот — самоуверенны, бесстыдны.

Так, помахивая купальным полотенцем, шла Елена по поселку после купания в пруду.

В воскресные дни туда много съезжалось народу. Машины, мотоциклы мчались, и пруд и лес тогда как бы мельчали, жухли, и да-

же дышалось иначе, не так глубоко, без распирающей легкое живой прохлады.

Но Елене нравились как раз такие дни, разнообразящие ее дачное заточение. Было для чего, для кого надевать яркий сарафан и босоножки, которые в следующем сезоне наверняка выйдут из моды. Летом вообще как-то радостнее жизнь, летом большего хочется, и хочется нетерпеливей.

В воскресные дни на мотоцикле к ней приезжал Игорь.

Она почти о нем забыла, и вдруг он появился вновь, беспечный по-прежнему, но беспечность теперь и привлекала в нем. И отработанность его шуточек, которым можно было не раздумывая смеяться, и всеядность его, обходительность, дешевая галантность — мишурный блеск тем, бывает, и радуется, что не нужно им дорожить, опасаться утратить.

Игорь, в кожаной короткой курточке нараспашку, с сигаретой в углу усмехающегося рта, очень коротко остриженный и оттого еще более помолодевший, сигнализировал ей за воротами, не слезая с мотоцикла.

Она сбегала с крыльца, оглядевшись — где нянька? — пригибаясь, прячась, и, сознавая бессмысленность всех этих предосторожностей, выскакивала за калитку и, точно вырвавшись из темницы, утыкалась лицом в пахнущую грубой кожей грудь Игоря. Он гладил ее твердыми пальцами по мочке уха. Она замирала. Над чем раздумывать и к чему сомнения? Главное, он приехал к ней, приехал ради нее...

Николай со своим театром-студией гастролировал в провинции и присылал короткие телеграммы. Она без всяких угрызений совести складывала его послания в ящик с бельем, с наивной уверенностью полагая: а что, а разве это кого-то касается? вредит кому-то? Ну, просто лето, просто не могла она больше ждать.

Николай вернулся. Целуясь с ним, она заметила, что снисходительная насмешливость и тут не угасла в его глазах. И впервые не обожглась, впервые подумала спокойно: он просто не умеет иначе. Кому что дано. Пусть другие обманываются, считая, что талант и в любви предполагает большую силу. Увы! Талант совсем не есть гармония, соразмерность. Больше того, в развитии своем он все пропорции разрушает. Да, внутренние. Пожирает, высасывает то, ради чего живут обыкновенные люди, что составляет счастье для них.

Николай, сидя на верандочке, ел гречневую кашу с молоком из эмалированной миски. Елена через стол, напротив, глядела в упор. Он поднял взгляд, улыбнулся с обычной небрежной самоуверенностью.

Ну да, он отдыхал, отмякал. Чтобы привлечь к себе внимание, его надо было по голове треснуть! Елена встала, унесла в кухню пустую миску. Покой, тишина, благоденствие, казалось, царили вокруг: сытый муж, спящий ребенок, нянька, стирающая в корыте детское белье.

Елена опустилась на табуретку, прислонилась, прижалась к стене. И вдруг, качнувшись, размахнувшись всем телом, ударила в стену затылком. Еще раз, еще и еще — удерживая стон сквозь стиснутые зубы.

Через три дня Николай рано утром — Елена еще спала — уехал, оставив на столе записку, придавленную сахарницей: «Я ушел от тебя».

Она не горевала. Она испугалась матери. Как в школе, когда получала двойку. Грех вроде бы и невелик, но мать так грозно умела обрисовать последствия, что действительно хотелось — не жить!

А тут... Да, она была виновата, но... Как объяснить? Есть правила, есть запреты, но, бывает, не видишь черты, не хочешь видеть и — счастлива. И не могла она, даже после случившегося, отнять у

себя тот июль, ночные купания, затаенную тишину леса, восторженный шепот Игоря, свою к нему нежность и смелую силу. И не было тут греха, и это было куда лучше и чище, чем с безучастным Николаем, когда, лежа с ним рядом с открытыми и невидящими глазами, она слышала его посапывание, спрашивала себя со страхом: зачем я ему?..

Но и Игоря, увы, она не любила. Вернее, любила в нем любовь, а сам он с будничными своими интересами, попытками всерьез и на трезвую, как говорить, голову объяснить таким сразу делался унылым! И она переставала слушать. Почти ненавидела, заплакать была готова — так, проснувшись после волшебного сна, сжимаешь кулак, но знаешь уже, что нет там соколовища, что одна пустота в ладони...

Игорь пришел. Сидел неудобно, не касаясь спинки венского шаткого стула, осы кружились над банкой с вареньем, мелкие пыльные окна верандочки дребезжали, когда мимо проезжали грузовики. Сказал, что готов нести ответственность. В его решительности была ненадежность, жалкость.

Он мгновенно поблек. Елена уже с отвращением разглядывала его. Ощущала к недавнему любовнику девическую брезгливость. Представить тошно!..

Игорь оказался невысок, с женственными покатыми плечами, короткошей, с нездоровой пухлостью щек, грозивших разрастись в мордөн — тупую, самодовольную. И потом — он же был недалек. Что он нес? Какая удручающая заурядность!..

Но тот, в июле, был другим — не могла же она так ошибаться! Зеленовато-серебристый отсвет на их телах, небо, поддерживаемое островерхими высокими елями, упругие волны густой травы, в которой они утопали, и шепот — они почему-то шептались, хотя на километры никого не было близко.

В ушах остался шепот, а не слова, не смысл сказанного. Недоуменно, недoverчиво она глядела теперь на него. Сказала, ненавистно улыбаясь: «Ты только, Игорь, не волнуяйся...»

Мать к ней приехала. Так получилось, будто она, Елена, находилась в тюрьме, под следствием, и ее навещали. Мать сидела на той же верандочке, на том же шатком венском стуле. Пила чай. Евдокия угодливо ей прислуживала. Елена ждала. Мать наконец подняла на нее глаза. Спросила бесцветно:

— Что будешь делать?

— Уйду, — Елена ответила, — сниму комнату.

— То есть из дома уйдешь? — все так же без интереса спросила мать.

Елена кивнула.

— Как знаешь...

И тут мать порывисто встала, сердито ладонью утерла глаза. Лицо было мокрым от слез, но по-прежнему равнодушным, каменным.

— Что ты наделала! — горестно, но будто себя, а не Елену жалея, воскликнула. — И ничего ведь от тебя не требовалось, только немного потерпеть... И кто? Какой-то подонок, ничтожество! Так разменяться... Или ты вообще ничего не соображаешь? — Мать изучающе посмотрела на нее. — Николай! За него надо было обеими руками держаться. Все терпеть! Чутье твое женское было где? Пойми, это кажется, что с талантливым человеком жить сложно, на самом деле талантливые люди доверчивы, просты. Только найти подход... Немного постараться — и очень скоро ты бы сделалась необходимой ему. Талантливые привыкают, приживаются, и лень им налаженное ломать — на другое уходят силы. Поэтому с талантливыми даже надежней, чем с теми, кто от незанятости, от пустоты в любой момент черт-те что выкинуть может. Ты слышишь? Елена, ты слышишь меня?..

Потом приезжала Варька. В жарком, не по погоде, но фирменном явно жакете, в плетеных, с впивающимися в толстые ноги ремешками, открытых, нарядных туфлях — она их с облегчением скинула, как только села.

Варька преуспевала. О ней уже писали, «шумели», но в выпуклых упорных темных ее глазах оставалась прежняя недоверчивость и лихорадочность, как у опаздывающего на поезд.

Варька никак не могла удобно усесться, что-то ей мешало, давило — может, фирменный тесный жакет, может, цементирующий ее телеса резиновый пояс.

Самонадеянность, даже наглость, как и прежде, сочетались в ней с нервозностью, ревнивой подозрительностью. «Хочешь, — вдруг выдохнула она страстно, — я помирю вас?»

Елена покачала головой, и Варька неожиданно успокоилась. Начала говорить об их театре, о предстоящей премьере, гастролях, о ссорах частых между ней и Николаем и о своем восхищении им. Елена знала, что говорит Варька об этом без всякой задней мысли: она просто-напросто забыла, какая причина привела ее сюда из Москвы. И только анализируя специфику работы режиссера, способность его высекать из других подлинное, то, что, случается, и ему самому недоступно, тогда только вдруг смутилась. Виноватая глупая ухмылка распустила ее рот. Она нагнулась надеть свои нарядные, с лаковыми ремешками туфли. Когда выпрямилась, лицо было красным, распаренным: ну вот, говорил ее взгляд, даже удача, успех отравляются какими-то мелкими неприятностями — туфли жмут, черт бы их побрал!

Впервые, пожалуй, Елена оказалась способной что-то самостоятельно решить и довести до конца задуманное: собрала вещи и отбыла из дому. Сняла комнату. Платила за нее мать, но в эту дель Елена не вникала, и так было достаточно, над чем голову ломать.

В переезде ее, конечно, крылся вызов. Но мать не препятствовала. Николай не появлялся. Игорь — его и не следовало принимать в расчет.

Квартира, куда они с Оксаной вселились, напоминала коммунальную, хотя принадлежала сестре и брату. Но отношения между родственниками сложились такие, что хуже, чем у чужих. Никто не желал ударить палец о палец, квартира пришла в запустение, лет пятнадцать не ремонтировалась, и такие велись в ней кухонные дрязги, что ой-эй-эй!

Сестра, Галка, была немногим старше Елены, но выглядела лет на сорок. Точнее, вообще как бы не имела возраста. Худенькое верткое тельце и испитое оплывшее личико. На что она жила и чем занималась — загадка. Являлись к ней какие-то подозрительные личности, устраивались пьянки, но без веселья, с каким-то нарочитым надрывом. Галка тогда брала гитару с выцветшим мятым бантом, висевшую обычно на стене, и после долгого сомнамбулического глядения в одну точку неожиданно резко схватывала костлявой лапкой струны.

Пела обычно что-нибудь подзаборное, псевдоблатной фольклор, выговаривая непристойности как иностранные слова, но, бывало, пела и старинные романсы: «Сомнение» Глинки, «Элегию» Дельвига, «Слеза дрожит»...

И вот тогда Галка менялась. Пела без всякой аффектации, просто, строго, не играя в печаль, но ее и не прятая. Правдиво, честно — и будто о своем пережитом. И голос вдруг очищался от хрипа, от пошловатого смешка; силы в нем не было, но были чуткость, музыкальность и безошибочный, верно, природный вкус. Лицо обретало холодность, неприступность даже. И такая внешняя сдержанность,

когда пелось, рассказывалось о самом сокровенном с безыскусной ранящей доверчивостью,— вот это и впечатляло.

А по столу — огрызки, консервные банки, бутылки, дремучие лица, табачный смрад. В стену стучала жена Галкиного брата Глеба. Галка вперялась в эту стену ненавидящим взглядом: тьфу!

Когда-то — сейчас и представить такое трудно — это была благополучнейшая семья. Отец, внешторговский работник, занимал высокое положение, потому и квартиру получили такую роскошную, стометровую, в самом центре.

Кое-какие вещи из той, прежней, жизни все же удержались. Бронзовый торшер в образе юноши с нелепо задранной вверх рукой. Венецианские, чудом уцелевшие бокалы, стоявшие теперь у Галки в платяном шкафу. Люстра, хрусталь с кобальтом, так высоко висевшая, что пьяные гости не могли до нее дотянуться. Но эти остатки былой роскоши еще больше подчеркивали нынешнее запустение.

Отчего у приличных, работающих, высокопоставленных родителей дети, брат и сестра, выросли подонками? Вроде бы и безобидными — Галка даже по-своему была добра,— но в действительности достаточно опасными, так как беспечность к собственной судьбе вела к наплевательскому отношению и к судьбам других: ничто не дорого, ничто не свято, ни ответственности, ни раскаяния.

Однажды Галка, умиленная Оксаной, сунула ей кусок давным-давно купленной копченой колбасы — Елена успела в последний момент выхватить. А брат ее Глеб, утонченный истерик, выхлебал детский бульон: Елена цыпленка специально на рынке покупала. Занятые постоянной враждой друг с другом, постоянным придумыванием каверз, эти родственнички и Елене вредили, по ошибке, правда: Галка думала, что это Глебова жена кашу варить поставила на плиту, а жена Глеба, наоборот, считала, что Галка. Так или иначе, кто-то пустил огонь на полную мощность, каша сгорела, кастрюля пропала, а Оксану пора кормить...

«Зачем вы живете вместе? — спрашивала Елена Галку. — Это же дикость — так друг друга истязать!» «Ну да,— с хитрецей, но как-то по-сумасшедшему прищуривалась Галка, — чтобы братец меня в тмутаракань загнал, в сарай какой-нибудь, а сам зажил со своей супругой бариним? Нет уж!» «Но почему,— Елена в который уже раз и потому без энтузиазма объясняла,— можно обменяться хорошо, чтобы всем было удобно. И уж по крайней мере нормальной будет жизнь». «Нормальной не будет! — выкрикивала Галка, и глаза у нее становились совсем сумасшедшие. — Какая нормальная? У нас? Да мы по кусочкам, медленно друг друга съедим — вот тогда все и кончится».

Вот что было в них страшно: обреченность. Если обои от стен отстали — пусть клочьями висят. Паркетина отлетела — пусть пол провалится. Денег нет — надо пальто продать и пропить поскорее деньги. Что-то, Глеб жаловался, сердце покалывает — вот и хорошо, сдохну скоро.

Когда это началось? Когда возник в них этот азарт самоуничтожения? И почему? Привилегии ли, которыми они пользовались в начале жизни, их развратили? Или тайный какой-то недуг таился в этой внешне здоровой семье? Или, однажды Елена подумала, в том беда брата и сестры, что оба от природы незаурядны, но одаренность, не выраженная ни в чем конкретном, так сказать, не задействованная, обернулась в бессмысленное, злое, разрушающее изнутри томление, превратилась в болезнь?

Впервые, по контрасту с Галей и Глебом, Елена ощутила себя положительной. Рассудительной, разумной. И в институте снова училась, только на вечернем отделении.



Вспоминала Николая. Как он приходил ночью, как на кухне, опасаясь шуметь, она кормила его, как пил он чай, заплетя одна за другую длиннющие ноги. Как был равнодушен, скучен в любви. Как быстро засыпал. Как глядела она с тяжелым сердцем на него спящего.

А говорили — талант, личность! С ней он почему-то таких качеств не обнаруживал. Выжатым, пустым видела она его. Может, и несложно было бы так жить и немного усилий действительно от нее требовалось. Только — пусть станет он знаменитым, пусть мама осуждает ее, пусть считает, что блестящая жизнь по ее же вине от нее уплыла, — не жалко! Это был не ее путь. Нет у нее тщеславия жены, другое есть: требовательность женщины.

Ходит? Ну и что! — она его не зазывала. Не заманивала. Нарочно даже, с ехидцей вынуждала в самых неприглядных будничных заботах участие принимать. За молоком для Оксаны бегать, а однажды — он с цветами явился — попросила вынести помойное ведро.

Он вынес. Потом в ванной долго, тщательно мыл руки. Чистоплюй! Квартира на него должна была произвести ужасающее впечатление. Но он только сказал: «Сквозняки... Не простудится ребенок?» И в следующий раз принялся очень аккуратно, сосредоточенно заклеивать окно. Елена в душе и смеялась и злилась. Что он, измором ее решил взять?

А с виду был такой баловень, красавчик: глаза серые, орлиные, чуть оттянутые к вискам, рот с изогнутыми губами, а цвет лица медно-смуглый, как у индейца. Подтянутый, спортивный, здоровьем своим очень занимался: лыжи, теннис, пробежки по утрам. Откуда только такой выискался, как прилип к ней?

На дне рождения у Елениной сокурсницы они познакомились. Елена пришла, а все парами, женатиками, — скукота! Решила: хоть поем вкусно и пораньше уйду. Но что-то, видно, в самой крови ее было, что не позволяло оставаться в тени, не выделиться, не сделать попытку хоть чье-то внимание привлечь к себе. Выпила, и чертик в ней зашевелился. Огляделась: ни за кого не зацепился взгляд. Но захотелось раздражить, расшевелить этот тускло тлеющий костер, чтобы вспыхнули, запламенели мерно жующие за столом лица гостей. Встала, шумно двинула стулом: «А музыка — где?»

Мать все же подбрасывала ей тряпки, и тут Елена порадовалась, что модные на ней брюки, свитер белый, — и вот она встала и взглянула на них, сидящих за столом.

После первого, натужного танца с неловким, стеснительным мужем сокурсницы и другие пары за ними потянулись. Завертелось: улыбки, шуточки, намеки, взгляды, и хочется, и колется, и настороженно-опасливо — где муж? где жена?

Они-то расшевелились, а ей уже скучно стало. как гастролерше в провинции, после чалхых аплодисментов: боком к столу, чтобы затереться в угол. Неужели что-то сломалось в ней?

И тут навстречу поднялся он, высокий, — кажется, Митя? Лица его медно-смуглого она не успела разглядеть.

Полутьма, положенная на подобных вечеринках. Теснота. Пары рядом топчутся — тысяча раз все это было. И вдруг она почувствовала, как крепко, властно, с откровенной жадностью обняли ее его руки, — она удивленно взглянула снизу вверх.

Он ответил ей суровым взглядом. Эта суровость вместе с трепетной жадностью рук ее взволновала. И оказалось новым, еще неиспытанным — в л е ч е н и е, в котором разум никак не участвовал, даже, пожалуй, сопротивлялся. Он ей не нравился, этот медно-смуглый, — ее влекло к нему.

Больше она с ним не танцевала. И ускользнула домой, чтобы не увязался провожать. Но дня через три он позвонил: узнал, верно,

телефон у той же сокурсницы. Напросился в гости, и вот, нате вам, зачастил.

Но уже ни разу не повторилось то, что возникло между ними в танце. Она держала его при себе как мальчика на побегушках, будто кому-то мстя неосознанно, будто желая самой себе что-то доказать. И он вроде бы покорился незавидной этой роли: значит, она решила, не опыт, не искушенность тогда, в танце, у него обнаружилась, а нечто для него самого неожиданное и, следовательно, ей проще будет им повелевать.

Она и повелевала. Но незаметно, изо дня в день сама привыкала к его услужливости. И вот он уже Оксану из яслей забирал, воспитательницы его узнавали.

Но ни словом, ни жестом не нарушал он установленных ею для него пределов. И насмешки ее, и нередкое в ней к нему раздражение отскакивали от него, как от стенки. Удивительно: он до капельки, абсолютно был ей ясен, прост, но в простоте его крылась такая гранитная цельность, что никак ей не удавалось этот монолит прошибить.

И вот тут в ней зародились сомнения. Упрямый платонизм с его стороны, все более крепнувшее и как бы устраивающее его вполне приятельство (без тени намека на что-то другое) вернули ее — может быть, из духа противоречия — к тому вечеру, к танцу, когда она вдруг удивленно на него взглянула, почувствовав властную, грубую почти от нетерпения, жадную силу его рук.

Что ж это было — случайность? Или он так легко от нее отказался? Может, попробовать теперь ей его соблазнить?

Поразительно! Он уклонялся. Вечером, едва Оксана засыпала, хватал пальто, дико, испуганно, по-лошадиному косил глазом — и был таков. Елена гневно хлопала ему вслед дверь, представляя, как он, скользя рукой по перилам, еле сдерживается от хохота — смеется, смеется над ней! Этого она еще никогда не пробовала — принуждать...

И все-таки ей удалось. Ну и победа... Она лежала, глядя на покоробленный, с бездарной лепниной потолок, на корявый шнур, спущенный низко к пыльному, в форме шара пластмассовому абажуру, глядела, не думая ни о чем. Почти забыв о том, кто лежал с ней рядом. Но — повернулась и снисходительным жестом провела ладонью от лба его вдоль щеки. И вздрогнула — ладонь ощутила влагу. «Что ты, что ты?!» — она закричала, губами коснулась — и не ошиблась: да, горячо, солоно.

Мужские слезы — это ведь стыдно. Как смел он быть таким жалким? Хотя, быть может, она виновата и здесь? И от раскаяния, от вынужденной участливости снова ткнулась губами в его лицо.

Он ее отстранил, но тут же привлек, прижал крепко. Сказал с неожиданной твердостью, трезвостью: «Бедная моя, бедная. Что ты с собой... Зачем так терзаешься, зачем изломалась?.. Бедная, слабая, глупая моя...».

Она удивленно — и страстно веря каждому его слову — слушала. Моргала, чувствуя, как ее ресницы щекочут его ладонь, большую, в которую она вся сейчас спряталась.

Все сложилось не так плохо. Митя, для которого, как оказалось, официальная сторона была очень важна, став мужем — законным, признанным, что ли, — раскрепостился. Улыбчивее стал, свободней и обнаружил новое для Елены свойство — всем нравиться. А для нее это было отнюдь не безразлично — мнение других о том, что ей принадлежало. Понравился он не только подругам. Но и матери ее. И даже отчиму. Правда, тот никак не мог запомнить имя нового зятя, путался, смущался, беспомощно взглядывал на Еленину мать и, желая, верно, загладить вину, похлопывал одобрительно по спине Митю. Такая не свойственная ему вовсе дружеская фамильярность

Елену настораживала, но Митя, плохо знакомый с особенностями их семьи, ничего странного тут не видел, твердо верил в хорошее — и почему, собственно, не жить всем в мире?

Да уж, действительно, был он простоват. Рядом с ним Еленой овладевало двойственное чувство: жалостливое, какое-то даже щемящее — р о д н о е защитить — и одновременно желание показать окружающим, что она-де вот совсем другая...

Ей представлялось, что это ее замужество нуждается в разъяснениях, что кое-кто недоумевает, посмеивается у нее за спиной. С Николаем было иначе; она существовала в его тени, зато, бывая с ним на людях, втайне гордилась — е е он выбрал!

А тут выбрала она... Безвестного паренька, работающего на телевидении. Милого, симпатичного, но абсолютно рядового. Не то что она его стыдилась, но атмосфера, среда, в которой она росла, сформировали в ней определенный стиль, тип мышления. Особость свою, исключительность — вот что каждый стремился в той среде за собой утвердить. Исключительность воспринималась как некий титул, знак избранничества. Незаметность, неразличимость в толпе засчитывались как поражение. Такое сознание давило, как пресс, рождало неослабное напряжение: все вокруг глядят, разглядывают, оценивают тебя. Размягчиться значит подставиться. Постоянная готовность дать отпор. Кому? Всем! Ведь исключительность вызывает зависть, за нее приходится расплачиваться.

Елена, выйдя замуж за Митю, как бы не оправдала тех надежд, кем-то (кем — неведомо) на нее возлагаемых. Так ей казалось. И хотелось кому-то доказать, что не неудача ее постигла, а нашла она то, что искала. И в этом еще убедятся. Все убедятся. И она сама тоже, наверное... Она будет счастливой, будет любимой — глядите, глядите! А пока она настороженно чувствовала себя рядом с новым мужем: вдруг он скажет, сделает что-то не так, не то...

Потребность оградить Митю от насмешек уживалась в ней с возможным пренебрежением к нему, коли даст он повод над собой посмеяться, — и тут уже был шаг к предательству. Правда, она удерживалась пока на грани, но подспудно догадывалась: да, может все обернуться и так... Подозревать дурное в себе и заведомо с ним смириться весьма характерно для определенных натур.

А Митя-то — вот странность! — вроде вовсе не страдал от своей ординарности. Был спокоен, уравновешен — настолько, что Елене даже чудиться начинало: а уж не ошиблась ли она в нем? Может, он еще удивит ее, чем-то выдающимся огорошит? Но сама бы она не смогла объяснить, чего ждала...

Хотя ведь складывалось все совсем неплохо. Приятной неожиданностью оказался и щедрый жест с родительской стороны: им дарили кооператив. Мать сообщила об этом скороговоркой, что означало: решение обдумывалось давно, — и Елена, так же торопясь, благодарила, но отчего-то не посмела поцеловать мать; возникла пауза, они были вдвоем на кухне, мать замешкалась, Елена стояла близко, но к матери не потянулась и позднее поняла: эта ее неблагодарность матерью не забылась. Но что-то, видно, изменилось уже в их отношениях, раз удержалась Елена от поцелуя: боязнь ли, что мать может ее отстранить, нежелание ли показаться неискренней или догадка, что щедрость идет не от сердца, а вызвана житейскими, трезвыми расчетами: пора, пора пристроить баламутную дочь...

Итак, им с Митей подарена была квартира, двухкомнатная, в кооперативном доме. И дом оказался почти готов, с недели на неделю ожидалось заселение.

Митя принял эту новость невозмутимо. То есть он обрадовался, но ничуть не казался смущен, даже для виду. Елене такая готовность у р в а т ь, как она про себя определила, не понравилась, мягко говоря.

В семье, где воспитывалась она, и добродетели и недостатки классифицировались особо: самым тяжким считался грех мелкой выгоды, а также угодливой, ради суетного интереса лживости и корыстного интриганства. Зато бескорыстно можно было интриговать, точнее дипломатничать, состязаться в наблюдательности, сообразительности,— ведь тут побеждали лукавство, ум. Ум очень высоко ставился, уму даже эгоизм прощался, но опять же не мелкий, а, так сказать, с размахом: уж эгоизм так эгоизм!

И еще очень ценились жесты: жест бескорыстия, великодушия, прощения, гнева, но непременно чтобы широким он был — по л у ш и р о к и й жест с презрением отмени бы.

В правила этой семейной игры Митя, увы, посвящен не был. Да и откуда! Его воспитание проводилось другими методами и в другой среде, Елена понимала... Но когда они вдвоем пришли осматривать новую квартиру и Митя, не сдерживая ликования, выбежал на балкон, щупал кафель на кухне и в ванной, Елена с брезгливой усмешкой наблюдала за ним. Это был ее жест — ей якобы все равно, где и как жить (в безобразии ли у Галки, в другом ли месте),— но подоплека жеста была другой: ей завидно было смотреть, как он ликует, ей это было не дано — радоваться тому, что есть, что сейчас существует, что доступно. Ей что-то будто всегда мешало, и прошлое, исчезнувшее, упущенное, предстало в осеннем печальном сиянье,— пыталась настоящее прошлым мерить. Наблюдая за Митей, вдруг подумала: а как бы вел себя в этих обстоятельствах Николай?..

Переселение ее с Митей в новую квартиру совпало с той порой, когда в моду вошли легконогая мебель, встроенные шкафы, раздвижные диваны, стены в комнатах красились в разные цвета, увлекались керамикой, украшали свой интерьер ползучими растениями, корнями, найденными в лесу и на морском берегу.

Дешево, но сердито — таков был стиль тех лет. Приучали гостей довольствоваться питьем кофе из маленьких глиняных чашечек, зажигали на журнальных низких столиках свечи — и говорили, говорили...

Женщины распустили по плечам уставшие от завивок волосы и принялись усердно размалеживать себе лицо: краски, прежде пригодные только для сцены, теперь вошли в обиход — синие веки, тяжелые от туши ресницы, мертвая бледность заштукатуренных пудрой щек.

Вспыхнул невиданный, поголовный интерес к поэзии — в стихах искали сенсаций, самых свежих, опередивших газеты новостей, домашние барды и трубадуры плодились, как грибы. Посещение организованных концертов считалось благородным тоном; возникла жажда путешествий пешком и на автомобилях — о семейных робинзонадах рассказывалось знакомым взахлеб, впечатлений хватало надолго.

Ветер свободы навел страсть к омоложению. Тоска об упущенных возможностях и страх еще что-то упустить породили энтузиазм, подвижнический интерес в поисках давнего, забытого, и будущего, сверхсовременного. Мужчины отращивали бороды, а жены принялись вязать им грубошерстные бесформенные свитеры. Яркие шарфы носили теперь небрежно, перекинув один конец на грудь, другой на спину — а-ля итальянский безработный.

И говорили, говорили, говорили...

Стало возможным являться к друзьям без предварительного уведомления и засиживаться за полночь. Сломался порядок российского основательного гостеприимства: за стол гостей не рассаживали и созывали народ, не заботясь, хватит ли всем еды. Гость тоже пошел другой. Выработал способность сам о себе позаботиться: выхватывал через головы подходящий кусок, рюмку наливал, не дожидаясь тоста, не искал признательным взглядом хозяйку. Хозяйка — та уже битый час обсуждала нечто животрепещущее, уединившись с неким бородачом

на кухне. Из магнитофона рвался хриплый отчаянный баритон, сам себе аккомпанирующий на гитаре, но его вроде и не слушал никто.

Уходили столь же неорганизованно, как и приходили. Обнаружив наконец, что квартира пуста, хозяева зевали и заводили на утро будильник.

Елена с головой окунулась в эту новую жизнь. Митя оказался домовитым и собственноручно отделал квартиру в соответствии с модными требованиями: появились у них и встроенный шкаф, и раздвижная, обитая пупырчатой материей тахта с квадратными подушками, настольная лампа, сделанная из бутылки из-под виски, торшер с плетеной корзиной вместо абажура.

Другую комнату оборудовали под детскую, там Оксана жила, стоял аквариум с рыбками; кормлением их занимался Митя.

Он занимался и Оксаной. Читал ей книжки, не щадя голосовых связок, изображая в лицах то волка, то козу. Оксана сидела притихшая, глядела ему в рот.

У него были ловкие пальцы и большое терпение. Оксанины ссадины, болячки зеленкой мазал, дул по ее требованию, чтобы утишить боль, с бинтами, пластырями возился, и Оксана все так же пристально, внимательно на него глядела.

Когда они вместе, Оксана и Митя, смотрели по телевизору мультфильмы, реакция у обоих была одинаковая; больше того, девочка как бы ждала, точно сигнала, смеха Мити и тоже тогда заходила в хохоте.

Временами Елена ловила брошенный на Митю Оксанин взгляд и читала в нем бесконечную щенячью преданность. Хотя бывало, что она ему и дерзила, — он тогда обижался, и Оксана кидалась к нему утешать.

Митя хотел Оксану удочерить, но Елена не позволила: во-первых, зачем отказываться от алиментов, во-вторых, родной Оксанин отец, Николай, наверняка еще блеснет, прославит фамилию — зачем же у девочки перспективы отнимать?

Оксана росла похожей на всех других детей: ни красавица, ни дурнушка. Прямая челка, пухлое личико, светлые блекловатые глаза. Единственной особенностью в ней можно было, пожалуй, считать умение ее себя самую занять, подолгу оставаться в одиночестве. Елену, случалось, тревожила в детской тишина, она открывала дверь — Оксана сидела на диване, подтянув колени к подбородку, что-то бормоча себе под нос. Вздвогнув, оборачивалась к матери, отрывисто, совсем по-взрослому произносила: «Что?» И Елена терялась под этим сердито-испуганным, виновато-отстраняющим взглядом. Прикрывала за собой дверь, чувствуя, что помешала.

Впрочем, они жили вполне складно, как, наверно, и должна жить нормальная, обыкновенная семья. Настроение поднималось, когда появлялась в доме обновка, пусть даже самая пустяковая, и падало, когда возникало безденежье. Митя работал на телевидении и хватался за все, что давало приработок. Елена устроилась в НИИ в отдел информации. Начало их совместной жизни, казалось, не случайно совпало с той порой, когда дешевизны не стыдились, не стыдились кое-как одеваться и абы что есть и в доме своем не дорогими вещами гордились, а выдумкой, изобретательством, когда всем хотелось общаться и была уверенность, что общение такое необходимо и очень многое может дать. Это была пора подъема.

А может, просто молоды были?

Начальный период их жизни ознаменовался также бесчисленным количеством знакомств, калейдоскопом лиц. Естественно: совместное существование складывается из двух отдельных половинок, «твоего» и «моего». «Твоего» и «моего» имущества, «твоих» и «моих» привычек, вкусов, родственников, друзей, приятелей, воспоминаний.

Желание сделать их общими сталкивается с ревнивым недоверием к «чужому» и страстным отстаиванием своего.

Начинается проверка, смотр, чистка — что-то включается в орбиту новой жизни, что-то решительно отбрасывается. Но происходит это скорее стихийно, чем по трезвому размышлению. Арбитрами ведь оказываются те двое, кто меньше всего способен в такой момент к беспристрастию, объективной оценке.

Масса ошибок совершается в этот, как считается, счастливейший, весенне-лихорадочный период влюбленности. Нарушаются, прежде казалось, такие крепкие родственные связи, предаются друзья — и все это как бы в доказательство преданности своему избраннику. Его глазами глядишь на привычное и ослепления своего не замечаешь. Это пройдет, но в той или иной степени перестройка такая неизбежна.

За первый год семейной жизни Елена и Митя во стольких побывали домах, стольких людей у себя в доме приняли! И, случилось, первая встреча оказывалась последней. Но странно не это, а то, что, однажды мелькнув, лица те не изгладились из памяти — вплелись в общий узор той соединившей их жизни морозной, снежной зимы.

Запомнилась бело-голубая высокая колокольня у дома школьного Митиного приятеля; вилась поземка, Елена, подхваченная под локоть Митей, бежала, дыша в пушистый воротник пальто, ворсинки меха прилипали к губам, сбоку она взглядывала на Митю. Крутые, выгнутые мостики над Яузой, и сейчас еще дышащие тихой провинцией неширокие набережные Москвы-реки, купеческие особнячки, чугунные низкие ограды скверов запомнились навсегда, хотя ведь разве это казалось тогда важным?

Тяжело, астматически дышащая женщина с укоряющим взглядом темных влажных глаз открыла им. И тогда же в передней появился Митин школьный приятель — ростом с десятилетнего мальчика ушастый очкарик с брюзгливо оттопыренной мясистой нижней губой. «Он очень умный, — шепнул Митя Елене, — все знает».

В комнате стояла елка, хотя Новый год давно миновал, порыжелая, высохшая, такая непраздничная, раздражающая неопытной тоской. На столе были разложены шахматы, и сидели какие-то люди. Пили чай. Вечеринка не вечеринка, не поймешь что.

Сразу захотелось уйти. Зачеркнуть, никогда больше с этими людьми не встречаться. Кто они были — так никогда и не выяснилось. Остался пейзаж: высокая бело-голубая колокольня, горбатые мостики над Яузой-рекой, тишина, безлюдье набережных, деревья, чьи ветви, покрытые снегом, казались кружевными, хрупко-воздушными и даже еще более прекрасными, чем в зеленой листве.

Итак, школьного приятеля отмели. Отмели многих институтских друзей. Отмели Варьку — за чрезмерную шумность, ячество, громоздкость, отнимавшую пространство других. С Варькой всегда казалось тесно. Ее, правда, можно было звать в тех случаях, когда требовался «генерал». Варька вполне уже годилась для такой роли. Она стала популярна. Являлась перед зрителями не только в определенных образах, но и, бывало, говорила, рассуждала от себя.

Елена как-то увидела свою подругу на телевизионном экране в так называемой беседе за «круглым столом», в кругу знаменитостей, якобы свободно, по-домашнему расположившихся в глубоких креслах. Ведущий, тоже весьма популярный, пытался направить разговор по сценарному руслу. Но знаменитости кто куда разбредались, их привычная раскрепощенность позволяла нести им перед камерой любую чушь, и они пользовались этим своим правом с обаятельной беспечностью истинных любимцев.

Но когда очередь дошла до Вари, тональность передачи как-то сразу нарушилась. Экран заполнило ее хмурое лицо, комическое уродство которого вдруг обрело тревожащее величие.

Она говорила и теребила бусы на груди, и этот нервический, совсем не актерский, выдающий подлинное волнение жест совсем почему-то не мешал, а даже усиливал внимание к каждому ее слову.

Она говорила о своем, о чисто профессиональном, казалось бы, специфическом, но вот именно это-то и рождало сочувствие. Тысячи нитей, оказывалось, связывали воедино самые разные профессии, занятия, дела, и важен был тон, интонация, строгая, искренняя, доверительная, с которой рассказывалось о себе. Был у Вари какой-то заряд в душе — праведный, даже если в чем-то она и ошибалась.

Митя тоже смотрел эту передачу. Очень внимательно. И когда она кончилась, когда титры по экрану поплыли, взглянул на Елену мельком. Но она успела перехватить его взгляд, успела прочесть в нем, хотя и скрытое, снисходительное сожаление.

Но Митя разве понимал! Варькой еще можно было прихвастнуть, но нечем хвастаться перед самой Варькой. Доброжелательная воспитанность Мити и теперешняя Еленина «оседланность», слаженная обыкновенность их отношений и «дешево-сердитый» в их доме стиль — Варькой это было бы воспринято как потери, а вовсе не как обретения.

Елена предпочла со старой подругой порвать, чтобы уберечь от возможных укулов свое самолюбие. Да, собственно, и Варька не рвалась к общению: дорожки их разошлись — направо пойдешь, налево пойдешь...

В жизни с Митей Елена не чувствовала особых разочарований, напротив, кое-что оказалось лучше, чем она могла ожидать. Но в нем, как и в совместной их жизни, ощущался уже потолок, предопределенность как бы — слов, действий, поступков. Сегодня, скажем, он брлся в ванной и шаловливо мазнул Елену по носу кисточкой — и завтра тоже... Сказал как-то огорченно: «Жить с тобой можно только с огромным запасом великодушия». Фраза прозвучала выстраданно, Елена даже устыдилась, но через неделю он снова ее повторил...

Фактически ей не в чем было Митю упрекнуть, но отчего тогда возникало раздражение? И накапливалось.

Ссоры, срывы даже не так настораживали, потому что выплеснутая злость не успевала перерасти во вражду, короткая перебранка спустя малое время уже воспринималась как бы обратной стороной любовной родственной близости, и не важно было уже, кто прав, кто виноват, ведь в корне-то ничего не изменилось. Другое дело — затаенная неприязнь. Она рождалась вроде бы из ничего, без причин, без оснований. Вопрос — ответ, и вдруг улыбка невпопад, или поспешно-жадное поглощение ужина, или звук нестерпимый ножа о тарелку, или закрытая в ванную дверь, тогда как зайти туда было нужно именно сию минуту, или занятый телефон в момент ожидания звонка — бесчисленные поводы, чтобы тяжелое презрение вскипело изнутри и, затвердев, давило, мешало дышать.

Быть может, причина Елениного раздражения крылась в том, что, она полагала, Митя не способен оценить ее по достоинству. Да, он любил. Но как-то буднично, обыкновенно. Ей казалось, что рядом с ним она теряет то ценное в себе, что к ней привлекало, что ей самой придавало силу, пьянящее ощущение власти, сознание соблазнительности своей. Собственно, вся ее жизнь была отмечена постоянной неудовлетворенностью: что-то подспудное в ней искало выхода, искало применения, но что это было?

И с Митей она бунтовала, и так же, как в детстве, нелепым, ребячливым, мелким оказывался ее бунт. По пустякам. Из-за того, скажем, что он мешал ей в Оксанином присутствии читать за едой книгу. Или роптал, когда она посреди ночи удалялась на кухню воблу чистить, отбивая вяленые рыбки о дверной косяк. Или вот не нравилось ему, что так подолгу лежит в ванне, грызя там подсолен-

ные черные сухарики. Она же считала, что ее ущемляют, давят, что он — посредственность! — разнообразия в ее жизнь внести не может и последнюю радость отнимает у нее! (Последнюю радость, то есть подсоленные черные сухарики.) Рыдала, ломая руки. Ей исполнилось двадцать пять лет.

«Мамуля, давай поговорим», — сказала Оксана, забравшись утром к Елене в постель под ватное одеяло.

Елена пристально вгляделась в дочь. В своей пестрой бумажной, вылинявшей от частой стирки пижаме дочь казалась все еще существом, основной приметой которого являлся щенячий запах, дух живого тепла, согревающий до самого сердца.

Оксана так мало отличалась от других детей, что Елена, придя за ней в детский сад, растерянно блуждала взглядом, а когда дочь обнаруживалась, испытывала как бы мгновенный укол жалости и разочарования.

Впрочем, Николай-то красотой не отличался, девочка, верно, пошла в него. Но у Елены как бы сдвиг произошел в сознании: Митя обращался с Оксаной как родной отец и к родительской его заботливости Елена настолько привыкла, что Николай вообще будто выпал.

Митя с Оксаной умел быть строгим, и девочка его слушалась. Елене же терпения не хватало заставить дочь подчиниться: Оксанино упрямство, казалось ей, не переломить.

Сама она выросла в доме, где ценилась прежде всего деловитость, где отношения строились, как на службе: хороших работников уважали, с плохими не церемонились, — где гордились беспристрастностью, объективностью... А так хотелось, чтобы просто пожалели!

Всегда хотелось... Чтобы не за успехи, не за достигнутую цель признали, а потому что родная. И разве не проще, не естественнее было бы для матери свою дочь просто любить и не искать для чувств своих каких-то обоснований, не взвешивать постоянно за и против, не видеть в ласке лишь метод поощрения, необходимый для правильного воспитания?

Так, верно, и бывает: в первую очередь хочется дать своему ребенку то, в чем сам обделен был, чего тебе недодали. Елена готова была, пусть в ущерб своему самолюбию и родительскому авторитету, уступать дочери, лишь бы та не отдалялась, не дичилась, не глядела испуганным зверьком.

Опять же обычная ошибка: кажется, что твой ребенок — точная твоя копия, и уж тебе ли не знать его желаний и как он на что отреагирует, что как воспримет.

Оксане шел пятый год. Елена не то чтобы заискивала перед дочерью, скорее держалась как с равной, но девочка вдруг обдавала ее таким холодом, что она терялась.

Откуда, неужто гены? Елена, вообще склонная к слезам, как-то в присутствии Оксаны заплакала и прямо обмерла, заметив чуть ли не брезгливость во взгляде дочери. А другой раз, поссорившись с Митей, она швырнула на пол тарелку, рыдала, и тут явилась Оксана — с венником. И с хмурым видом, ни на кого не глядя, стала подметать.

Захворав же, она становилась просто невозможной. Кидала на пол игрушки, и когда Елена, ползая на коленях, собирала их, еще больше ожесточалась, кричала: «Не трогай, я сама, сама!» Но лекарства принимала с поразительным покорством, самые горькие, и не плакала, когда делали уколы, только сжимала кулачки и прятала лицо в подушку.



Непонятная скрытность, неожиданная рассудительность. Бывало, Елена, сама обожающая сладкое, протягивала Оксане шоколадку, но та отдергивалась, произносила осуждающе: «Ты что, мама, забыла? Диатез у меня». А когда на Елену приступы нежности находили, чуть ли не стыдилась за мать. «Ну ладно, ладно», — бормотала и старалась поскорее высвободиться.

Другой характер! Иной раз, правда, сама подходила, карабкалась на колени, обнимала за шею. Елена замирала, боясь спугнуть. Взгляд небольших светлых Оксаниных глаз в такие моменты казался особенно далеким, ускользающим.

Это было трудно. Изматывали ежедневные заботы, связанные не столько даже с воспитанием, а с элементарными обязательствами по отношению к ребенку, хотя Митя во многом ей помогал. В дополнение к этому — неуверенность в каждом сказанном слове, в жесте, которые совершенно неожиданно восприняться могли.

«Ну что, Оксана, какие сказки вам в садике читали?» В ответ молчание, недоверчивый исподобья взгляд. «А с кем ты в группе особенно подружилась?» Пауза. И коротко: «Ни с кем». «Ты что, не хочешь идти сегодня в садик?» — сочувственно, втайне надеясь на откровенность. «Идти н а д о» — и пренебрежительный кивок.

Ну что тут станешь делать! А вот у Мити получалось. Когда его не было дома, Оксана раз десять спрашивала: скоро придет? Приходил, так она восторгов особых не выражала, подбегала, подставляла для поцелуя щеку, но как-то сразу успокаивалась в его присутствии, будто, казалось ей, если Митя рядом, все будет хорошо.

Странно... Неужели спокойная его основательность так завораживающе действовала на девочку? Ведь он не развлекал ее какими-нибудь там чудесами, выдумками, не устраивал, как иные умеют, веселья, потех, просто ровным был и, пожалуй, еще справедливым.

Да-да, вот к этому дети оказываются особенно чутки: к справедливости не громогласной, не декларируемой, а постоянной, внутренней как бы, связанной, между прочим, с душевным равновесием. Справедливость такая обнаруживается не столько даже в словах, сколько в тоне, обращении. Вниманию, с которым Оксана Митю слушала, Елена только позавидовать могла.

Но как, какими путями такого достичь? Елена, надо признать, старалась, но, увы, частенько срывалась. Это уж было выше ее сил. Материнство, она не раз задумывалась, есть нескончаемая цепь жертв. Так можно хоть изредка себя пожалеть? Можно позволить хоть иногда вздохнуть посвободней? Что же, всегда теперь во всем отказывать себе?

...Елена, уже в пальто, стояла в передней у зеркала, мазала губы. Наконец, решила, можно идти. «Мама, — услышала оскорбленный Оксанин голос, — ты забыла мне шарфик надеть!»

Встретились с Варей случайно, мимоходом, на Калининском проспекте. Бросились друг к другу, расцеловались, но тут же возникла неловкость: о чем говорить?

Варя обдуманно, изысканно была одета, так что даже толщина ее скрадывалась. Пальто песцами голубыми отделано, и такая же шапка над лицом нависла — ну так ведь и незачем особенно демонстрировать такое лицо!

И все же дорого ей это, видно, давалось — преуспевание. Одета роскошно, а безучастный, поблекший взгляд. Но когда начала она жаловаться: мол, сил никаких нет и вот во Францию надо ехать, — передернуло даже от ее неискренности. Тоже актерская черта: чем они на сцене правдивее, тем большая лживость в них обнаруживается с глазу на глаз.

Вот и Николай был таким. Смешно сейчас слушать, будто он страдал, мучился, как передавали, от измены Елены. Чепуха! Такие на сцене только мучаются, а в жизни от всего отключаются, отдыхают. И вообще, все эти так называемые творческие личности только для публики интересны, а с близкими своими они роботы. С кнопочным устройством.

Варька улыбалась, надувая толстые губы: «высшая степень расположения» — так, должно быть, назывался этот мимический этюд. Но ноги ее, обутые в наимоднейшие сапоги, переступали часто то ли от холода, то ли от нетерпения.

— Спешешь? — также с улыбкой спросила Елена.

— Да ты знаешь, ну никакой нет жизни! — произнесла Варька жалобно. — Съёмка одна, другая, и телевидение жмет... Твой, кстати, в какой редакции работает?

— Митя? Ну да вы вряд ли встретитесь...

Варька промолчала.

— А Николай? — спросила после паузы. — Так и не показывается? Непонятно! Ведь не подлец же...

— Не подлец, — с той же преувеличенной ласковостью отозвалась Елена, — это иначе называется.

— Ты знаешь, — Варька воодушевилась, — у нас в театре поставили недавно прелестный детский спектакль. Может, придешь с Оксаной?

— Так разве пробьешься? У вас же сплошные аншлаги. — Елене уже не удавалось соскользнуть с ернически-приниженного тона.

— Да перестань, как не стыдно, — Варька ее остановила. — Скажи только — и все будет сделано.

— Ну не знаю...

— Тогда я просто билеты пришлю. Правда спектакль прелесть! Вот увидишь.

— Я только не хочу, — Елена сказала, сдаваясь, — чтобы ну... столкнуться...

— Милая! — воскликнула Варя весело. — Ты что думаешь, главный режиссер будет так просто по фойе шататься? Тем более и не он на этот раз ставил. А вообще, — произнесла задумчиво, — и неплохо было бы столкнуться. Пора!

— Ну нет! — Елена взволновалась. — От этого, пожалуйста, уволь.

— Хорошо, хорошо, как скажешь. — Варя надела перчатки. Лицо ее выразило явное облегчение: нашла, значит, как откупиться и с разговором можно больше не тянуть. — Так я побежала. На этой неделе придете, да?

Елена видела, как пробирается в густой вечерней толпе Варька, с какой самоуверенностью — и не желая никого видеть! — поворачивается ее голова в песцовой шапке, и тут сама себя поймала: она глядит вслед бывшей подруге, глядит с любопытствующей завистью. Это оказалось последней каплей. Нет, сказала себе твердо, в театр к ним ни за что не пойду!

Но пошла. Нарядила Оксану, в чалхые — Николаевы! — волосенки вплела пышные банты, сама приделась — на всякий случай.

Здание театра было довольно-таки неказистым (но в самом центре зато — вот престижность в чем!), а в подчеркнутой скромности зала, тесноте гардероба, фойе стиль сказывался: дерзкий, авторитеты былые ниспровергающий, демократичный, независимый дух молодого театра. Недавно еще существовала там традиция: актеры все без исключения, если не заняты были в спектакле, брали на себя обязанности служителей — билеты проверяли, продавали программки. Такой вот царил дух; вскоре, правда, традиция эта успела уже превратиться в легенду...

Перед началом спектакля Елена, держа дочь за руку, а точнее, за руку дочери держась, ходила по фойе. На стенах висели фотографии ведущих актеров труппы. Лица серьезные, как бы задумавшиеся и

улыбающиеся как бы открыто. Их нелегко теперь было узнать — тех самых дурно воспитанных, кое-как одетых, голодных, шумных, врывавшихся когда-то к Елене в дом и ночами там репетировавших.

Удивительно, что им таки удалось своего добиться! Столько мальчиков и девочек мечтают, рвутся к славе, и вот, значит, кому-то все же везет. Но чем э т и так уж сильно от многих и многих отличались? Ну, в ту пору, конечно, когда были ничто... Какой глаз надо было иметь, какую зоркость, чтобы суметь в обычной юношеской самоуверенности, тщеславии разглядеть перспективу?

Елена пыталась вспомнить: ну да, шумели, ссорились, бывало, беспорядок дичайший оставляли после себя — что можно было тогда разобрать, как будущее увидеть? Ну да, уставали они как черти. Ночные репетиции, занятия днем в училище, кто-то пытался еще халтурить, на стипендию трудно оказывалось протянуть. И никто о них не знал, не подозревал даже об их существовании, тогда как они сами уже ни в чем, казалось, не сомневались, уже ощущали себя победителями — и разве можно было в тот момент всерьез воспринимать их заносчивые речи, планы?

Не то чтобы она, Елена, такой уж трезвостью отличалась, скепсисом, чтобы не поддаваться совсем заразной их возбужденности. Поддавалась... Но в глубине души не верила, от неверия и томилась, а в общем, все для нее заслоняли равнодушие, всегдашняя измотанность Николая, в то время как она так ждала от него любви.

А он, ну, предположим, даже и любил — постольку, поскольку сил у него для любви оставалось. После дневной работы, ночной работы, хождений по инстанциям, вербовки единомышленников, с противниками споров, после административных тягот и горений творческих входил, чуть ли не шатаясь, к Елене в комнату, моргая воспаленными глазами, бухался в кровать и засыпал. А она лежала рядом с открытыми глазами, раздавленная оскорбительным его равнодушием. Ну хоть бы что рассказал — так нет, язык у него уже не ворочался. Хоть бы улыбнулся, нет, мрачный, постоянно чем-то не удовлетворенный, отвернувшись к стене, засыпал.

Ей бы надо было, наверное, перетерпеть. Но зачем? Что бы переменилось? С ним было бы просто, если думать, как он, жить, как он, желать того же, что для него было единственно важным. Если бы другой совсем быть женщиной — не той, какую она, Елена, была.

И тогда... Тогда бы она не вцеплялась так в руку дочери, гуляя по тесному, забитому публикой фойе, стараясь не глядеть на фотографии, развешанные по стенам, узнавая и не узнавая в них тех, кого знала безвестными.

А Оксана — та ликовала. От многолюдства, от выпитой в буфете шипучей воды, от предстоящего зрелища — для нее это был праздник.

Она ни разу не видела родного отца. Она просто пришла в театр на детский спектакль. В волосах — бант, на ногах — новые туфельки. Их провожал п а п а и п а п а должен был их встречать.

Спектакль начался. Елена знала, конечно, что в темном зале со сцены ее никто увидеть не может — актеры вообще зала не видят, видят бездну. В бездне — стоглавое чудовище, которое враз может слопать, которое публикой зовется. Публика сидела затаив дыхание, а Елена чувствовала себя так, точно те, на сцене, пристально-пристально ее разглядывают, знают уже: явилась и что рядом невзрачный заморыш — его, Николая, дочь.

Она обняла дочку, точно беря под защиту. Оксана выдернулась из-под руки. «Мама, — сказала громким шепотом, — ты мне мешаешь».

Публика взрывалась хохотом, аплодировала, а Елена сидела как мертвая, с одной мыслью: что большим было для нее унижением — то, давнее, или то, что теперь переживала?

Зачем она согласилась сюда прийти? Разве мало других театров? Она ведь уже забыла Николая, и не надо было себя растравлять. Сви-

детельствами успехов его, побед, возможностями, теперь несбыточными, мучиться. Примеривать на себя иную жизнь, как чужое дорогое платье.

Едва только занавес задернули — и свет еще даже не зажегся, — она схватила Оксану за руку и прочь поволокла, хотя та сопротивлялась, хныкала, ей надо было непременно хлопать и хлопать, из первого-то ряда, но ведь Елена знала, что когда спектакль кончается и актеры кланяться выходят — тут они уже вполне зрячие.

Митя ждал их в раздевалке внизу, держа пальто и Оксанины поношенные уже ботики. Улыбался... Оксана рванулась к нему. Елена на лестнице приостановилась. Поразительно! Как же мало нужно иметь самолюбия, чтобы так запросто, как ни в чем не бывало вот здесь стоять. Здесь, где Николай царь и бог. Стоять, ожидая при гардеробе, точно лакей. Неужели не ощущал он ни капли неловкости?

Митя усадил Оксану на стул и, нагнувшись, надевал ей ботики. Она смеялась, болтала ногами. Он, тоже смеясь, говорил ей: «Да погоди!»

Елена стояла в стороне, как посторонняя, наблюдала. Ну можно ли жить, когда нельзя объяснить, что ты чувствуешь, нельзя ничем поделиться? Когда невысказанное все накапливается, давит мертвым грузом, а ближние и близкие даже не замечают, не способны заметить, что тебя что-то тяготит?

«Смотри,— шепнул Митя, когда они вышли,— как она рада! Надо почаще ее в театр водить».

С того дня ну будто нарочно ей стали постоянно попадаться афиши, статьи, рецензии, по радио и телевидению произносимые похвалы в адрес Николая. И у нее мгновенно портилось настроение, хотя, конечно, понимала: глупо. А Митя — вот простота! — пять вечеров подряд сидел у телевизора, глядя многосерийный фильм с участием бывшего Елениного мужа, произнося с мальчишеским восторгом: «Здорово закручено!»

Елена же просто впадала в бешенство уже не столько от раздражения известностью Николая, сколько от возмущения, как она полагала, тупостью Мити.

Он что — не понимал? Но как объяснить, что именно понимать ему было должно? Ревность, зависть — свойства, гордиться которыми не приходится и не станешь открыто заявлять о них. Но когда постоянно наступают тебе на мозоль, ведь не о своем недостатке думаешь, а о неуклюжести ненавистного другого. Зубами скрипишь, а на тебя глядят простодушно — совсем взовьешься! «Да что ты,— как-то Митя наконец догадался,— какое теперь нам до него дело!»

Теперь... Теперь-то все и началось. Денежные переводы от Николая: если столько вычитается алиментов, сколько же сам-то он должен получать? И вот ведь — Оксане скоро семь, а он ни разу дочерью не поинтересовался. Да, Митя относился к девочке как родной, но кто Митя? Без внимания Николая Оксана все равно оказывалась обделенной.

Да-да, не за себя обидно, за дочку. И начала Оксана постепенно выравниваться: глаза небольшие, серые, но, бывало, таким умом светятся! И в лице все больше начинало обнаруживаться характерного: своенравно изогнутые губы, лоб выпуклый, упрямый, впадинки у щек, обещающие стать очень пикантными.

А Николай не видел, не знал! Каждое Оксанино остроумное замечание у Елены, помимо гордости, вызывало досаду — ведь не слышал тот, кому следовало бы! А на приступы непробиваемого Оксаниного упрямства Елена тоже теперь иначе реагировала, в раж впадала: «Нет, ты сделаешь, сделаешь! Я сказала! Ты слышишь, что я говорю?» Молчание в ответ, в лице такая тупая безучастность, хоть головой о стенку молотись. «Не сделаешь?! Ну так...» И еще не произнеся угрозы,

ужас — иного слова не подберешь — душу леденил: чужое, непонятное существо сидело за столом напротив недвижно, немо, но совершенно очевидно, что издевалось, наслаждалось оно Елениной беспомощностью.

Митя пробовал вступиться, но тогда весь гнев готов был выплеснуться на него. «Да что ты лезешь! — хотелось крикнуть. — Твоя, что ли, это порода? Ты разве понимаешь? И не суйся!»

Билась — вот именно! — о стену. В отчаянии, в панике, безнадежно, сама себя убеждая, что ей одной, конечно же, не справиться, что разобраться тут смог бы лишь Николай. Его характер. Вот так ничего не бояться, с готовностью до края дойти и не дрогнуть, держаться с равнодушием истукана, но с места не сойти, не уступить ни пяди.

А ведь надо-то было что? О чем просили? «Оксана, повесь пальто на вешалку». И через десять минут: «Оксана, ты повесила пальто?» Взгляд — уж от него одного можно взвиться. Ответ: «Потом». «Когда потом? Оксана, ты слышишь? Да что же это, в конце концов!» И тогда уже книжка, Майн Рид, из рук вырвана, захлопнута, отброшена на диван.

Так подумать! — сидит в той же позе, не поднимая головы, с таким видом, будто читать продолжает. Ну, право же, завять можно. И так из-за ничего каждый раз борьба насмерть.

Подрастала девочка. Звереныш. Другое, чужое, непонятное существо. И родное настолько, что спазм в горле, когда стягивала через голову платице, ежилась зябко: лопатки торчат, кожа в пупырышках, ноги-руки, как палочки, — и надменный и такой вдруг одинокий взгляд!

Тогда еще непонятно было: почему одинокий, разве что только в предчувствии? В такие моменты Елену охватывал страх за дочь, за себя. Это только казалось, что почва под ногами твердая, что-то уже колебалось...

А может, причина крылась в том, что в самом характере Елены, в натуре какие-то пропорции оказались нарушены? Энергии не доставало, чтобы найти применение своим способностям, если поверить, что они действительно были. Но, верно, были: иначе отчего маета, постоянная неудовлетворенность, будто совсем иное обещалось?

Чего-то будто недодали, чуть-чуть чего-то, чтобы она вырвалась, как хотела мать. А нечто лишнее мешало и в обыденном находить радость. Слишком обыкновенна, чтобы чувствовать себя ровней с Николаем, и чересчур взыскательна, придирчиво-капризна для нормального мужа Мити.

И не искала бы себе оправданий, осудила бы саму себя, если б не тайная, глубоко-глубоко где-то жившая уверенность, что, родившись, уже получаешь ну если не право, так шанс хотя бы стать, быть счастливой и нельзя смиряться, не надо ограничивать себя, по крайней мере в желаниях.

Вот даже просто выйти на улицу: солнышко, снег уже тает и что-то давнее, наивное, бескорыстное, радостное возникает вновь. Не происходит ничего — и пусть ничего не происходит! Сама по себе возможность уже будоражит, и улыбаться хочется без всяких причин.

А это, верно, и было в ней самым ценным — истинным даром, не осознаваемым ею самой, тем, что ни уму, ни воспитанию не подвластно, и чем живое обладает, звери, птицы, а люди, как ни странно, не все. У людей это почему-то зовется беспечностью, а иногда и похуже, но вместе с тем вызывает и зависть. Тоже странно, надо признать. Дурно, считается, поддаваться инстинктам — само выражение уже звучит осуждением. А почему, собственно? Ну выходит человек на улицу, ну видит небо над своей головой совсем уже весеннее, просвет-

ленное и чувствует каждой своей клеточкой: господи, как это прекрасно — жить! и как было бы хорошо еще и любить в этой жизни...

Готовность к любви разве можно в себе заглушить? Готовность быть достигнутой любовью.

Но люди путают любовь со счастьем, для них приемлемым и им привычным. А звери любят, о счастье и не помышляя, потому, может, и свободней они.

...Елена шла по улице и улыбалась. Она ощущала себя как бы сосудом, который следовало наполнить чем-то ценным, содержательным. Кто бы взял на себя сей труд?

Оксане исполнилось семь. Задолго до осени она стала требовать, чтобы ей купили школьную форму. «Да что спешить,— Елена отмахивалась,— еще столько времени...» Оксана умолкала, но однажды сурово потребовала:

— Дай деньги. Я с тетей Машей в «Детский мир» пойду.

— С какой тетей Машей?

— С лифтершей. У нее внучка тоже в первый класс пойдет.— И гневно: — Я лучше с тетей Машей пойду, ты ведь опять подведешь меня, мама.

— Что-о? — Елена не успела даже возмутиться, действительно не помнила за собой вины. Когда это она Оксану подводила?

— А в детском саду! — Оксана произнесла злорадно.— На новогодний праздник костюм снежинки, воспитательница тебе говорила, надо сшить. Ты тогда головой кивала, пока она объясняла тебе. И забыла! Все танцевали, а меня на сцену не выпустили. Нет, я не плакала. Еще и плакать — ну нет!

Елена глядела на дочь. Действительно, она забыла. И на праздник тот почему-то не смогла прийти. Оксана после ей ничего не говорила, а вот теперь... Значит, помнила.

А кроме той детсадовской елки, водила ее во Дворец съездов и еще на какой-то детский бал, подарки для нее в «Детском мире» покупала, чуть не задохнулась в толчее,— и это, значит, все не важно, а обиду вот свою затаила. И вообще какая недетская фраза: «Ты меня подвела».

В два года, когда ей не давали конфет, она рвала бумагу и демонстративно на глазах взрослых принималась жевать. «Вкусно?» — Митя ее насмешливо спрашивал, а Елена кричала: «Выплюнь, выплюнь!» Оксана сжимала зубы, стараясь проглотить нажеванное.

Плакала редко — и никогда в раскаянии. И если наказывали — не плакала. Но совершенно неожиданно, когда и не собирался ее никто обидеть (к примеру: «Оксана, поблагодари тетю. Тетя подарок тебе принесла»), вдруг безудержный рев, кулачки сжаты судорожно, не знаешь, как и утешить.

Ну хорошо, сама Елена, насколько себя в детстве помнила, ревность всегда испытывала и постоянный, ей так казался, недостаток тепла. Родной отец отсутствовал, отчим под давлением авторитета матери от воспитания ее отстранился, мать же, борясь за дисциплину, опасаясь потакать дочери, недостатки искореняла и этим целиком была занята. Так ведь Оксана в другой совсем атмосфере росла. Митя с ней возился, да и Елену в чем угодно можно было упрекнуть, но только не в холодности. Она взрывалась, но она и плакала, жалела, ласкала. Но Оксане, значит, важно было другое: чтобы не подводили. Не столько в поцелуе материнском, выходит, она нуждалась, сколько в твердом выполнении обещанного. Затаивалась и про себя вела счет Елениным промахам? А может, вообще всем ее недостаткам?

И с Митей девочка переменилась. Прежде слушалась во всем, теперь же обрывать его осмеливалась, и как ни неприятно было Елене, в голосе Оксаны она замечала собственные интонации. Но в малогаба-

ритной квартирке куда было скрыться? Выражения еще можно подобрать, затемнить смысл сказанного, но тон, но обращение...

Они часто теперь с Митей ссорились. Поводы разные находились — Елена, во всяком случае, без труда обнаруживала их. Сама себе в такие моменты была противна, потому что на Митю не действовал намек, уже достаточно оскорбительный, и приходилось бить наотмашь, вслух о том говорить, о чем и думать неловко, себя унижая и ужасаясь такой собой, но говорила, потому что Митина непробиваемость вселяла бешенство.

Она ему: «Ты ведь жалок! На побегушках тебя на телевидении держат. Топчешься, топчешься на одном месте — и доволен?» А он терпеливо, подробно начинал объяснять, в чем состоят его обязанности, и как он их выполняет, и почему не согласен с ней.

Она ему — с тем внутренним омерзением, с каким погружаешься в тину, — о деньгах, благосостоянии, довольстве в иных семьях. Он все так же с непоколебимым чувством собственного достоинства и одновременно с недоумением, жалостью к ней произносил что-нибудь типа «не в деньгах счастье», после чего ей уже и не казалось стыдно орать, как базарная торговка.

И тогда он умолкал. Лежал на кровати, подложив руки под голову, темноволосая его голова красиво выделялась на подушке, выражение лица серьезно, задумчиво — да только все это показуха, а правда то, что не хватало ему гордости, твердости, самолюбия, чтобы ударить кулаком по столу: «А ну замолчи!» Да и тогда бы ничего, пожалуй, не изменилось...

Ссорились они, правда, только в своей комнате. Но, случалось, Оксана приоткрывала дверь, заглядывала: «Мама, можно?» И Елена тут же всегда с одинаковой — магнитофонной какой-то — четкой, раздельной интонацией произносила: «Оксана, закрой дверь».

«Закрой дверь... закрой дверь... закрой дверь». И все. И больше, Елена считала, упрекнуть ей себя было не в чем. Но, как впоследствии выяснилось, этого оказалось достаточно: «Оксана, закрой дверь».

Оксана закрывала. Уходила к себе. В себя. Что-то делала, думала о чем-то, пока Елена продолжала с Митей отношения выяснять,

«Оксана, закрой дверь».

Неужели одна фраза могла стать причиной всех несчастий?

Видно, так уж им было суждено — время от времени встречаться. И эти встречи, как правило теперь случайные, с многолетними перерывами, словно бы подводили собой некую черту: вот еще несколько лет прошло и вот чего мы за них достигли, что утратили.

Они могли ничего и не обсуждать, только взглянуть скрыто-оценивающе друг на друга и разбежаться в разные стороны, но осадок долго еще оставался в душе. По крайней мере у Елены.

К тому моменту, когда они снова столкнулись с Варькой, Елена с Митей еще не развелась, но их жилье уже перестало быть домом.

Митя изменился... Куда девались его податливость, добродушие, с которыми он прежде наскоки Елены сносил? Снимал в передней пальто — и в автоматической четкости его движений, в ускользающем, скользком взгляде читался теперь даже не вызов, а холодная, жесткая решимость.

Елена наблюдала. Как, оказывается, просто, безболезненно он умел обходиться без нее. Вынимал из портфеля творожные сырки, сосиски — ужинал. Тщательно вымыв посуду, гасил на кухне свет. Рубашки сдавал в прачечную, и возвращали ему их оттуда точно только что из магазина, со вложенной внутрь картонкой и с картонным же ошейником под накрахмаленным воротничком.

Мужчины! Насколько же легче им все дается, насколько они приспособленнее. Бытовое, житейское, разбухающее до гнетущих размеров у женщин, они способны до минимума свести, при этом вроде бы

ни в чем себя не ущемляя. Получается, им очень мало надо! С юной беспечностью они пускаются в жизнь налегке, и их свобода, как бы она им ни далась, чем бы они за нее ни заплатили, вызывает зависть в отличие от свободы их же сверстниц-женщин.

Несправедливо... В последнее время этот глухой ропот — несправедливо, несправедливо! — постоянно преследовал Елену. Она будто не помнила, будто совершенно забыла о Митиной былой к ней любви, будто не испытала в жизни ничего, кроме пренебрежительного к себе невнимания, издевательской вежливости, озлобляющей куда больше, чем грубость.

Митя держался так, что не давал никакого повода для выяснения отношений. Елена прежде и подозревать не могла, какое жило в нем упрямство, непробиваемое, безжалостное — уж коли не любит.

Ах, как права оказалась ее мать, утверждающая, что легко с талантливым — только подход найти, — а с человеком обыкновенным куда все сложнее, запутаннее.

Ну да, Николай ведь был ясен. И, вспомнить, так мало требовал! Не ожидай Елена столь много от любви, ее жизнь сейчас, возможно, была бы спокойной, отлаженной.

А тут... Она опустилась. Визгливым, базарным сделался ее тон в унижительных ссорах с Митей. А ведь в том все дело, что не умела она буднично жить! Не умела жить без любви. Без той любви, что все обращает в праздник.

И не то грустно, что она стареет. Пусть морщинки, пусть увядают глаза, но ведь так и не свершилось, чего она ждала, для чего была всей природой своей предназначена. Не свершилось! Отчего же, считая любовь самым главным и стремясь к ней, никогда, ни разу не была она в любви счастлива?

Мало в жизни самой любви. Современная энергичная деловитость все больше ее вытесняет, замещает ее якобы более существенными, более важными для человека заботами, обязанностями.

Вот-вот, потому-то она, Елена, и виновата всегда, кругом виновата! С матерью, с мужьями, с самой собой. И с дочерью...

Бывают люди, рожденные только для любви. Их мало. И они самые одинокие.

Оксана пошла в восьмой класс. Волосы стала носить распущенными: откуда-то взялась густейшая золотая копна, которую она тщательно, подолгу расчесывала перед зеркалом. «А разрешают в школе?» — спросила Елена. «Все так ходят», — Оксана снисходительно отозвалась. И туфли выпросила, правда не новые, зато на высоких каблуках. Елена противиться не решилась. Сама себе не признаваясь, опасалась, что на Оксану ее запреты не подействуют и что послушает она как-то оскорбительно — так, что потом уже никаких иллюзий не останется, признать придется: ни в чем она не может повлиять на дочь.

Когда Оксана на нее глядела своими серыми прищуренными глазами, Елена терялась, так себя чувствовала, будто ей оправдываться надо перед дочерью. Но почему? В чем? Так было бы хорошо им друг друга любить, согреваться этой взаимной любовью, утешаться ею. Но Оксанин взгляд отрезвлял. Если бы еще Елена умела не обижаться! Или по крайней мере скрывала бы обиды свои. Но в отношениях с дочерью она вела себя на равных: ее по-взрослому обидели, она по-детски обижалась.

Оксана уже не пугалась ее слез. Когда-то в глазах дочери Елена плачущая, прочла сострадание. И жгучая волна благодарности — до ликования! — обдала тогда изнутри. Плакать вместе, вместе смеяться — только такое единение и есть любовь! Так она, Елена, любви понимала. Чтобы до боли, чтобы затопило всю целиком. Чтобы сра-



стись каждой клеточкой, сплестись, до полной неразделимости спастись — потому что так холодно, зябко одной.

Она была, жила так всегда. Ее нервы только тогда отдыхали, когда по ним било током. Все унылым и медленным казалось, если земля под ногами не плыла. Тускл был свет, если он не слепил.

Оксана же и растерянности теперь не выказывала. Глядела в набухающее слезами Еленоно лицо бестрепетно, как на неотвратимость. И тон увещевающий и тот давался ей с трудом: «Ну... Из-за ерунды... Ну пожалуйста... Не надо, мама...»

К ссорам Елены с Митей девочка тоже навик приобрела. Не только никогда не вмешивалась, но даже с Еленой наедине не выказывала никакой заинтересованности, никаких пристрастий, будто хотела всем видом своим показать: не знаю, не слышу, не ведаю ничего.

Как-то Елена мылась в ванной и услышала на кухне смех. Девичий залихватый и ухающий низко Митин. Как прежде, когда глядели они вместе мультяшки по телевизору. Смех-призрак.

С обмотанною полотенцем головой открыла в кухню дверь, взглянула: они уткнулись носами каждый в свой стакан. Смех оборвался внезапно, как только ее увидели.

Елена вышла.

...Вот в этот период они с Варькой вновь и столкнулись: встречи их как бы пунктиром проходили через всю жизнь.

Варька ей позвонила. Наверно, сто лет могло пройти, а Елена сразу бы узнала Варькин басовитый, с характерными уклончиво-насмешливыми интонациями голос. Она обрадовалась, но тут же насторожилась: почему звонит? Варька объявила: знакомая ее (кто именно — не сказала) видела мельком Оксану — так как она? и как сама Елена? неплохо бы увидеться, а? «Возьми бумагу и карандаш. Диктую адрес. Недавно переехала, посмотришь, как живу. Договорились?»

Жила Варька теперь в самом центре, где ломались старомосковские особнячки и на их месте возводились многоэтажные, из светлого кирпича дома так называемой высшей категории.

Елена нажала кнопку и услышала неторопливо льющийся, как из музыкальной шкатулки, перезвон.

Варька открыла, бросилась Елену обнимать, а та успела разглядеть просторный холл с обшитыми деревом стенами, ковер однотонный, кофейный, распахнутые стеклянные двери и одну комнату, коридор длинный — значит, были еще помещения в глубине.

Варька здорово похудела, настолько, что даже брюки осмелилась надеть, правда со свободным свитером, прикрывающим бедра. Вообще она неплохо выглядела, куда лучше, чем в молодые годы. Это поразило Елену. Неужели и тут Варя обскакала ее? Она сама стареет, теряет привлекательность, а некрасивая ее подруга с возрастом хорошеет — разве так может быть? Ну да, вон какая она стала элегантная, со своим стилем, подтянутая! Вкальвает по-прежнему как каторжница, и что же, это и держит ее в форме?

Варя провела ее в комнату, просторную, уставленную старинной, красного дерева мебелью, ухоженной, тщательно отреставрированной. Солидная обстановка. От занавесей, тяжелых, висящих на медных кольцах, и до диванных подушек все строго продумано. Варька плюхнулась в кресло с такой небрежностью, точно ей самой на эту роскошь плевать, и не находит она в ней ничего необыкновенного, и давно уже так жить привыкла. Но Елена-то помнила, где Варя росла — в коммуналке, вдвоем с матерью-портнихой, — и, выражая свое восхищение нынешним Варькиным жильем, дала (завуалированно, конечно) понять, что с р а в н и в а е т. И Варя поняла и насмешливо — а может, уязвлено? — улыбнулась.

Она вышла замуж. Муж, объяснила кратко, с л у ж и в ы й. Уходит на работу к девяти, к семи возвращается, и такое расписание ее

лично вполне устраивает. В театре муж бывает редко, пожалуй, и не любит театр. Свои интересы, свой круг — замечательно! В ее дела вникает постольку, поскольку она считает нужным его в них посвящать.

Щелкнула зажигалкой, придвинула пепельницу — напольную, на высокой ножке.

— И ты довольна? — спросила Елена.

— О да! — с коротким смешком. — Быть в таком плане недовольной у меня ни сил нет, ни времени. — И подумав: — А в общем, довольна. Конечно, довольна.

Есть сын. Тянула с этим, тянула, но, в общем, успела. Можно считать, все как у людей за исключением одного: работы.

Вдохнула, стряхнула пепел.

— Но с работой-то у тебя все хорошо... — осторожно произнесла Елена.

— Вот именно! — Варя согласилась. — Прекрасно. Единственное, ради чего живу. Хотя говорить так, наверно, нехорошо. Но что поделаешь, если это правда... Изматываюсь, как собака. Мертвая падаю в постель, утром сил нет подняться, и каждый день все сначала. Да, в общем, скучно об этом говорить.

— Но почему? — Елена глядела на подругу.

— Да потому что смешно, когда баба эдакого титана мысли хочет из себя изобразить. Я вот иногда делюсь с коллегами, что называется, муками творчества, а потом самой же неловко... Работаешь? И работай! И нечего рассусоливать, что у тебя да как... Но все же поскулить иногда хочется. Ну правда, что за жизнь! Засыпаю с одной мыслью — чтобы завтра быть в форме. Чтобы в боку не колело и кашель не напал — перекуриваюсь к чертям собачьим, а врачи запретили. Просыпаюсь ночью — муж рядом, как младенец, посапывает, а у меня муравейник в голове: на телевидение надо позвонить, голову со сценарием морочат, в бухгалтерии надо выяснить, почему деньги с «Мосфильма» до сих пор не перевели, а скоро уже вставать...

Затянулась, выдохнула дым.

— И знаешь, думаю временами: есть же нормальные женщины. Гляжу, бывает, на улице: идут аккуратненькие, в платочках, в шапочках, с авоськами, — и чувствую прямо физически, насколько же здоровее, спокойнее, естественнее у них жизнь! Вот в магазин зашли, вот вышли с покупками — и жуткая берет зависть! А я и замуж-то выскочила как-то второпях, между делом... На съемки в Крым, помню, надо было уезжать, сказала Юрию: давай вместе поедем. Медовый месяц — так ведь можно считать? Какое там! Помню, погоды все не было, режиссер от злости чуть на стену не лез, а я тоже, дура: гляну утром в окно и говорю себе — снова день пропащий!

Помолчали... Варя, и это было довольно ново для нее, держалась на сей раз с Еленой просто и говорила о простом простыми, понятными словами. Так вот и выманила Елену из скорлупы. Слово за словом, перешла Елена от сочувствия в адрес Вари к разговору о себе, к собственным разочарованиям и общей женской несчастливой доле.

И вдруг Варя ее оборвала — резко, грубо.

— Ну ясно, — сказала. — Причина в том, что дела у тебя нет. Все бы тогда переменилось, уравновесилось. И знаешь, чем ты особенно всегда бесила меня? Что всю свою незаурядность ты обратила в пустое: в бабство.

Елена выпрямилась, сцепила руки, а Варя, как бы не замечая, продолжала:

— Я часто о тебе думаю. Думаю: почему? Что помешало тебе найти себе применение? Не перебивай! Уж тут я не могла обмануться — было, было! Даже не слова твои вспоминаю, а выражение лица, взгляд. Зло, понимаешь, берет, когда видишь, что это пропадает. Необычно-

венное, редкостное, ну как назвать... Талант? Талант — слишком определенно. А у тебя... Дар, что ли?.. — произнесла с сомнением. — Да, дар. И как-то нужно было его использовать, — вздохнула, — толково... Я думала, коли в человеке что-то есть, силы сами собой берутся. Кажалось, что это связано — дар и, ну если хочешь, честолюбие. Желание работать, выдвинуться.

— И ошибалась, значит, — подсказала Елена.

— Ошибалась... Не только в отношении тебя. Силы — они и у бездарей могут быть, а у таланта, бывает, исчерпываются силы. И в достигнутом утешительного мало находишь, как бы даже укор: а сейчас-то что? Постоянно ощущаешь неуверенность, страх: что, мол, дальше-то будет? Словом, убеждаюсь: счастья нет. Но есть жизнь, которую можно, нужно сделать осмысленной.

— А я вот надеялась, что счастье — это и есть смысл. И зачем я вообще родилась, если не могу быть счастливой?

— Ну вот опять! — произнесла раздраженно Варя. — Знаешь, почему мужчины достойнее, интереснее женщин? Потому что для них то счастье, о котором ты говоришь, никогда не составляет всю жизнь, а только часть — часть целого. В этом плане, мне кажется, стоит жить по-мужски. Влюбляться, разлюбляться, терзаться, охлаждаться, но иметь при этом нечто, стержень какой-то. Тогда только сохраняешь равновесие. В мужчинах оно самой природой заложено, а мы, женщины, должны усилие сделать, чтобы его обрести. Иначе в стенку упираешься. Да-да, вот как ты. И чем по натуре богаче, одаренней, тем у пертость оказывается большей: нечем себя занять — и вот начинается нытье, томление, выискивание и обсасывание мелочей. И как сие ни украшай, сплошное это есть бабство. И ничего бессмысленней, бездарней придумать нельзя.

— А я, — Елена произнесла, — как раз хотела и хочу быть просто женщиной.

— Женщиной? — Варя переспросила. — Так будь! Только, как женщина, какие ты готова обязанности нести, в чем можно на тебя в таком, именно женском качестве положиться? Человеческие отношения ведь как строятся — я тебя обеспечиваю этим, а на тебя полагаюсь в этом. Нет разве? А ты на такое способна? Обязательства, совершенно конкретные, можешь выполнять? Исправно нести такую службу? А другого пути, представь себе, нет. Что-то приходится выбирать. Женщина — она не только и м е е т п р а в о, но прежде всего она д о л ж н а. Да-да, не усмехайся. Можешь на меня наорать, послать меня к черту — выдержу.

— Ну зачем же...

— Тогда, может, я кофе сварю? — Варька спросила как бы виновато. Было у нее свойство после вспышек быстро отходить, казнить-ся, но тоже недолго.

Ввела Елену в кухню, тоже обшитую деревом, пахнущую недавним ремонтом, усадила на высокий табурет, а сама, стоя у плиты к Елене спиной, снова заговорила:

— В общем, я должна была тебе это сказать. Сама себе обещала. Собиралась уже не однажды, но как только тебя видела, все мои разумные речи так при мне невысказанными и оставались. Я тобой любовалась, да-да. И даже казалось мне в тот момент: да что я лезу, кого собираюсь увещевать и мне ли с моим горбом учить жизни? Кажалось... А потом — хотелось тебя избить. Бить и приговаривать: не разбазаривай добро, не разбазаривай. Жизнь — штука серьезная, и хватит порхать! Ты неплохая. Но что-то такое неверное есть в тебе, над чем, может, ты и сама не властна. Но это и страшно — слабость твоя. И вместе с тем слабость-то обманчивая. Дает повод надеяться, что можно тебя перевоспитать, сделать из тебя ну просто совершенство, а ты не поддаешься, ты — рыхлая! Нет уж, погоди, я все скажу. В тебя проваливаешься, в тебе увязает, и у кого ума хватит, тот должен скорее от

тебя убежать, иначе затынет...— Варька выдохнула всей грудью:— Уф, все! Теперь давай кофе пить. А можешь взять вот чашку — и об пол... Ты с сахаром или без?

Возвращалась Елена от Вари пустая. После проповеди, после разноса Варя снова стала говорить о себе. Жаловалась, но на что именно — понять было трудно. Вроде бы сочувствия искала, а вместе с тем явно собой гордилась, так что в результате выходило, что ее жизнь — эталон. И, ставя кофейник, плеснула на стол — чуть, но тут же побежала за тряпкой. Долго терла, очень обеспокоенная. Пепел упал на ковер — на колени встала: не прожгла ли, вглядывалась. А говорила в тот момент о самом вроде бы сокровенном, и тон был соответствующий, прочувствованный, но пепел на дорогом ковре, значит, перевесил, куда важнее посчитался какой-то там болтовни. Зато убедившись, что с ковром все в порядке, снова воспарила, а Елена про себя подумала: как легко получаются такие переходы у них — у тех, словом, кто всегда ясно представляет себе границы и четко знает, что правильно, что неправильно, кто страстно желает поставить все точки над «и» и абсолютно убежден, что в состоянии и вправе это сделать.

Варька закинула ногу на ногу, штанина задралась, обнажив бледную отечную щиколотку. Да, большими трудами давалась ей эта форма. И с ее-то едким умом она, конечно, на свой счет не обольщалась. Можно представить, как утром глядела в зеркало на себя... А вот вообразить Варьку любящей, влюбленной? Служивый муж, спящий безмятежным сном младенца, в то время как мается бессонницей многодумная жена... Неужели и это ей далось?

...— Но понимаешь,— после паузы произнесла Варька,— временами я путаюсь. Быть может, от усталости вдруг так пронзительно, как в детстве, обрыв чувствую, край. Шарик наш земной начинает казаться маленьким, легким, а жизнь собственная — пушинкой. А может, осеняет, иные какие есть ценности, иные ориентиры? Добродетели, которым доблестно служишь,— а вдруг они мираж? Вдруг их для того только выдумали, чтобы отнять у тебя свободу? Понимаешь, совсем особую, о которой люди и представление потеряли.

Помолчала. Пристально и не видя взглянула Елене в глаза.

— И знаешь еще — может, старею? — доброй быть хочется. Но не могу, не умею. А прежде не замечала в себе злости. То есть злость была как бы двигатель, мотор. Так сказать, проявление активности. Ну, в молодые годы... Вспоминаю: тогда только создавался наш театр. Ух и злые мы были! И хорошие. А теперь столько дурного в нас. Фальшивого, зыбкого. А ведь вроде никуда не свернули. Театр — наш. Поднабрались солидности, мастеровиты стали. Гляжу на ребят: созрели. И выкладываются, не халтурят. Все правильно, все здорово. А почему-то, понимаешь, грустно. Молодая злость с годами все же должна во что-то более крупное перерастать. Благородное. Не знаю, может, говорю непонятно... В общем, продолжать бывает труднее, чем начинать. Сказала как-то об этом Николаю — он промолчал... Разговорилась! — оборвала себя Варька.— Словом, может, это и не истинные доблести, к которым я тебя призываю, но в том штука, что без них разваливается человек. Вот тут абсолютно убеждена. Дело, работа, желание о себе заявить, себя обнаружить и все связанные с этим потуги, постоянные, каждодневные... Конечно, может показаться: какая суета! И сколько тут теряешь! Но без такой пружины превращаешься в кашу!

— Ты молодец,— сказала Елена. И отметила, как размягчилось лицо Варьки, потеплел, затуманился взгляд выпуклых темных глаз.

Когда ее хвалили, она на мгновение теряла обычную свою твердокаменность — настолько сильно в ней оказывалось актерское, нуждающееся в постоянных задабриваниях. В этом было что-то даже трогательное, ребячливое. Творческая личность, наверное, так и устрое-

на: на стыке сложности и примитива. И бессознательная, наивная эгоистичность так или иначе всегда в ней присутствует в тех или иных дозах...

Елена собиралась уже уходить, когда в комнату вошел высокий губастый мальчик в красивой курточке и в джинсах, в очках, очень важный, подошел без улыбки и подставил Варе лоб. Она его чмокнула, смеясь, оттолкнула, и тут Елена с болью подумала, что врет Варька, все у нее хорошо.

Вот в это мгновение поняла, когда увидела ее с сыном, довольным, забалованным, как забалованы дети, растущие в благополучной семье, в атмосфере, быть может, в чем-то тормозящей их развитие, но защищающей, оберегающей от того, что может ожесточить детскую душу.

Она заторопилась. Ей домой захотелось, к Оксане. Остаться с ней вдвоем в комнате, от всех затвориться.

Но дома Оксану она не застала. Оксана ушла с подругами гулять. С кем именно? Митя не знал. Когда вернется? Она не сказала.

Ответил небрежно, и тут Елена ощутила, как волна ненависти захлестывает ее, как хочется ей ему отомстить — за все, за все! И за то в первую очередь, что не родной он Оксане отец.

Ну да, что можно от него ожидать, когда Оксану он принял как приложение к ней, Елене. Нет, пусть послушает! Ах, он еще ее в непорядочности упрекает?! Она мало занимается дочерью? Да он в нее, маленькую, просто игрался. А вот она выросла — он может помочь? Да не нужна его помощь! Он чужой, для них обоих чужой...

Она задохнулась. Вдруг вспомнила свою мать — мать говорила правду. Тысяча лет прошло — когда это было? Пощечина горела на Елениной щеке, а плакала мама. Родной бы побил — и то бы, сказала, смолчала. А у неродного за один только взгляд — глаза выцарапать. Правда, правда! Но как же только теперь эта правда до Елены дошла? Шипела: «Оксана, закрой дверь». И девочка послушно к себе уходила. Что-то делала, думала о чем-то. Пока Елена продолжала с Митей отношения выяснять.

Казалось, можно до конца все выяснить, и потому сил, ни своих, ни чужих, не жалела. Казалось, что, прорубившись сквозь потоки оскорбительных слов, выскочишь к чему-то ясному, прочному: к основе, на которой можно все заново строить начать. Жизнь. Любовь. Все сказать — и свершится перемена.

А получалось иначе. Как болотная тина, налипали слова. От ссоры к ссоре клубок все больше запутывался. И вот теперь уже не размотать. До того дошло, что буквально каждая фраза срывается криком.

Все обидно. Как смотрит, как поворачивается. Шнурки на ботинках завязывает — что, собирается уходить?

— Не уходи! — не она сама, а что-то внутри нее всхлипнуло.

Он обернулся. Замер, неловко вывернул шею, как бы утратив где-то внутри себя равновесие. Она ощутила это всей кожей — его неустойчивость. Но сделать шаг к нему не решилась. Детская диковатая замкнутость внезапно вернулась к ней. Как думала когда-то мстительно: пусть будет хуже!

Почему-то как раз теперь к нему уходящему она вдруг озарилась любовью. Терзающей, тоскующей. Как камень, тянущий куда-то вниз. Любовью, вспыхнувшей в страхе перед одиночеством.

Как перед смертью.

Долго он так не мог стоять. Сел — под вешалкой у них была скамеечка. Расшнуровал ботинки. Тапочки домашние надел. И по склоненной его голове со взъерошенным по-мальчишески затылком она, не желая того, поняла: перемена все равно не наступит.

И все-таки он ушел.

Как-то после очередного скандала и последующего за ним тоже уже традиционного, но вовсе теперь не сладостного примирения сказала ей: «Мне все же представлялось иначе...— Задумался и как бы рассуждая вслух, советуясь даже: — Странно, в твоей внешности есть то, что абсолютно отсутствует в самом характере.— И участие, мягко: — Мне казалось, что в жизни с тобой...— Он не закончил.— Словом, обычная история».

Она не пыталась выяснять дальше, она поняла. Он в ней разочаровался, хотя куда, думалось, деваться ему? Но неужели действительно она, как сказала Варька, неосознанно в том обнадеживала, чего в ней нет вовсе? Или она теперь сломалась? Или вместе с молодостью исчезла в ней та радостная сила, звеневшая, как зов, но ей самой неподвластная, и потому она удержать ее в себе не сумела?

Он говорил ей, бывало, и куда более грубые слова. Они как-то стерлись, выпали из памяти, осталось недоумение: как случилось, что он, прежде такой благовоспитанный, по природе своей сдержанный, интуитивно деликатный, научился словами наотмашь бить? Что же, она, Елена, этому его научила?

Они были такие разные. Но сближались, сближались от скандала к скандалу. Что ж, выходит, и так можно обрести сходство. Друг от друга отвращающее.

Он сказал: «Ты постоянно меня вынуждала быть хуже, чем я есть. Я сам себе противен. Таков результат моей любви к тебе».

А от ее внимания как-то ускользали все эти превращения в нем. Обращалась с ним так, точно он мог существовать лишь в том образе, какой она сама в первые годы их жизни для него определила.

Вслушивалась в себя. Разбиралась с собою. Так страшно вдруг осознать, что люди, тебя окружающие, оказываются совсем иными, чем ты воображала. Точно жила во сне. Тебя ли обманывали? Ты ли обманула себя?..

Странно, пока тебя любят, это кажется так нормально, обыкновенно настолько, что оставляешь за собой право и на большее надеяться, большего ожидать. Она, Елена, всегда ожидала. Любви, воплощенной в совершенстве, до полного совпадения с мечтой. Но, если признаться, мечта эта с годами становилась все фантастичней, приторней, чувствительно-слезливой. Сквозь девичий, робкий, нежный румянец проступал едко-розовый цвет женского белья.

Неужели такая естественная в человеке потребность любить и быть любимой, если отдаешься ей целиком, самозабвенно, обрекает тебя не только на унижительную зависимость, но и постепенное измелчание тех в тебе задатков, что были от природы даны? Какая же грубая расчетливость определяет все человеческое существование, если благополучие допускается только при соблюдении тех правил и тех норм, что ставят во главу угла соображения полезности, целесообразности!

Кажется, именно против этого Елена и бунтовала. С детства. Пища, рекламируемая матерью как самая здоровая, вызывала мгновенное отвращение. Устойчивое отвращение распространялось и на все то, к чему мать призывала, лукаво намекая, что трудности окупятся сторицей, на этом-де основано в жизни все. И Елена, как щенок с разъезжающимися на паркете лапами, упиралась, не поддавалась ни уграм, ни ласкам — и напускала лужу.

У такой матери, верно, должна была быть другая дочь. Люди, даже сильные, достаточно беспомощны перед собственной натурой. Мать не в состоянии была воспитывать дочь иначе. Елена по природе своей поддаваться такому воспитанию не могла.

...Поразительно: муж от нее уходил, собирал вещи, а она в воспоминания о детстве ударилась. Чтобы отвлечься? Нет, все, что встречалось в ее взрослой жизни рационального, обоснованного трезво, жест-

ко, что наступало и давило на нее,— все это как бы смыкалось с далеким прошлым, будто являясь еще одним аргументом в давнем их с матерью споре.

Он уходил, глядел виновато и вместе с тем, она знала, решения своего не переменит. Эти сборы... Она ушла в спальню. Он постоял у двери, потом по коридору прошел: неужели к Оксане? — она подумала. Встала, на цыпочках подошла и услышала его голос: «Оксана, ты знаешь что, ты береги маму». Пауза. Оксана неразборчиво ответила ему. Его бормотание. Елена не осмеливалась подойти ближе. Слова: «Я так и думал» — и голос по-доброму звучал и даже будто благодарно. Вот как! Он счел нужным с дочерью ее напоследок говорить — не с ней! Ее, значит, любили, но уважение выказывали тем, кто оказывался рядом с ней. Николай с матерью ее объяснялся, Митя к Оксане малолетней пошел. Полагали, что о серьезном, существенном с ней говорить бесполезно? Так, значит, воспринимали ее.

Гнев захлестнул, она пошла и настежь распахнула дверь в Оксанину комнату; разом они оглянулись, недоуменно, недоверчиво, будто с одной мыслью: зачем она здесь и что еще может выкинуть?..

В халате поверх ночной рубашки, в тапочках на босу ногу, растрепанная, вызывающе улыбнулась:

— Ну что, косточки мне все перемыли?

Оксана приподнялась.

— Мама, я тебя прошу...

— Этот человек...— Елена вскрикнула.

Она понимала, она чувствовала: нельзя, нельзя. Пусть он уходит, но она должна суметь выдержать все достойно и такой остаться в его глазах, в своих глазах, в глазах дочери. Но ее понесло, в ушах звенел собственный крик, в глазах от ярости потемнело: у них совершенно одинаковым было выражение лиц, тот же испуг в глазах и брезгливость, недоумение. Как похожи! А ведь только она и соединяла их. Они же вытолкнули ее и объединились против.

Предатели...

— Мама, мамочка,— шептала Оксана,— прошу. Мама, ну зачем...— И вдруг: — Ведь стыдно!

Елена услышала, пришла в себя. Потерянно обвела глазами комнату. Да, все пропало! Вышла, шатаясь, и ничком упала на кровать.

Когда очнулась, Оксана сидела у окна, держа на коленях раскрытую книгу. Елена взглядом с ней встретилась.

— Что ты читаешь? — спросила.

Девочка вроде смутилась:

— Да вот Стендаль... Тома нашла разрозненные.

— Полное собрание было,— Елена сказала. Она боялась о другом спросить.

И девочка не говорила, глядела настороженно.

— Ключи он оставил? — Елена не выдержала.

Оксана кивнула.

Да, значит, ушел все-таки.

Остались вдвоем. Оксана заканчивала десятый класс. Елена к десяти уходила на службу, возвращалась к семи. Работала теперь в другой конторе, ближе к дому: в небольшой комнате впритирку стояло пять столов, за ними сидели пять женщин.

Елена повесила над своим столом плакат с важным медвежонком, влезавшим на трехколесный велосипед, принесла из дома плетеную кошечку. Обживалась... Что-то о себе рассказывала, выслушивала других, и много обнаруживалось у нее с окружающими людьми общего, того, что сближало.

На новом месте ей следовало себя зарекомендовать, пришлось сосредоточиться, серьезно постараться. И, слава богу, коллеги не знали

прежней ее, заполненной до ушей личными переживаниями, оглушающими, ослепляющими.

Теперь, в этой тесной комнатке, среди сугубо женского коллектива, она наконец почувствовала себя в безопасности, огражденной от неожиданностей, подстерегающих, казалось, на каждом углу. Впрочем, она замечала: многие из женщин с тем же ощущением являются на службу — как в укрытие. От семейных дразг, от разочарований, от недовольства собой и близкими, от обыденности и безрадостности своей женской судьбы. Официальная обстановка действовала на них, как ни странно, благотворно. Взбадривала. Они входили, садились каждая на свое место, доставали зеркала, пудрились и хватались за телефонные аппараты, точно стремясь самим себе доказать, что они — люди! Граждане. Полноправные члены общества. И ни хамоватым мужьям, ни детям — грубящим, вышедшим из повиновения — отсюда их уже не достать, не выколупнуть.

Елена, бывало, сама дивилась себе: спешить на работу, каждое утро вливаться в сугубо женский коллектив, до шести вечера просиживать в тесной комнатке, где помещался их отдел, — и при этом казаться общительной, улыбаться, и, представьте, без притворства даже.

Ее любили. Такой любви она не знала еще. В мелочах она проявлялась: в кафетерии, скажем, коллеги место ей занимали, кофе брали, бутерброд, даже если она и не просила и почему-либо запаздывала. Перед начальством, случалось, выгораживали ее... К чему перечислять? Чувствовала она их отношение, хорошее, небезразличное.

Какая она с ними была? Да ничего особенного, специально симпатиями заручиться не старалась. Опаздывала, правда, был грех. Но и тут она старалась с собой бороться.

И — не лезла. Инстинктом поняла, что больше выиграет, если позволит коллегам опекать себя, и не учуют они в ней конкурентку. Тут женская ее природа подсказала правильный ход. Натур агрессивных, тщеславных и у них в коллективе находилось достаточно. Соперничать с ними Елена не смогла бы. И навыка не было и не хотелось.

Обыкновенная жизнь. Прошедший день неотличим от предыдущего, но что-то ведь заставляет нового, завтрашнего ожидать, а значит, есть силы и можно еще надеяться, что стоит, есть смысл, необходимо жить.

Вот эта не осознаваемая вполне, подспудная как бы вера и приносила душевное, так сказать, равновесие. Никогда еще за все годы так плохо ей не было — никогда спокойней, ровнее она не жила.

Временами даже казалось: вот теперь бы и начать... Теперь, когда все в ней наконец устоялось, когда она не то что поумнела — проще, может быть, стала. И выносливее.

А может, так и устроено в жизни, что сердце человека размягчается только страданиями и только тогда благородство просыпается в нем, когда он сам в благородстве начинает нуждаться, нуждаться в отзывчивости, в добре? И без таких испытаний человек зол, придиричив, беспощаден?

Помимо службы Елена еще подрабатывала, рецензировала, редактировала, и складно у нее это даже получалось, заняться бы всерьез этим раньше, кто знает, что вышло бы...

Лестно: похвалил заведующий, а в кулинарии цыплят парных удалось достать, французскую тушь (пятерка стоимость, рубль внакидку) там же, на работе, купила, немножко помяли бока в автобусе в час пик, а в общем, жить можно.

С таким ощущением входила теперь в свой дом. И сразу взгляд на вешалку: Оксана дома? Иной раз была, иной раз нет. И тогда Елена ждала, когда бы она ни возвратилась...

Она, конечно, готова была понять... Но и предостеречь хотелось, и беспокойство трудно оказывалось сдержатъ, и инстинкт проявлялся



собственнический: мое! Да ведь и в самом деле больше и нет никого на свете.

Если бы только Оксана рассказала, поделилась с ней своим — все бы простилось ей и легче бы стало и проще. Так важно было почувствовать, что она, Елена, нужна.

Но ведь не заставишь, не вымолишь. Неподпускающий Оксанин взгляд и голос жесткий — и все расчесывала, расчесывала перед зеркалом свои золотые, каждый раз изумляющие волосы.

Когда-то труда не стоило догадаться, чем можно порадовать, как подладиться. Повести, скажем, в зоопарк, стоять вдвоем у клеток с характерным запахом конюшен, пытаюсь настичь ускользающий равнодушно-тоскливый взгляд зверя, и чувствовать, как детская ручка ежмается тебе в ладонь, и ты отвечаешь пожатием взрослым, снисходительным. Так просто было! «Мама, купи мороженое, купи!» — и глядит на тебя, будто полцарства даришь. И поцелуй перед сном в лоб...

Мешаешь, надоела — такой встречала взгляд, зыбкий, убегающий. И даже в ссорах не удавалось никаких сведений добыть. Укоряюще и так же неприступно: «Да что ты кричишь, мама...»

«Оксана, — когда-то говорила, — закрой дверь». Теперь, когда к дочери заходила, эта же фраза звучала, только сейчас е е, мать, не пускали.

Дочь ускользала... В движениях ее, в выражении лица появилась раздражительная поспешность, точно она постоянно готовилась дать Елене отпор, пресечь любое вмешательство, любое посягательство на свою свободу. Когда же девочка успела ожесточиться так? Елена недоумевала. Ей представлялось, что все еще не упущен момент и удастся ей растопить шершавую ледяную корку.

Когда-то она наблюдала первые Оксанины шаги, первые выходы ее во внешний мир. Вот парк осенний, набухший дождем. Они идут с Оксаной, взявшись за руки. Но девочка дернулась, подалась внезапно туда, где на жухлой колючей траве играют ребятишки. От года до трех. В младенческой их неуклюжести, неловкости потешная важность: как они ходят вперевалочку, приседают осторожно, опасаясь равновесие потерять. Оксана останавливается неподалеку, смотрит. Взрослые так никогда не глядят — с таким откровенным призывом, голодно, жадно: я тоже хочу с вами играть! Но дети не обращают на нее никакого внимания (зародыш истины: сила — в коллективе). Оксана продолжает стоять, замерев. И тут в Елене вздымается такая жаркая к дочке жалость, потребность защитить, уберечь от унижения, правда осознаваемого только ею, взрослой! Она склоняется, шепчет: «Оксана, пойдем». Но Оксана не двигается. Ее упрямство направлено теперь против матери и в защиту тех интересов, что объединяют ее со сверстниками. Она, трехлетняя, намерена существовать самостоятельно и в своем мире. У юных, у молодых всегда свой особый мир.

...Но, в общем, не так много удавалось Елене вспомнить. Известно, жизнь человеческая как поезд: скорость растет постепенно, плавно проплывают первые километры, на пригородных станциях можно еще разглядеть ожидающих на платформе людей, киоски, скамейки, а дальше уже — сплошное мельканье телеграфных столбов, и все быстрее, быстрее.

Но уж чего у нее, Елены, казалось, никому не отнять, так это взгляда, долгого, тягучего, вбирающего, засасывающего. Так вот и на дочь глядела, будто желая вернуть ее себе — пусть не в теперешнем облике, пусть крохой, в младенчестве — и прижать к груди.

Смотрела. Любовалась. Какие волосы! А как-то искательно произнесла: «А может, Оксана, заколоть лучше, поднять вверх от затылка?..» И язык к небу прилип, когда поймала в зеркале выражение лица дочери — брови вздернуты, складка насмешливая у губ. Что, мама,

будто говорило лицо, какие ты можешь давать советы? что можешь вообще посоветовать ты — мне?..

К Оксане приходили приятели. Кого хотела, того звала. Однажды, когда уж очень они галдели, Елена запротестовала. Оксана выслушала. «А я здесь прописана», — обронила небрежно. Елена остолбенела. Верно! Но ей самой в молодые годы и в голову не пришло бы ответить так. Как странно, в свое время она отнюдь не считалась паинькой, напротив, и дома и в школе постоянно бунтовала, нарушала запреты, в нее тыкали пальцем — дурной пример. Она с мальчиками в подъезде целовалась. В выпускном уже классе явилась как-то в тонких чулках. Ходила с непокрытой головой — тоже вольность! А однажды к самому дому за ней прибыл ухажер на такси!

И в ней всегда жило чувство, что она грешница. Сознала: есть за что осудить ее. Шла напролом, но никогда бы не сообразила вот так обрубить: «А я здесь прописана». Или: «А мне уже выдали паспорт». Или еще что-нибудь в том же роде — очевидное, весомое.

Подобных доводов она почему-то не умела находить. Другое, верно, было время, к другому она принадлежала поколению. Подумала, и вдруг ей сделалось ужасно тоскливо в своей квартире, заполненной этими детьми, точно во всем мире не осталось ее сверстников, спутников, соучастников ее юности, точно они все исчезли и только она одна затесалась среди уже совсем иных игр.

В ней все росло, разбухало ощущение неуверенности. В человеческой жизни, верно, наступает такой момент, когда вроде стыдиться начинаешь своей немолодости, будто это всем бросается в глаза, будто вслед тебе укоризненно качают головами, и на твое лицо выплзает виноватая улыбка — извините, мол, уж получилось так, не сумела... Не свежесть, гибкость в себе удержать, а запастись своевременно чем-то таким, что теперь бы защитило, — Елена только не знала, что бы это могло быть.

Разбирая свое состояние, она мысленно такое однажды нашла определение: надо было н а р а б о т а т ь. Эдакая жесткая, напористая фраза, совсем вроде бы не ее. Из другого, чужого как бы опыта.

Оксана тоже подталкивала к догадке, но очень уж грубоватой, принижающей: она будто нарочно подчеркивала свой практицизм, точно и этим хотела противопоставить себя своей матери, упрекнуть за допущенные той ошибки. Или, может, она оборонялась так? Ведь дети иной раз специально демонстрируют свои дурные свойства, желая скрыть нечто мягкое, нежное в себе. Елена старательно искала поведение дочери какие-либо оправдания, ей, Еленой, двигало желание навестать, то настичь, что ускользнуло когда-то: поймать конец оборвавшейся где-то нити, связывавшей ее и дочь.

У них с Оксаной после ухода Мити вполне, можно считать, наладился быт. Елена даже гордилась, как удачно переставила мебель, занавески новые повесила, убеждая себя, что в тех переменах, инициатором которых, правда, была не она, есть и свои плюсы.

Вот только с полочкой в ванной она намучилась. Крошила, терзала кафель, страдая от безрукости своей. Но добила! Казалось, выдержав это испытание, она и на большее станет способна.

Оксана пришла, взглянула. «Н-да...» — процедила сквозь зубы и иронично губами причмокнула. «Что, криво?» — обеспокоенно Елена спросила. «Да сойдет». Оксана щелкнула выключателем.

Елена и сама чувствовала (это, верно, замечала и дочь): в их жилье, хотя там оставались те же вещи, с уходом Мити появился как бы налет жалкой какой-то показухи, отмечавшейся прежде Еленой в домах безмужних подруг.

Но на этом нельзя ни в коем случае было сосредоточиваться! Обреченность, ее надо гнать от себя, гнать! Елена накупила по дешевке каких-то безделушек, свои фотографии — себя молодой и дочки маленькой — окантовала и развесила по стенам, цветы в горшках

расставила, салфеточки разложила, подставочки, не желая замечать, что в насыщенной всеми этими мелочами атмосфере ее дома сгущается все сильнее приторно-сладкий дух одиночества — унижительного одиночества женщины без мужчины.

Елена, правда, изо всех сил карабкалась. И за кого ей было теперь цепляться как не за дочь?

...Но вот однажды Оксана, глядя все так же поверх, сквозь как бы зыбкими своими, непроницаемыми глазами, вымолвила с явным насилием над собой:

— Мама, в воскресенье я буду обедать у папы.

— Что-о?!

— Ну да, у папы. У Николая Михайловича. Тетя Варя дала мне его телефон,— спеша опередить какие-либо расспросы,— я позвонила, договорились, в воскресенье иду к нему обедать.

Когда это было? Откуда Варя взялась?

Снова через силу, морщась:

— Ну мама, ну разве нужно это обсуждать? Мешать? Чему?! Что-бы я увидела отца родного? Ну правильно. Я тоже решила так. А тетя Варя, она ведь твоя подруга...

Конечно. И было неминуемо. Но почему вот сейчас? Когда — что таиться? — все потеряно, все изломано, на развалинах живешь. Пытаешься жить. Пытаешься, сохранив в себе лишь то, что живо еще: любовь материнскую. Вот к этой взрослой золотоволосой девушке, что рвется на свидание к отцу, которого не знала, не видела, который не существовал для нее все эти годы, а мать-то, какая-никакая, была...

— Иди, конечно,— Елена сказала.— Расскажешь после.

— Расскажу! — с облегчением просияла.

Все же девочка, все же ребенок — захотелось новую игрушку, перемен заждались.

Иди, иди... И вот — воскресенье. Вернулась поздно. Елена выдержала, не вышла из спальни, когда дверь хлопнула, щелкнул замок. Оксана, пальто не сняв, ворвалась.

— У него «Волга» белая-белая! Он на ней меня сюда привез! «Волга» белая-белая, а сиденья финской материей обтянуты, темно-красной, очень трудно было достать. В комнатах простор и так стильно... У папы курточка кожаная, а мягкая, точно бархат. Он в Испанию скоро поедет, просил мои размеры, что-нибудь привезет...

Жуя на ходу бутерброд, Оксана взахлеб впечатлениями делилась и даже, казалось, подобрела, настолько была упоена свиданием.

— А жена его, Зоя, такая умница! Вроде со всем соглашается, а делает то, что сама решит... Цепочка? Да это папа подарил. Сейчас модно еще знаешь что...— И, округлив глаза, шепотом, будто о самом сокровенном: о фасонах юбок, форме каблуков, вечерних платьях, носимых в этом сезоне в Париже.

А у Елены только пара сапог, да и те в ремонте, Оксана знает, сама же относилась. А пальто... Да что говорить! Забыла, все забыла — в новую рванулась жизнь.

Другой характер. Или другое поколение? Никогда прежде отца не видела, а так просто, легко о нем говорила, точно всю жизнь вместе с ним прожила.

А он — так же легко пошел навстречу? Не знал, не ведал, жил спокойно себе — и что же, Оксана мгновенно его обольстила? А почему, собственно, ему бы не радоваться, получив в подарок взрослую красивую дочь? Болезней детских ее он не знал, не знал упрямого, трудного характера — Оксана, конечно, была с ним мила, ну и, естественно, они подружились.

Воскресные обеды, подарки, взаимный, ничем будничным не омраченный друг к другу интерес — и что могла противопоставить этому она, Елена?

Она — так банально звучит! — как рыба об лед билась. Но что привлекательного можно было найти в судьбе одинокой, служащей, немолодой уже женщины? Ее победы — это в лучшем случае четвертак к зарплате. Пальто, перелицованное и по моде обшитое крашеным мехом. Духи болгарские, к которым если добавить чуть-чуть других, французские будут напоминать — те, что не по карману.

И мечты еще остаются — ну, скажем, об отпуске: к морю съездить, если денег подкопить, а если удастся еще извернуться, так можно путевки достать в какой-нибудь приличный санаторий.

— Нет, мама,— сказала Оксана твердо,— я с папой поеду отдыхать. Уже решено. Мы уже договорились.

Такая была у нее манера: не деликатничать. Выкладывать все разом и не опускать глаза. А может, и впрямь так было честнее? Она ведь с детства требовала: не подводить, не сбивать с толку пустыми обещаниями. Уж лучше и не рассчитывать ни на что.

«Нет, мама, я с папой поеду отдыхать...»

Но все-таки что это было: зов крови, тяга неодолимая, юное любопытство, обида давняя, желание обрести отнятые — не важно кем — права? Наверно, все вместе. И все же чего тут было больше — расчета или искренних чувств?

Очень важным казалось понять: ее дочь может быть откровенно корыстной?

А сама Елена? Корысть ли в ней обнаруживалась, когда на Митю за безденежье ворчала? Да нет, не корысть. И не бедность ее тогда тяготила, а заурядность, будничность его. И все же...

Ну уж чего сейчас вспоминать, какой была. Зато сейчас жадность, суетность отделись от нее. Когда слышишь в себе боль невыдуманную, реальную, понимаешь, что действительно ценно.

События стремительно раскручивались. На субботу-воскресенье Оксана уезжала теперь с отцом и его женой за город в дома творчества и впечатлениями с Еленой все реже делилась. Мимоходом сообщала, что — улыбалась лукаво — папа хвастается ею, водит с собой повсюду: и в театр на репетиции. Моя дочь, говорит и важно смотрит. Жена его Зоя очень умно себя ведет — о, Зоя знает свое место! — и голос девичий при этом злорадством звучал.

Елена — вот дура! — сочувствием тогда переполнялась к его жене: она-то знала, какого терпения и мук стоят взрослые, осознавшие свои права, от другого брака дети. Оксана, она еще себя покажет, эта бедная Зоя еще хлебнет с ней.

Хотя что Зоя? Ей-то самой, матери, какое место отведено в четком Оксанином раскладе?

Думала, думала! Ревновала. Привычное для нее чувство, с детства оставшееся как самое первое воспоминание. Только тогда сама искала для ревности повод и лезла постоянно на рожон, теперь же терпела, ждала. Но однажды сорвалась.

— Тебе что важно,— сдерживаясь поначалу, спросила у дочери,— известность его, богатство, престиж, как говорят нынче? Ты же вымогательством занимаешься, неужели сама не понимаешь? Где твоя гордость? Если он не в состоянии тебе ни в чем отказать, это не значит, что ты не должна проявлять щепетильность.

— А почему? — Оксана краем губ усмехнулась.— Что он, чужой?

— Нет, не чужой, но... — Елена никак не могла подобрать подходящего,— но... существуют нормы, правила, деликатность, вообще-то тебе не свойственная... (Ах, не надо бы обижать!) Ну и такт... Да и зачем все сразу?

— Сразу? — Оксанин голос чуть звонче стал.— А я не виновата, что шестнадцать лет пришлось мне ждать, потому и получилось все сразу, а могло бы быть постепенно, разве нет?

Елена промолчала.

— Но ты же только,— произнесла после паузы — берешь, а взамен что?

— А ты откуда знаешь? — Глаза Оксаны сузились. — Ты что, нас видела, присутствовала вместе с нами? И я даю, даю то хотя бы, что вообще существую! Мало? Это тебе всегда мало было! Какие-то особые проявления, доказательства всегда требовала! И мучила всех. А просто жить тебе казалось скучно.

Елена молчала. Оксана раскраснелась, сдула со лба упавшую золотистую прядь.

— Вообще, мама, ты лучше не вмешивайся. Я ведь тебе не мешаю. И мешала разве когда-нибудь? Что хотела ты, то и делала и не очень-то советовалась со мной. А теперь... Не мешай мне. Станешь мешать — я вообще перееду к папе.

Сказала — и смутилась. Явно недовольна была собой: угрозу держала наготове, но не собиралась на сей раз использовать. И не сдержалась. А ведь обычно владела собой. С детства в ней это было: взгляд холодный, вся — будто поводья натянули. Цепенела в упрямстве, хоть чем круши. Не сморгнет, не уступит ни пяди. А здесь не сдержалась, лягнула.

Тут бы Елене использовать ее промашку, сыграть по-умному — да, в жизни и это уметь надо — благородное негодование. Или в крайнем случае смолчать, затаяться. Так нет, обида, как пощечина, ослепила. Как с Митей тогда, как всегда... Закричала — а ей бы тихо говорить, чтоб вслушивалась,— закричала, завизжала даже:

— И уходи! Собирай сейчас же вещички! Иди туда, где теплее, сытнее! Тебе там слаще, где подачек больше дают! Видеть тебя не хочу, змееныш! Предательница!

И только тогда увидела девочкины глаза, огромные, влажные. Ничего не выражали они, ничего в них не было — пустыня...

Одни глаза. Встала. Сдернула пальтишко с вешалки — и вышла.

На работу Елена не пошла. Сил не было с постели встать. Лежала... Хорошо, когда беда не на одно только сердце давит, а лишает всех физических сил: такая слабость, что тошнит даже. Вот в этом и спасение — в неспособности что-либо предпринять. Лежишь-лежишь, а потолок вроде начинает покачиваться и стены с ним вместе...

Очень давно она, молодая мать-дуреха, перепеленовала дочку на столе, и тут зазвонил телефон — побежала, схватила трубку и вдруг, точно от удара в грудь, вспомнила, побежала обратно: девочка лежала на полу навзничь, не двигаясь и не плача. С воплем, раздирающим внутренности, с мутящимся от ужаса сознанием схватила, прижала к груди — куда бежать? И тут встретила спокойный, недоумевающий взгляд блекло-голубых младенческих глаз. Живая, живая! С лицом, мокрым от слез, хлынувших облегченно, продолжала мерить шагами комнату с девочкой на руках, шепча: «Я этого не переживу, я этого не переживу...»

Очень давно, Оксане было года четыре, гости пришли, а надо было уложить дочку спать, она капризничала, выслушала коротенькую сказку и снова заныла: хочу пи-пи, принеси водички, буду спать с мишкой, нет, куклу в постельку положи. Елена, на высоких каблучках, наряженная, надушенная, дернула с раздражением за слабенькую ручку: да перестанешь ты, в конце концов! Ой, мамочка, не уходи, посиди со мной еще немножко, мамочка! Елена решительно направилась к двери, Оксана из-под одеяла выпуталась, сползла с постели — маленькие ножки с пухлыми пальчиками на пол ступили. Ах, ты не слушаешься?! Нетерпеливо, озлобленно, не соразмеряя, в безумии размахнулась. Лицо ребенка скривилось, растянулось в немой гримасе, точно звук пропал. Обида, боль! Стекланная тишина. Стекланный блеск в ребячьих глазах, отяжелевших слезами.

Очень давно... Как же жить? Как вообще живут люди, едят, пьют, ложатся спать — и не чувствуют отвращения? Воля к жизни? Неужели есть такой хитрый механизм? И где он запрятан в человеческом организме? Как нащупать его, наладить, починить? О господи, не надо, не надо...

Сможет она до вечера дотянуть? Как обессилевший пловец, коснуться кромки берега и потерять сознание. Не думать. Не знать. Не вспоминать ни о чем. Чтобы в серых утренних сумерках очнуться разом от ломящей боли в груди.

...На службу. А куда еще идти? Дотащила себя, будто мертвую, разлагающуюся тушу. Села. Лица, жесты, хлопанье двери, гул улицы из открытого окна — глядела тупо. Полнейшее ко всему равнодушие твердой пленкой облепило, сковало ее. Пластырем, под которым гноились раны.

Люди. На людях... Ее никто не теребил. Когда не ищешь, не ждешь, тогда вот, точно проснувшись, ощущаешь вдруг легкое, деликатное касание — сочувствие, внимание к тебе. Осторожное, пугливое, чтобы не ранить. Уважительное — к немому горю. Суеверное — несчастье может свалиться на всех. Женское — с инстинктивной догадкой, что и почему болеть может.

Вот в такие потоки Елена окунулась. Робея — а заслужила ли? Смущенно — а не тщетны ли их старания, когда все в ней зацепенело, вымерло?

На плитке закипал чайник, с типично женской преувеличенной суетливостью они готовились, радовались предстоящему ритуалу. Стулья двигали, выкладывали съестное, кто-то успел в гастроном сбежать. Рассаживались, шушукались возбужденно не по возрасту. Сколько же девчоночегое, нерастраченного, не пригодившегося в быстро-течной жизни сохранилось в них! И как же все это из них рвалось! Как много вообще остается неиспользованного в людях. И чья тут вина?..

Елена раздвигала налипшие на десны губы — училась улыбаться. Хотя бы только для них.

Однажды позвонил Николай. «Елена? — услышала. — Встретиться бы надо, поговорить. Об Оксане».

Она сказала: да. За весь разговор она несколько раз только «да» и сказала. И трубку повесила. Села на кровать. Сообщил, что сам к ней приедет. И время назначил сам. Конечно, он занят, ему и право выбора.

Сидела — и вдруг всполошилась: прибраться бы надо и себя прибрать. Подошла к зеркалу, волосы от лица оттянула — боже, на кого похожа стала! Еще одно испытание, что увидит он ее сейчас.

А квартира! Точно разграбленная. И не отсутствием вещей, а какой-то иной пустотой впечатление это создавалось. Сама заметила, когда перед приходом Николая убиралась. Ее комната: две кровати, одна к другой плотно сдвинутые; стыдно вдруг сделалось от этого ложа: ничья жена, зачем же тогда?.. Дверь захлопнула, прошла к Оксане. А здесь — комок к горлу подкатил при одном только взгляде: здесь пустота — как рана открытая зияла. Кровать аккуратно застелена, на столике флакончики какие-то, и там же кукла сидела, блондинка в розовом платье.

Не уберегла! Забыла, что ребенок ведь еще совсем. Для себя опоры искала, искала, как бы самой отогреться, а девочка?.. Девочке мать была нужна, умная, стойкая — советчик.

Стояла, прислонившись к дверному косяку, когда раздался в дверь звонок требовательный, нетерпеливый. Она сразу узнала...

— Здравствуй.

— Здравствуй.

Он снял плащ, остался в куртке кожаной — той, должно быть, о которой Оксана рассказывала, что она точно бархатная на ощупь.

Они не виделись — сколько? Москва — большой город, но все же выплывали какие-то люди, совершенно случайно, попадались внезапно в магазине, в метро. Однокашники постаревшие — и никогда не узнать бы — о себе заявляли. Попутчики в поезде, соседи по больничной койке, знакомые, виденные один только раз, — их вот житейское море на поверхность вдруг выносило, поворачивало хоть на мгновение друг к другу лицом, лбами сталкивало, но ни разу не встретила она первого своего мужа, родного отца своей единственной дочери.

Она ввела его в кухню. Белый пластиковый стол, белые подвесные шкафы на кафельных стенах. Как везде, как у всех. Она почувствовала облегчение, что может спрятаться от него за этот стандарт.

Высокие его колени не ущемались под кухонным столом. Сел боком, заплетя одну за другую свои длинные ноги. Она чуть не приснула — чисто нервный смешок, — но уж очень чужеродной, некстати здесь, теперь показалась давнишняя его поза. Сколько лет прошло! Точно так же на кухне в доме ее родных он сидел боком, неудобно, и пил чай.

— Ты что? — спросил подозрительно, заерзав.

— Что? — бессмысленно отозвалась. — Чай, кофе будешь пить?

— Чай, — проворчал, будто она провинилась и просила прощения.

В карманах порылся, достал пачку сигарет, зажигалку, выложил на пластиковую поверхность стола. Сколько пустых, неоправданных, штампованных жестов вносят в жизнь свою люди, думала она, таких фальшивых, как в кино.

Разлив чай, придвинула машинально сахарницу к нему поближе и, недовольная этим своим заботливым движением, села напротив.

— Научилась заваривать, — произнес одобрительно.

— Я думаю, — она проговорила, — ты пришел не мои навыки проверять. Разговор, как понимаю, у нас серьезный.

— Да, — он сказал. — Собственно, что говорить... Раз у вас с Оксаной не получилось, пусть попробует у меня пожить. И все, собственно.

Поразительно! Она готовилась к этому разговору, чуть ли не наизусть выучила, что собиралась ему сказать, а он все свел к одной фразе. И в самом деле: что, собственно, еще?

Не получилось — у матери с дочерью! Как просто, как ясно. Да где его способность, черт возьми, в души проникать, тонко чувствовать ситуацию, находить детали?!

Она рассердилась. Строго, пристально взглянула на него. Глаза в глаза. И будто впервые. Будто пропал гипноз, парализовавший прежде ее волю. Почему, собственно, в его присутствии она так спешила всегда распластаться? Взывала к чувствительности его, не смая подняться ни разу вровень с ним? Превосходство его так угнетало? Но ведь он не во всем ее превосходил. И не столько она им восхищалась, сколько ореолу поддалась. Зависимость от посторонних мнений — тут-то и клюешь на дешевку.

Потому так поверхностно, непрочно и сложилась ее с Николаем жизнь. Вне среды, вне родительского дома, среди чужих привычек и правил чувство ее не сумело себя осуществить. Она увязла — по молодости, по слабости характера.

Теперь она спокойно об этом подумала, без сожаления. Наступила пора, когда уже не рвешься к счастью оголтело, безумно, а сосредоточенно стремишься понять: отчего счастья нет?

Она уже не сердилась. Выжидательно, с любопытством разглядывала его. Поредевшие волосы. Глубокие складки у крыльев носа. Изношенность, одряблость всего лица.

— Ты полагаешь, что справишься? — спросила.

— А что? Оксана взрослый человек. И — умница. — Не свойственная ему совершенно застенчивость расщепила обычную ровность тона. — Я так рад... — Он не договорил, нахмурился, обеспокоенный, что сказал лишнее.

— Посмотрим.

Она была ошеломлена. Этот чугуно-литой, зачерствелый, на одном только деле своем сосредоточенный человек оказался обезоружен отцовским чувством. Оксана, значит, то с ним сделала, что никому прежде не удавалось?

А может, отцовство подготовлялось в нем и чем-то иным? Жизнь разминала в своих сильных, жестких пальцах сердца упрямец, себялюбцев, честолюбцев, приучая и подчиняя их постепенно всех себе. С в о и м законам. Своим правилам.

Возникшая пауза, казалось, их больше сблизила, чем возможное согласие в разговоре. Но подобный путь был бы неоправданно легким.

— Словом, думаю, ты не должна быть против, — сказал Николай.

Очнувшись, Елена кивнула.

— А у меня она будет бывать?

— Уж это, извини, ее дело. — Встал, прошелся. — Налаживайте. Я, по крайней мере, не стану мешать. Хочу только, чтобы ей хорошо было.

Она кивнула снова.

— Передай ей...

— Передам, — он ее оборвал, — что ты не возражаешь. Ей, знаешь, тоже совсем не просто, ты уж сообрази.

И, давая понять, что разговор закончен, улыбнулся. Какая у него была улыбка! Она, как и прежде, и старила и молодила его. Морщинки разбегались от глаз, рот в узкую щель сжимался, и все же каким обаятельным он в эти мгновения бывал! Талант, конечно, ну да бог с ним, с талантом, но так улыбаться умел только он.





---

ДАНИИЛ ГРАНИН

★

## ТЫ ВЗВЕШЕН НА ВЕСАХ...

Рассказ

**Х**оронили художника Польшина. Было людно, что удивило Щербакова. Гроб стоял в зале, там происходило движение, приносили цветы, венки, при этом у самого гроба возникала толкотня, все старались разглядеть покойного. Разглядывали с любопытством почти неприличным, даже недоверием. И сам Щербаков испытывал примерно то же, поскольку давно не числил Польшина в живых. О Польшине каким-то образом позабыли, и, оказывается, прочно, поэтому то, что он умер только сейчас, воспринималось с недоумением.

В дальнем углу играло трио. Между зеркал, завешанных холстами, висел в траурной раме фотопортрет Польшина с орденами и лауреатскими значками. Сами они, поблескивая, лежали тут же на красных подушечках, Польшин же лежал отдельно, повыше, среди цветов и венков.

Приехало начальство, похороны сразу обрели значительность, и уже не было места недавнему смущению.

Когда Щербаков встал в почетный караул, он увидел Польшина рядом, но не узнал его. Задрал седую бороденку, которой на портрете не было, сухонький старичок с каменно-ожесточенным смутлым лицом жмурился не то от сильного света, не то от любопытных взглядов, в последний раз устремленных на него. Совсем Польшин не был похож на того величаво-благодарного мэтра, которого Щербаков помнил по институту, привыкшего к вниманию, уверенного в своей безошибочной руке. Тот Польшин был насмешлив, весел, окружен сиянием успеха. Таким он и возникал в речах, что произносились над ним одна за другой. Ораторы смотрели то на покойника, то на бумажки, как бы не доверяя своим глазам. Перечисляли награды, должности, названия некогда нашумевших выставок и картин. Из всего этого следовало, что Польшин заслужил славу большого художника, выдающегося, замечательного. Некоторые его картины действительно помнились Щербакову до сих пор со всеми деталями; вспомнил он и то, как Польшин приглашал его зайти к себе в мастерскую, а Щербаков постеснялся, не пришел; жил рядом, выходит, с таким художником, может быть, классиком — и не понимал. Выступила женщина из Министерства культуры. Говорила она без бумажки, проникновенно, о жизни, наполненной служением искусству, и Щербаков впервые взгрустнул. Но на словах «сколько красоты мог еще дать людям его талант» голос ее прервался, и тогда Щербаков вспомнил, что этот прерывистый вздох вместе с этими словами он слышал от нее же на похоронах режиссера их театра.

Он оглянулся. Неподалеку стояли Андрианов и Фалеев, они обсуждали, кого ввести в худсовет вместо покойного. Спорили они тихо, сохраняя на лицах скорбное выражение. На других лицах было

такое же изображение скорби. Одинаковость этого выражения заинтересовала Щербакова, секрет тут, очевидно, в том, думал он, что чувство это неискреннее, потому что искренние чувства несхожи и у каждого должны выражаться по-своему.

Заиграл оркестр. Траурная мелодия поднялась над гробом, над венками, подушечками, и в зале впервые повеяло тайной человеческой смерти, ее вечной загадкой.

На кладбище поехало совсем немного народа. Хватило двух автобусов, остальные пришлось отпустить. Ехали долго. Долго стояли у переезда. Дождь перешел в снег. Крупные хлопья таяли в желтых лужах. В автобусе говорили о болезнях, обсуждали, почему Полинин последние годы не выставлялся, одни считали, что у него был кризис, другие, что он болел. Щербаков досадовал на себя за бесхарактерность. Когда гроб понесли из зала, большая часть публики куда-то пропала, непонятно было, как могло сразу исчезнуть столько людей. Те, кто замешкался, боком пробирались мимо администратора Нины Гургеновны, которая громко приглашала в автобусы. Осмотрев сидящих там, она пожаловалась Андрианову: все старики, кто же гроб нести будет? Андрианов покачал головой:

— Ни стыда, ни совести.

На нем было новенькое пальто коричневой кожи, оно ярко блестело, и весь он, высокий, плечистый, блестел здоровьем и приветливостью.

— Вот Щербаков поедет. Верно?

— О чем разговор,— сказал Щербаков и полез в автобус.

Сидя в автобусе, он видел, как Андрианов поднял зонт, нажал кнопку, черный купол раскрылся, Андрианов под ним проводил Нину Гургеновну к передней машине, сам же отправился куда-то своей легкой походкой. Щербаков ругал себя, но отказать Андрианову не мог. Со студенческих времен он признавал первенство Андрианова и привык подчиняться ему. Андрианов был гордостью их выпуска. Впрочем, успех его не имел прямого отношения к его дарованию. Скорее он был обязан своему характеру, а еще точнее натуре, потому что характер Андрианова определить было трудно, зато имелись качества, привлекавшие к нему всех,— веселость, ровная приветливость со всеми, готовность помочь, и в то же время была цепкость, уверенность в себе, он умел держаться с начальством с достоинством человека талантливого, и начальство его уважало.

Земля на кладбище раскисла. Гроб был тяжелый. Щербаков нес и смотрел себе под ноги, боясь поскользнуться.

За железными прутьями кладбищенской ограды раскинулась стройка. Там в синем дыму рычали панелевозы. Длинные жилые корпуса наращивали третий этаж. Кран медленно опускал квадрат стены с готовым окном. Сквозь запыленное стекло навывлет скользило серое косматое небо. Панель встала на место, и Щербаков подумал, что отныне из этого окна всегда будет видно кладбище, похороны, кресты и обелиски. Ничего плохого в этом нет, думал он, зря кладбища стараются отодвигать подальше, на окраины, зря чураются их. Лично он сохранял бы небольшие кладбища посреди города. Чтобы помнить о бренности жизни. Чтобы хоронили при всех, чтобы водили школьников для размышлений; как это у Пушкина — младая жизнь чтобы играла у гробового входа. Смерть надо использовать для улучшения человека. Мысли эти нравились Щербакову. Когда-нибудь, когда ему не надо будет служить в театре и он не будет зависеть от заказов, он напишет серию акварелей — разные кладбища, могилы. Надгробья — заброшенные, ухоженные, пышные, тщеславные... Не смерть я воспеваю, а жизнь, скажет он, если его станут обвинять... Занятый своими мыслями, он не заметил, что происходило некоторое замешательство — Нина Гургеновна не могла найти

кого-то, кто должен был заключать церемонию. Из-за непогоды народу убыло, некоторые ушли в автобусы. Щербаков очнулся, когда Нина Гургеновна взяла его под руку, умоляюще зашептала. Он совершенно не был готов выступать, в сущности, на похороны он попал случайно, его послали от театра возложить венок. Он хотел все это сбъяснить Нине Гургеновне, но в этот момент между ними втиснулся какой-то пожилой толстяк с фотоаппаратом на животе и попросил у Нины Гургеновны разрешение выступить. Толстые очки его сползли на кончик потного носа, он смотрел с таким волнением и мольбой, что Нина Гургеновна мгновенно насторожилась. «Челюкин?» — переспросила она, фамилия эта ей ничего не говорила, и Нина Гургеновна решительно отказала — уже поздно, сейчас, в заключение, от молодых, от учеников слово имеет Щербаков, и тут же объявила его.

Щербаков испугался, и, как ни странно, при этом его не зажало, наоборот, на него словно накатило и понесло — про Польшину, которого он знал так мало, хотя мог знать лучше, да вот упустил, про то, что, кроме художника Польшина, картины которого останутся, было еще человек Польшин и умер-то как раз человек, которого не сведешь к картинам. А теперь, когда его не стало, окажется, что человека не знали, никто не знал его... С чего это он взял, причем с уверенностью, которой ему всегда не хватало?..

Впрочем, его не слушали. Жались под зонтики, тоскливо переминались с ноги на ногу. Смотрели на него безучастно, незряче. Могильщики готовили веревки. И вдруг среди этой холодной измороси Щербаков ощутил чье-то устремленное к себе внимание. Он не сразу нашел этот огонек в подслеповатых красных глазах. Там, за стеклами очков, что-то разгоралось навстречу каждому его слову с каким-то мучительным восторгом. И Щербаков говорил уже только для этого толстяка, как его — Челюкина? — который стоял, сняв берет, и снег вместе с дождем падал на его лысину.

Стали забивать крышку гроба, все зашевелились, и вот тут этот Челюкин заплакал. У него даже вырвалось рыдание тонким птичьим вскриком. Он удерживал себя и не мог удержаться. Отчаянный этот крик получился неуместным... Принялись сморкаться, всхлипывать какие-то старушки, плакали они тихо, прилично, скорее над собственной близостью к смерти. Вытирали глаза, щеки, но, может, мокрые от дождя. Челюкин схватил фотоаппарат и стал беспорядочно наводить и щелкать. Слезы быстро катились по его бледным щекам. И такое горе было в этих слезах, которые он никак не мог скрыть, что Щербаков опустил голову, было неудобно за Челюкина, за озябшую смущенную кучку людей, за торопливость, с которой забрасывали могилу.

С кладбища поехали на поминки. Щербаков продрог и поехал вместе со всеми, мечтая выпить водочки.

Стол был накрыт в мастерской Польшина. Огромная, запущенная — потолок в потеках, стены облупленные — мастерская тем не менее восхитила Щербакова своим простором, антресолями, куда вела дубовая лестница. Продуманные удобства сочетались с добротностью, размахом — чего стоили полки для красок, бронзовые ручки, выдвижные рамы стеллажей, ступени, обитые медью.

Вокруг стола хлопотали двоюродные сестры Польшина. Народ прибывал, толпились у раковины, большой, синего фаянса, мыли руки. Появились Андрианов, Фалеев с Аллой и с дамой из министерства. Когда расселись, рядом с Щербаковым сел Челюкин. Первую, как положено, выпили не чокаясь за светлую память. Щербаков сразу же повторил и принялся закусывать. Принесли горячую картошку, куски вареного мяса, рисовую кашу с изюмом. При чем тут каша, Щербаков не понял. Кутья, подсказал ему Челюкин, который воспринимал все с благоговейной серьезностью. Стол дымился, поблескивая хрусталем, зеленью овощей, протертыми, лоснящимися по-

мидорами. Свежесть и яркость стола никак не вязались с тусклыми, немыватыми окнами, с нежилой затхлостью, видно, давно заброшенного помещения. Всем это бросалось в глаза. И тут выяснилось, что никто из присутствующих в последние годы не заходил сюда, в мастерскую. Это было непонятно, потому что раньше посещали ее часто. Сидели допоздна, пели, пили, выясняли, кто как пишет. К Польшину тянулись, он помогал, подсказывал, он имел множество должностей, от которых отказывался, отбивался, страдал и все же возглавлял, входил... Он любил свою общественную деятельность — вроде суетную, пустую, но необходимую его темпераменту. Работал он в этой мастерской быстро, легко, успевал участвовать во всех выставках. Написал сотни картин, тысячи листов графики... И вот почему-то все это оборвалось. С какого-то момента Польшин перестал выставляться. Новых работ его не видели, никто о них не слышал. Он отказался от персональной выставки в Манеже. Отказ его произвел впечатление. Полагали, что он что-то пересматривает, ищет, может, у него что-то не задалось. Все реже он показывался в Союзе художников, куда-то пропадал. К телефону не подходил, на письма не отвечал. Незаметно от него отвыкли, он затерялся.

В искусстве тот, кто не напоминает о себе, быстро перестает существовать. Считалось, что Польшин есть, он подразумевался, где-то он пребывал, но как бы невещественно, как воспоминание все более слабое... Щербаков спрашивал одного за другим, и обнаружилось, что в последние годы Польшина вообще не видели, ничего не знали о нем. Всем стало как-то неловко. В этот момент, случайно взглянув на Челюкина, Щербаков поразился напряженной его позе: Челюкин втянул голову в плечи, застыл, словно затаился.

— Вы-то видались с Польшиним? — спросил Щербаков.

Челюкин, вздрогнув, посмотрел на него долго, нерешительно и не ответил.

— Большой художник нуждается в молчании, в паузе, — заговорил Фалеев. — Возьмите Гогена, Александра Бенуа, Боттичелли, да мало ли. Надо накопить. Молчание — это очищение, катарсис. Польшин вынашивал новый взлет...

Речь его звучала внушительно, успокоенно, и все охотно согласилось с ним, довольные, что можно перейти к другим темам, и разговор рассыпался.

Один Щербаков был раздосадован. Вмешательство Фалеева все испортило. Самоуверенный говорун, который тем не менее умел подавлять людей категоричностью, многозначительными намеками, как бы внушая, что за его словами есть еще что-то, чьи-то суждения, а может, и сведения. Щербаков покосился на Челюкина. Тот тихо спросил:

— Это кто?

— Профессор Фалеев.

— Слышал.

— Что же вы слышали?

— Известный искусствовед.

Фалеев сидел наискосок от них и ел чавычу. Сочные губы его были того же густо-красного цвета, что и чавыча, и это было противно Щербакову. Над губами шевелились обвислые черные усы. Фалеев отрастил их недавно, чтобы походить на казака, поскольку с некоторых пор любил упоминать о своем казацком происхождении.

Щербаков не верил его речи, может, потому, что Польшин терпеть не мог Фалеева и не стал бы с ним делиться... «Катарсис», «очищение» — и слова эти, и фалеевская манера произносить их, все было сейчас неприятно Щербакову, и оттого, что Щербаков не мог показать Фалееву этого, потому что боялся его, как и все остальные, от этого он злился еще сильнее.

Сам Польшин, хотя сторонился Фалеева, ссориться с ним избегал. В статьях Фалеева, даже хвалебных, угнетали конструкции, которые он находил в картинах, от его разбора они гибли. Польшин называл его «искусстводав». И то, что Фалеев сейчас присутствовал здесь и нахвалялся Польшина, говорил о нем по-хозяйски, все разъясняя, казалось Щербакову кошунством.

— А вы как думаете? Про молчание Польшина? — спросил Щербаков Челюкина.

— Почему молчание? — Челюкин пожал плечами, вздохнул, потом сказал: — А если не было никакого молчания? Может, это другое... Кризис.

Щербаков засмеялся.

— От кризиса не перестают писать, от кризиса становятся начальством, вице-президентом академии, ректором. Да мало ли куда податься.

Он сунул в рот горячую картошку и сказал с набитым ртом:

— Какой может быть кризис при такой мастерской. Верстачок в нише — это же игрушка! Багеты. Резные рамы. Работай — не хочу.

Щербакову жизнь Польшина показалась обольстительно-загадочной. Собственно, пока шла жизнь, она казалась ясной, но вот человек умер — и появились тайны. Странно, что смерть так изменила образ человека. Все не прояснилось, наоборот, потеряло четкость, суть человека скрылась.

Тем временем Андрианов произносил тост о краткости жизни и переходе к иному существованию. Лицо его было серьезно, но безупречные зубы ослепительно сверкали, стоял он звонко-крепкий, срехово-смуглый, и чувствовалось, что говорить о смерти ему не страшно, даже чем-то забавно. На его предложение выпить за истинных художников, неподвластных времени, рюмки дружно поднялись, и Щербаков ощутил приятную свою причастность к этому бессмертию. Заметив обращенную к нему улыбку Андрианова, он подумал — не попросить ли его насчет мастерской? А что, если этой? Но вздохнул, понимая, что не по чину. Он поскуцнел, и Алла через стол подмигнула ему, считая виновником Челюкина: что за хмырь тебе в соседи достался? Челюкин супился, не ел, не пил, поглядывал угрюмо, единственный здесь в черном костюме, в черном галстуке. Была в нем чуждость разговорам, которые составляли общий интерес для всех этих людей. Мелькали громкие имена, излагались мнения о других громких именах, сообщались новости, прогнозы, предположения. О предстоящих выборах в секцию, о кандидатах на премию, о заграничных командировках...

Тяжелое молчание Челюкина мешало Щербакову и говорить и слушать.

— Вы почему не пьете? — спросил Щербаков.

— Стыдно, — сказал Челюкин.

— Чего?

— Какие ж это поминки? При чем тут Митя?

— А вы его давно знали?

— Студентами. В одной комнате жили.

— Вот вы и расскажите. Я вас сейчас объявлю.

Щербаков взял ножик, собираясь постучать по тарелке, но Челюкин испуганно схватил его за руку:

— Не надо. Зачем им мешать!

Щербаков заспорил, ему хотелось, чтобы Челюкин выступил, однако слово перехватил Фалеев, заговорил о молодости Польшина, о том, что самые сильные работы были у него в тридцатые годы — поиски формы, эксперимент, модернизм, — да вот не дали ему развернуться, прикрикнули, навалились, запретили, пришлось ему искать иные пути.

— И как это дорого обошлось! А если бы свободно развиваться, самому преодолевать свои юношеские излишества...— говорил Фалеев, ни к кому не обращаясь, но следя за тем, чтобы все его слушали.— Я думаю,— он сделал маленькую паузу,— из споров с другими возникает риторика, из споров с самим собою появляется поэзия!

— Вот это да!— воскликнула Аллочка.— Колоссально!

— Но вы же сами ругали его,— вдруг скрипуче проговорил Челюкин, глядя себе в тарелку.— Вы же писали...

— Я? Когда ж это?— удивился Фалеев.

Все кругом насторожились.

— Вы осуждали его за бесплодные формальные искания молодости.— Челюкин неровно покраснел, натужно поднял голову и продолжал с той же мучительной ему твердостью:— Приводили его как учебный пример. Вот, мол, какие заблуждения ододел, из какого болота выбрался. А теперь, извините, шиворот-навыворот. Хвалите.

Изумление Фалеева было неподдельным: никто никогда не осмеливался говорить ему такое. У него даже рот полуоткрылся. На Челюкина смотрели, будто впервые увидели его. Один Щербаков был в восторге.

— Да откуда вы свалились, да вы понимаете...— начал Фалеев поднимать голос, но вовремя нашелся, расхохотался благодушно, прощая бедного этого старика за то, что позабавил.— Милый вы мой, да как же иначе могло быть. Это только догматики повторяют то же, что твердили двадцать лет назад. Я не догматик. Я, дорогуша, раньше всех, раньше самого Польшина пересмотрел. А тогда мои выступления заслонили его, сохранили, иначе бы ему устроили мясорубку. Да разве бы ему простили!..

Челюкин поднялся, на выпирающем животе у него торчал фотоаппарат.

— Неблагодарно!— Он покраснел еще сильнее.— И неправда!

Он вышел из-за стола. Шея его блестела от пота. Уже в дверях со странной для его толщины ловкостью он извернулся, мгновенно наставил объектив на Фалеева, щелкнул, клацнув затвором, будто выстрелил, и исчез.

Некоторое время стояла ошеломленная тишина.

— Псих,— твердо определил Фалеев.— Откуда он взялся?— Строгий вопрос этот был направлен Щербакову.

— Понятия не имею. Приезжий вроде.

— Физиономия дебила. Типичный чайник. Посторонний человек,— продолжал Фалеев.

Щербаков почувствовал на своих губах улыбку. Маленькая, не прошенная, она не уходила, никак было с ней не сладить. Люди за столом, и стол, и посуда показались комично-плоскими, как на бумаге. Мокрые усы Фалеева, кошачьи его желтые глаза — все можно было свернуть в трубочку. Останутся стены, предвечерний свет из высоких окон...

— Между прочим, этот человек — единственный, кто плакал на кладбище,— сказал Щербаков.— Хотя вы ж не видели. Вас там не было. Вы только сюда явились.

Получилось грубо, и он несколько струхнул. Но виду не подал. Таких, как Фалеев, можно брать только нахрапом...

Щербаков вышел, чуть покачиваясь, стараясь двигаться по идеальной прямой. Длинный коридор уводил его в глубь польнинской квартиры. Сундуки, велосипеды на стене, ниши... Он толкнул какую-то дверь с матовым стеклом, очутился в полукруглой комнате. Там было полукруглое окно, скошенный потолок с темными потеками, стены, заставленные книжными полками. Посредине овальный стол карельской березы, подле него высокое кресло, обтянутое малиновым бархатом. Желтый свет голой лампочки делал все тусклым, пыльным.

На полу у окна прислонены были три небольших холста. Перед ними на четвереньках ползал Челюкин.

— Вот вы где,— сказал Щербаков.

Челюкин не ответил. Шлепая руками, он передвигался от одной картины к другой, умиленно сопел, пофыркивал, похожий на черного пуделя.

Портрет девушки, портрет старухи, дачный интерьер — все три вещи исполнены красиво, легко, с той чуть детской угловатостью, которая отличала польнинский рисунок. Щербаков хорошо знал эту соблазнительную манеру, которой он долго подражал и от которой еле избавился.

Челюкин отполз, приладил фотоаппарат, сделал несколько снимков с картин.

— Чего вы пачкаетесь? — сказал Щербаков. — Все и без вас будет заснято. Фалеев позаботится. Альбомы изготовит, монографии будут. Улицу назовут.

Фотовспышка молниевое высветила дальние углы, следы ног на пыльном полу. Щербаков обиделся: Челюкин даже не взглянул на него.

— И что это в них такого вы обнаружили? — ядовито спросил Щербаков. — Такие Польшин пек одну за другой. — Из-за Челюкина Щербаков покинул поминки, надерзил Фалееву, а этот Челюкин и в ус не дует. — Улицы Петрова-Водкина нет, улицы Лентулова нет, а улица Польшина будет. Очень он подходит для классика.

Челюкин, пыхтя, поднялся, отряхнул колени, сказал кротко:

— Напрасно вы... Польшин — великий человек.

— Ух ты! Чем же он великий? Да еще человек! Если художник, то, слава богу, у нас есть мерки. Великий — это Врубель. Великий — Пикассо. — Щербаков тонко усмехнулся. — Так что не будем заниматься приписками. Мастер он хороший...

— Вы кто, художник? — спросил Челюкин.

— Да. И что? — с вызовом начал Щербаков. — Я-то как раз активен. А вы кто, фотограф?

— Нет. Тоже художник. Бывший. Бывшая бездарность, — спокойно сказал Челюкин и сел в кресло. — Бывший директор художественного училища. — Он подумал. — Заслугу имею перед искусством — не стал художником. Разрисовывал конфетные коробки.

— А зачем фотографируете?

— Исчезает все. Страшно.

— Что исчезает?

— Стало вдруг исчезать. Однокашники... Ситный... Лошади...

Он называл вещи, уже неведомые Щербакову, смутные призраки из детства: молочницы с бидонами, крендели, ломовые извозчики, трубочисты, рабфаки... — жизнь, от которой ничего не сохранилось, — комиссионки, переполненные старыми картинами, гравюрами, барахолка, где можно было загнать собственную мазню, барахолка-толкучка, шумная, неожиданная, с находками, с толстыми альбомами, рамами, боже, какие там попадались роскошные рамы, там были олимпиа на льняном масле, кисти соболиного волоса...

Лицо его помолодело. Это был его мир, которого уже не будет; он фотографировал его, пытаясь запечатлеть остатки, последыши.

— С Мити даже маски не сняли. Когда-нибудь спохватятся. Я хоть успел нащелкать. Может, для этого меня судьба задерживает на земле.

Челюкин поймал невольную усмешку Щербакова, не смутился, кивнул, будто того и ждал.

— Вы когда-нибудь лично знали великого человека?

— Не приходилось, — сказал Щербаков.

— Хм, а откуда вам это известно?

— Не понимаю.

— Может, он рядом жил. Или живет. По вечерам вы с ним в картишки играете. Может, он в долг просил? А? Потом, после его смерти, откроется вам, что приятель ваш школьный был великий человек, а вы и не подозревали. Может такое быть?

— Это вы про Полюнина?

— ...а вы его поучали, считали, что он дурачок, не умеет жить. Счастья своего не понимает. Господи, как будто я сам умею жить!

Он задыхался, нездоровая полнота мешала ему. Бледный, потный, он не обращал внимания на себя, видимо не дорожа остатками своего существования. Черты лица его расплылись, фигура расплылась, трудно было представить, каким он был в молодости, какой была походка, все заросло, и характер наверняка сместился. Куда? Щербаков разглядывал его без сочувствия к перипетиям челюкинской жизни, как натуру, как заготовку для какого-то рисунка. Разглядывая людей, Щербаков всегда искал, чем бы тут поживиться, — у одного был интересный разрез глаз, у другого могучие руки. Челюкин был как развалины — но чего?

— ...а как распознать такого? Слава, она только путает. Слава чаще достается ловкачам. Есть ведь величие без славы? — спрашивал Челюкин, глядя мимо Щербакова. — На глубоком месте вода не бурлит, так ведь? Я его шпынял, вернуть старался на путь истинный. Не понимал, чего ему не хватает. Как можно все завоеванное, добытое трудами — отбросить! Знаете, что он мне в ответ?

— Что? — спросил Щербаков без интереса.

— Чуть что он начинал петь.

Челюкин вскочил, запел — сипло, фальшиво, с чувством:

Но грозные буквы давно на стене  
Чертит уж рука роковая!

Глаза его заблестели.

— Это он иносказательно! У него все было со значением. В Библии рука роковая кому начертила?

Щербаков пожал плечами.

— Ну как же, вспомните — царю Валтасару! Вот и Митя считал, что жил он Валтасаром, пировал, пока не прочел на стене знаки.

Ничего такого Щербаков вспомнить не мог, Библию он не читал, хотя не раз собирался, однако с пьяной хитростью стал подманивать Челюкина:

— То царь, а то Полюнин. Он не пировал, он работал.

— Главный-то, средний знак что означал, а? — Подойдя к стене, Челюкин поднялся на цыпочки, стал пальцем чертить на ней и проносить торжественно, нараспев: — Ты взвешен на весах и найден очень легким!

Выглядело напыщенно, даже комично, но в словах было что-то устрашающее, опасное.

— Найден очень легким, — повторил Щербаков, встряхнул головой. — Ну и что? Работать-то он почему перестал?

— Не перестал. С чего вы взяли?

— Ага! Я так и думал. Но рука-то роковая была? — азартно спросил Щербаков. — Рассказывайте.

Челюкин непонятно усмехнулся, в руках его появился портфель, обыкновенный раздутый портфель командированного, откуда были извлечены банка грибов, пол-литра, обмотанные вафельным полотенцем, пластмассовые стопки, ложечка, все это аккуратно и быстро разместилось на краю заваленного бумагами стола. Водка, как предупредил Челюкин, страшная, уральская, не для столичного пищевода, зато дух Мити, по его словам, будет витать здесь, а не над тем застольем.

— Вы в это верите? — спросил Щербаков.



Челюкин не ответил, посмотрел на него с жалостью, как смотрят на калеку.

Водка сивушным своим огнем прожгла все внутренности Щербакова, так что он охнул, протрезвел и вцепился в Челюкина, выясняя тайну польнинского исчезновения. Но Челюкин отвечал уклончиво, никак было его не ухватить. Говорил, что тайна эта не его и он не имеет права, говорил, что вообще никакой тайны нет, что все это ребячество, человеком надо интересоваться, потом спросил, зачем Щербакову нужна эта тайна, лучше ее не касаться... Взгляд его при этом заострился, и какое-то неприятное чувство остановило Щербакова.

На столе, за которым они расположились, высился бумажный сугроб. Альбомы, конверты, грамоты, билеты, открытки... Щербаков сунул руку в эту скользкую грудку, вытащил наугад какую-то польнинскую репродукцию, красный мандат с печаткой «президиум». Попалась визитная карточка, вырезка из статьи, каталог заграничной выставки. Все было перемешано, видно, искали для похорон подходящую фотографию, документы, ордена. Из раскрытых папок вываливались краснополосные телеграммы, поздравления, подписанные известными когда-то лицами...

Щербаков хмыкал — былые салюты, угасшие огни иллюминаций, снятые флаги расцветивания. Суета сует и всяческая суета.

— Кому это нужно? Зачем копить этот мусор? — сказал он. — Поздравляет товарищ А. Н. Зубарев. А где ныне этот Зубарев? Кто это имя сейчас помнит?

Круглая блестящая голова Челюкина согласно кивала, потом он сказал не споря, как бы соглашаясь:

— Для нас, провинциалов, одна такая бумажечка — ого! Поднимет и вознесет над проблемами быта. Шутка ли — подвал в столичной газете! Репродукция! Билет в президиум — вроде мишура, но какую силу надо иметь, чтобы отвергнуть. А Митя презрел, отказался.

— От чего ж это он отказался?

— От всего.

— Не знаю, не знаю...

— От самого главного отказался.

— Чего вы темните?

Челюкин понюхал свою стопку.

— А вам зачем это?

— Сами виноваты. Великий, великий, а доказать не можете. Если великий, так чего ж скрывать? Все это труха. — Щербаков махнул рукой, и так решительно, что Челюкин забеспокоился.

— Допустим, я скажу вам, что Польшин скрылся, стал работать под чужим именем, так вы же не поверите, верно?

— От кого скрылся? Чушь какая-то. Вы серьезно? Что за смысл?

— Никакого смысла, — с живостью подтвердил Челюкин. — Абсурд, я тоже так считал.

— Когда ж это случилось? С чего он?..

— После смерти жены. Надю знали? — Он стал рассказывать, как покойница обожала Польшина, как строила мастерскую.

Все эти подробности в тот момент казались Щербакову лишними, только мешали выяснить главный вопрос — зачем же от своего имени отказываться, от такого имени?

— Вот именно, совершенно точно, — соглашался Челюкин и снова продолжал о приезде к нему Польшина тоскующего, ушедшего в себя.

— Стал он чинить нашу халупу на садовом участке, поселился там.

Пьянея, Челюкин распрямлялся, кончик носа его засветился красным цветом, взгляд очистился.

— Представляете: никому не известный пожилой работяга в ватнике принесит свои картины, а? Никто понятия не имеет, что это Полюнин. Неизвестная подпись. Да и картины-то совсем непохожие.

— Как же он мог соблудости? Чтобы никому — ничего?

Челюкин легко отмахнулся.

— Нет, вы отвечайте, вы лично могли бы так? — И вперился маленькими глазками, где разгорался огонек. — Вы и себя примерьте и скажите.

— А зачем мне, зачем? — выкрикнул Щербаков.

— Ха, тут много может быть. — Челюкин приставил к груди Щербакова палец. — Чтобы никаких льгот и поблажек. Годится? Преимуществ имени и славы — чтобы не было их. Или, допустим, чтобы отвязаться от своих штампов. Вот вы, например, вы уже сложились. И вам надоело, вы хотите иначе, вам надо вырваться, отвязаться от себя.

— Да вырывайтесь, кто вам мешает, только зачем от себя отказываться?

— Я его тоже про это спрашивал... Я ему говорил: художник должен самим собой оставаться. Развивайся в любую сторону. Расти, как дерево, но чтобы корни были одни. А если я не деревом хочу быть, говорит он, а роцей, тогда что?

— Не понял.

— Сегодня одним, затем другим, если, говорит, во мне много разных людей, которых можно осуществить, тогда как?

Палец сильнее уткнулся в живот, Щербаков отстранился, разговор этот затягивал, что-то неприятное, даже опасное было в нем.

— Вы не вернетесь туда, к столу? — спросил Щербаков.

Челюкин посмотрел на него, понимающе усмехнулся.

— Да-да, вы идите.

От приставленного пальца внизу под ложечкой остался сосущий холодок. Проклятый вопрос этого толстяка словно затягивал в водоворот. В самом деле, мог бы он, Щербаков, автор уже отмеченной дипломной работы и трех спектаклей, мог бы он начать подписывать вместо Щербакова... Даже передергивало от любой чужой фамилии.

Челюкин дожевал грибок, спросил:

— Вы ничего не заметили в этих картинах?

— С какой стати я буду менять свою подпись? — сказал Щербаков. — Нет уж, извините. Искать себя — это я понимаю. Но — себя. Быть верным себе.

— Вы посмотрите внимательно, — продолжал Челюкин, не слушая его. — Откуда свет и куда падают тени. Нелепица. Он давно искал...

Щербаков нетерпеливо дернул плечом.

— Все это известно, лучше скажите — что ему дало это? Сменил он фамилию — и что?

— Вот вы чем все проверяете. — Челюкин покивал облезлой своей головой. — Результатом. Что с этого можно иметь. Главная нынешняя идея жизни. А ничего. — Он театрально поклонился, развел руками. — Одни потери. Не устраивает?

— Но для чего, для чего? — все более возбуждаясь, крикнул Щербаков.

— Мистификация это. Одурачить хотел. — Челюкин говорил быстро, тихо, поглядывая куда-то вверх. — Если бы он не умер, получилось бы два больших художника. Не успел достигнуть до второго. А то представляете себе, какой бы вышел скандал? Два классика. — Челюкин хихикнул. — Две улицы... На самом деле все не так. Оброс он заученностью. Талант стал техникой. Надоел сам себе. А впрочем, может быть, не тупик, а вершина. Добрался до вершины — дальше куда? Вот он и спрыгнул. — Челюкин зашел к Щербакову сбоку, заглянул в глаза. — А может, тут совсем другое... Перед ним

новая идея замаячила: писать то, чего не хотят видеть другие. Каково? То, что на самом деле творится у вас в душе, под вашими румяными щечками. А? Или кругом нас. Вся изнанка жизни, весь хаос, все скрытые чувства. Страшненько? — Он потер ладоши, опять обошел вокруг Щербакова. — Фактически-то я не поверил. Чтобы певец красоты и радости жизни так перестарался? Тут совсем другая причина должна быть!

От всей этой путаницы у Щербакова кружилась голова.

— Какого ж черта вы меня морочите! — Он схватил Челюкина за отвороты пиджака, чтобы перестал мелькать перед глазами. — Я же с самого начала добиваюсь: какая причина?

— Вам тайну любопытно раскрыть. Что вам Митя!

— Будете вы говорить?

Щербаков затряс его, голова Челюкина податливо моталась, и крохотная усмешечка тоже моталась по бледному его лицу. Сам он оказался легким, мягким.

— Чего говорить-то. Не знаю я ничего, — тихо и обессиленно признался Челюкин. — Упустил.

— Что упустил?

— Хотел он как-то открыться. А я отверг.

— Почему же?

Челюкин поправил очки, сказал покорно, как на допросе:

— В очередь побежал. Сосиски давали.

— При чем тут сосиски?

— Плевать мне было на его философию. Я ему нарочно — на-кася, пошла нашего хлебни после твоих столичных разносолов.

— О чем же он сказать хотел?

Челюкин пожал плечами:

— Так и не узнал. И не спрашивал больше. Изменился он с того времени. Ясный стал. Сосредоточенный. Пока он метался, он мне люб был, я думал — от неприятностей подался он к нам. А когда увидел его другим... Он, значит, дважды хотел меня обойти. Я ведь кто? Нуль. Он приехал к нулю и безо всего тут опять хотел подняться.

Жар прежней злости еще сквозил в его словах, но голос его звучал ровно и печально. Что-то бесстыдное и тягостное было для Щербакова в этих спокойно произносимых признаниях.

— Послушайте, Челюкин, при чем тут вы? — сказал Щербаков. — Зачем вы тут возникаете?

Челюкин поднял очки, маленькие глазки его смотрели колко и сухо.

— Ничего не поделаешь, без меня не получите. Считайте — взбесившийся гарнир. Осталось на тарелке немного холодного пюре... А Митю считали безумным. Оттого, что человек успокоился, просветлел, от этого он у нас кажется безумным. Новые картины его тоже повод давали. Я слухов этих не отвергал. Заслонить его хотел. С безумного какой спрос? Безумство его безобидное. Малюет, допустим, затылки. Я и в самом деле убеждал себя, что он того. Оправдание своей подлости делал.

— Что вы мне плачетесь? — сказал Щербаков. — Вашим признаниям теперь грош цена. Ничего они не стоят.

Опять вышло слишком резко, безжалостно, так, что Челюкин съежился, замолчал. Потом произнес удивленно:

— Отчего мне так тяжело? Значит, это ничего не стоит? — Он смотрел вверх, под потолок, в грязные пятна потеков. — Единственный шанс мне выпал в жизни — и тот упустил. А почему? Мы никак не смирились, что другой человек может быть совсем не таким, как мы. — Он покачал головой. — Что вы, Щербаков, будете делать с этим?.. Великовато для вас.

В мастерской еще не расходились, пили чай с вареньем. Фалеев тоненько пел «Летят утки», подпевали ему вразнобой, хмельно и мякло. Табачный дым колыхался над столом, было шумно, жарко. При появлении Щербакова все стало смолкать. Вид у него был оглушенный и несколько затуманенный, как будто его сильно стукнули по голове. Что с ним, никто не успел спросить, он начал сам лунатически, каким-то растерянным голосом: «А вы знаете...» Другой бы подождал, пришел в себя; спросили бы — ответил; всегда выгоднее отвечать на вопросы, чем навязываться со своим рассказом. Но в ту пору Щербаков еще был доверчив и не понимал выгоды. Терпения ему не хватало.

Слушали его с любопытством. Про то, как Польшин уехал, провел последние годы на Урале, в городке, где Челюкин заведовал художественной школой. Там Польшин уединился, стал работать, ничем не позволяя себе пользоваться от прошлого, даже внешность изменил. Челюкин устроил его работы на областную выставку. Разразился скандал. Впрочем, Польшина это мало огорчало, он был занят своими поисками. К сожалению, Щербаков не сумел объяснить, в чем состояли эти поиски. И что за городок на Урале — не упомянул, как-то прослушал и то, под каким псевдонимом работал Польшин; все это в разговоре с Челюкиным представлялось не важным, теперь же вызывало законные вопросы. Щербаков отмахивался от них, и рассказ терял убедительность. Кто-то засмеялся — может, он разыгрывает их? Алла уговаривала его выпить крепкого чая. Он почувствовал, что ему не верят, и сбился. Он не понимал, для чего им нужны адреса, фамилии, все это только мешало, разве это важно, подробности можно выяснить у того же Челюкина. Отправились за Челюкиным, но найти его не могли.

После чая Щербакова развезло. Он вытирал губы от набегавшей слюны и говорил все громче:

— Проститься с миром! Без сожаления! Понимаете? Раз Челюкин признал себя ничтожеством, я ему верю. Тогда ответьте, где же пребывал Польшин последние годы, а? Опровержение имеется? То-то!

Тут Фалеев, кисло кривясь, заметил — мало ли что наплетут безответственные типы вроде Челюкина. Следует критически относиться к такого рода измышлениям. Многие теперь будут клеиться к имени Польшина, не постесняются. Ишь ты, какую криминальную историю расписал. Ну да она рассчитана на легковерных, на тех, кто плохо знал Польшина, его жизнелюбство... Говорил он тоном посвященного, но без насмешки, даже как бы выручая Щербакова, пробуя все закруглить в анекдот, а как анекдот, преподнесенный Щербаковым, такая версия допустима и может служить предметом веселых обсуждений. От Щербакова требовалось вздохнуть, посмеяться. Он же повел себя бестактно, заспорил с Фалеевым, доказывая, что все так и было, хотя никаких доказательств не приводил. Размахивая руками, разбил фужер, и тогда Фалеев постучал пальцем по столу и сказал строго, что имя Польшина отныне принадлежит истории нашего искусства и трепать его никому не будет позволено.

Алла тащила Щербакова прочь от Фалеева.

— Не принимайте его всерьез, — твердила она, — поддали они там.

«Не принимайте всерьез» более всего обидело Щербакова. Среди этих красных, лоснящихся, поглупевших от водки физиономий он не находил ни одной, где мелькнуло бы хотя бы сочувствие. У него не было здесь друзей. Жалость к себе пронзила его — ни одного друга, в сущности, нигде у него нет, друга, которому интересны его чувства и мысли. Господи, как он одинок! Накрашенное лицо Аллы расплылось.

— Кто из вас на такое способен? Никто! — выкрикнул он. — Вставил вам Польшин фитиль! Не нравится?

От увещеваний он пуще расходился, совсем по-пьяному куражась, так что пришлось вывести его. Сделал это Андрианов, единственный, кого Щербаков послушался.

На улице было светло от снега. Белизна, еще непривычная глазу, замалевала газоны, крыши, деревья, подоконники. Стало празднично чисто, город словно прибрался. Андрианову расхотелось возвращаться назад.

— Пойду домой, — сказал он. — Черт с ними. Поминки долгие, память короткая. Алку я предупредил, она Фалееву объяснит, что ты из-за нее взбеленился. Заревновал. Потому что с Фалеевым лучше не связываться, он из тебя любой гибрид сделает.

На улице было тихо, шагов не слышно. Это от снега, сообразил Щербаков и обрадовался своей догадливости.

— А чего он грозится?

— Потому что ты, дурила, замахнулся на источник его существования. Ну к чему Фалееву твоя сомнительная история?

— Ты, значит, тоже не веришь?

Андрианов поиграл зонтиком, промурлыкал:

Верила, верила,  
А на себе проверила...

Потом сказал, посмеиваясь:

— Ну, верю, что дальше?

— Почему же ты не вмешался? Ведь это событие. Оно все меняет.

— Ничего не меняет. Тут не знаешь, как самим собой остаться, свое бесценное «я» сохранить. Нет, дорогуша, все это фантазии. Открывать в себе другую личность! Могу таким, могу этаким, — задрался Андрианов, — могу новую жизнь начать, ах, сколько во мне всего... Жизнь нельзя начинать сначала, ее продолжать можно, — твердо, с раздражением подытожил Андрианов. — Ясно тебе?

— Но Польшин сумел. Он-то начал сначала.

— И что? — прикрикнул Андрианов. — И что?.. Пшик! Что случилось? Пшик! Так ему и надо. Я говорил ему! И поделом.

— Это за что так?

Андрианов не отвечал, с силой тыкал зонтиком снег, оставляя темные дырки. Никогда он еще не был таким. Было привычно, что Андрианов неуязвим, все скатывалось с него бесследно. Блестящий и непромокаемый, как клеенка, подтрунивал Щербаков, втайне при этом завидуя и восхищаясь им.

Некоторое время они шли молча. Щербаков дышал глубоко, трезвея от морозного воздуха.

— В конце концов, дело не в результате, — сказал он, — дело в идее.

— Ах ты птичка-алкоголичка! Витатель ты. В нашем деле, заруби себе, все решает результат... Сам он не добился и нам не дал. Я ему простить не могу.

— Чего?

— По его милости мы заказа лишились. Какой заказ уплыл! Дворец молодежи оформлять! Чуешь? Верная премия светила. Всей группе. Отказался. Видите ли, это не соответствовало его поискам. Эта старая задница искала иное самовыражение. Так его растак. Только о себе думал, о себе неповторимом, единственном.

— Нет, ты не прав, он не обязан был...

— Ему-то что, он все получил, обожрался, видите ли, захотел по второму кругу пройти... Спеси больше, чем таланту. Чего дадено, за то и благодари.

Красивое лицо его пережосилось, он совсем не походил на того Андрианова, которого все любили и который всех любил, который был счастливчиком, баловнем судьбы, не нажившим себе врагов, — прекраснейшее исключение в этом мире.

— Ну знаешь, это как расценивать...— Но вдруг Щербаков остановился, пораженный догадкой.— Подожди-ка, значит, ты знал?

— А-а-а, про это...— Андрианов усмехнулся зло.— А ты, тятя, думал, что никто ничего? В наше время не укроешься...

Слова его означали, что, может, и другие, тот же Фалеев, знали, но виду не подали, кивали, удивлялись, выпрашивали. Самообладание этих людей, непроницаемость их ужаснули Щербакова.

— Как же ты мог, когда надо мною...— Он смотрел на Андрианова по-новому, со страхом.

— Ко мне не вяжись,— предупредил Андрианов с металлическим холодком.— Если при жизни Польшин считал нужным скрывать какие-то вещи, то нечего ковыряться и болтать. Есть Польшин, есть его работы, остальное не наше дело.

Не мигая Щербаков смотрел прямо перед собою, чувствуя слезы в глазах. Они стояли там, постыдные детские слезы, он ничего не мог поделать с собою.

— Ты поверил этому чайнику уральскому? Тогда тем более не суйся. Был Польшин, стал Непольшин. И не надо их путать. Не надо,— чеканил Андрианов.— Польшин — мой учитель. Твой тоже, кстати. Учитель — это марка. Родословная. Фирма. Родословная должна быть чистой.

Они вышли на проспект. Горели высокие фонари. Снег был затоптан. Дул ветер. Щербаков вытер глаза, откашлялся.

— Чего ж тут плохого? История эта украшает биографию Польшина. Конечно, если успех мерить премиями...

— Уймись,— оборвал его Андрианов.— О каком успехе ты говоришь? Хочешь, дадим тебе командировку творческую? Поезжай, убедишься.— Он был снова весел, красив, и глаза его приветливо лучились.

Три года спустя открывали мемориальную доску на доме, где жил Польшин. Движение на улице было перекрыто. Пришли пионеры, студенты, представители предприятий. Щербаков стоял у трибуны и разглядывал толпу. Челюкина не было. Щербаков и не ждал увидеть его и все же искал, просматривая ряд за рядом. Выступал Фалеев. Он раздался вширь, голос его загустел, облачка пара вылетали из его рта то маленькие, то побольше и таяли на искристом морозце. Наверху в синем небе плыли такие же крутлые облачка. Доска была толстая, из серого гранита, чувствовалась ее тяжесть. На доске, чуть выступая, белел барельеф — строгий профиль Польшина, классически правильный, как на камее. Почему-то в памяти Щербакова всплыло — «ты взвешен на весах и найден очень легким», это звучало как стих.

— Выглядит вполне,— сказал Андрианов.

— Сделано со вкусом,— подтвердил Щербаков и наклонился к Андрианову.— Я иногда думаю, почему он не вернулся... Если не получалось, мог сюда вернуться? А он и не собирался. Что-то, значит, ему светило.

— Лучше бы ты думал над своими делами,— сказал Андрианов.— Кто же персональную выставку в кинотеатре устраивает? Не серьезно. Ты обратись к Нине Гургановне, я ей скажу.

Цоколь польнинского дома вскоре выложили коричневой плиткой, доску перевесили к воротам, освободив место для вывески блинной. Сама блинная заняла весь нижний этаж. Оттуда всегда валит пар и слышна музыка. Поэтому когда Щербакову предложили бывшую мастерскую Польшина, он отказался. Антресоли были уже

убраны, бронзовые ручки сняты... И слишком шумно внизу. Истинная причина, однако, состояла в чувстве, которое охватило его среди этих стен. Не по себе ему стало. Как будто что-то ему тут могли сказать или сам он должен был что-то сказать, спросить, сделать, а что именно — не знал.

Мастерскую Щербаков получил в новом квартале, огромную, двухсветную, с квартирой, — кстати, неподалеку от переезда, за которым начинается кладбище.

Весной Щербаков иногда приходит туда. Всякий раз долго путается в узких аллеях надгробий и памятников. Отыскав могилу Польшина, он садится на скамейку и задумчиво смотрит на тесное нагромождение разных памятников, дорогих и скромных, ухоженных и забытых, безвкусных и строгих, вся эта мешанина заботливо и одинаково присыпана прелым бурым листом. Напротив огромное многоэтажье белых корпусов, сотни окон.

Поют, заливаются птицы, и Щербаков незаметно начинает мечтать, как он уедет в маленький городишко, в какую-нибудь глухомань, и будет там писать всякую всячину без мыслей о выставке и заказах. Думать об этом приятно и грустно. Он вспоминает историю с Польшиним, все то, что рассказал Челюкин, но, странно, история эта кажется ему все сомнительней, поступок Польшина стал вовсе необъяснимым. И все же что-то тревожит и досаждал Щербакову, особенно здесь, у этого надгробья. Следовало бы съездить туда, к Челюкину, хотя, наверное, его уже нет в живых. Да и было ли все это? Он сидит, сняв шапку, на теплом солнце и чего-то медлит, ждет, зная, что потом будет ругать себя за впустую потраченное время.



---

ГАЛИНА ШЕРГОВА



## СМЕРТНЫЙ ГРЕХ

*Поэма*

Сергей Сергеевич Наровчатов в течение многих лет глубоко и последовательно разрабатывал насущные проблемы поэзии, особенно современной, писал талантливые обобщающие работы и о классиках — Лермонтове, Некрасове, Блоке, и о современниках — Тихонове, Луконине, Воронько и многих других, занимался также решением конкретных судеб многих рукописей, писал внутренние рецензии, выступал на редакционных советах издательств с разбором тех или иных книг. Так, в частности, Сергей Сергеевич был редактором поэмы Г. Шерговой, написал о ней отзыв, публикуемый ниже.

«Галина Шергова не новичок в поэзии. Она стояла в первом ряду нашего поколения, когда мы только еще входили в литературу. Но людские судьбы складываются по-разному, и позже Шергова составила себе имя в публицистике, а в поэтической рубрике оно появлялось редко. И вот после долгого перерыва — поэма. Поэма яркая, сильная, глубокая. Она поднимает важнейшие вопросы, тревожащие человеческое сознание в наши трудные времена. Подлинный интернационализм, составляющий одну из лучших черт нашего поколения, пронизывает ее с начала до конца. Нравственная значимость поэмы бесспорна. Касаясь жгучих, порой кровоточащих проблем современности, Шергова нигде не дает прорваться нотам болезненным и ущербным. Несмотря на трагичность коллизий и сопоставлений, поэма звучит в мажорном ключе всепобеждающей человечности.

Подчеркну, что человечность в поэме отнюдь не носит абстрактный и вневременной характер, как это иногда наблюдается в иных произведениях. Это важнейшая человечность, вытекающая из нашего мировоззрения и обусловленная им.

Поэма написана мастерски. Она полифонична не только по разнообразию и обилию ритмов, использованных в ней, но и по сложности, казалось бы, несоединимых сюжетных мотивов, тем не менее стягиваемых поэтом в тугую композиционный узел. Отмечу также богатую звуковую оркестровку, смелую образность, хорошую рифмовку.

Большая философская нагрузка, ложащаяся на каждую страницу, могла пойти в ущерб эмоциональности поэмы. Но и этого, к счастью, не произошло. Поэма производит впечатление страстного разговора о насущных явлениях нашего века.

Поэма Г. Шерговой представляется мне незаурядным явлением поэзии. Я был знаком с первым ее вариантом, второй освобожден от недостатков и промахов, вызвавших замечания».

### СТРАСТИ ПО МИРУ, или ПЕРВЫЙ ПРОЛОГ

«За страсти мои — искупление —  
Страсти господни...» —  
Это ветхий заслон от страстей преисподней.



Здесь «страсти» в значении «страхи»,  
а выше — иначе:

Страсти — это страдания божьи,  
Страсти — это мирские пороки,  
И слово само триедино, тризначно,  
Как притча о боге.

Страсти — смотри «от Матфея»,  
Страсти — смотри в «Иоанне»,  
Ворожба лицедея  
Словами, словами, словами...  
За исступление,  
За преступление  
За гранью тления  
Искупление.

Но мне ведомы страсти иного покроя и сорта,  
Разве благовест их — благовещенье или покров?  
Нет! Это час, когда главным калибром аорты  
Салютует другой — бронебойная кровь.  
Это — ты. Это — миг,  
Человеком окрещенный страстью,  
Смертный пульс волнолома, дробимого шквалами — вдрызг,  
Когда рушится мир

водопадом последнего счастья,  
Коронованный нимбом из радуг, деревьев и брызг.  
Это — клич скоростей, обретающих крылья на крене,  
Это — мы у истока идущих лавин,  
Зачинатели мира

в четвертом

его измеренье,

Абсолютной монархии  
Нашей любви.

И вот этим

четвертым

значением слова владея,

За которым —

все страсти, слагавшие Хаос в Союз,

Не приемля страстей по Луке, Иоанну, Матфею.

Ныне —

«Страсти по миру»

могу я твердить наизусть.

В них каноны свои и свои неизжитые сроки,

Страсти нации, времени и поколения,

Это тоже

страдания, страхи, пороки —

Без искупления.

#### ЗАПИСЬ В БЛОКНОТЕ, или ВТОРОЙ ПРОЛОГ

Иногда посреди света я оглядываюсь по сторонам и вижу: вся земля утыкана саркофагами и надгробьями, она морщится холмиками могил. Пышные эпитафии и дикарские доазбучные значки на них должны связать ушедших и живущих.

Но разве эти останки прежней жизни знаменуют истинную суть человеческого бытия!

Пер-Лашез — это не только багровые полотнища сентябрьских плющей, ниспадающих на Стену коммунаров. Это и сотни одинаковых фарфоровых розочек или гортензий, приникших к одинаковым плитам. Безвкусное изящество загробного бытия третьего соловья. Сотни. И единственный памятник узникам Равенсбрюка.

Могильные холмы венчают житие жертв болезней или старости. Другие — жертв произвола или порока какого-то человека.

Но мир знал пороки, грехи, разъедавшие целые нации, государства и поколения. Их жертвы редко покоятся под одинокими холмиками или в персональном вместилище саркофагов. Загробные поселения этих жертв — братские могилы. А то и плоская безымянность земли.

Христианская система назвала семь смертных грехов. Грехов, не подвластных искуплению: зависть, скупость, блуд, чревоугодие, гордость, уныние, гнев.

Однако иные цивилизации и социальные устройства оказались изобретательнее старинной схемы. Они присовокупили к извечным представлениям о пороке новые. И новые грехи стали для человечества гибельными, ибо, возведенные в программу наций, государств, поколений, они уничтожали нации, государства, поколения.

Мне стало казаться, что земля покрыта несуществующими кладбищами этих массовых гибелей. Я пыталась поименно назвать грехи-убийцы, найти среди них главарей. Я тоже избрала семь, хотя, конечно, их больше. Порядок не имеет значения.

Теперь я все представляла отчетливо: я видела эти несуществующие кладбища и даже читала несуществующие эпитафии на несуществующих могилах, написанные несуществующими людьми. Одни из них, казалось мне, были сложены жертвами порока, другие — их носителями. Они могли быть случайны. Может быть, я не прочла что-то существенное. Но ведь нельзя увидеть полно и точно то, чего уже нет. А «нет» — самое безвыходное слово в мировых лексиконах.

Но вот что мне удалось прочесть.

## *Грех первый*

### ФАНАТИЗМ

#### I

Пьер Ламбре.  
Поэт и ремесленник.  
1487—1518 гг.  
Сен-Лорен, Франция.

Не знаю я, каков он, высший суд  
Архангелов, спеленатых в хитоны,  
Которым, причитая монотонно,  
Глупцы свои провинности несут.  
И почему — скажите — должен я  
Глухим богам поклоны класть примерно,  
Усматривая тайну бытия  
В косом глазу Марии благоверной?  
Я — человек.

И мир отстроен — мной.  
Я делал колыбели и надгробья,  
И также бог был создан неземной  
По моему решению и подобию.  
...Огонь, крутясь, в печи меняет рябь,  
И подмастерье меден от натуги —  
Как крендели, мы лепим твердь и хлябь,  
И бог рождается

на гончарном круге...  
Сто лет назад, сегодня и вчера  
Бог выходил придуманный и разный  
Из кузницы, из лавки гончара  
Или в лучинном нимбе богомазной.

Что ж, этот парень вправду был неплох —  
 Отменно справедлив и благороден.  
 И подковать коня умел мой бог,  
 И прополоть капусту в огороде.  
 Он был смышлен. Хоть поначалу нем.  
 Но я благого выучил в беседах  
 Тем качествам и совершенствам тем,  
 Каких недоставало мне в соседях.  
 И, как набитый школьником пенал,  
 Бог их хранил в бесплотной оболочке.  
 Но я жалел, что он, бедняк, не знал,  
 Какие бедра у соседской дочки,  
 Как взаперти беснуется вино,  
 Как в очаге пулярка дышит дымом,  
 И что вовеки богу не дано  
 На высший суд явиться —

подсудимым.

Когда-то боги знали в жизни толк,  
 Водя пером Гомера и Алкея.  
 Но на земле божественный престол  
 Обсели исступленные лакеи.  
 Они просторный божеский закон  
 На сто ладов толкли, как воду в ступе,  
 А сам господь с дешевеньких икон  
 Взирал на мир — ленив и неприступен.  
 Но я — поэт. И, мысли не дичась,  
 В таверне «У кривого носорога»  
 Я спел друзьям, как вам пропел сейчас,  
 Свой

постулат о назначенье бога.

И видел я, как, злобой искажен,  
 Какой-то поп метнулся от порога...  
 И я — создатель бога! — был сожжен  
 Во имя бога

холуями бога.

...Твое лицо, моя Анетт, в окне  
 Мерцало над людским многоголосьем,  
 И в рыжине нечесанных огней  
 Мои трещали рыжие волосья.  
 Потом я просто серым пеплом стал,  
 Но, в плоть земли не вдавленный веками,  
 Я в беспокойных травах прорастал  
 И падал ниц на придорожный камень.  
 Как ветер пыль с бродяжьих башмаков,  
 Меня трепали над землей столетья,  
 Но в дальних улочках уже чужих веков  
 Сумел в своих скитаньях рассмотреть я,  
 Что камарилья новая кликуш  
 С извечной нетерпимостью слепою  
 Свершает казни

человечьих душ

Пред идиолов

столикою толпою.

И я тогда сказал себе: «Постой!  
 Ты над землей скитаться не устанешь,  
 Не выстроен еще тебе постой,  
 Не жди его и не ищи пристанищ».

Я,

ставший пеплом, дымкою, ничем,

Я,  
 не познавший домовитость гроба,  
 Я —  
     оседаю на листы поэм,  
 Кроплю землей ладони хлебороба,  
 Чтоб мир сутяжный не посмел забыть  
 О том, что бог  
                     певца и дровосека  
 По их приказу  
                     может призван быть  
 На высший суд —  
                     пред очи  
                                     Человека.

## II

Карл Шлестнер.  
 Штадартенфюрер.  
 1902—1944 гг.  
 Веймар.

Трехслойны, как пирог под взбитыми-белками,  
 Три этажа пивной —  
                     взахлеб! взасос! навзрыд!  
 Пучины ячменя вскипают под руками,  
 И пеной этот дом, как крышею, укрыт.  
 Под будущими стягами,  
 Под новыми присягами  
 Мы чокаемся клятвой на пирушке,  
 Воинственно и весело  
 Куплетом «Хорста Весселя»  
 Сбиваем — раз! — и пена с кружки!..  
 ...Потом  
             над пирогом сходились свечи  
 В поклонах именинного гавота,  
 Двадцатую свечой смеркался вечер,  
 И ты играла Мендельсона, Лотта.  
 Я не поклонник музыки подобной,  
 Но  
     ты  
             играла Мендельсона.  
 Значит...  
 Горячий лисий гон проходит по Шампани,  
 И оберст сам трубит за егерей.  
 Французик-инвалид застрял ногой в капкане?  
 «Ату его, ату! Собаками скорей!»  
 С потехой шли по следу мы,  
 Но Отто Штраль, коллега мой,  
 Назвал чрезмерным поведенье наше.  
 Я вынужден был донести  
 Об этой нелояльности —  
 И Штраль повис, как дичь на патронташе...  
 ...Потом  
             плющом вился дымок каминный  
 И листья распускал на этаже на третьем.  
 Горело пять свечей у нас в гостиной,  
 А ты играла Мендельсона детям.  
 Я это пресекал тогда, не правда ль?  
 Но ты  
             играла  
                                     Мендельсона.

Значит?!  
 Германию и нас, как видно, порицая,  
 Какой-то юный скот нагадил на портрет!..  
 Поскольку негодяй сбежал от полицаёв,  
 Я всех  
     детей села  
                     спустил под лед —  
                                                 подряд.

В реке глазают проруби...  
 Парно их попробуем!  
 Из поколений — вырвать это семя!  
 Кто злобно или сдуру ли  
 Проявит дерзость к фюреру,  
 Он тут же — марш! — последует за всеми!..  
 ...Потом

                    в тот отпуск  
                                                 гдело пламя фуксий,  
 Как сто свечей на темени газона,  
 Над ним витраж плыл в дюреровском вкусе,  
 А в доме ты — играла Мендельсона...  
 Да, о жене сообщать гестапо трудно,  
 Но ты играла  
                                                 Мендельсона.

Значит!!!  
 Он, видно, ошалел, твой милый братец, Лотта!  
 Он парабеллум взял! — припадочный маньяк...  
 (Как я не распознал тихоню полиглота?)  
 Подумать,  
                     восемь пуль  
                                                 в упор  
                                                                 воткнуть  
                                                                         в меня!..

...Потом  
                     меня по-воински отпели,  
 И вторила свеча дыханию солдата.  
 (Как я забыл о братце, в самом деле?  
 Ведь ты играла Мендельсона — брату!)  
 Вы оба мне кричали: «Будь ты проклят!»  
 Но ведь не я,  
 А ты, ты, ты играла,  
 Играла, грала, грала, ты играла,  
 Ты Мендельсона,  
                                                 Мендельсона,  
                                                                 Мендельсона...  
 Мендельсона...

## *Грех второй*

### ВЛАСТОЛЮБИЕ

#### I

Абеталам.  
 Восточный правитель.  
 I век до н. э.

Розов мой мавзолей, как тело купальщиц под солнцем,  
 Двадцать колонн, как стопы, попирают незримый фундамент.  
 Кости врагов, бунтарей, а также дерзнувших перечить  
 Я повелев вмуровать в вечную плоть саркофага.

Как-то придворный купец прислал мне несвежую рыбу,  
 Тотчас в селенье его я отравил водоемы,  
 Кости погибших людей бросив под входом в гробницу.  
 Возле лежит казначей, мне намекнувший однажды,  
 Что, мол, пиры во дворце нашу казну истощают.  
 Здесь же поэта скелет, воспевшего млечность рассветов.  
 Пел он свеченье росы, троящейся в мраморе лилий,  
 Солнце восславил стихом, но с солнцем меня не сравнил он.  
 Зодчий покоится тут, воздвигший в ущелье театр:  
 В каменном роге горы — площадка из лунного камня  
 И амфор тела, заточивших пространство с дыханием хора.  
 Зодчий твореньем был горд, считая его совершенным,  
 Но, вероятно, забыв, что театр, им построенный прежде  
 Здесь, у меня во дворце, стал хуже театра для плебса.  
 Тот череп философом был, создавшим «Трактат о природе».  
 Исчислив движенье светил, слепил он модель мироздания,  
 В этом собрании звезд место мое не отметив.  
 Крайним художник зарыг, прибывший из Пелопоннеса,—  
 Призван он был расписать стены в моем пантеоне.  
 Но фреску венчали поэт, ученый-философ и зодчий,  
 Я же в столикой толпе был живописцем затерян.  
 Наглый пачкун начертал надпись под фреской крамольной:  
 «Здесь на границе веков спят созидатели истин —  
 Зодчий, ученый, поэт, давшие имя эпохе.  
 А также безвестный тиран, умерший в это же время».  
 Был живописец казнен, и фреска немедленно сбита,  
 Но и поныне меня точит и точит сомненье:  
 Кто же эпохам дает их имена для потомков?..

## II

Ирвин К. Бич.  
 Учитель французской литературы  
 городского колледжа.  
 1922—1964 гг.  
 Даллас, штат Техас.

Соцветья, как созвездья, разбросал  
 Июль на влажной млечности тропинок,  
 Она росой пройдет по ним, боса,  
 Повадки флоксов зная без запинок.  
 (У нас в саду такая же роса.)  
 И пусть толпу кладбищенских камней,  
 Которые забвенья холодной,  
 Хранит муниципальная ограда —  
 Опять гудят мои шмели над ней  
 И старая французская баллада.

Мой домик населяли чудеса  
 Живым дыханьем баховских пластинок,  
 Там по росе всегда спускалась в сад  
 Моя жена походкой урсулинок<sup>1</sup>,  
 Там о дождях судачила оса,  
 И школяры мои текли ко мне,  
 А я старался сделать им родней  
 В наш громкий век обряд иного склада,  
 Которым правит блеск речных огней  
 И старая французская баллада.

<sup>1</sup> Монахини ордена святой Урсулы, отличавшегося особой строгостью.

Я мертвым помню эти полчаса:  
 Далекий выстрел, выкрики кретинок:  
 «Ах, президента взяли небеса!»...  
 На грядке флоксов — след чужих ботинок  
 (Сбежав, плутал убийца, как лиса)...  
 Я думал: «Власть? А много ль проку в ней?  
 Вот кто-то к власти ринулся властней —  
 И гаснет власти слабая лампада,  
 Хоть стал мертвец легендой, как Эней,  
 Как старая французская баллада».

В мой сад вломился след чужих теней,  
 Я видел грядку и следы на ней.  
 Я стал свидетелем. Свидетелей не надо.  
 И вот убит я. Нем. Забыт прочней,  
 Чем старая французская баллада.

### *Грех третий*

#### РАСИЗМ

#### I

Левина.  
 Никто.  
 — г.— 1943 г.  
 Освенцим.

Миллионы деревьев  
 Бредут по дорогам,  
 Разобщенным дорогам земли.  
 Я сказала — бредут,  
 Потому что в их беженской  
 Жалкой рванине листвы,  
 В пропыленных лохмотьях  
 Они навсегда бесприютны,  
 Как знакомцы мои на военных дорогах,  
 Без надежной защиты  
 От голого вздорного неба.  
 Миллионы деревьев  
 Бредут по дорогам,  
 По дорогам, ведущим туристов  
 К крематориям, рвам и музеям.  
 Впрочем, нынче — музеям,  
 А прежде — могилам.  
 Миллионы деревьев  
 Бредут по дорогам.  
 Я сказала — бредут,  
 Но, пожалуй, они маршируют,  
 Потому что они — мертвецы.  
 Их — бесплотных — все гонят и гонят  
 Нескончаемым маршем  
 По пыльным дорогам планеты  
 К крематориям, рвам и могилам,  
 Как тогда, когда эти деревья  
 Еще были — людьми.  
 Миллионы деревьев  
 На дорогах паломников или туристов —  
 Это те миллионы погибших.  
 Это — память о них.  
 Те деревья на разных дорогах земли  
 Посадили живые,

Дав древесным стволам  
Имена, биографии, души погибших —  
Все, что было у тех.  
Вместо имени, вместо житейских историй  
Мне

досталась вот эта дорога.  
У меня — ни ствола, ни корней,  
Я — всего лишь

тщедушная ветка  
На тугом материнском стволе.  
Я не знала свиданья с людьми, и домами, и солнцем.  
Все законы всех стран, всех времен, всех народов  
Охраняли меня — нерожденную жизнь в материнской  
утробе,

Человека,  
Которому стать — предстоит.  
Вопреки  
Всем законам, векам и народам,  
По невнятным звериным устоям  
Я была сожжена,  
Погребенная в мамином теле. Вместе с ней.  
Почему? Я пытаюсь понять — почему?

Мой отец — альпинист, балагур и геолог —  
В уссурийской тайге  
Свежевал длиннорылых медведей,  
Он, губами стерев голубиную сизость  
С росистых гроздей голубики,  
Пел студеную песню  
О славном священном Байкале.  
Разгоняя хвостатые своры плющей,  
Он искал железняк и бокситы.  
Мой отец, политрук бронетанковой роты,  
Был убит возле станции Лиски.  
Мать моя — белокурая девочка  
С майской лужайкой в глазах —  
Знала сотни вещей и любила десятки предметов:  
Например, велотрек стадиона «Динамо»,  
Неуемное буйство Рабле,  
Песни хриплые дней Перекопа,  
Подмосковные свечи березовых роц  
В рваной копоти листьев вечерних,  
Си-бемольное солнце Моцарта,  
И танцурьки студенческих сборищ  
Под раздрызганный стон патефона.  
Но особенно мама любила  
Древнерусские лики соборных мозаик,  
Многоцветную мудрость их глаз,  
Раздвигающих время печалью.  
Мама их описала в дипломной работе.  
Мать моя — белокурая девочка  
С майской лужайкой в глазах —  
Знала сотни вещей  
И любила десятки предметов —  
Все, что отдали ей  
Государство и время.  
В этом списке вы зря бы искали  
Карантины обрядов, запреты религий  
И вражду довековую наций.



А когда мою маму сжигали,  
 Ей сказали, что это расплата  
 За кровь,  
 Кровь, текущую в мамином теле.  
 Почему? Я пытаюсь понять — почему?  
 Мама, донор военных времен,  
 Знала братство по крови,  
 Кровь ее наполняла тяжелые жилы  
 Лесоруба с Оби,  
 Скотовода-казаха  
 И потомка лихих запорожцев.  
 Кровь,  
 Такая же теплая кровь.  
 Может, те, кто родился,  
 Способны понять —  
 В чем вина человеческой крови?  
 Но не я — я всего лишь тщедушная ветка  
 На тугом материнском стволе.  
 Жизнь в меня просочилась биением соков,  
 Принеся эту праздную мудрость,  
 Не способную даже постичь —  
 Почему?  
 Говорят, у тех, кто родился,  
 Бывает

первый шаг — от кровати до стула.

Позднее из спичек, разложенных косо,  
 Можно выстроить буквы и даже слова,  
 Скажем «папа» и «мама».  
 А однажды в прохладной стремнине зеркал  
 Ты вдруг видишь свои обнаженные плечи  
 И, коснувшись рукой розовой груди,  
 Застываешь, пронзенная чудом девичества тела.  
 Робкий иней дыханья морозит стекло  
 От огромного слова — любимый!  
 А потом...  
 Впрочем, это бывает  
 У тех, кто родился,  
 У меня — ничего:  
 Ни рожденья, ни жизни, ни смерти —  
 Только эта дорога  
 И вечный вопрос:  
 Почему?..

## II

Стив Д. Барроу.  
 Страховой агент.  
 1930—1975 гг.  
 Алабама.

Черный скотчтерьер на красных копытцах  
 И нежный взрыв белизны коробочки хлопчатника,  
 Черный скотч  
 И коробочка хлопчатника,  
 Коробочка и скотч —  
 Последнее круговращение моей последней минуты.  
 Нет. Все-таки — взрыв белизны.

Когда ты ринулась ко мне,  
 Твои белокурые волосы  
 Взметнулись подобно взрыву,  
 Созревшему, бесшумному, плодоносящему взрыву

Коробочки хлопчатника,  
 И маленькие, отточенные бильярдные шары твоих грудей  
 Чуть не выкатились из лузы за вырезом блузки.  
 Я еще подумал:  
 «Эти шары вынимают из лузы не всей пятерней,  
 А так — тремя пальцами».  
 Я успел подумать.  
 Я заметил тебя раньше. Ты стояла напротив —  
 В той, противоположной стене человеческого коридора,  
 Окаймлявшего асфальтовый пол мостовой,  
 Коридора, ведущего к школе.  
 Вихрастый скотчтерьер, кургузая негритянская малявка  
 Топала по коридору,  
 Чуть покачиваясь  
 От гула, бившегося между людскими стенами.  
 Черный скотчтерьер

тупо

топал,

Постукивая крохотными красными копытцами,  
 Черный скотчтерьер на красных копытцах.  
 Это надо же,  
 Чтобы природа отрыгнула такого выродка,  
 Который будет писать на черной доске  
 Белые каракули  
 Мелом,  
 Который потом возьмет в руки  
 мой Ричи.

Красные копытца уплетали дорогу  
 Шаг за шагом — глоток за глотком.  
 Того и гляди они слопают всю школу.  
 Весь город, весь штат, всю Америку!  
 А людской коридор  
 Только  
 Толкал  
 Ее гулом голосов.  
 Еще минута — и копытца откусят ступеньку школы.  
 Но я схватил скотча  
 И, подняв в воздух,  
 Швырнул об асфальт — плашмя, затылком.  
 Кажется, на месте вихров у нее над лбом  
 Выросли еще одни красные копытца.  
 Но я не заметил этого.  
 Я заметил только, как она выставила вперед  
 Круглые маленькие ладоши,  
 Светлые ладоши с темными каракулями морщин  
 (В классе было бы наоборот:  
 На черной доске — белые каракули),  
 И тогда ты рванулась ко мне,  
 И нежный взрыв коробочки хлопчатника  
 Распустился у моего лица.  
 Я не знаю, чем ты ударила меня,  
 Я не понимаю,  
 Почему  
 Ты, белая,  
 Могла убить  
 Белого — меня...  
 Черный скотчтерьер на красных копытцах  
 И нежный взрыв белизны коробочки хлопчатника,  
 Черный скотч  
 И коробочка хлопчатника,

Коробочка и скотч —  
 Последнее круговращение моей последней минуты.  
 Нет. Слава богу,

последним  
 был взрыв

Белизны.

### *Грех четвертый*

#### ПОРАБОЩЕНИЕ

#### I

Эпитафия сэру Томасу Веллингтону,  
 написанная Джоном, по прозвищу Босяк.  
 А может быть, эпитафия самому Джону.  
 1615—1680 гг.  
 Йоркшир, Англия.

Сэр Томас Веллингтон! Я рою Вам могилу,  
 Просторную могилу  
 (Хоть был кургуз и хил он,  
 Сэр Томас Веллингтон).  
 Просторную — не иначе,  
 Ни ярда и ни инча  
 Не уступлю на том.  
 Я к Вашим услугам, сэр Томас!  
 Я к Вашим услугам —  
 Шестерку Вам цугом?  
 По кисти к подпругам?  
 Я к Вашим услугам, сэр Томас!  
 Катафалк у ворот.  
 Торопитесь, он ждет!

Сэр Томас Веллингтон все рвы и рощи эти  
 Гербами переметил  
 (Хоть жил один на свете  
 Сэр Томас Веллингтон).  
 Я скреб ему задворки,  
 Ни сумерек, ни зорьки  
 Не уступил на том.  
 Я к Вашим услугам, сэр Томас!  
 Я к Вашим услугам —  
 Взьерошить Вам плугом  
 Низинку за лугом?  
 Я к Вашим услугам, сэр Томас!  
 Молотьба у ворот.  
 Глядь, уж пахота ждет.

Сэр Томас Веллингтон!  
 Расчет был с Вами труден,  
 Ей-ей, чертовски труден  
 (Хоть был умишком скуден  
 Сэр Томас Веллингтон).  
 Но был скупее беса,  
 Ни фартинга, ни пенса  
 Не уступал на том.  
 Но! Я к Вашим услугам, сэр Томас!  
 Я к Вашим услугам.  
 Нужда не подруга,  
 Коль пузу, брат, туго —  
 Я к Вашим услугам, сэр Томас!

Джон Босяк — у ворот.  
 Прикажите, он ждет.  
 Сэр Томас Веллингтон с зарей почил во гробе.  
 (Он, Ваше преподобье,  
 И надпись для надгробья  
 Сам сочинить не мог.)  
 Придется мне — не иначе.  
 Что ж. За работу. Нынче  
 Вплетем слова в венки.  
 Я к Вашим услугам, сэр Томас!  
 Я к Вашим услугам.  
 Я рад Вам потрафить  
 Строкой эпитафии...  
 Да сам вот я помер, сэр Томас.  
 Эпитафия — вот.  
 Тот же день. Тот же год.

## II

Дональд К. Гаррисон.  
 Директор нефтяной компании «Форин ойл».  
 1940—1971 гг.  
 Где-то в Африке.

«Ах, созвездия над Африкой  
 У воды у самой светятся...  
 Оттого, наверно, в капельках  
 Доньшко Большой Медведицы.  
 Я могу моря и дождики  
 Зачерпнуть рукою правою.  
 У меня тут в звездном ковшике  
 Пальмы с финиками плавают...»  
 Девчонка из пенсильванского бара,  
 Упакованная в крохотный гробик транзистора,  
 Все голосит и голосит надо мной.  
 Но что она знает о созвездиях  
 И о воде?  
 Звездный ковш трется пузом о волну  
 Только там — на берегу, у руин Лептис Магны,  
 Где желтоватые плиты Триумфальной дороги  
 Расчленили древнее эхо римских колесниц  
 На дробный цокот каблучков туристов.  
 Патрицианки, печатающие розовые следы ступней  
 На розовом мраморе бассейнов,  
 Патрицианки, наивные, как девчонка из пенсильванского  
 бара,  
 Наверное, тоже распевали  
 Что-нибудь о созвездиях и о воде,  
 Когда их мужья, возомнив,  
 Что они — обуздали! — Африку,  
 Отсылали кучку рабов  
 За корзиной фиников  
 Или мерой пшеницы.  
 Они мнили себя покорителями земли,  
 Тяжелоногие воители,  
 Которым по ночам снился  
 Страх,  
 Исказивший рты каменных медуз на стенах Нового Форума.  
 Оттого днем они затыкали этот молчаливый крик  
 Предсмертным криком  
 Перепуганных рабов.  
 «Я могу моря и дождики

Зачерпнуть рукою правую...»  
 Ах, девчонка, девчонка! Как там тебя зовут —  
 Джейн? Элис?  
 Ты опоздала со своими куплетами.  
 Ты устарела, не успев повзрослеть.  
 Твой песенки уже выводил неаполитанский акцент  
 Теноров из капеллы Муссолини,  
 Арлекинов в солдатских обмотках.  
 Они тоже мечтали черпать  
 Дожди и моря Африки.  
 Поняв вслед за всеми, кто приходил сюда,  
 Простую истину о том,  
 Что человек должен служить человеку,  
 Страна — стране, материк — материку,  
 Они намалевали Африку  
 На стене солдатской итальянской казармы  
 В образе притомившейся шлюхи,  
 Развесившей спелые плоды грудей  
 На утеху захожему сержанту.  
 Но что могли они — похотливые куплетисты?  
 Выпотрошить эту землю,  
 Как воскресную курицу,  
 Чтобы, торопливо проглотив печенку,  
 Выбросить потроха в раскаленный смрад помойки?  
 Или набить брюха пароходов  
 Теми же финиками?  
 Что могли они, похотливые куплетисты?..  
 И только я,  
 Я,  
     не видевший созвездий  
 И задыхавшийся без глотка воды,  
 Я,  
     смотревший в желтую морду пустыни,  
 Перебинтованную черными асфальтами дорог,  
 Мог свистнуть Африку,  
 Чтобы она приползла к моему башмаку.  
 Какие, к чертям, созвездия!  
 Она вперивалась в меня,  
 Одноглазая, как арабская баба,  
 Запахнутая до горизонта в ночную темень чадры.  
 Она скрывала нефть от моих буровых,  
 Будто боялась кровопускания.  
 Но я знал: как собаки на бойне,  
 Уткнувшие морды в лужи бычьей крови,  
 Эти, здесь, приползут к радужным нефтяным пятнам,  
 Выскуливая обрезки работы,  
 Когда  
 Мои фонтаны  
 Хлынут горлом чахоточной Африки.  
 И если даже  
 (Как это было там, в Ливии)  
 Африка контуженной кошкой,  
 Выползшей из-под колеса моего «джипа»,  
 Обломанными когтями  
 Выскребала из моих рук мою добычу  
 И по самый свой черный хребет  
 Вростала в пресную соль песков,  
 Чтобы наполнить  
     собственные  
             вздутые голодом сосцы

Темным молоком нефти,  
 Когда с ее яростной агонией  
 Уже было невозможно совладать,—  
 Я перешагивал  
 Через черный мятый хребет,  
 Через миллионы соляных горбов пресной пустыни  
 И шел дальше.  
 Туда,  
 Где на запястье следующей земли  
 Пульсировала нефтяная вена,  
 Ждущая, чтобы ее отворил  
 Я.  
 «Оттого, наверно, в капельках  
 Доньшко Большой Медведицы...»  
 Ты ошибаешься, Джейн, Элис или как там тебя!  
 Это

капли  
 нефти  
 и капли  
 крови,

Моей крови.  
 Ты повисла у меня на шее  
 На ремешке транзистора,  
 Хотя от меня осталась  
 Только эта шея  
 И правая рука по локоть,  
 Которой уже ничего не зачерпнешь.  
 Как он швырнул меня, этот взрыв!  
 Как раз в тот миг, когда я  
 Был готов обнять упругое, стройное тело фонтана,  
 Наконец-то высвобожденное из заточения.  
 А ты так и не заткнулась  
 Со своим дурацким пением  
 И все голосила и голосила,  
 Будто пять минут назад,  
 Когда я был жив.  
 Но все равно —  
 Я встану над этой пустыней  
 Стальным телом моих вышек,  
 И все равно  
 Африка  
 Будет ползти ко мне,  
 Чтобы выпросить, как милостыню дождя,  
 Черные крохи  
 Моей нефти.

### *Грех пятый*

#### РАВНОДУШИЕ

#### I

Михаил Веткин.  
 1940—1963 гг.  
 Новостройск.

Оркестры! К бою!  
 Литавры! К бою!  
 Сегодня музыка оплачена.  
 Вполне спокойное  
 Лежит покойник,  
 Ему Шопена взяли в складчину.  
 И он лежит, причесанный опрятно,

А ведь когда он был еще в живых,  
 Ему играла музыка бесплатно  
 У поездов и пунктов призывных.  
 Оркестры! К бою!  
 Литавры! К бою!  
 Дуди, дударь, мотив не комкая!  
 Идет наш парень,  
 Идет не в паре,  
 Не с вещмешком и не с котомкою.  
 Он прибывал к теплушкам транспаранты,  
 Он поддерживать умел в вагоне хор,  
 И для него играли музыканты  
 На медных трубах марши до мажор.  
 Оркестры! К бою!  
 Литавры! К бою!  
 Лови, трубач, медяшкой зайчика.  
 Кто там в уроне?  
 Кого хоронят?  
 Да просто так, хоронят мальчика.  
 Хотя его печать не отмечала  
 И был профорг с ним несколько суров,  
 Но повсеместно родина встречала  
 Его оркестром сводным рупоров.  
 Оркестры! К бою!  
 Литавры! К бою!  
 Бурлила жизнь — и он был весел все.  
 Кто ж знал заранее,  
 Что до собрания  
 Он, не побрившись, вдруг — повесится.  
 Дощатый гроб теперь кольшут слухи,  
 Пытаясь все расставить по местам.  
 Кто говорит: «Страдал по потаскухе...»  
 Кто говорит: «Спиваться парень стал...»  
 Оркестры! К бою!  
 Литавры! К бою!  
 Свети, литавра! Света, света нам!  
 Лежит покойник.  
 А был какой он?  
 Плохой? Хороший? И неведомо.  
 Он был всегда частицей коллектива,  
 Не образец, но также не нахал,  
 Кто ж виноват, что личные мотивы  
 За громким маршем хор не услышал?  
 Оркестры! К бою!  
 Литавры! К бою!  
 Хиляй на коду, погребальная!  
 Оркестры! К бою! Играй любое,  
 Но, если можно, персональное.

## II

Мария.  
 Жена знаменитого поэта.  
 1875—1910 гг.  
 Петербург.

Я в сны твои, я в дни твои стучусь.  
 Откидываю щеколду со ставни,  
 Привычкам снова всем твоим учусь  
 И, мертвая, себя живой исправней  
 Я в сны твои, я в дни твои стучусь.

Я тороплюсь, забот полным-полно:  
 Засыпать корма голубям в кормушки,  
 А крохи — воробьише-побирушке,  
 Спешу, спешу — пока еще темно,  
 Рассвет на поводке веду и ниц  
 Тебе к крыльцу бросаю перелески.  
 Спешу соткать на окна занавески  
 Тебе руками ветел-кружевниц.  
 А через час уже заря сквозная  
 Откроет окна трезвые твои.  
 Придет рассвет! А я еще не знаю,  
 По ком всю ночь стонали соловьи,  
 Над кем клялись и плакали картаво  
 Горючие! — печалились о ком...  
 А я еще до слез не зачитала  
 Полночный смысл твоих черновиков.  
 Тебя (нет, не себя!) оберегая,  
 Гадаю над бумагою рябой,  
 Что — господи! — какая-то другая  
 За стулом простояла над тобой.  
 Сумела ли она в их сути изначальной  
 Раскрыть зачатые звуков и цветов?!  
 Нет! Ты меня зовешь!  
 «Ну, Маша, что же чайник?»  
 «Ах, чайник!.. Чайник, дорогой, готов».  
 И я опять вхожу к тебе дневною,  
 В халатике, зашитом у плеча.  
 Ты видел сны, придуманные мною,  
 И никогда меня не замечал.  
 (В гвоздях подрамников, за тактами хоралов  
 Ютимся мы — талантов двойники,  
 Кто жертвует на мрамор пьедесталов  
 Своих имен незвонких медяки!)  
 Сухим щелчком чахоточного кашля  
 Я тишину твою не отперла.  
 Ты из своих стихов узнал однажды,  
 Что я  
     жила-была и умерла.  
 Мне слухами отведенного места  
 И мертвая не смела я менять:  
 Петитная трехстрочечная месса  
 Печаль твою отпела. Не меня.

Как ты живешь? Я слышала — по году  
 Стихов не пишешь (траур, мол, не снят).  
 Барометрально разные погоды  
 Уже не панибратствуют в сенях,  
 И крокодилы слезы льет столетник  
 Над прыщиком,  
 И, нищенски пошла,  
 На паперти крыльца

канючит сплетня...

Я веником ее — пошла! пошла!  
 Ты не робей, любимый, я управлюсь  
 С наветами, с берложьей спячкой чувств,  
 И, мертвая, себя живой исправней  
 Твоим привычкам новым обучусь.  
 Ты слышишь? Птичий хор гремит над ранью  
 Наотмашь светом окна раствора,  
 Уже в бутонах лопаюсь гераньих,





Имя которой  
Я так и не научился произносить  
Без акцента.

У живых жизнь разъята  
На воспоминания, и давность,  
И, может быть, еще — неизведанность.  
Некоторые (это поэты, борцы и праздные —  
да, именно они!)

Нарекают неизведанность мечтой.  
У мертвых только — «до».  
«До», взорвавшее рубежи «вчера», «сегодня», «завтра»,  
Задавлившее руинами воспоминаний  
Все «давно» и «только что»,  
Из этой груды щебня ты можешь взять  
Давнишнее и недавнее — равно.  
И я вынимаю и вынимаю один и тот же обломок  
И не знаю — затянулся ли он зеленой окалиной мха  
Или срез его свеж, точно край ножевой раны.  
У древних декабрь — это время больших Дионисий,  
Календарь, запрягающий праздник в упряжку,  
Человеку подносит на блюде напитки и яства  
И на жертвенник каменных блюд  
Возлагает богам подношенья.  
Мне известен декабрь — Дионисий XX века  
На асфальтовом блюде Афин,  
Обращенных расстрелом в гигантский алтарь для закланья.  
28 гробов, совершающих шествие к небу.  
Я сказал — 28, хоть было-то их — 27.  
Но мне бы так хотелось,  
Чтобы двадцать восьмым был — мой.  
В черных одеждах старух  
Улица плоско лепилась  
Тенями к белым фасадам. А мимо  
Плыли гробы. И передний  
Крышку вперял в горизонт,  
В звон колокольный и плач,  
Омывший гробы. 27.

А ведь я тоже отказался сложить оружие и  
Мог бы быть двадцать восьмым!

Возле собора толпа рухнула вдруг на колени,  
К небу вздымая гробы, как жертвы в языческом гневе,  
Две девушки в черном, точно два черных древка,  
Скорбный плакат развернули между своими телами.

27 были греками, расстрелянными  
Грецией, и я мог быть — двадцать восьмым.

Мы хоронили друзей, не 27 — батальоны,  
Мы знали немецкий огонь, охрипший огонь оккупантов.  
Но, умирая в горах, все мы несли оборону  
У имени Греции — греки.  
Кто бы посмел предсказать, что у подножья победы  
Измена объявит расстрел  
Именем Греции — греков!  
Я мог умереть и позднее, в каменной щели горы Грамос,  
Потому что мы продолжали воевать. Но лучше бы мне быть —  
Двадцать восьмым.

Многословная география в разношерстные столетия  
 Ничего не подкинула  
 В углую фантазию правителей:  
 Человека всегда ждут кары  
 За отступничество правителя.  
 Мне досталась тяжчайшая — изгнание.  
 Отречение земли от твоего голоса и твоего праха.  
 Я мог жить и отмечать дни рождения  
 Зарубками на стене, как заключенные  
 Отмечают месяцы заточения,  
 Чтобы потом умереть в этом частоколе зарубок  
 От пневмонии или от несварения желудка.  
 Так, а не потому что  
 Спелое солнце скатилось как плод за крону горы,  
 Не потому что улетел орел,  
 А дикая шаланда ушла,  
 Прижимая к острой груди девочки-подростка  
 Студеный ветер, спеленатый в парус.

## II

Урна № 185478 городского крематория  
 (О данных справиться по учетной книге  
 записи актов гражданского состояния.)

В этот час

всю вселенную вьюга полощет.  
 Снами дом населен, и на свете не видно ни зги.  
 Я проснусь. И я выйду на снежную площадь  
 В нескончаемом яростном свете пурги.  
 Там такое свеченье — что улицы настезь,  
 Там такая погода и ветер таков —  
 Что покажется: мчусь я на тройке по насту  
 И роняю созвездия с синих подков.

В этот час

познают ремеслу обреченность  
 И за вечную ересь горят в этот час на костре,  
 Это час фантазеров, шутов и ученых.  
 Час поэтов и сладостный час бунтарей.  
 Бьют часы. Только полночь свечи не задует.  
 Кто в окне? Неужели твой гений неистовый жив?  
 Ну конечно! То Фауст над колбой колдует,  
 Пятый век до разгадки очей не смежив.  
 И, загнав по морозному Питеру лошадь,  
 Надрываясь, семеновцам крикнув: «В ружье!» —  
 Бунтовщик и поэт на Сенатскую площадь  
 Непокорное сердце выводит свое.

Балаган у заставы,  
 под бубенный клекот  
 И хохочет и плачет раскрашенный хам.  
 В этот час, я ручаюсь, открылось для Блока,  
 Что покой только снится сердцам и стихам.  
 Город стал двойником в кружева запеленатой пущи,  
 Он свое назначенье прямое забыл...  
 Я был зван в этот час. Посвящен. И допущен.  
 Я помазан на царствие Истины был.  
 Стрелки шпаги скрестили у цифр золоченых,  
 Бьют куранты по ночи шрапнелью своих батарей,  
 Призывая на бой за святейшую ересь ученых,  
 Черно книжье поэтов и праведный вздор бунтарей.

Откровение — ждет!  
 Вот мгновенье — и рухнут затворы!  
 Все сильнее пурги ослепительный свет.  
 Но — я медлю, страшась...  
 Из подъездов ползут уговоры,  
 Что ни часа, ни света-то этого  
 Нет.  
 Бьют часы. Я спокойно смежаю ресницы.  
 Засыпаю. На свете не видно ни зги.  
 Я проспю до утра,  
 И вселенная мне не приснится  
 В нескончаемом яростном свете пурги.

...В свой положенный час я с речами, слезами и пенем  
 Был отпущен родней за непознанный край бытия,  
 Где толпились бесплотно в глухом погребенье  
 Сонмы истин,

убитых

такими, как

Я.

### *Грех седьмой*

#### МИЛИТАРИЗМ

##### I

#### **Надпись на камне:**

«Будь наши копья немного прочнее,  
 Пещера на берегу тоже могла бы  
 Принадлежать нам».

Имени и даты еще нет.

##### II

#### **Надпись на метеорите:**

«...и уверяю вас, господа сенаторы:  
 Будь земной шар немного прочнее,  
 Он мог бы принадлежать нам — весь».

Имени и даты уже нет.

#### ПЕРВЫЙ ЭПИЛОГ

В лесу, неслышно спешившись, рассвет  
 Послал за мной бродячую погоню,  
 И на заставе ночи я была  
 Застигнута

прямым конвоем света.

Сначала гладко выструганный луч  
 Проткнул диагонально тело рощи,  
 Потом — другой и третий, и навес  
 Бесплотных досок

свесился над лесом,

Как новостройка завтрашнего дня.  
 На государственной границе дня и ночи,  
 Рожденного и умершего дня,  
 Стояла я. И пограничный столб  
 Сосны, отлитой из сырой латуни,  
 Пока стерег подвижность рубежа.  
 Еще, как перебежчики из тьмы,  
 Метались тени, выпрыгнув из леса,  
 И убегали за рубеж — в луга.

Но тени на бегу хватало солнце,  
 Вминая головы их в алую траву,  
 Поскольку по полям заря сочилась  
 И набухали красным стебли трав.  
 Тень от сосны неслышно вкруговую  
 Уже пошла по циферблату луга,  
 И тень моя как знак секундной стрелки  
 Исчезла в обращенье бытия.

Я видела лишь смену дня и ночи,  
 Но тех минут честолюбивый опыт  
 Меня неумолимо подбивает  
 Однажды

встать

на рубеже эпох.

Но как нащупать шрамы рубежей  
 На карте времени, которая огромней  
 Пяти обычных чувств? И осязанье  
 Моей простой десятипалой плоти  
 Беспомощней снованья мураша?

И все-таки я осязаю время.  
 Оно через меня прошло. И шрамы  
 Его — на мне, как знаки всех веков.  
 Я помню телом мерзлые траншеи,  
 Перепахавшие мне ноги и предплечья...  
 Нет! Душные чащобы медуницы,  
 Сровнявшие земли окопной шрамы,  
 Моих — увы! — не смогут затянуть.  
 Потери и страданья, смрад и голод  
 В моих костях осели. А дороги,  
 Как кандалы, повисли на ногах.

И потому, наверное, во сне  
 Я задыхаюсь в джунглях от напалма,  
 Крича с детьми: «Мне жарко, мама, жарко!»  
 Я тыкаюсь незрячими руками  
 В похлебку из песка и вязкой крови  
 В загоне африканских резерваций,  
 А выстрел, бросивший к дверям балконным Кинга,  
 Меня в висок сбивает наповал.

О мир! Мое призванье и проклятье,  
 Мой вечный крест, мое шестое чувство,  
 В котором тесно будничным пяти.  
 И все-таки я открываю атлас,  
 Обыкновенный синий школьный атлас,  
 Забытый дочкой на ее столе.  
 И вдруг на разноцветной схеме мира  
 Я вижу грань искомую времен:  
 Ползет по государственным границам  
 Дрожащий детский след карандаша.  
 Чем продиктован этот след на карте —  
 Уроком или страхом? Я не знаю.  
 Но знаю точно: только в детстве можно  
 Себя чертой от страха оградить.  
 Ведь капилляры речек и дорог,  
 Большая кровеносная система,  
 Связуют полушария земли —  
 Единый мозг бесчувственной вселенной,  
 Единый и единственный покуда.

Стою у пограничного столба  
Эпох или миров?

Времен иль нравов?

Но как и в то заманчивое утро,  
Я чувствую подвижность рубежей,  
Еще, как перебежчики из тьмы,  
Мои владенья осаждают тени —  
Пороки и грехи. Над их созданием  
Века корпели, плеч не разгибая,  
Вминая в алхимические колбы  
Больную рецептуру палачей.  
Но тени на бегу хватает солнце,  
Швыряя замертво их в алую траву,  
Поскольку по земле заря сочится,  
Рассветным,

алым

крася карту мира —

Вот этот школьный атлас на столе.

#### ЗАПИСЬ В БЛОКНОТЕ, или ВТОРОЙ ЭПИЛОГ

Едва люди основали человеческое общество, как они начали мечтать о его переустройстве. Века именовали по-разному это грядущее согласие. Одни отождествляли его с процветанием искусств и наук, другие — со всеобщим благодеянием, третьи короновали мечту гармонией социальной. Вероятно, идеальное общество — содружество этих понятий. Но для меня разность обществ определена еще одним. Существованием или отмиранием грехов, о которых я говорила. И человек того общества — создание, не ведающее о них. Я не думаю, что мне дарован разговор с теми — из других времен и представлений, но все-таки я позволю себе сделать небольшую надпись на книге, адресованную далеко:

Не верю я, что этот стих  
Случайно, к дате ли  
Моих потомков окрестит —  
Мои читатели.  
Что им искать, погожим, тут?  
Наш спор  
им — истина.  
Но коль прочтут,  
пусть  
не поймут,  
Про что тут писано.



---

---

ИЛЬЯ ШТЕМЛЕР

★

## УНИВЕРМАГ\*

Роман

9

«Паразиты!» — думал Блинов, шагая по улице имени Третьего Интернационала в роскошной волчьей шубе. Свой корытоподобный лимузин, купленный по случаю распродажи имущества иностранной фирмы и прозванный приятелями «блиновоз», Серега не стал подгонять к выставочному залу. Ни к чему. Не так поймут...

Как ему хотелось сейчас очутиться в цехах своей родной Второй обувной фабрики, пройти вдоль конвейера и набить кое-кому морду. Особенно бесил пацан, сидящий на операции склейки подошвы после натяжения верхнего кроя на колодку. Дозатор, умная машина, точно и аккуратно брызгал клеем по периметру подошвы, оставляя всю площадь чистой. Поэтому ботинок можно было гнуть как угодно, и он не терял формы... А тот патлатый хмырь сломал дозатор — надоело ему ждать, пока клей натечет. Сидит чумазый, втягивает носом сопли, захватывает горстями клей и обмазывает всю подошву целиком. Ботинок становится железным от обилия клея. И ногу в нем печет... Правильно определил старик Дорфман: колодочники у нас высший класс. Да и кожа неплохая. А вот сидят на конвейере сопляки, все мысли их о таких же синих бройлерных соплюхах. А гонору-то! Зарплату министра требуют, не меньше. А начальство кувыр-кается, ловчит, чтобы и эти не разбежались, — тогда хоть фабрику закрывай...

Мысли Сереги энергично плескались в русле государственных проблем. Человек предприимчивый, с деловой хваткой, Серега точно знал, что делать. Но кто примет всерьез его прожекты? Какой-то начальник отдела сбыта... Ну богатый. Ну есть деньги, бабы, есть классные курорты, гостиницы, в которых не стыдно поселить президента дружественной страны. Но Серега мог поклясться своей красивой жизнью, что в какие-то минуты на этой конъюнктурке он многое бы отдал за теплое слово в адрес своей Второй обувной...

Привыкший к повсеместному уважению — начиная от станции техобслуживания автомобилей, куда его «блиновоз» въезжал точно танк мимо скромно молчавшей очереди купленных в многолетний долг «Жигулей», и кончая вечерним коктейлем в торговых представительствах, куда его приглашали заезжие приятели-фирмачи, — Серега испытывал на совещаниях чувство жуткого унижения.

Конечно, он понимал, что продукция Второй обувной фабрики еще далековато, скажем, до ереванских «Масиса» или «Наири», но тем не менее так грубо по морде... И еще с намеками на темные делишки, что творятся на Второй обувной. Делишки, конечно, творились. Не с зарплаты же Серега Блинов считался в своем кругу уважаемой персоной... И Серега понимал: пробил первый удар колокола.

\* Продолжен в е. Начало см. «Новый мир» № 8 с. г.

Намеки не могут долго оставаться только намеками. Значит, где-то что-то сбило. Надо внимательно продумать все записи его тайного реестра: что форсировать, а что придержать... Он ждал большую партию шкур из колхоза, раскинувшего уголья в труднодоступных районах Зайлийского Алатау. Все было оформлено как надо. Накладные, печати, бланки строгой отчетности, командировочные экспедитору. Даже расчет велся через отделение Госбанка. Никакая ревизия подкапаться не могла. Все было тип-топ...

На кожзаводе люди из отряда Сереги Блинова в рекордное время превратят эти шкуры в шевро. А спустя срок золотозубые водители выведут свои тихие грузовики из ворот Второй обувной фабрики и расплзутся по разным направлениям...

Психологи не один год бьются над загадочным феноменом человеческого поведения: почему товар, лежащий на полках шикарного магазина, не вызывает интереса покупателей, но стоит тот же товар вынести на улицу и начать продавать с перевернутого на попа пустого ящика, как мгновенно вырастает очередь. И в снег и в жару...

Этим психологическим парадоксом и пользовался Серега Блинов. Золотозубые шоферы-рейсовики, откинув борт автомобиля, продавали обувь не напрягаясь. Нельзя сказать, что органы контроля не интересовались автокоробейниками. Но в нагрудных карманах горластых молодых всегда были наготове всамделишные с виду накладные и соответствующие бумаги с круглыми печатями. Для особо недоверчивых ревизоров Серега предусматривал денежные знаки, которые, как правило, производили неотразимое впечатление на измученных дорожной пылью ревизоров-мотоциклистов... Конечно, он мог и не вывозить обувь на периферию, разметав левак среди знакомых директоров магазинов, как делали другие предприимчивые люди. Но Серега был брезглив по натуре, он не хотел мараться в родном городе, а главное, вывозить безопасней и выгодней, как ни странно, — дома с него три шкуры содрали бы... Так что техника этой процедуры была отработана до мельчайших деталей, вовлечено довольно значительное количество людей. Большинство из них и понятия не имели о том, что работают на Блинова с компанией. Все проворачивалось в обстановке строжайшей конспирации.

И все же Серега в последнее время чуял своим благородным носом, что начинает пахнуть жареным. Плохая работа фабрики должна привлечь внимание специальных органов. И раньше на фабрику торгинспекция накладывала аресты, на снятие которых Блинов затрачивал немало и своих личных сбережений. В конце концов ему это надоело: фабрика не его собственность. Почему он должен платить из своего кармана за бездельников-руководителей?

«Паразиты!» — во второй раз выругался Серега Блинов, выходя на Главную улицу. Его выводила из себя близорукость этих людей. Уверовав во всеильность Блинова, они пустили основное производство на самотек, уделяя все внимание малопочтенному промыслу. «Это ж черт знает что! Ведь они, паразиты, еще и зарплату государственную получают. Хотя бы ее отработывали на совесть, — чистосердечно сокрушался Блинов. — Не повезло, посадил на шею дармоедов. А ударит гром — они в стороне, они будут отвечать только за плохую работу фабрики, а это дело неподсудное. Снимут, переведут на другую работу, люди номенклатурные, всю жизнь могут дело заваливать и не бояться. Весь удар, они рассчитывают, на Блинова придется, он такой-сякой, а они понятия ни о чем не имеют. Ошибаетесь, родные, Блинов вас всех мертвым узлом повязал!..»

У Сереги с некоторых пор шалила печень, ныло сердце. По утрам в глазах плавали мягкие розовые круги — призрак неважной крови. А ведь Серега питался неплохо, продукты доставал отменные, была возможность. Правда, и ему в последнее время приходилось туговато. Не оттого, что поставщики заламывали крутую надбавку



сверх номинала, за этим Серега никогда не стоял, свято веря в истину: живешь сам — дай и другим, иначе все пойдет прахом. Прошли времена, когда «блиновоз» ложился брюхом на асфальт под тяжестью продуктов, набитых в его бездонный трюм после объезда ряда продуктовых точек. С пойлом еще туда-сюда, а с закуской туговато. Но «блиновоз» Серега менять не собирался: придет время, появятся продукты. Жизнь, она по синусоиде ползет, Блинов это понимал, хотя и заботил его в основном день сегодняшний... «Паразиты! — в третий раз подумал Блинов и вздохнул.— Все хотят жрать, а работать — пусть другие. Что за народ пошел? Ведь именно после работы приятно поесть, а они норовят до. И особенно выпить. Моду взяли... А какие они после этого работники? Тот чумазый, что сидит в цехе весь в клею и соплях с головы до ног,— вот какие они работники!»

Серега непотребно выругался вслух и посмотрел на часы. До встречи с Платоном Ивановичем Сорокиным, бывшим коммерческим директором обувной фабрики, оставалось час десять минут. Можно успеть заскочить в лавку к Сысою, отовариться. Дома у Блинова шаром покати. Утром последнее подъел в паре с очередной приятельницей, что осталась ночевать у него, так как муж замучил ее подозрениями. Приятельница недвусмысленно дала понять Блинову, что не прочь вообще перебраться в его роскошную квартиру. Но Блинов пока воздерживался от положительного решения. Приятельница обещала и сегодня навестить Серегу. А какие забавы на голодный желудок?

Сысой «держал» небольшой гастроном в полуподвальном помещении огромного многоэтажного дома, выходящего фасадом в тихий Спортивный переулок. Скромный магазин на два крохотных торговых зала внешне проигрывал в сравнении с близлежащим универсамом. Однако пользовался популярностью у жителей окрестных улиц. Правда, не всегда устойчивой... А вот у людей известных, отмеченных перстом судьбы, магазин снискал особое расположение. Сутулясь и пряча головы в плечи, знаменитости почтительно стучали согнутыми пальцами в оцинкованную дверь служебного входа. Дверь отворялась, оставляя за порогом дворовых ребятишек, готовых костью лечь, но дожидаться, когда вновь появится, сгибаясь под тяжестью кошелок, известный киноартист или диктор телевидения...

Серега Блинов, как и многие люди его круга, имел доступ в заведение Сысои. И сейчас, стараясь не замарать доху, он крался между бортом продуктового фургона и облупившейся стеной дома. «Вот зараза, поставил свою тачку», — переживал Серега, утешаясь мыслью, что неспроста подогнали фургон: что-то привезли.

В тесной подсобке стоял густой дух копченой колбасы.

Из глубины магазина доносились крики. Это, вероятно, Сысой вел переговоры с водителем грузовика...

В стороне застенчиво смотрел в зарешеченное окно молодой человек в замшевом пальто, с ондатровой шапкой в руках.

Серега признал в застенчивом молодом человеке известного в городе драматического артиста. Но фамилия актера, как назло, вылетела из головы. Да мало ли он их повидал на вечеринках!

— Привет артистам! — воскликнул Серега.

— Блинов?! — обернулся актер.

По его кислому тону было ясно, что ему не очень-то хотелось встретиться здесь знакомого. Неспроста же он воротил скулу к окну.

— Что, брат, проголодался? — наседал Блинов.

— Да вот, понимаешь, день рождения грядет. Надо, понимаешь.

— Нафаршироваться,— подхватил Блинов, мучительно стараясь вспомнить имя актера.

Понятное дело: рядом с ним эта знаменитость — нищий студент. Все же Блинову льстило знакомство. Актер в городе считался чело-

веком прогрессивных убеждений, а Блинов уважал прогрессивные взгляды с детства, когда кланчил у заморских туристов жвачную резинку. Это потом уже, с появлением денег, у Сереги появилась гордость.

— А что привезли? — поинтересовался Блинов.

— Бес его знает, — демократично ответил актер. — Сысой сказал стоять.

— Постоим, — согласился Блинов. — Курить будешь? — Он откинул полу шубы, достал коробку «Кента».

Актер милостиво протянул руку. Закурили.

— Давно стоишь? — спросил Блинов.

— Минут тридцать, — вздохнул актер и повел головой в сторону коридорчика. — Это еще ничего. А то они так орали, точно наш главреж.

— А что, орет главный?

— Орет. На репетициях. Попробуй помолчи. Вместе со шляпой съедят. Артисты народ прожорливый.

— Я вижу. — Блинов кивнул на сумку, стоящую у ног актера.

Крики в коридорчике стихли. Видно, скоро появится и Сысой.

— Шуба у тебя знатная, Блинов, — сказал актер.

— Волчище. Матерый, — согласился Блинов. — А у тебя что, Англия? Вроде вы туда ездили, в газетах писали... Ну и как там?

Актер сбил пепел в расколотое блюдо.

— Да как тебе сказать, Блинов. Всем все до фени. Полное равнодушие... У нас вот хотя бы у Сысои концерт послушаешь. А там — молчат. Как пришибленные. Соберутся в своем гардене, помитингуют молча о какой-нибудь муре и разойдутся. Черт их знает, молчуны какие-то.

— Да. Скучно им, — согласился Блинов. — Сысои на них нет.

И тут, легок на помине, явился Сысой — лысый, небритый, в белом засаленном халате. Позади него топал сапожищами мужик в армяке.

— Договорились, е-мое! — Сысой протянул ему руку, заросшую шерстью. Короткие, точно обрубленные пальцы держали три рубля.

— Договорились! — Шофер принял деньги и хлопнул ладонью о ладонь Сысои, словно пальнул из ружья.

Сысой проводил шофера и обернулся к гостям.

— Ну что? Сысой, Сысой... Всем Сысой! А что Сысою?

— Ладно, не куражься. — В тоне актера звучала грубовато-дружеская интонация. — Контрамарку тебе принес. На премьеру. Второй ряд.

Актер вынул белый фирменный листочек, положил на стол.

— На черта мне твои контрамарки? Я в театры век не ходил и ходить не буду. В театры знаешь кто ходит? Кто жизни чужой завидует. Кому своего не хватает. А у меня свой театр... С утра санитар пришел, нюхал все. Я ему завернул пакет — ушел. Потом явился инспектор из торго. Все крутил мне насчет какой-то бабы, что кассиром у меня работала: дескать, я ее вынудил уволиться. Завернул ему пакет — ушел. Потом явились пожарники. Двое. Тары-бары насчет тары. Завернул — ушли... Так полный день стою заворачиваю подарки, как дед-мороз... А ты мне — в театр. Ты, милый, пришли сюда писателя. Такую комедию сварганим — театр разнесут, ей-богу. А то все пишут про нас, карикатуры строчат, соревнуются. Их бы сюда, на наше место, художников этих... Хотите послушать? Время есть?

Актер замялся. Но отказать завмагу не решился. Сысой сунул голову в темную дверь и крикнул:

— Вера! Нет меня! На базе! — И, ворча, отошел от двери. — Всем заведующий нужен. Как что — заведующего подавай, жалобу писать будут...

Сысой придвинул табурет и сел. Блинов и актер опустили на

чисто вымытую лавку. Блинов надеялся, что Сысой назовет актера по имени, но, видно, и Сысой запомнил, как кличут актера.

— Будете? «Пепся-кола», едри ее.— Сысой водрузил на стол три бутылки.— Вот вы думаете, что Пантелеев — жулик. Между прочим, моя фамилия Пантелеев... А почему ко мне инспектор заявился? Да потому что я ее, суку, кассиршу ту, взашей выгнал. И поделом — нагела с покупателем. А мне чужого не надо, я и так богатый. Только не за счет покупателя — государственные инструкции дозволяют. Взгляните во двор. Хоть одну щепку мою во дворе найдешь? Горсть муки не просыплю. Мне эта естественная убыль самому нужна, усыпки-утруски не допущу. Не платить же мне грузчикам из своего кармана, верно? И девчонок своих не заставлю, и так на их руки смотреть мужику совестно: ящики ворочают, кидают. Потом детей не донашивают, с мужьями разводятся...

Из коридора в подсобку вошли двое парней. Сигареты стыдливо тлеи в согнутых ладонях. Пантелеев метнул в парней нетерпеливый взгляд.

— Все, шеф,— произнес высокий, в берете.

— Все, шеф,— подтвердил другой, в синем халате.

— А холодильник? — уточнил завмаг.

— Под завязку,— ответили разом оба.— Плати, Сысой. Жажда мучит.

Пантелеев достал из кармана два рубля, положил на край стола.

— Присовокупи,— проговорил первый.— Тонны покидали.

— В глазах темно,— подтвердил второй.

Пантелеев пошуровал в недрах халата, извлек полтинник, присовокупил.

Первый парень, шурясь от табачного дыма, сгреб деньги ладонью и вежливо приподнял берет.

— Гуляйте, гуляйте. Алиментщики,— махнул рукой Пантелеев.

— Мы, шеф, огурец прихватили. Не обессудь,— признался тот, что в синем халате, и вытащил мятый рыжий огурчик.— А то никак, сам понимаешь.

Пантелеев еще раз милостиво махнул рукой. Парни вышли.

— Работнички,— вздохнул завмаг.— Кого только не подберешь.

— В штате? — поинтересовался Блинов.

— Еще чего. По безлюдному фонду я могу платить четырнадцать копеек в день.

— Сколько? — переспросил актер.

— Четырнадцать копеек,— повторил Пантелеев.— Норма. Да ну их к бесу, не хочу говорить.— Он взял бутылку, крутанул и, запрокинув голову, сделал несколько глотков.— А другие нормы? Разве не смех? Заезд под разгрузку фургона — девять минут. Выгрузка ста килограммов мяса — полторы минуты. Но надо не только разгрузить, но и принять товар, оформить бумаги. Шофера орут, им ехать надо. Экспедиторы тебя за подол хватают — подписывай накладные. Рубли и трехи так и летят. Такса: помог шофер товар разгрузить — треха ему и обед. Вот и крутимся. Кто за счет естественной убыли, кто за счет покупателя. А в сущности, все друг дружку объегаем... Какой дурак примет, скажем, горячие сосиски к вечеру, под конец работы? Да хоть задавись! К утру остынут — и двадцати килограммов веса как не бывало. А норма убыли на тонну всего десять килограмм. Так я лучше подожду, пока они мне их холодными привезут, и вся убыль моя — на расчет с грузчиками. И со слесаришкой и с электриком по холодильникам. Всем из своего кармана платим... Я уж не говорю о том, что покупатель какой пошел. Раз доцента застучал. Кофе, подлец, в портфель спрятал. Не знаю, говорит, бес попутал...

Цинковая дверь приоткрылась, и в щели показалось худое лицо с впавшими щеками, в потертом заячьем малахае. Красные глаза, порыскав по подсобке, уперлись в завмага.

— Хозяин, ножи точить не желаешь?  
 — Подожди во дворе, с людьми разговариваю!  
 Точильщик деликатно прикрыл дверь.

— Вот. Считайте, пятерку приговорил. Такую чепуху, как заточку ножей, организовать не могут... Сидит прорва народу. Отделов разных три этажа. Все круглые, сытые. Прогрессивку получают... Вот что загадка для меня: за что они прогрессивку получают? А?

Сысой Пантелеев сидел с опущенными плечами. Его небритое лицо выглядело утомленным. Редкие волосы на плешивом затылке свалились. Из-под сивых бровей он вглядывался в лица сидящих в стороне Блинова и актера... И с чего это он вдруг перед ними пластается? Не верят Сысою эти молодые люди. Фактам верят, цифрам верят, а толкуют все по-своему. Смотрят сейчас на него, а сами небось думают: «Жулик ты, братец. И дача у тебя есть, и автомобиль, и на жене всякого-разного навешано. Трудно тебе, да? А ведь не уходишь из торговли. Руками, ногами, зубами держишься... Ты что ж, Сысой Пантелеев, идиотами нас считаешь? Кассиршу нечестную прогнал? Может, спать с тобой, со старым боровом, не согласилась, вот и прогнал. Ах стервец, ах лис... Да ты с каждого покупателя свой гривенник стряхнешь, а то и боле. Одной бумаги оберточной тонны сваливаешь на их голову, небось на эти нормы ты не жалуешься! А пересортица? С мясом, с овощами-фруктами. А вино разбавленное... Рубль грузчиком считает. А то, что они тебе за рубль, как капиталисту, здоровье отдают? Обедом бесплатным кормит, благодетель. А небось лихоимцев-инспекторов да ревизоров из магазина не гонишь, понимаешь, что рыло в пуху...»

Сысой видит, что глаза молодых людей выражают нетерпение: «Сколько можно врать! Пора и честь знать. Хватит нас мытарить за палку колбасы твердого копчения, не нанялись мы тебе. И не бесплатно ты нас благодетельствуешь — крутой процент тебе сверх кладем. Не отказываешься, берешь. Вот тебе и факт, уважаемый наш Сысой Пантелеев...»

Завмаг встал, словно стряхнул с себя благостную дрему. Сейчас он вновь был энергичный, деловой мужик с хитрым лицом.

— Вера! — крикнул он в коридор. — Поди сюда!

Тотчас в подсобку вступила толстая женщина в белом халате. Яркая помада рисовала полные бесформенные губы.

— Отоварь народ. — В голосе Пантелеева не было и намека на расположение.

Пантелеев не спрашивал, что нужно Блинову и актеру. Все возьмут.

Контрамарка на премьеру одиноко белела на краю стола. Пантелеев подобрал ее и сунул в карман замшевого пальто актера.

— Поди дай парикмахеру своему. А мне, милоч, не до театров. На брехню вашу время тратить неохота. И капустой кислой нести будет по всем вашим ломам бархатным, а в каждой из них, считай, клиент мой сидит. Мне и здесь на их рожи глядеть надоело.

Лицо актера пошло пятнами. Блинов улыбался.

За окном мелькнул силуэт дамы в высокой боярской шапке. Через мгновение дверь отворилась, и на пороге возникла фигурка в шубе.

— Сысой Гаврилыч, — игриво произнесла дама.

Сысой повернул голову и уставился на пришлицу тяжелым взглядом.

— Здравствуйте, Сысой Гаврилыч, — ласково проворковала дама.

— Пожалуйста. Еще одна краля! — Сысой не спускал с дамы глаз. — Ты чем занимаешься, милая? А то шастаешь ко мне, шастаешь, а пользы от тебя что-то не видно.

Дама покраснела, но собралась, стараясь свести к шутке нелюбезный тон завмага.

— Чем-чем... Чем надо. Секрет.— И, тотчас сообразив, что может разозлить благодетеля, добавила: — Я ведь от Ивана Ивановича хожу.

— От какого Иваныча? — еще больше посуровел Сысой.— У нас куда ни кинь, в Иван Иваныча попадешь...

— От Скворцова, профессора химии.

— А... химик-то? Есть у меня еще один Иваныч, стервец. Я ему — все, а он меня с ангиной три раза гонял, времени все не было принять. А химик — тот ничего, у него антикоррозийка для автомобиля знатная... Ладно, отправлю этих, тобой займусь... Кликни там точильщика, замерз совсем рабочий человек с вашими тут заморочками.

Автофургона во дворе не было, и асфальт тускнел застарелыми пятнами масла.

Блинов широко отвел в сторону локоть, держа под мышкой картонную коробку. Следом шагал актер с сумкой, похожей на перевернутый желтый парашют. Они миновали двор и вышли в Спортивный переулок...

— И налог не снял, всю сдачу отдал,— проговорил Блинов.

— Грехи замаливает,— ответил актер.

В тоне актера Блинову почудился намек. Не сравнивает ли этот актеришка его с дремучим Сысоем? Тоже чистоплюй! Со сцены небось такие нравственные устои проповедует, куда там! А разгримировуется — спешит к Сысою, стучится с черного хода...

Унижение, которое испытывал Серега Блинов в предбаннике гастронома, да еще в присутствии актера, томило стыдом. Наверняка актер был преисполнен к нему особым почтением. Именно актер помнил фамилию Сереги, в то время как Серега начисто запомнил, как кличут актера. И вдруг он, Серега, унижается перед Сысоем из-за палки колбасы...

— Знаешь, Блинов,— произнес актер,— ну его к дьяволу. Не приду я больше к Сысою. Противно, унизительно! — Красивые губы его огорченно раскрылись, а глаза, серые, глубокие, влажно блестели.— Сейчас вернусь. И швырну ему в морду эту сумку. Мерзавец! Ходят же нормальные люди в магазины. Покупают что есть. Не унижаются, не унывают. И день рождения справляют. Ну так не будет у меня особых деликатесов, будь они прокляты... Я ведь Гамлета играю, Блинов, Гамлета. А тут? Нет, ни черта ты не понимаешь, Блинов. Ты такой же, как Сысой. Ты улыбался, я видел.

— Не ори. Люди оборачиваются.— Блинов толкнул актера волчьим плечом.— Шагай-шагай... Пиво будешь, Гамлет?

— Теплое? — Актер взглянул на Блинова печальными глазами.

— Это как закажем.

Они остановились у пивного ларя. Очереди не было. Блинов поставил коробку на какую-то тумбу и заплатил за две кружки. Актер переложил свой парашют в левую руку и, приняв кружку, сдул ватную пену. Серега втянул носом свежий дрожжевой запах...

— Напрасно ты так на Сысою. Вполне порядочный человек. И не врал. Только привыкли мы: раз в торговле, значит, жулик. Любой взбесится. А жизнь у Сысою трудная, точно. Это я тебе говорю, человек, знающий эту кухню, как собственный карман... Так что играй ты своего Гамлета. Жизнь не театр, прав Сысой. Это две параллельные линии...

— Противно, понимаешь,— обмяк актер. То ли всхлипывал, то ли всасывал в себя пиво, непонятно.— Столько дряни вокруг, противно.

И опять тон его поставленного голоса заставил вздрогнуть закаленное сердце Сереги Блинова. В него пальцем ткнул паяц, в Серегу.

— Знаешь, что я думаю, артист. Живи сейчас твой Шекспир, он обязательно бы написал сцену «Гамлет у Сысою».

Актер поперхнулся, уставился покрасневшими глазами в Блинова и захохотал. Пиво шлепалось на асфальт, взрываясь белой угающей пеной.

Блинов оставался серьезен и продолжал пить пиво редкими глубокими глотками.

— Если он хороший писатель и честный человек, то обязательно дописал бы сцену Гамлета у Сыся, — повторил Блинов. — Иначе — обман!

— В конце Гамлет вызывает на дуэль Сыся, да?

— У тебя ограниченная фантазия, артист. Здорово тебя в театре натаскали... А жизнь — вот она, в предбаннике Сыся. Сам видишь, а жмуришься. Профессора к нему шастают, дамочки гордые...

Актер обиделся. Он считал себя человеком прогрессивных убеждений. Это все знали: и в театре, и дома, и в городе. И вдруг его поучают, да кто? Белолицый сытый делег!

— Гордые, Блинов, к Сысю не стучатся. А такие, как ты...

— Между прочим, я тебя, артист, тоже не в филармонии встретил, верно? — резко перебил Блинов.

— Я хотел сказать, что такие, как ты... — Актер красиво откинул голову, как Овод перед расстрелом.

Блинов уставился голубыми глазами в отважное лицо актера.

— Кстати, вспомнил, где я тебя последний раз видел. На вечерушке у Гиви-стоматолога. Ты песенками нас убажрал. Одна такая — про kota и осла. Дескать, кот свободен, а осел в яме. Пыжился ты здорово, артист: мол, вот я каков. Бабы млеи, даже обо мне впопыхах забыли... Долго тогда ты нам пел. Жрал и пел... А вот как зовут тебя, забыл, извини.

Актер покраснел. Достал платок, утер пухлые губы. Блинов поставил на прилавок кружку с недопитым пивом.

— А то приходи еще, приглашаю. Споешь. Да и пожрешь от пуза задарма.

Блинов подхватил коробку и отошел не простившись. Дойдя до конца переулка, он свернул на Главную улицу.

Знакомая до мелочей, шумная, с громадными витринами, Главная улица действовала на Блинова успокаивающе. И с каждым шагом Серега Блинов все более превращался в Сергея Алексеевича Блинова. Мозг начинал работать четко, направленно. Это уже не был рефлексирующий тридцатипятилетний красавец, оскорбленный в своих чувствах. И запутанные дела, в центре которых стоял добродушный с виду увалень в волчьей шубе, укладывались в его размышлениях в четкую систему...

Одним из немногих принципов, которых придерживался Сергей Алексеевич в своих делах неукоснительно, была точность. Если он как Серега Блинов мог позволить себе любую неверность, забывчивость и суесловие, то в другой жизни, будучи Сергеем Алексеевичем Блиновым, он был на редкость обязательным человеком.

И сейчас, стоя перед входом в бар «Кузнечик», он с удовлетворением взглянул на взметнувшиеся над Главной улицей старинные часы с ажурными стрелками. Без двух минут семь!

Большинство участников совещания уже разошлись.

Стукнула дверь — и, пятясь, на улице показался старина Дорфман. Следом появилась продавщица отдела Татьяна. Вдвоем они несли громоздкий мешок, из которого углами выпирали коробки из-под обуви. Уложили мешок в пикап и ушли за следующей партией...

Фиртич, разминаясь, сделал несколько шагов вдоль тротуара. Он условился встретиться с начальником управления на улице — должен был состояться его визит в Универмаг. Но Барамзин задерживался. На углу в табачном киоске Фиртич купил сигареты.

— Не травись, угощаю,— послышался за спиной голос Табеева.

Директор универмага «Фантазия» протянул Фиртичу портсигар, на крышке которого тускнела золотая монограмма.

— «Герцеговина флор». Царский табачок. Кажется, единственный сорт, который не мешают со всякой дрянью.— Голос Табеева звучал доброжелательно. И сам он в пальто с широким шалевым воротником и высокой шапке казался человеком, попавшим сюда из далекой дореволюционной зимы. Еще этот многоярусный подбородок, тестом сползающий на яркий мохеровый шарф. Барин да и только...

Фиртич выудил из портсигара длинную папиросу, прикурил. Дымок отдавал сладковатым привкусом лаванды, нагоняя воспоминания о душных ночах где-нибудь на забытой скамье в зарослях тамариска в Гаграх.

— Хозяина ждешь? — усмехнулся Табеев.— Повезешь к себе плакаться?

Фиртич напрягся. Вот одно из тех благоприятных обстоятельств, на которые он всегда рассчитывал. Главное теперь: не упустить, сделать правильный ход. К тому же Табеев, проявив нетерпение, раскрыл себя еще тогда, перед совещанием.

— А чего это ты так разговариваешь со мной, Пров Романович? — негромко спросил Фиртич.

Но и Табеев был не лыком шит.

— Как же мне с тобой разговаривать, Константин, если ты только себя и видишь? Ты один настоящий коммерсант, а остальные — навоз.

Табеев посмеивался, щеря желтые прокуренные зубы: отбился, теперь его черед ходить. А ходить у него есть чем. И Фиртич это почувствовал. Не свои мысли он сейчас высказывает, а его собственные мысли, Фиртича. Именно так, как они излагались директору ресторана «Созвездие» Кузнецову тогда, в кабинете, в день юбилея. Значит, передал Кузнецов их разговор Табееву. Интересно, что он еще передал Табееву? О Гарусове? Вряд ли. Эта игра с Гарусовым и по самому Кузнецову ударить может...

Нет, ничего Табеев больше не знает, на пушку берет. Но кровь попортит своими недомолвками. Начнет трясти пыль по управлению, а там кое-кто только этого и ждет: многим не по душе директор «Олимпа» со своим независимым характером... Фиртич швырнул в грязно-серый развал едва начатую папиросу. Полез в карман, достал свою пачку.

— Вот что я вам скажу, Пров Табеев! — Этот переход на «вы» хлыстом стеганул Табеева по крупному рыхлому лицу.— Вам ведь, Пров Романович, ничего не нужно. Предложи вам завтра весь пакет заказов на оборудование — ногами-руками отбиваться станете. А сейчас стараетесь обиженным прикинуться. Выгодно! Если что — можно пожаловаться, что все внимание одному «Олимпу»... Не встревайте, Пров Романович, предупреждаю.— Голос Фиртича звучал значительно.— Директор «Олимпа» я, а не вы. Хоть у вас и опыта больше и возраст подходящий по нашим принятым меркам. Сомну я вас, Пров Романович, так как дело это мое кровное и единственное. И ради него ничего не пожалею.

— Угрожаешь мне, Константин? — опешил Табеев.

— Предупреждаю! В одном котле варимся. Только отличаюсь от вас тем, что ничего не пожалею. А ведь лично вам, Пров Романович, есть чего опасаться.

Табеев, не скрывая изумления, смотрел на бледное лицо Фиртича.

— Нехорошо, Константин Петрович, нехорошо. И стыдно. Как же доверять-то друг другу?

Фиртичу было неловко за свою грубость. Но он знал, с кем имеет дело. Против Табеева надо действовать именно так. С кем другим

Фиртич провел бы время за чашкой кофе, расположил, привлек в сообщники. Только не с Провом Табеевым. Есть люди, которых любая деликатность выводит из себя, как бы напоминая им о собственной ущербности. Они пасуют только перед силой...

— Что же сказать тебе, Константин? Врешь ты все,— прищурил Табеев сонные глаза.— И что себя не пожалеешь для дела, врешь.

Табеев цепко ухватил Фиртича за кисти рук и крепко сжал медвежьими лапами, упреждая ответ.

— Не горячись, Константин, сказать дай... Мне есть чего опасаться, верно. Но и тебе есть. Работа у нас такая, не всегда ровно ходим. Как в шахте... Но кто в торговле столько лет, как я, Костя, и ни разу прихвачен не был, тот мудр, как змей, прошел школу. Сам понимаешь, за столько лет много сильных людей вокруг нас повязано. Им шорох не нужен, люди солидные. Не попрешь ты против стены такой, Петрович, не враг же ты себе...

Фиртич чувствовал, как краснеет. То, что сейчас говорил Табеев, было серьезно и благоразумно. Все они повязаны — кто чем, кто с кем. Даже когда помыслы твои чисты, ты должен искать какие-то лазейки, чтобы добраться до ясной цели. Что за противоречие такое, господи? Ради дел государственных подвергаешь себя опасности быть наказанным тем же государством. Смешно и печально...

Табеев словно и не замечал смятения Фиртича, поглощенный созерцанием тлеющей папиросы.

— Стар я, Константин, за тобой гнаться. А ты на меня с колом. Я твоим лаврам не завидую, бери себе эти заказы. Что другие директора скажут, твои ровесники? Но непросмоленные они, тебе не равня. Только вот Наташка Семицветова из «Заезжего двора», та баба злая, а главное, хвостов у нее мало, святая...

Табеев умолк, убежденный в том, что Фиртич стерпит, не станет горячиться, скакать с прежним азартом — осадил Пров молодца. Он чувствовал силу Фиртича. И хотел отступить, но с достоинством.

— Вот что, Константин... Поговаривают, что старик Мануйлов подарок тебе сделал, верно? — Табеев вздохнул.— Я на него не в обиде. Но сам понимаешь, у меня тоже свой интерес, Костя...

— Сколько? — резко перебил Фиртич.

— Ну, штук десять хотя бы.

— Пять.

— Константин,— Табеев по-лошадиному повел головой,— с пятью дубленками мне никак не выкрутиться. Районы объединили, а начальство пока не упорядочилось. Кто останется, кто слетит — не подгадаешь.

— Так мне и в зал нечего будет выставить.— Фиртич сбил пепел.

— Хыг-ыг-ыг,— засмеялся Табеев.— Всю жизнь я в торговле и ни разу не видел очереди за дубленками. Полгорода таскает, а очереди нет. Загадка. Их даже не спрашивают... Хыг-ыг-ыг-ыг...

И Фиртич засмеялся. Широко, сердечно. Он поглядывал на Табеева и хохотал, хлопая его по рукаву. Не стоило перегибать палку. Все, что было необходимо, он сделал, и дальнейшее наступление может разозлить старого лиса.

— О-хо-хо! — смеялся Фиртич.— Действительно... Посидеть бы, Пров Романыч, как-нибудь. А то все дела да дела.

— Посидим еще, Константин Петрович, посидим,— сказал Табеев отходя и через плечо уже добавил: — У торгового работника всегда есть возможность посидеть...

Из подъезда вновь выбрался Дорфман, с трудом удерживая мешок с обувью. Ему помогала Татьяна.

— Последний.— Дорфман перевел дыхание.— Это обувь? Это гири, а не обувь.

Уложив мешок, Дорфман отряхнул ладони и, обернувшись, заметил директора.



— Оказывается, мы не одни,— удивился он.

— Оказывается, в отделе вы самый крепкий,— в тон ему ответил Фиртич.

Дорфман тронул Фиртича за локоть.

— Хорошо, что мы с вами сейчас с глазу на глаз... Скажите, что слышно с новым оборудованием?

Фиртичу нравился этот пухлый живой человек с печальными глазами. Сейчас у Дорфмана был весьма таинственный вид.

— Послушайте, если все упирается в начальника управления... Я могу поговорить. Мы старые знакомые, работали вместе, были не разлей вода. Я об этом никому не говорю, люди могут всякое подумать. Но если надо для дела, я поговорю с ним.— Дорфман терпеливо смотрел на улыбающегося Фиртича и ждал.— Ради себя я бы не просил, боже упаси! А ради серьезного дела... Язык мой не отвалится, уверяю вас...

Пристукивая каблучками о ступени, Рудина сбегала к машине, держа в руках последние коробки. Передала их Татьяне и, не скрывая раздражения, окинула взглядом директора и продавца: не относится ли к ней лично их разговор? и о чем они могут говорить?

— Константин Петрович поедет с нами? — спросила она.

Фиртич отрицательно покачал головой и направился к уже поджидавшему его начальнику управления.

— Не смогу я сегодня заехать к вам в Универмаг. Устал. И люди мои разошлись. Сколько сейчас? — Барамзин выбросил в сторону руку, освобождая часы.— Без пяти семь.— И повторил удивленно: — Без пяти семь, это ж надо! Давайте завтра, Константин Петрович? Часиков в двенадцать. А то я половину ночи провел на базе, авария стряслась.

Барамзин подхватил Фиртича под руку и не спеша повел вдоль улицы.

Вечерний воздух был влажен, с южных холмов сползал теплый ветерок, робкий, точно родственник из провинции, просящийся на постой. Барамзин предложил идти проходными дворами.

— Тут есть восхитительные закуточки,— говорил он.— Почти вся моя жизнь прошла в них...

Фиртича не особенно трогали сентиментальные воспоминания начальника управления, но льстило, что Барамзин говорит с ним подобным образом.

За одним двором следовал второй, за вторым третий. В конце концов они вышли к новому зданию, облицованному светлой плиткой.

— А вы живете в старом доме? — спросил Барамзин.

— В старом. Ни на какой новый не променяю. У меня аллергия на стандартные коробки, чихать начинаю.

Барамзин улыбнулся.

— Звонят мне из Ташкента, предлагают городу фрукты. А взамен просят женские платья. Нашел им пятнадцать тысяч, заехал на базу, посмотрел. Сами по себе платья ничего. Но когда вместе одного фасона и одной расцветки...

— Надеюсь, покупатели не соберутся разом,— пошутил Фиртич.

— Все равно. Замечено: многие энергичные люди и в выборе одежды независимы. А максимум их энергии совпадает с нестандартностью наряда. И, наоборот, сникают, когда становятся похожими на окружающих. Хорошо одетый человек уверен в себе...

— Хорошо одеться можно и в хороший стандарт,— вставил Фиртич.

— Стандарт не может быть хорошим, он может быть добротным. Но в повторяемости уже заложена ущербность. Неспроста у вас аллергия от стандарта.

«Какого черта он тащит меня с собой?» — шевельнулось беспокойство в груди Фиртича. А интуиция его редко подводила.

— А лучшие мировые фирмы? Сотня экземпляров — это максимум, — продолжал Барамзин. — Конечно, есть у них и поток. Но не поток определяет лицо фирмы. Поэтому модельер — главный человек, на вес золота. А мы подчас не ценим, что имеем. Возьмите дамские сапоги. Или шапку боярскую... Модель наша, а мода пришла из-за границы...

Барамзин внезапно остановился и повернулся к Фиртичу.

— Вы ничего не хотите мне сказать, Константин Петрович?

Фиртич вскинул взгляд. Он выжидательно молчал, понимая, что молчание его граничит с неприличием.

— Я получил письмо, Константин Петрович. Неприятного содержания... Поверьте, мне очень хочется, чтобы все оказалось неправдой.

— Не интригуйте. Дурные вести надо излагать сразу.

— Если хочешь сделать человеку больно, — буркнул Барамзин. — Какая-то чушь в письме. Дескать, прошлогодние успехи Универмага — сплошная липа, подтасовка... Сами понимаете, что из этого следует... Как мне отнестись к этому, Константин Петрович?

— Выкиньте в мусорный ящик. — Фиртич помолчал и добавил резко и твердо: — В мусорный ящик!

«Кто?! — Фиртич вышел к площади. — Кто же, кто? Лисовский? Вряд ли. Он человек самостоятельный, но дисциплинированный. Бухгалтер до мозга костей. Лисовский не станет что-то предпринимать без ведома директора. К тому же кто как не он больше всех в ответе. Сазонов? Или сестра Сазонова? Барамзину, видимо, не очень хочется раскручивать эту историю. Если факт подтвердится, то это прежде всего ударит по престижу управления, скандал на все министерство. Но Барамзин вернется к этому делу, вернется. Хотя бы для себя. Напустит контрольно-ревизионное управление. Там специалисты сидят крепкие, докопаются...»

Фиртич понимал, что ведет рискованную игру. Но иного пути не было. Иначе не видать ему пакета заказов на размещение нового оборудования для «Олимпа», как своих ушей без зеркала...

## 11

— В любви надо учиться многого не замечать, — говорил Платон Иванович Сорокин негромко и чуть заикаясь. — А с годами еще больше, так как права твои уменьшаются.

Сергея Блинов, подперев кулаками щеки, исподлобья глядел в дальний угол бара.

Платоша помолчал, постукивая костяным пальцем по краю хрустального бокала. Прозрачный звон набирал силу, прорываясь сквозь уютную тихую музыку. Платоша убрал палец, вслушиваясь и думая о чем-то своем, не имеющем отношения к тому, ради чего они встретились.

— Я одинокий человек, Сергей Алексеевич. Деньги избавляют от многого, но не от одиночества... Где ваши родители? Живы?

— Мать у меня одна. В Рязани, у сестры. — Блинов придвинул рюмку и взял в руки бутылку с коньяком. Откровенничать со стариком не было настроения, хотя он считал себя неплохим сыном. Да, сначала Сергей не ладил с матерью. Но в последние годы их отношения наладились...

Платоша поглядывал на хмурого Сергея красными глазами.

— Берегите мать, Сергей Алексеевич. Единственная ценность. Даже родные дети не то. Дети — это безвозвратная душевная ссуда...

Терпение Блинова лопнуло. Напрасно, что ли, он просил Светку Бельскую свести его с Платоном Ивановичем! Он верил, что старик найдет выход из тупика, в котором оказалась Вторая обувная фабрика. Не за так, конечно. Плата по соглашению. И наличными... Серега прикрыл пальцами дряблую ладошку старика Сорокина.

— Ближе к делу, эксперт.

Платоша шумно втянул воздух пергаментным носом. Выдохнул.

— Что вам сказать, Сергей Алексеевич! Три дня я знакомился с делами на фабрике. Удивляюсь, как вы до сих пор на воле.

— Платон Иванович,— надул губы Блинов,— я просил совета, надеясь на ваш богатый опыт.

Платоша закатил глаза под мятые веки.

— Так вот, Сергей Алексеевич, вам надо привести в порядок картотеку. Но не просто раскидав вашу ужасную продукцию по магазинам, где она будет лежать годами. Вам нужен солидный потребитель.

— Какая разница! — Серега прикидывался простачком, пробуя старика «на зуб». — Главное, реализовать товар.

— Формально — да. Но я повторяю: это грубая работа. — Платоша придвинул к себе чашечку с кофе. — Вам нужен солидный потребитель. Любое дело требует солидности. Суэта и цыганщина — верный путь в коммунальный барак с решетками на окнах, уверяю вас. И — это факт! — я редко встречал там солидных людей. В основном шушера, мелкота, подхватчики. Солидный человек имеет способ избежать тюремной баланды. Связи. Вес. Профессиональный авторитет. А какой авторитет у поставщика сельской ярмарки?

Старик тщательно промокнул губы, сложив салфетку углом.

— В глазах торговой инспекции, КРУ и прочих воспитателей вы должны иметь товарный вид. А путь один: солидный потребитель.

— «Олимп», — усмехнулся Блинов.

— Да, — подхватил Платоша. — «Олимп!» Он может прикрыть ваше рублище блеском конногвардейских регалий.

— «Олимп» нас не жалует. Взашей гонит, — тоскливо проговорил Блинов. — Иногда прорываемся, мы ведь тоже не сплошную туфту выпускаем, есть кое-что.

Сорокин презрительно фыркнул, продолжая излагать свой план. Даже в своем преклонном возрасте он мог бы руководить серьезной отраслью. Мог бы принести несомненную пользу. Хотя бы как консультант. Так нет, отношение специалистов к его прошлым прегрешениям мешало им снизойти до делового подхода к способностям Платона Ивановича Сорокина. Чем и воспользовался Сергей Алексеевич Блинов, открыв в жизнелюбивом старичке источник смелых идей...

— «Олимп!» Только «Олимп!» — воскликнул Платоша. — «Олимп» придаст вам деловую респектабельность. И, кроме того, «Олимп» — стальное чрево. Он переваривает все. Человек, попадая в «Олимп», покупает то, что отвергал в любом другом магазине... Вам надо прочно взобраться на «Олимп», в противном случае не оберетесь бед. А как взобраться? Это вопрос серьезный. Но я вам помогу. У меня есть план.

Платон Сорокин взял с соседнего пустующего пня папку, достал из нее несколько листов бумаги, протянул Блинову.

Ключник Степан Лукич и вахтер, лысый мужчина с орденскими планками на пиджаке, играли в шашки. Напарница вахтера, тетка в гимнастерке, стояла у титана и наполняла стакан кипятком. Она кивнула вошедшему Леону и сдвинула стакан, уступая корявый поддон.

Леон поблагодарил и подставил чашку под кран.

— За фука беру! — оповестил Степан Лукич, снимая с доски шашку.

— Ах ты боже мой, проморгал! — сокрушался вахтер, щелкая пальцем по лысине. — Хромой-хромой, а зоркий...

Важные часы за стеклянной дверцей лениво показывали половину одиннадцатого. Серый тощий кот дремал на стуле возле титана. В мятой алюминиевой кастрюле топорщил иглы кактус. Рядом на подоконнике лежали надорванная пачка сахара и бублик...

Женщина извлекла из тумбочки маленький заварной чайник и потянулась к водопроводчику.

— Ты какой же нации будешь, Леон?

— Русский.

— Чернявый что-то. Видать, от турков у тебя в крови примесь.

— Тебе-то что, старая? — прогундел лысый, не сводя глаз с доски. — Тот раз я негра в Универмаге видел. До чего черный, прямо тень своя, ей-богу.

— Кого только не встретишь в Универмаге, — согласился ключник. — Лет десять назад иду по Средней линии. Гляжу! Батюшки! Мужчина шагает. С хвостом.

В комнате стало тихо. Женщина устала на ключника недоуменный взгляд. Вахтер перестал барабанить себя по лысине и поднял глаза.

— За фука беру! — оповестил ключник и смахнул с доски еще одну шашку.

— Де?! — заорал вахтер. — Ну ты даешь! Специально байки дурацкие пускаешь, чтобы я зевнул, да?

Они перебранивались легко, без обиды.

Леон прихлебывал огненный чай, вперив бездумный взгляд в стену...

Рассчитывал устроиться в Универмаг, дела поправить. А все по мелочам. Что-то купил, кому-то продал. Несерьезно. Понятно, сразу все тайны не постичь, выдержка нужна. Люди годами опыта набираются, а тут несколько месяцев... Другие хотя бы женятся удачно. А ему, Леону, не везет. Все на поверку такие же, как и он сам. Пузыри!..

— Не женат еще, Леон? — любопытствовала со скуки женщина. — Кольца что-то не видать.

— А на кой ему жениться? — встрял ключник. — Погуливает себе и погуливает.

Леон усмехнулся.

— Ну дед! И Универмаг закрываешь и все вокруг примечаешь.

— А что? — ершисто ответил старик. — Глаза есть, вот и гляжу. А Универмаг я уже сорок лет закрываю и открываю.

— А я Универмаг сорок лет охраняю, — встрепенулся вахтер.

— Поцелуемся, что ли! — воскликнул ключник.

— Соленый я, пропотел тут с тобой, — смутился вахтер.

— Узнали друг дружку. А то все фука да фука, — пропела женщина. — Говорят, завтра дефицит выбросят. Дубленки.

— Не, — отозвался ключник. — Дубленки под пломбами, на экстренный случай держут. Шапки пойдут ондатряные. По сотне...

Он хотел еще что-то добавить, но дверной звонок оборвал его на полуслове. Все трое взглянули на часы. Инкассаторы, что ли? Вроде рано, те ближе к одиннадцати приезжают...

— Пойду гляну, — проговорила женщина. — Может, пьяный забрел, балуется. — И одернула для строгости гимнастерку.

Вскоре вернулась и кивнула Леону:

— Тебя требуют.

Ключник укоризненно покачал головой. Видать, совсем сдулся парень со своим бабьем, нашел куда приглашать.

— Да мужик пришел, мужик,— осадил его женщина.— Сплетник ты, Лукнич, все тебе нейметса!

Старики стали ладить скандал, а Леон вышел в тамбур.

Сквозь узкую смотровую щель он узнал своего давнего знакомого Серегу Блинова. Сердце Леона упало: пришел долг требовать. Брал у него Леон под проценты, за десять годовых. Немного и взял, всего тыщонку, да отдать духу не хватило, а главное, с деньгами туговато...

Без особого усердия Леон стал возиться с засовами двери, стараясь придумать отговорку. Но так и не придумал...

— Я не за долгом,— упредил разговор Блинов, едва в проеме двери показалась унылая физиономия водопроводчика.— Дело есть.

Леон повеселел.

Серега Блинов, не вынимая из карманов рук, кивнул, предлагая отойти в сторону от дежурки. Рыжая лисья шапка делала Блинова еще крупнее и представительнее.

— Послушай, Дребезжала,— обратился Блинов к приятелю, вспомнив стародавнюю кличку.— Могу скостить тебе процент. А может, и целиком прощу...

Всем своим видом Леон демонстрировал предельное внимание.

— Надо познакомить одного человека с заведующей обувным отделом.

— Сколько угодно,— не задумываясь согласился Леон.

Блинов оглядел плоскую веселую рожу приятеля и вздохнул. Вот до чего он, Сергей Алексеевич Блинов, дожил: прибегать к помощи подобного типа!

Блинов предлагал Платону Ивановичу впрямую выходить на Рудину. Явиться в отдел, поговорить, заинтересовать. Но Платоша категорически отказался: ох уж эти современные деловые люди, уверовавшие в свою безнаказанность! К тому же Платоша настаивал, чтобы имя Блинова нигде не значилось. Он все брал на себя. Блинова это устраивало. Единственная просьба: найти достойного человека, который свед бы старика с Рудиной...

Серега Блинов еще раз оглядел вертлявую фигуру своего должника и поморщился.

— Обо мне Рудина не должна знать. Меня нет! Существует только тот человек... И вообще наш с тобой разговор умер. Понял? Стоят эти условия десяти годовых?

Леон сплюнул сквозь зубы в знак того, что стоят.

— Понимаешь,— проговорил водопроводчик,— давно обещал Стелле сменить смеситель в ванной. А импортных что-то нет... Вот и познакомил бы их прямо у нее дома.

— Смеситель будет,— коротко заключил Блинов и, оговорив детали, ушел, так и не вытащив рук из карманов.

### 13

Свой выходной — четверг — Стелла Георгиевна Рудина обычно ощущала глубоко и полно. Накапливались домашние дела, а передоверить их было некому. Муж, геолог, большую часть года проводил в экспедициях, детьми не обзавелись. Так что Рудина, в сущности, жила одна в просторной двухкомнатной квартире.

Выходной начинался с телефонных звонков. Вот и сегодня подряд три. Два из дома: в исполком по поводу гаража и в косметический кабинет; один — сюда... Звонок раздался сразу, как только Рудина положила трубку.

— Доброе утро. Это я, Леон. Слесарь-водопроводчик... Я смеситель достал. Могу поставить.

Рудина вспомнила. Она просила сменить кран в ванной комнате. Водопроводчик вызвался помочь, предварительно выцыганив пару

итальянских сапог... Но сегодня визит водопроводчика был некстати. Однако тот настаивал, ссылаясь на то, что в нерабочее время он не сможет — много дел.

Назойливость водопроводчика начала раздражать Рудину. И тон у этого Леона был грубовато-любезный... Рудина положила трубку, переставила аппарат на тумбочку, откинула одеяло и спустила ноги с кровати. Посидела точно перед стартом.

Мысли сами собой вернулись к Фиртичу, словно утро явилось прямым продолжением вчерашнего вечера.

Не складывалось у нее с новым директором. Внешне все выглядело нормально, но чуяла Стелла Георгиевна: на прицеле держит ее Фиртич.

Как Фиртич придирался к ней, когда пришел в Универмаг! Уволить хотел, да зацепки не было: Рудина работать умела. А найти подходящего человека на ее должность непросто.

«Черт бы его взял! — подумала Рудина.— Так спокойно было со старым директором. Знали, чем угодить. И угождали. Кто как мог... Верно говорят: бойтесь перемен, перемены всегда к худшему!»

Рудина помнила, как это начиналось.

Поведение нового директора озадачило многих.

Фиртич вызвал ее в кабинет и заявил, что вся практика, введенная старым директором, должна уйти вместе с ним.

Потом издал приказ об увольнении деляги Спиридонова, заведующего отделом хозяйственных товаров. И еще трех отпетых жуликов. Дело передал в суд.

Стелла Георгиевна Рудина почуяла в воздухе грозу.

В торговом деле потерять покровительство директора все равно что выйти в ливень без зонта и надеяться остаться сухим.

Рудина перерубила все канаты, разорвала компрометирующие отношения. Нагнала страху на верных своих помощниц из секции женской обуви. Те разбежались по другим магазинам. Хотела и сама уйти, но, поразмыслив, передумала. Все еще может пойти по-старому. И первые два года не уходила даже в отпуск. Набрала новых девушек, перевела из мужской секции опытных продавцов, в том числе и Дорфмана. И затихла.

С тех пор прошло без малого пять лет...

Звонок телефона вновь нарушил стоялую тишину квартиры. Рудина подняла трубку.

— Я пришел,— произнес уже знакомый голос водопроводчика.— Загораю у вашего дома. Могу подняться.

— Леон! Я только проснулась. И у меня свои планы.— Рудина не скрывала раздражения.— Ваша услуга как снег на голову.

— Человек уже пришел. Смеситель принес. Перламутровый. Такой не залежится. Всей работы на пару минут. Чего тянуть?

«Действительно, чего тянуть?» — подумала Рудина и согласилась.

— Ладно. Поднимайтесь. Только через полчаса.

Она пересела к зеркалу.

Утреннее солнышко играло на латунных и стеклянных крышках многочисленных флаконов и баночек. Лосьоны, кремы, мази... Сколько лет не знало воды ее лицо. Состав, изобретенный косметичкой Вайлей, постоянной клиенткой Универмага, придавал коже бархатистость...

Рудина преображалась на глазах. Опадала сонная припухлость под глазами, вялый лоб натягивался, распрямлялись морщины. Только с шеей не справиться. Никакие втирания не помогали. И подбородок тяжелеет. Поэтому привычка откидывать голову назад придавала облику высокомерный вид...

Руки гладили и шлепали лицо, а мысли возвращались к Фиртичу. Или, как она определила для себя, «загадке Ка-Пе-Эф»...

Почему Фиртич простил главного администратора? А может быть, это не навет, может быть, Каланча кое-что пронюхал и выдал по пьянке?

Ватный тампон замер в тонких пальцах Рудиной, застигнутой неожиданной догадкой.

Зачем же с ней Фиртич играет в благородство? Если он решил избавиться от нее, тогда понятно: не желает дать козырь против себя. Именно так! Все становилось на свои места... Нет, не на ту напали, Константин Петрович...

Тренькнул дверной звонок. Рудина чертыхнулась. Господи, пришло же этого услужливого болвана с дурацким смесителем! И прошло-то минут пятнадцать.

Сорвала со спинки стула брючный костюм. Вышла из комнаты.

— Послушай! — крикнула она в дверь. — Ты очень торопишься!

За дверью что-то невнятно проговорили...

Рудина влезла в брюки, натянула шерстяной свитер. Откинула с лица рыжие волосы, провела по ним щеткой. Что-то поправила в уголках губ, глядя в стенное зеркало... Сняла цепочку, повернула ручку замка, поддала коленом дверь.

На скупо освещенной площадке стоял улыбающийся водопроводчик Леон. За ним высился худой старик со шляпой в руках. Его худое энергичное лицо излучало светскую учтивость.

— Я не один. — Леон повел головой. — Я с приятелем.

Старик шагнул в сторону и вежливо поклонился.

#### 14

К тому времени как Платон Иванович Сорокин явился с визитом к заведующей обувным отделом, директор Универмага Константин Петрович Фиртич успел закончить малую диспетчерскую по складам и вспомогательным помещениям, проанализировал работу филиалов за вчерашний день, подписал несколько приказов по отделу кадров и теперь стоял у окна в ожидании главного бухгалтера.

В провале двора он видел, как зеленый, похожий на гусеницу трайлер, неуклюже маневрируя, подбирался к транспортеру. Несколько электрокаров сновало по двору, разгружая грузовики. Тесновато во дворе. Бывали дни, когда «Олимп» принимал и отправлял до двухсот большегрузных машин...

Фиртич через плечо бросил взгляд на Индурского. Коммерческий директор сидел, сложив руки на животе. Словно упаковал себя в черную кожу старого кресла.

— Сколько стоят эти фотоаппараты?

— Продавали за четыреста тридцать. Но другой артикул.

— В чем же разница? — помедлив, спросил Фиртич.

— В отделе разницу не видят, а люди там опытные. Возможно, оптика иначе просветлена.

Фиртич вернулся к столу, наклонился к селектору и попросил секретаря связать его с Ленинградским оптико-механическим объединением. Затем достал из холодильника бутылку с соком, картонный стаканчик, жестом предложил Индурскому. Тот отказался.

— Вчера я чуть с крыши не упал, — меланхолично объявил Индурский. — Полез снег сбрасывать на даче. И свалился. Хорошо зацепился за выступ... Ору, думал, вот-вот сорвусь. А они хохочут.

— Кто?

— Племянник с женой. И сосед из-за забора выглядывает.

Фиртич еще раз взглянул на озадаченное лицо коммерческого директора и засмеялся. Индурский обидчиво вытянул толстые губы.

— Извините. — Фиртич пытался сдержать смех. — В торговле пасть с крыш неблагоприятно. С санаториями трудно.

— А что легко в торговле? Такой доход приносим, а все пасынки.

— Не прибедняйтесь, Николай Филимонович. Любую путевку вам на блюдечке принесут, захотите только.

Индурский развел руками и качнул вперед рыхлое тело. Круглые птичьи глаза в гневе сошлись на переносице.

— А я желаю по-честному! Мне надоел блат. Так нет, сами толкают... Был я в санатории одной электронной фирмы. Только что унитазы теплой водой не промывают.

— Группа «А» и группа «Б». Основа! Знакомы с экономикой? То-то... А мы с вами...

Дверь приоткрылась, и показалась голова секретаря.

— Звонят из исполкома.

— Меня нет! — резко ответил Фиртич.

— А кто? — спросил Индурский.

— Не назвался.

— Тогда и меня нет. Те любят называться.

Секретарь захлопнула дверь.

— Черт бы взял эти ондатровые шапки, весь день будут звонить.— Индурский вновь сложил руки на животе.— Когда наметите продавать дубленки, предупредите. Я отпуск возьму. За свой счет.

Фиртич улыбнулся, допил сок, смял стаканчик и положил в бронзовую пепельницу. Скольких директоров перевидала старинная пепельница! Она была такой же достопримечательностью кабинета, как и тусклые, точно ослепшие от времени стенные зеркала, в которых сейчас мутно отразилась громоздкая фигура главного бухгалтера.

Фиртич обернулся к двери, но не успел поздороваться — его отвлек частый телефонный звонок междугородной связи. Он поднял трубку и заговорил, вольно присев на подлокотник дивана.

Лисовский опустил в кресло напротив коммерческого директора.

— Прибыла партия фотоаппаратов из Ленинграда, а сопроводительного счета нет,— пояснил Индурский, кивая в сторону директора.— И артикул незнакомый, привязаться не к чему. А новый счет неделю будет ползти, не меньше.

Лисовский насупленно молчал. Индурский заерзал, он недолюбливал главбуха, который нередко остужал энергию коммерческого, удерживая от авантюры.

— Значит, так.— Фиртич оставил трубку.— Цена аппарата сорок семьдесят рублей. Счет они дошлют.

Он придвинул бумаги и наложил резолюцию, разрешающую продавать аппараты. Тем самым Фиртич брал на себя всю ответственность. Случись сейчас ревизия, ему несдобровать; товар, принятый без счета, продавать нельзя... А главный бухгалтер, тот же ревизор, сидит, точно ничего не слышит.

— Безобразие,— вздохнул Индурский.— Почему непременно мы должны нарушать закон...

— Бросьте, Индурский,— язвительно перебил Фиртич.— Вам ли сокрушаться о таких пустяках?

— Да,— тихо молвил Индурский.— Верно. Я каждый раз прыгаю через себя. И все к этому привыкли. Но никто не спросит при этом, как я себя чувствую.— Он спрятал бумагу с резолюцией в карман.

Фиртич переждал, когда коммерческий оставит кабинет.

— Я обещал ресторану «Созвездие» триста метров голубой шерсти. Приходил Антонян, жаловался, что вы не подписываете требование.

Лисовский молчал, погруженный в свои мысли. Наконец склонил голову на плечо и произнес:

— Универмаг не продает по безналичному. Необходимо разрешение управления. Я думал, вы согласовали. Оказывается, нет.

Фиртич нахмурился. Он не хотел конфликтовать с Лисовским. Ди-



ректор может конфликтовать со всем миром, но не со своим главным бухгалтером. Остаться без фонаря в ночном лесу...

— Вам недостаточно моего указания? — сдерживаясь, промолвил Фиртич.

— Недостаточно.— Лисовский умолк. Перехватило дыхание. Результат сахарного диабета, коварной болезни. Но он знал, что сейчас пройдет, должно пройти. Справившись с дыханием, он проговорил: — Много берете на себя, Константин Петрович.

Фиртич оперся спиной о зеркало, сложил на груди руки. Он молча смотрел на Лисовского. Гнева не было. Душа ощущала умиротворение и покой, словно Лисовский имел кого-то другого в виду, а не его.

— Верно, Михаил Януарьевич. Много. К примеру, я ненавижу казенные нелепые инструкции. Этот щит и меч бюрократов... Я директор крупного Универмага. Почему не доверяют мне? Контролируют каждый шаг! Почему я не могу продать по своему усмотрению три сотни метров шерсти? В каждом видят жулика! И когда закончится эта вакханалия всеобщего подозрения?

— Фу-ты ну-ты... И подозревать больше некого, и жуликов нет.— Лисовский с интересом смотрел на директора.

— Вот что я вам скажу, Михаил Януарьевич. Убежден, что в «Олимпе» всерьез подозревать пока некого. Всерьез! — Фиртич переждал и добавил: — Только, пожалуйста, меня. Что, кстати, вы и делаете. Усердно.

Лисовский закашлялся. Лицо его стало красным, жарким. Он шумно втягивал в себя воздух... Успокоился. Достал платок, вытер глаза.

— Я главный бухгалтер. Тридцать восемь лет я подчиняюсь инструкциям. Благодаря им еще существует какой-то порядок. Беда лишь в том, что каждый их толкует по-своему. Как и вообще законы... Вам не надо было бы рисковать, если бы те, в Ленинграде, соблаговолили sobлюдности инструкции: приложить счет к товару.

После короткой борьбы с подлокотниками Лисовский наконец вытащил себя из кресла. Выпрямился, глядя мимо Фиртича.

— Больше у вас нет ко мне ничего?

— Есть,— с нажимом ответил Фиртич.— В управлении известно о липовом отчете, что представила бухгалтерия за прошлый год.

— Ну?! — Лисовский соизволил перевести взгляд на директора.— Достоверные источники?

— Вполне. Барамзин. Он получил письмо.— Фиртич был серьезен. Главный бухгалтер вяло усмехнулся.

— Что же вы ответили начальнику управления?

— Что все это клевета,— жестко проговорил Фиртич.

— Ввели в заблуждение управляющего? — Лисовский развел плечи.

— Да, мне это сейчас нужно.

— Ложь во спасение.

— Как угодно.— И, не удержавшись, Фиртич добавил: — Это вам не подпись в фактуре на триста метров шерсти по перечислению.

— Никак мне, дураку, не удается уловить грань между деловым расчетом и авантюрой.— Лисовский дернул щекой, сделал несколько шагов, остановился перед помрачневшим директором.— Знаете, Фиртич, мне кажется, что вы плохо кончите... Но я не писал этого письма. Меня из списка вычеркните!

Кабинет Сазонова находился на втором этаже Универмага, в центральной части Главной линии.

Фиртич не стал дожидаться лифта и поспешил вниз по мраморным шербатым ступеням. На лестничной площадке какие-то люди перекладывали свертки из сумки в портфель. Владелец портфеля пугливо озирался. А хозяйка сумки была сосредоточена и печальна: ей не хоте-

лось расставаться со свертками. Явная спекулянтка... Универмаг содержал шестнадцать милиционеров, выплачивал им зарплату. Фиртич вновь вспомнил Лисовского. Тот недавно сделал представление о сокращении вдвое штата милиционеров: деньги нужны Универмагу на собственные нужды. А содержать за свой счет целое подразделение сотрудников Управления внутренних дел — роскошь, непозволительная даже для «Олимпа»...

С площадки второго этажа Фиртич шагнул в боковой коридор, куда выходила дверь гладильни. Остановился. Давно он сюда не заглядывал...

— Девочки! Директор! — выкрикнул высокий женский голос.

Разом обернулись несколько «девочек», младшей из которых было не менее пятидесяти.

Яркие лампы прожекторно освещали просторное помещение. Черные угрюмые утюги на суконных столах выдыхали пар. В проходе дождалось разгрузки несколько тележек с пальто. Вдоль стен висели костюмы, платья. Сплошняком, в несколько рядов, точно окорока в коптильне...

— Жалуются на вас, девочки... — улыбнулся Фиртич, но не договорил.

— Жалобщиков много! — перебил его все тот же высокий женский голос. — Сюда бы их, водой подышать.

Женщины оставили утюги и сбились вокруг Фиртича. Только одна продолжала сидеть на месте, грызя яблоко...

— Что это вы к нам, Константин Петрович? — храбро бросилась в разговор старушка с хитрющими глазами.

— Соскучился. Думаю, дай зайду, проведаю. Как вы здесь?

— Жить можно, — доверительно сообщила старушка. — Водой дышим.

Все засмеялись.

— У нас Никитична как рыба...

— Как мокрица, — поправила та, с яблоком.

— Ладно те, Клавка. Вот характер нудный, — оборвали ее. — Все ей не нравится, химчистке!

— А вам нравится! — окрысилась женщина. — Хотели жалиться директору? Вот он, жальтесь. А то все хорошо вам, жить можно!

Вскоре Фиртич узнал, что гладильщицы в прошлом месяце обслуживали ярмарку на Зеленом острове. По восемнадцать часов в сутки гладили, развешивали, подносили. Обещали им заплатить — не заплатили.

— А знаете, германские или румынские костюмы приходят мяты-перематы. Точно из-под катка... Много пара дашь — плохо, мало — не берет. Вот и мучаешься, как слепая. Силы-то не те. И молодым не поднять. Да и где их взять, молодых-то? Бегут. Неинтересно им утюгом махать. Старухи и работают, на одну пенсию далеко не уедешь.

Минут пять он выслушивал претензии гладильщиц. И вешалов не хватает. И вентиляция не тянет, механики никак наладить не могут. И утюги старые, тяжелые. На той неделе случилось у одной короткое замыкание, искры капрон прожгли, а платить кто будет? Двойной зарплаты не хватит. Акт составили, а толку? Слышали, где-то есть такие манекены: натянешь костюм, нажмешь кнопку — его паром и распрямляет, гладить не надо...

— А у вас какие претензии? — Фиртич взглянул поверх голов на сидящую в стороне Клавку-«химчистку».

Та продолжала молча жевать яблоко, отрешенно глядя в окно.

— Ну ее, Константин Петрович... Порог бабий к ней подступил, вот и злится, халда!

Женщины прыснули.

— Да ладно вам, тетки! — строго осадил какая-то толстуха расшалившихся подруг.— Директора-то хоть постыдитесь.

— У вас тут вроде гражданской войны,— как можно мягче проговорил Фиртич.

Слова его взбудоражили толпу. Точно солью в пламя... Особенно яро злословила Никитична.

— Ты тоже хотела жалиться директору. Вот оно, начальство-то. Самое что ни есть высокое. Молчишь? Боишься! Выбросим твой бензин на лестницу, дыши там одна! А нам тут и воды хватает...

Женщина оставила яблоко, проворно соскочила с высокого табурета и ухватила ручку тележки, на которой кучей были свалены костюмы, платья, белье, платки...

— Никого я не боюсь! За такую зарплату я себе всегда работу найду,— приговаривала она.— Глядите! Это только за вчерашний день! — Она подобрала первый попавшийся пиджак. Кофейного цвета, с красивыми металлическими пуговицами, не из дешевых.— Вот! Вот!

Фиртич увидел обеденные мелом масляные пятна.

— А я чисть! У меня уже порошка не хватает. Бригадир кричит, что я химикаты домой таскаю, не напасешься, дескать. Конечно, раньше за год столько не приносили, сколько сейчас за день... Или вот, пожалуйста! — Женщина оставила пиджак и выхватила из кучи серое шерстяное платье, на рукаве которого четко отпечатался жирный след ладони.— Разве его очистишь?!

— И чем вы это все объясняете?

— Чем-чем... А тем! Разрешили продавать пирожки на этажах, этим и объясняем. Говорят, приказ директора... С улицы они хоть друг об дружку руки вытирали. А тут... Сколько директоров видела, никто не разрешал в Универмаге продавать пирожки... Значит, кому-то выгодно!

Женщины обомлели. Не ожидали они от Клавки такой прыти.

В последнее время к Фиртичу несколько раз обращались озабоченные сотрудники. Особенно негодовал Антонян. Однако ворох дорогой одежды, подлежащей уценке, произвел на директора впечатление.

— Я распоряжусь запретить торговлю пирожками у секций самообслуживания...

Фиртич вышел из гладильни, миновал коридор и по запасной лестнице спустился в торговый зал Северной линии.

Главный администратор Универмага Павел Павлович Сазонов заметил директора на экране телевизора, когда проводил инспекторский обзор третьего этажа. Среди одетых по-зимнему покупателей человек в костюме бросился в глаза...

Поначалу Сазонов наблюдал за одной дамочкой, не в первый раз привлекающей внимание главного администратора. Распущенные черные волосы придавали ей сходство с какой-то известной киноактрисой. Дорогое фирменное полупальто, брюки и большая сумка через плечо. Сазонов обратил внимание на ее бегающие глаза, когда проходил по залу полчаса назад. Потом он заметил ее на телеэкране внутренней службы. И продолжал бы следить за ней, если б не мелькнула вдруг фигура директора... «Интересно, куда он направляется?» — подумал Сазонов и переключил камеру на крупный план...

С тех пор как Универмаг оснастили телевизионными камерами, Сазонов многое для себя открыл. Например, он обратил внимание, что лица людей в жизни и на экране совершенно разные. И не только потому, что телеглаз застает человека врасплох. Контрастное сочетание черного с белым проявляет, делает рельефнее не одни лишь черты лица, но и мысли... И сейчас, рассматривая лицо директора — тщательно выбритые щеки, лоб, несколько сдавленный с висков, рубец

на щеке, — Сазонов видел честолюбца, одержимого страстями, знающего себе цену. Он перешагнет через что угодно ради своих целей. И вместе с тем лицо Фиртича было наивным — другого слова Сазонов подобрать не мог, — по-детски наивным и добрым.

Неожиданно Фиртич поднял глаза, взглянул прямо в объектив телеглаза, улыбнулся и погрозил пальцем. Сазонов испугался. Он тронул ручку искателя — и камера двинулась с места. В следующее мгновение Сазонов пожалел об этом — тем самым он как бы признал, что действительно следил за директором. «Каланча несчастный», — казнил себя Сазонов, продолжая ощупывать толпу.

Черноволосая гражданка уже втерлась в начало очереди, осаждающей секцию мужских головных уборов... Сегодня неожиданно, как снег на голову, поступили в продажу мужские ондатровые шапки. У прилавка была отчаянная давка. Два милиционера, молодые ребята, опустив руки, изумленно смотрели на энергичный первый эшелон...

Сазонов распорядился перевести двух продавцов из пустующей секции дамских шляп на подмогу. Поставить их в начале прилавка. Очередь разобьется на два рукава, освободит центральный коридор...

Затем позвонил в отдел готового платья и сообщил, что сдвинута перегородка у примерочных кабин. Можно легко улизнуть в коридор, не снимая облюбованного костюма. Подождал, пока сотрудники секции закрепят перегородку. Тут Сазонов вспомнил, что предупредил главную кассу о том, что в кассе номер пять обувной секции продолжительное время отсутствует кассир. Сазонов терпеть не мог эту толстуху Аматауни с ее «скромными» бриллиантами в ушах. И кассир платила ему тем же. Между ними шла тайная война. Несмотря на то, что Кира Александровна Аматауни считалась лучшей по бездефектному труду, членом бригады отличного обслуживания. И хлопот администрации не доставляла.

Большим психологом была Кира Александровна. Можно сказать, профессиональным. Тонким и наблюдательным. Она видела покупателя насквозь. Особый дар. Конечно, Аматауни не брезговала и традиционным методом: вручала покупателю вначале чек, потом мелкий обмен, потом рубли. В то время как инструкция строго наказывала: чек завершает расчет. Без чека покупатель не отойдет от кассы. А без сдачи после получения чека — сколько угодно. Но Аматауни не прятала «забытых» денег, выкладывала на видное место и не убирала до тех пор, пока покупатель не покинет секцию. И возвращала по первому же требованию с извинением, без скандала. Как правило, покупатель или не замечал уловки, или, уверенный в том, что правды не добиться, смирялся... Находились и мошенники, которые предъявляли претензии, не имея для этого основания. Кассиры на это реагировали по-разному. Кира Александровна не мелочилась, вручала требуемую сумму — и все, инцидент исчерпан. Себе дороже!

Кира Александровна владела и другими методами. Еще от родительницы своей научилась. В свалке за дефицитом она намечала жертву. По рукам и носам определяла. Психолог! Отсчитывала вслух сдачу за крупную покупку с крупной суммы. Десятками или четвертными. И с ловкостью факира просчитывала одну, а то и две бумажки в свою пользу. И риска никакого: ну просчиталась. Вернется покупатель — отдаст с улыбкой, с извинениями. Как правило, не возвращались... Все кассиры знали о методе Аматауни. Некоторых, особо близких, Кира пыталась обучить своему искусству, у нее было доброе сердце. И опыт: друзья — это выгоднее, чем враги. Но ученицы не могли освоить ее школы. Жалостливые больно были...

Догадывался главный администратор о методах ее работы, но вот попробуй уличить, схвати за руку, если она с точностью до копейки предвидела разницу между суммой на счетчике аппарата и суммой, осевшей в ящике кассы. Даже не пользуясь ключом, наличие кото-

рого у кассира считается проступком. Чувствовала! И вовремя снимала свой остаток...

Сазонов переключил камеру на первый этаж, в обувную секцию, и убедился, что касса номер пять все еще пуста. Наверное, сбежала добывать ондатровую шапку, переложив свои обязанности на Тамару из кассы номер шесть... Сделал пометку в блокноте и вернулся на третий этаж Северной линии.

Теперь у секции мужских головных уборов выстроились две очереди вместо одной — началась торговля с дополнительного места. Очереди переплелись сложной петлей, полностью запрудив коридор. Кажется, главный администратор допустил тут промашку, не учел обстоятельств. Но отменять приказ не стал: представить только, какую телегу на него покатит заведующий отделом Аксаков. И будет прав...

Сазонов вздохнул. Он решил убраться из этой сумасшедшей секции, подключиться к камерам Южной линии третьего этажа, как вдруг на экране вновь возникла черноволосая гражданка. Она приблизилась к месту выдачи покупок. Неужели с чеком? Когда же она успела? Вероятно, не одна работает...

Сазонов соединился с дежурным по опорному пункту порядка.

— Сержант, у вас есть свободные люди в штатском?

— Есть, Павел Павлович. Миронова цыганку только что привела.

— Пошлите ее в секцию мужских головных уборов. Гражданка лет тридцати, с сумкой через плечо, черные волосы распущенные, в фирменном пальто.

— Есть подозрения? — насторожился дежурный.

— Есть, сержант. Давно приметил. Проверьте.

А в кабинете уже переминались с ноги на ногу просители. Крепко сбитая женщина в куртке с капюшоном. Рядом спрятал за спину руки пожилой мужчина в распахнутом полушубке. Орденские колодки пластались на его груди.

— Он в морской пехоте воевал. Так это был божий рай в сравнении с тем, что делается у вас на третьем этаже. Чуть моего мужа не сбросили вниз из-за паршивой шапки.— Голос женщины, высокий, пронзительный, как-то не вязался с ее прочной фигурой.— Когда кончится это безобразие?

— Вам обязательно нужна ондатровая? — доброжелательно произнес Сазонов.— Почему бы не взять кроличью?

Мужчина смутился и вытянул из-за спины меховую шапку.

— Всю жизнь он носит кролика. Пусть погрееется в ондатровой,— не сбавляла напор женщина.— А деньги вы наши не жалеете. Самито ходите в чем? В пыжике небось.

Сазонов шагнул к шкафу и снял с крючка шапку.

— Кролик. И я очень доволен,— улыбнулся Сазонов.

— На работу,— не отступала женщина.— А дома небось...

— Дома я хожу без шапки,— пытался отшутиться Сазонов.

— Катя,— нахмурился мужчина.

— Да ладно! — отмахнулась она.— Знаем. Своих небось обеспечил. А кролика держит в шкафу для отвода. Шапка все-то и не его.

Сазонов провел ладонью по затылку и нахлобучил шапку.

— Его,— удовлетворенно произнес мужчина.

— Моя,— подтвердил Сазонов дымящейся от гнева гражданке.— И пальто мое. Не дубленка. Могу надеть — хотите?

Мужчина подхватил жену под руку.

— Пойдем, Катя. Ей-богу, стыдно просто.

— Помалкивай! — развернулась всем корпусом женщина.

Мужчина оставил руку жены, запахнул полушубок и направился к выходу.

— Правда что кролик! — крикнула ему в спину гражданка.— Поставить за себя не можешь! — И вышла следом.

Только сейчас Сазонов заметил в кабинете какое-то существо, завернутое вроде бы в ватное одеяло. На том месте, где ожидался воротник, лежала довольно приличная лиса, щеря фарфоровые зубки. Изрезанное морщинами лицо обладательницы странного пальто лучилось угодливой улыбкой. Пальцы теребили детскую варежку.

— Ну и люди же бывают,— мягко пропела она, покачивая головой.

— Что вам, бабушка? Тоже шапку ондатровую?

— На кой. Не потянуть. Платком покрылась — и готова.— Она поправила мордочку лисы.— Варежку потеряла. Правую.

— Что же я могу поделать?

— Как что? Ваш дом-то... Я без варежки пропаду. Правая ить.

— Ну, бабушка, вы и даете! — удивился Сазонов.— Столько народу.

— Это я понимаю,— согласилась старушка.

— Тут не только варежку, слона не найдешь.

— Это я понимаю,— кивнула старушка.

— Ну так вот,— вздохнул Сазонов.

— А что мне делать? Без правой-то варежки.

— Господи... Ну потеряйте вторую — и дело с концом! — Сазонов уныло смотрел на старушку. Такие тихие, мятые старушки — самый заклятый враг администрации. Всю душу вымотают...

— Ну,— подбадривала старушка,— ищи, стало быть.

— Где искать-то, где? — Сазонов нажал кнопку. Экран телевизора вспыхнул молочным светом, проявляя месиво покупателей.— Где искать ваши варежки?

— Только одну. Правую,— поправила старушка, вытягивая шею к телеэкрану.— Батюшки! Народу-то! Мильён! — Она нащупала стул и осторожно, бочком присела, не спуская глаз с экрана.— А может, отсюда приметим? Поди не игла... Подбавь-ка свету.

Сазонов повернулся спиной. Он решил продолжать работу. Пусть сидит, надоест — уйдет. Хотя определенно знал, что подобным старушкам быстро ничего на надоедает.

Бабка тяжело ворочалась в своем ватном одеяле.

— А ты мне платок продай,— вкрадчиво промолвила она.— На том и порешим. Вчера давали. Чуть меня не зашибли... Пуховый. С кистями.

— Ну давали. Для плана. Кончились.

— Ко-о-ончились... А ты достань. Потому как я страдаю от вашего Универмага.

Сазонов решительно повернулся к старухе в своем вертящемся кресле — и в дверях увидел директора.

Просительница, перехватив потяжелевший взгляд Сазонова, живо соскочила со стула и шагнула к Фиртичу, почуввав в легком одетом мужчине большое начальство. Она принялась торопливо пересказывать свою печальную историю и в заключение потребовала компенсацию: пуховый платок. Потому как очень любила эту варежку, без нее совсем пропадет.

— Приходите к закрытию,— решил Сазонов.— Найдется варежка — вернем. Народу будет поменьше, я по радио объявлю.

— Не найдется,— проговорил Фиртич, подавляя улыбку.

— Не найдется,— торопливо согласилась старушка.

— Не найдется,— повторил Фиртич.— Потому как в кармане она у вас.

— Де?! — Она испуганно сунула руку в карман, выдав себя с головой.

— Тащите, тащите! — Фиртич все еще сдерживал смех.

Старушка извлекла вторую варежку.

— От те на! Здрасьте! — поздоровалась она с варежкой.— Как же ты туда попала? — Ей было стыдно. И она не скрывала этого:

смотрела в сторону, шмыгала носом. Как школьница...— Платок мне нужен. Вот оно как,— бормотала она, бочком продвигаясь к двери.

— Минуточку, гражданка,— остановил ее Фиртич.

Старушка замерла. Короткие реснички моргали часто и жалостно. А губы — сухие, запавшие — что-то бормотали в оправдание.

Фиртич подошел к телефону и набрал номер.

— Антонян? Вы вчера торговали пуховыми платками. Что-нибудь осталось? Один, один... Спасибо, Юрий Аванесович.— Он положил трубку и повернулся к старушке.— Поднимитесь лифтом на пятый этаж. Скажите вахтеру, что директор направил...

— Батюшки,— обомлела старушка. Она представила, как расскажет эту историю завтра в очереди.

— Найдете заведующего отделом Антоняна. Запомнили?

— Ей-ей. Племян мой Антон,— закивала старушка, не веря своему счастью.— Учитель он.

— От директора, скажете.— Фиртич с сомнением оглядел балахон с лисой и вздохнул.— Ступайте.

Повторять не пришлось — старую сдуло как и не было. Лишь улыбка еще держалась какое-то время в кабинете главного администратора.

— Испортила настроение бабка,— проговорил Фиртич.— Вот в гладильне бабушки. Тигрицы! А такие,— он кивнул в сторону двери,— душу тревожат. И не виноват ни в чем перед ней, а такое чувство...— Фиртич помолчал.— Пытался пройти через третий этаж. Куча мала! Вместо одной очереди стало две. Все перемешалось.

Сазонов почувствовал, что краснеет. Он был убежден, что директор знает о его распоряжении разделить очередь... Вздохнув, с надеждой повернулся к экрану: может, уже уgomонились? Нет, все бурлит.

Внезапно его лицо напряглось. Он переключил изображение на крупный план... В круговерти торгового зала, раздвигая толпу, пробирался начальник управления торговли Барамзин. За ним гуськом, словно за ледоколом, спешили Полозов, Гарусов. И еще, и еще... Человек десять, не меньше.

Толпа сминала их строй, разрывала, закручивала... Вот Гарусова швырнули в сторону. И он, отчаянно работая локтями, пытался нагнать своих. Барамзин остановился перед каким-то здоровенным мужчиной, выбирая, где бы его обойти. Мужчина обернулся, что-то произнес. И, верно, грубое, судя по выражению его лица.

— Какой стыд,— шептал Сазонов,— какой стыд! Что они теперь подумают...— Он обернулся к директору.— Вы знали о визите, знали! И приказали продавать эти проклятые шапки.— Голос его дрожал.

Фиртич поднялся с места. Взял Сазонова под руку.

— Это вы распорядились сделать две очереди?

Сазонов лизнул пересохшие губы и уныло кивнул.

— Вы молодец, Павел! Я рассчитывал на эффект. Но такого не ожидал.— Улыбка сияла на крепком лице Фиртича.— Надо было сделать три очереди, Павел. Десять! Чтобы они лезли по головам, по стенам. Чтобы им обрывали пуговицы и оттаптывали ноги... Вы просто молодец! Я боялся, что они пройдут служебным подъездом. Ан нет, неплохо я знаю нашего управляющего...

Не отводя озорных глаз от экрана, Фиртич ходил по кабинету.

— Я отправляюсь к себе. Прошу вас, свяжитесь с Мезенцевой, Индурским, с главным бухгалтером... Срочно ко мне, да и сами приходите.— И словно невзначай Фиртич обронил: — Скажите, Павел... вы не писали никакого письма в управление?

Сазонов подобрался. Вот зачем явился директор. Опять какая-нибудь сплетня.

— Нет,— вяло молвил он и, спохватившись, горячо добавил: — Клянусь вам, нет. Честное благородное слово.

Фиртич смотрел в настороженные глаза Сазонова. В них билось отчаяние — ему могли не поверить.

— А сестра?

— Нет! — выкрикнул Сазонов. — Она тоже ничего не писала. Она порядочный человек.

— Именно поэтому она и должна была написать, — сказал Фиртич. — Вы даже не спрашиваете, что за письмо. Стало быть, знаете, о чем можно написать в управление?

Сазонов вскинул густые мальчишеские ресницы.

— Да, знаю... Но это еще ни о чем не говорит.

Фиртич нажал кнопку. Экран вспыхнул дневным светом, и вся панорама просторного зала стянулась в светящуюся точку в центре слепнувшего стекла... «Что это я? Зачем я сюда пришел? — думал Фиртич. — Допустим, он и написал. Или его сестра. Они поступили как нормальные люди. Что ж, будет еще одна трудность, которую надо преодолеть. Шире надо смотреть на вещи, шире. Не унижать себя мелочностью...»

— Так я жду всех, Павел Павлович. — Фиртич взглянул на часы. — Через полчаса в моем кабинете... И, пожалуйста, забудем наш разговор. Я жалею о нем.

Он дружески коснулся плеча молодого человека.

## 15

Дежурный по опорному пункту охраны порядка Универмага сержант Пинчук люто ненавидел спекулянтов. Почти тридцать лет жизни он отдал борьбе с этой нечистью. И порядком притомился.

Измученный, с ломотой в висках, сержант сидел за своим столом в помещении опорного пункта Универмага. Перед ним на жестком топчане, бесстыдно сбив цветные юбки поверх колен, расположилась молодая цыганка. Кумачовый платок упал с ее давно не мытых волос, пронзенных булавкой с крупным золотым набалдашником. На руках тонкие золотые браслеты. Не женщина, а золотой фонд...

Они давно обо всем поговорили и теперь молчали. Лишь время от времени в душе цыганки просыпалась обида, словно запоздалые раскаты прошедшей грозы.

— Кого надо, не ловят. А цыганам хоть на улицу не выходи...

Сержант вперил терпеливый взгляд в кроссворд из старого номера журнала «Огонек». Который день он мучился над словом из пяти букв. Человек, твердо и мужественно встречающий жизненные испытания. Четвертая буква «и», по вертикали. По горизонтали сержант отгадал: «турик». Улица, не имеющая сквозного прохода. А вот по вертикали? Что это за слово такое из пяти букв?

— Взял рубль штрафа — отпусти. Все равно там меня отпустят, — нудила цыганка.

«Знает закон», — вздохнул про себя сержант. Хотел было закурить, но передумал: скоро обед. Чем его привлекала работа в Универмаге, так это столовая. Кормили разнообразно и недорого. И сидеть было хорошо: вокруг все деловые женщины, сотрудницы Универмага, на каждую приятно посмотреть. А главное, спокойно. Не надо волноваться, что в любую минуту от тебя потребуют исполнения долга. Милиционер, он везде милиционер! Не понимают, что он, как и все, имеет законное право на обеденный перерыв... Мысль о скором обеде согрела душу сержанта Пинчука. Он отодвинул ветхий журнал и теплее посмотрел на цыганку. Вспомнились наставления перед каждым дежурством: спекулянт-де тоже человек, только перевоспитывать... И сержант осторожно, исподволь начал свой нелегкий педагогический разговор.

— Неужели так трудно честно жить?



Цыганка обрадовалась, учув перемену в настроении сержанта.

— Трудно, начальник... Ты сколько получаешь зарплаты?

Сержант молчал. Вопрос его озадачил. Имеет ли он право называть задержанной сумму своего оклада? Нет, лучше погодить.

— Сколько бы ни получал, все равно не проживешь,— помогла цыганка.

— Смотри как жить,— назидательно обрезал сержант.— По-разному можно жить. Сколько честных людей вокруг. Посмотри на праздничную демонстрацию. Рабочие, студенты, представители интеллигенции...

— Мы на демонстрации не ходим,— перебила цыганка.— Думай, начальник. Мать и отец у меня. Больные, работать не могут...

Сержант хмыкнул. Но, вспомнив о долге, прибрал смешок.

— Не могут,— повторила цыганка.— Сестра замуж готовится. А у нас, цыган, как? Есть золото — человек, нет золота — никому не нужен.

Сержант вспомнил лекцию о международном положении.

— Точно как капиталисты. У них тоже все на золото.

— Дурной ты, начальник! — возмутилась цыганка.— Ты что, на голову упал?

Сержант онемел. Такой наглости от задержанной он не ожидал. Что это она вдруг оскорбилась? С капиталистами ее сравнил, что ли?

— Вы, гражданка, осторожней в выражениях. Привлечь могу за оскорбление.

— А где свидетели, начальник?

«Знает закон»,— еще раз подумал сержант не без уважения.

— А потому ты дурной, начальник, что меня за дуру держишь... Я свои права знаю. Отпусти меня. Оштрафовал — отпусти. Других прав у тебя нет. Продавала тушь для ресниц в неподобающем месте. За это рубль штрафа. И все! А ты меня держишь...

Пинчук нахмурился. Конечно, он должен ее отпустить. Таков закон. Только кажется, что легко обвинить человека в спекуляции. Необходимы доказательства. И того, что он скупает вещи с целью наживы. И того, что продает по завышенной цене. А это нелегко доказать — спекулянт тоже себе на уме, знает, где и кому продать. Кроме этого, надо вести следствие по всем правилам, передать дело в суд. Если суд удостоверится, что товар продавался с целью наживы, тогда еще можно рассчитывать на какое-то наказание. А если она продает тушь, сваренную из какой-то дряни у себя дома в котле, возникает иная сложность: товар не имеет начальной стоимости, государственной цены...

— Вот штрафану я тебя на пятерку, будешь знать,— беззлобно проговорил сержант.

— Рубль, начальник. Не больше,— ухмыльнулась цыганка золотым ртом.— Закона нет на пять рублей. Или гони пять квитанций с одной пометкой. Документ. С ним я на тебя управу найду.

Пинчук взгрустнул, хотя виду старался не подавать. Через два часа он обязан ее отпустить. Кто-кто, а они, спекулянты, свои права знают лучше любого законника...

Цыганка уперлась руками в скамью, приподнялась и уставила в сержанта черные нахальные глаза.

— Ой, начальник, начальник... Ждут тебя крупные неприятности.

— Сидеть! — приказал сержант.

— Копают тебе яму, готовят тебе беду товарищи. Хотят на твое место. Пишут на тебя худую бумагу.

— Сидеть! — повторил сержант.— Тоже нашлась. Знаю эти фокусы!

Цыганка села и обидчиво отвернулась.

— Как хочешь. Предупредила тебя. Такое хлебное место занимаешь. Другой бы из золотого портсигара курил... И сам не ешь и

другим на даешь. Посмотри на других. Подумай! Откуда у них «Жигуди»? А ты спишь. Какие-то глупости выясняешь...

Пинчук не успел достойно возразить: в кабинет в сопровождении оперативницы в штатском вошла гражданка в модном полупальто. Оперативница держала в руках сумку с длинным наплечным ремнем.

— Три ондатровые мужские шапки! — сказала она.

— Ого! — уважительно воскликнула цыганка.

— Цыц! — одернул сержант и встал. Сделал несколько шагов. Остановился перед задержанной.

— Скупка товаров повышенного спроса с целью спекуляции, — констатировала оперативница.

Задержанная спокойно улыбнулась и покачала головой.

— Еще доказать надо. А то оскорбление получается, клевета. Я, может, шубу шить буду... Что вы так меня разглядываете, товарищ милиционер?

— Личность больно знакомая, — со значением ответил Пинчук.

— На одну киноактрису я похожа. Путают часто. — Женщина села на жесткий диван. Закинула ногу на ногу. Расслабилась.

Сержанта взъярило поведение этой крашеной куклы. Но, вспомнив каждодневные наставления, только крикнул и вернулся на место.

— Пойду в зал, товарищ сержант. Видеть не могу таких! — Оперативница положила пухлую сумку задержанной и вышла, яростно хлопнув дверью.

Цыганка протянула руку и тронула торчащий из сумки мех.

— Три шапки. А?! Я одну купить не могу, а тут три.

— Заткнись! — оборвала ее женщина.

Цыганка резво повернулась, схватила женщину за воротник и завалила к стене.

— Жизни от вас нет! — орала цыганка. — Прилавка не видать, стеной стоите! А цыган за людей не считаете...

Женщина, задыхаясь, пыталась развести ее руки.

Сержант вскочил. Он не предвидел такого поворота.

— Что такое? Что такое?! — кричал он, стараясь разнять сцепившихся женщин. — Разойдись! Смирно!

Он ухватил цыганку за бока и приподнял над топчаном. А женщина все пыталась высвободиться из ее рук. Пальцы соскользнули и сорвали с запястья золотой браслет. Цыганка проворно метнулась к браслету. Сержант вернулся к столу...

— В милицию веди, начальник! — вопила цыганка. — В милицию!

— Молчать! — взвился сержант.

Ситуация его обескуражила. Каким пунктом теперь вязать двух дамочек? Впрочем, нет худа без добра. Если не по спекуляции, то по драке в общественном месте он их прижмет...

Женщина вертела шеей, щупала кожу худыми пальцами. От обиды и боли она не могла произнести ни слова. Намазанные помадой губы дрожали. Тушь осыпалась, обнажив беспомощные реснички...

Сержанту стало жаль задержанную, хоть он и люто ненавидел спекулянтов. Но слишком уж эта выглядела несчастной. С оборванным воротником, болтающимся на спине.

— Фамилия? — нахмурился сержант, стараясь взять себя в руки.

— Бельская... Светлана Михайловна.

— Адрес? — Сержант поудобней устроил протокол задержания.

— Станиславского, пять.

— Ишь где живете, — чему-то улыбнулся сержант. — Именем такого человека улицу назвали. И вас поселили... Где работаете?

— Техник-смотритель общежития. В техникуме.

Сержант Пинчук продолжал улыбаться.

— А я вас знаю, Светлана Михайловна, — произнес он, не сводя глаз с бумаги. — То-то гляжу — лицо ваше знакомое... Приходил я

к вам. Привод на суд исполнял. Являться добровольно вы не желали, пришлось спецтранспорт гонять. Помните?.. Чем же тогда суд кончился?

— Как видите, ничем,— вяло ответила Светлана.

— Трудно вашу сестру ущучить. Даже руки опускаются — сколько бумаги надо исписать! Но, думаю, теперь с вами быстро управятся. Драка, понимаете...

Светлана с ненавистью посмотрела на цыганку. И та, видимо, пришла в себя, одумалась. Поняла, что и ей несдобровать.

— Отпусти нас, начальник,— проговорила цыганка.— Мы с ней договоримся.

— Как же я вас отпущу, девочки мои хорошие? — сержант поднял на женщин глаза.— Зачем же я тут сижу? Так трудно было вас прихватить, все законы знаете. А тут — отпусти. Нет уж...

Сержант посмотрел на часы, вздохнул. Время обеда уже наступило, а дежурка все не приезжала. Он придвинул журнал с кроссвордом.

— Вот вы... в техникуме работаете... Можете отгадать кроссворд? Слово из пяти букв. Человек, твердо и мужественно встречающий жизненные испытания. Четвертая буква «и».

Светлана задумалась. В ее деятельном мозгу тут же возникла идея. Но торопиться нельзя. Можно насторожить сержанта.

— Если надо, могу узнать. По телефону.

Задержанным звонить категорически запрещалось. Сержант вздохнул.

— Ладно, позвоните. Только по делу. И быстро...

Сердце Светланы отчаянно колотилось. Длинные гудки вызова туго били в ухо.

— Нет никого? — заколебался сержант.— Положите трубку. Обойдусь.

Светлана медлила... Дрянной старикашка. Когда он нужен как воздух...

Сержант привстал, чтобы отобрать трубку. И тут в последнее мгновение...

— Платоша! Это я,— как можно спокойней проговорила Светлана.— Одного милиционера интересует слово из пяти букв...

Сержант насторожился. При чем тут милиционер?

— Как будет человек, который твердо встречает жизненные испытания?.. Это кроссворд. Четвертая буква «и»... Я говорю из «Олимпиа», понял?.. Да, слово интересует одного милиционера...

— Ну это уж ни к чему! — решительно запротестовал сержант.

— Четвертая буква «и», — интриговала сержанта Светлана.— Да, да. Ты правильно понял... А слово? «Стойк»? Ага! — И, не выдержав, добавила: — Сейчас меня увезут.

Сержант нажал на рычаг и покачал головой.

— Своим передала! — завопила цыганка.— Своим! Теперь откупится.

Сержант Пинчук принялся аккуратно вписывать буквы в пустующие квадратики кроссворда. Верно, «стойк»...

Фиртич взглянул в зеркало. Подмигнул себе и прошел в ванную.

Голубой кафель льдисто отражал скользкий свет плафона. Елена, в красном махровом халате, подпоясанном шнурком, ловкая, сильная, вытаскивала из таза белье и швыряла в ванну.

Фиртич обнял жену. Капельки пота тускнели на высоких скулах Елены. Она была красива. И с годами ее красота не угасала. Становилась иной.

— Не мешай,— отодвинулась Елена.— Снимай свою рубашку, я выстираю. А то тебя скоро перестанут пускать в приличное общество.

— Ты права,— усмехнулся Фиртич.— Меня и впрямь скоро перестанут пускать в приличное общество.

— Приличное общество не жалует неудачников,— смилостивилась Елена.— А ты удачлив, Костя.

— Да. Удачлив. И это крайность. А приличное общество, заметь, чурается крайностей. Ему по душе золотая середина...

Удачлив... Сегодня интересы «Олимпа» защищал и сам начальник управления. И его заместители, все еще переживавшие мясорубку, в которую попали на третьем этаже Северной линии. Даже Гарусов оказался единомышленником Фиртича... Разумность его затеи была очевидна и не вызвала сомнений. Но кто знает — не проведи он предварительной работы, не свяжись с Кузнецовым, как бы все повернулось?

Елена вытянула из таза тяжелый мокрый ком, протянула Фиртичу.

— Нужна мужская сила. Если ты в состоянии еще выжать белье.

— Я выпил самую малость. Не ожидал, что соберется такая прорва народу. Из управления набегали да своих человек шесть. На единственную бутылку коньяка.

Белье проворачивалось в ладонях, скользило. Вода шумно падала в ванну, выбивая сытые дождевые пузыри.

— Надеюсь, ваше совещание стоило той бутылки коньяка?

— Наше совещание стоило восемьсот тысяч инвалютных денежных знаков в пользу «Олимпа»! — Фиртичу не удалось сдержать торжественного тона.

Он опустил выкрученный жгут в таз. Елена, счастливо улыбаясь, старательно вытерла руки передником, не спуская глаз с лица мужа.

— Я так боялась тебя спросить. Значит, все в порядке?

— Еще предстоит утверждение на сессии исполкома. Но мнение есть, как у нас принято говорить... В сущности, так мало надо человеку для радости. Доверить дело, к которому он стремился. Не чинить препятствий, не водить за нос...

Елена была в курсе событий, так волновавших мужа в последнее время. Она варила кофе, пекла оладьи, а в соседней комнате Фиртич спорил с начальником орготдела Мезенцевой. До глубокой ночи.

«Вам незнакома психология женщин-покупательниц,— кипятилась Мезенцева.— Подавляющее большинство из них задерживаются в секции косметики. А вы хотите забросить секцию в закоулок!» «Именно! — радовался Фиртич.— Они пройдут весь Универмаг. А это уже победа. Что-нибудь да купят. Или заметят на будущее». «Лишняя толчея,— сопротивлялась Мезенцева.— Оборванные пуговицы, которые, кстати, они тоже купят чуть ли не на крыше «Олимпа» по вашему проекту». «Другая цель,— увлекался Фиртич,— предусмотреть больше свободного места. Для товарооборота свободная площадь столь же необходима, как и торговая. Вот что мы будем требовать от проектировщиков!»

Иногда в арбитры призывали Елену, и Елена старалась быть объективной... Так что в целом она была в курсе дел. Она знала, что сегодня намечался визит начальника управления в Универмаг. Именно этот визит Фиртич и хотел использовать как повод для генерального сражения...

— Я решила, что у тебя неудача. И ты выпил по этому поводу,— проговорила Елена.

— Выпить можно и за удачу... Не знаю, с чего начать отчет. Язык уже не ворочается, честное слово!

— Подожди немного, скоро будем ужинать.

— У нас прошел слух, что в «Олимп» поступили дубленки,— произнесла Елена, раскладывая по тарелкам жареную колбасу.— Все уступают мне дорогу.

— Скажи им, что дубленки будут переданы на предприятия.

— Ой ли... Если их пометить, то через неделю можно будет купить у спекулянтов.

— Это уже не моя забота.— Фиртич придвинул тарелку.

— Твоя, Костя, твоя... Господи, как мне жалко своих девочек. Красивые, умные, образованные. А голова занята только тем, как раздобыть себе приличную вещь. Выкручиваются, экономят на всем. Чтобы втридорога купить у спекулянтов... Я знаю женщин, которые ни одной вещи не покупают в магазине. Годами!

— Ну и дуры, дуры...

— Брось, Костя, брось. Взгляни на себя, на меня, на вещи вокруг нас... А все почему? Потому как достать можем. И без всякой доплаты. Сашка, мальчишка, студент, письмо прислал, куртку просит, только чтобы фирма. А ты, отец, и не мыслишь, что пошлешь ему изделие Володарки... Не хочу тебя обидеть, но бесполезно требовать от других того, чего не делаешь сам.

— Я такой же дурак, как и твои сотрудницы. Не могу перепрыгнуть через условность, общественное мнение, всякую чушь...

— Тем более что это нетрудно сделать,— перебила Елена.— Ты можешь покупать то, что выпускают у нас небольшими партиями. На выставки. По персональным заказам.

— Да. Я сторонник небольших партий. В массе любая вещь теряется... Завали завтра все магазины зарубежным барахлом — и мы обнаружим существование своих товаров. И гораздо лучших, чем импорт. Модницы наклеят ярлык «а-ля рюс» — и завертится машина... Дефицит — это во многом вопрос количества.

Тон их разговора становился чересчур нервным. Фиртич взглянул на телефон. Позвонить кому-нибудь, тем самым уйдя от его продолжения?

Он встал, сделал несколько шагов и поднял трубку.

Главный бухгалтер Михаил Януарьевич Лисовский был явно озадачен внезапным звонком директора.

— Хочу известить, что разрешение на продажу ресторана шерсти я получил.— Фиртич видел, как в черном глянце стекла отражается профиль жены.

— Сейчас без четверти одиннадцать вечера.— Лисовский старался справиться с кашлем.

Фиртич понимал, что звонок его выглядит нелепо.

— Я хотел вас успокоить,— произнес он после паузы.

— А я спокоен. Я принял снотворное. И совершенно спокоен. Это вам надо беспокоиться.— И, мстя за беспардонный звонок, Лисовский добавил: — Видимо, вы очень заинтересованы в этом Кузнецове, директоре ресторана «Созвездие».

— Очень,— ответил Фиртич.

— Не знаю, чем объяснить вашу к нему слабость,— ехидничал Лисовский,— но смею вас уверить, что Кузнецов может купить триста километров шерсти. Причем наличными и из своего кармана. Только торговля пирожками в «Олимпе» приносит ему чистоганом больше сотни. Ежедневно.

— Вы так хорошо осведомлены?

— Уверяю вас. Я получил приглашение на бухгалтерскую экспертизу. Ресторан заинтересовал следственные органы... Надеюсь, в скором времени трехсот метров шерсти не хватит прикрыть грех ресторана «Созвездие». К тому же голубой... Скромнее что-нибудь надо. Скажем, черной. Или полосатой.

Фиртич молчал, весть его ошарашила.

Лисовский прислушался, для верности дунул в микрофон.

— Куда вы пропали, черт возьми?

— Пирожковый бизнес? — невпопад проговорил Фиртич.

— Это блохи. Там дела покрупнее. Правда, Кузнецова не зацепить. Умен, бес! И осторожен. Никаких следов... Спокойной ночи.

## 17

Широкое окно библиотеки Универмага вбирало в себя половину города. К горизонту белыми гребешками прибоя уходили новостройки. Впечатление усиливала телебашня, торчащая маяком в этом застывшем море. Бывали дни, когда чайки подлетали прямо к окнам библиотеки. И орали хриплыми голосами. Особенно зимой...

Татьяне Козловой нравилось кресло у мохнатой пальмы.

Впервые Татьяна открыла для себя это место месяца три назад. А то обычно простаивала в коридоре с девчонками, болтала о всякой ерунде и курила. А ночью не могла уснуть — болели ноги. Боль поднималась от пяток, скручивала лодыжки, палила колени. Даже в голову отдавало. Старые продавцы успокаивали: пройдет, у всех проходит. И делать ничего не надо. Некоторые, правда, колют икры иглой, натирают тигровой мазью. Чепуха все. К старости, конечно, все скажется, все загнанные внутрь болезни вылезут. А по молодости пройдет...

И прошло. Когда Татьяна открыла для себя это кресло, эту пальму, эту тишину.

На пятом этаже была специальная комната отдыха, но девушки ее не жаловали, там обычно собирались «бабушки». Татьяна с самого начала возненавидела ту комнату. И уютно, а душа не лежит...

Как-то ее пригласили на ипподром. Низкое зимнее солнце прошивало летящие конские хвосты, сверкало в спицах колясок. А потом знакомый повел ее на конюшню, хотел похвастать дружбой с наездниками. В чистых светлых денниках лошади после заезда выглядели усталыми, тяжелыми. Дымилась их потные крупные тела...

Комната отдыха представлялась Татьяне тем же денником. Зайдя сюда, продавцы как бы блекли. Руки их бессильно вытягивались вдоль подлокотников... Через считанные минуты они вытянут себя из мягких кресел и разойдутся. На их лицах вновь появятся и доброта, и равнодушие, и участие, и презрение, и злость, и высокомерие. Но сейчас, в этой комнате, без посторонних глаз, они становились сами собой: просто уставшие женщины. Эта одинаковость, роднящая их, пугала Татьяну. Заставляла обходить стороной комнату отдыха...

— Дербенева! — тихо позвала Татьяна.

Девушка с широким лбом под ровной челкой, сидящая в соседнем кресле, вопросительно посмотрела на нее.

— Пора, Дербенева, — вздохнула Татьяна. — Небось заждались, родные. Прилавок крушат.

— Чтоб им ни дна ни крыши, — ответила Дербенева.

Они вышли из библиотеки, где провели десять минут, что оставались от обеденного перерыва.

Прямо перед дверьми висел стенд с фотографиями лучших людей Универмага. Первой справа сияла правдивыми глазами Юлька Дербенева, старший продавец секции кожгалантереи.

— А еще передовая! — пошутила Татьяна. — Покупателя надо любить.

— Я тебе вот что скажу, подружка, — серьезно ответила Юлька. — Нормальный человек никогда не сможет стать настоящим продавцом. Про меня говорят: родилась продавцом. Ерунда! А любить... Разве можно любить того, кто тебя за человека не считает, смотрит и не видит, презирает...

— Можно, — вздохнула Татьяна.

— Я говорю о нормальных людях, а не о шизиках.

— Понятно.— Татьяна кивнула на фотографии.— Выставка шизиков!

— Не-е-ет, Таня, тут другое... Есть, конечно, среди них и шизики, не без этого. А есть и другие. Возьми меня, к примеру. Если ко мне покупатель по-доброму, я тоже по-доброму. А когда начинает выступать, я собираюсь. Говорю себе: «Внимание: придунок!» И становится мне интересно. Как спорт: кто кого... Утром сегодня, к примеру. Подходит такой склочник. Я его по глазам желтым засекала еще у лестницы. И сыграла кино. Он и рта открыть не успел. Опередила на полсекунды. Улыбкой и теплотой. Точно его одного и ждала... Купил перчатки и ушел обалдевший. А ведь точно знаю: нервы бы мне помотал... Не изнутри же это у меня идет, верно?

Татьяна шагала, по-журавлиному вскидывая ноги. И вся она — плоская, длинная, с отрешенным худым лицом — казалась девочкой-переростком.

— На всех фантазии не хватит,— вздохнула Татьяна.— Числом давят, как китайцы.

— И верно,— живо согласилась Юлька (вот характер).— На что я держусь, не распускаюсь, и то... В прошлый раз как жуткий сон. Кругом лица, лица, лица. Чувствую, сейчас тошнить начнет. А в голове одно: «Влипла! Ведь обещал, мерзавец, клялся, на коленях стоял!» Испугалась. Бросила секцию на кассира, поднялась к Вере-доктору. Та меня в кресло. Нет, говорит, напрасная тревога, все у тебя в порядке. А тошнота — мозговые явления. От покупателей.

Они спустились в торговый зал и разошлись по рабочим местам.

Секцию обуви осаждала привычная толпа.

Борис Самуилович Дорфман что-то объяснял белобрысому покупателю, что стоял рядом с такой же белобрысой женщиной. «Близнецы, что ли?» — почему-то подумала Татьяна.

— Моя жена носила предыдущую пару два года,— громко перебил белобрысый Дорфмана.— А у этих через два дня каблук отлетел. Женщина кивала белобрысой головой в знак истинности слов своего супруга.

Бедняга Дорфман пытался вразумить покупателя, что без корешка от чека он не имеет права оформить замену. Нет доказательств, что обувь куплена в «Олимпе». Фирменная обертка не документ...

— Замучил Борю,— шепнула младший продавец Неля Павлова.

Она подносила туфли сидящей на скамейке грузной даме. Капризное большое лицо покупательницы налилось недовольством, словно переспелое яблоко соком.

— Шестую пару таскаю.— Неля закатила глаза, продолжая улыбаться.

— Это ваша обязанность.— Дама расслышала шепот продавца.

Неля безропотно протянула очередную туфлю навстречу толстым окольцованным пальцам покупательницы.

— Да гоните ее в шею! — раздался голос из толпы.— Девка стелется перед ней, а она измывается.

— Все ей не нравится,— поддакнул другой голос.— Барыня!

Толпа негодовала. Поведение дамы выводило из себя.

— Граждане, граждане,— у Нели был тонкий детский голос,— не волнуйтесь. Выбор достаточно широк. Есть отечественная обувь, есть импортная. У каждого свой силуэт ноги. Обувь дорогая, покупается не каждый день. Потерпите, пожалуйста...

Толпа обмякла. Доброжелательность Нели обескураживала, но даму чем-то обидело это заступничество. Возможно, она сочла за иронию намек на силуэт ноги. С силуэтом у нее дело обстояло неважно...

— Сколько надо, столько и отсижу! — торжественно пообещала дама.— Вон какую очередь отстояла.

Татьяну задел ее тон. Ну и терпение у Нельки, тоже, как Дербенева, роль играет, а у самой руки трясутся.

— Подумаешь, заслуга! — взорвалась Татьяна. — Лошадь почти всю жизнь стоит. Еще на ней и ездят. А она молчит.

В толпе одобрительно зашумели.

— Дайте ей еще, пусть мерит...

Дама выпрямилась. Спелое лицо ее побагровело.

— Что это вы меня оскорбляете, товарищ продавец?!

Татьяна презрительно отмахнулась и шагнула в сторону. Недвусмысленный жест Татьяны подстегнул гнев покупательницы.

— Дайте жалобную книгу! — выкрикнула она в спину Татьяны.

— Ты со скамьи сползи! — зацепились из толпы. — Потом и пиши. Место освободи людям. Расселася, халда.

Дама проворно натянула свой сапог, жикнула «молнией» и, рывком подав вперед плечи, поднялась. Тотчас на скамейку брякнулась следующая покупательница и сбросила с ноги стоптанную туфлю.

— Дайте жалобную книгу! — не отступала дама.

В глазах Нели блеснули слезы. Татьяна, усмехаясь, вперила презрительный взгляд в возмущенное, жаждущее боя лицо. Конфликт разгорался.

Покинув белобрысую чету, к ним заспешил Дорфман.

— Что такое, что случилось? — с ходу включился он в свару.

— Жаловаться хочет! — радостно объявили из толпы.

— Сразу жаловаться! А если поговорить? — начал Дорфман.

— Не хочу я ни с кем разговаривать! — отрезала дама. — Одна компания. Дайте книгу!

Женщина, занявшая примерочную скамейку, шевелила коротенькими пальцами под прозрачным чулком и тянула, поглядывая снизу на Нелю:

— Девушка... Сколько можно ждать?

— Сейчас, тетенька, сейчас. — Горло Нели сушили спазмы. — Какой ваш размер? — Оглядываясь на сцепившихся в споре, она пошла к шкафам. Одна надежда была на Бориса Самуиловича, ему как-то всегда удавалось погасить самый неистовый скандал...

— Вы так мечтаете лишить нас премии, опозорить перед всем Универмагом? — мягко проговорил Дорфман.

— Вас опозоришь. Большого позора, чем тут работать, и не надо.

Борис Самуилович потемнел. За десятки лет работы он слышал всякое. Но каждое новое унижение переживал как первое.

— Вы сказали «тут» работать или «так» работать? — Дорфман пустился в не раз испытанное словесное плаванье. Многие жалобщики не выдерживали этой казуистики и отступали с приспущенными флагами.

— Как сказала, так сказала! — вывернулась дама.

— Значит, вам можно говорить что угодно, а нам отвечать нельзя. — Маленький Дорфман давил на нее с тупым упорством прессы.

— А что я такого сказала? — насторожилась дама.

Кажется, рыбка на крючке. Только бы не сорвалась... Дорфман перевел дыхание, годы брали свое. Тут-то он и дал промашку: надо было не переводя дыхания...

— Премия! — бросилась в атаку дама. — Денег у вас и без того хватает.

Она старалась вложить в каждое слово как можно больше презрения, в то же время поглядывая по сторонам, ища союзников. Намек на подпольный заработок продавца не мог оставить человека равнодушным... Толпа хранила раздумчивое молчание.

— Хватает, хватает! — все еще не теряла веры в человеческую



солидарность полногрудая дама.— Стояли б вы здесь за голую зарплату.

— Вы так говорите, точно сами имеете опыт,— печально произнес Дорфман.

Заколебавшаяся было толпа вновь встрепенулась:

— Да что она людей мордует! Пользуется, что продавец бессловесный, вот и куражится!

— Как же! Бессловесный! — вступил чей-то дискант.

Скандал привлекал внимание, затягивал, как воронка. Люди останавливались, заглядывали через головы и плечи. Почти все принимали сторону возмущенной гражданки, которую наверняка обидели прохвосты продавцы, известное дело...

— Конечно. С ними ухо держи востро... А что случилось?

— Женщина отложила обувь, а ее другому продали.

— Спекулянтам своим отдали. А навар поделают...

Какие только венки не плетет праздная фантазия толпы. Сколько энергии тратится порой на досужую болтовню! Не извлекая никакой личной выгоды, люди тратят время на решение пустейших проблем. Спрятавшись за крепкими стенами собственной безнаказанности, толпа ведет безответственную работу языком, Работу жалкую, трусливую, открывающую всю низость этих лжеочевидцев и лжесвидетелей. Мерящих любое событие меркой личного опыта. Готовых требовать самого сурового наказания за любой проступок...

К месту спора спешил и главный администратор. Высокий, узкоплечий, он касался ладонью плеча или спины покупателя — и тот словно по команде делал шаг в сторону.

— Вот. Требуют жалобную книгу,— подсказал Дорфман.

Пухлые губы дамы побелели от жажды справедливости. Потеряв было всякую надежду, она вновь воспряла духом и гневно указала на стоящую поодаль Татьяну Козлову.

Сазонов вздохнул. Он уже не стал вникать в существо конфликта, убежденный в том, что от Козловой можно ожидать любой выходки.

— Между прочим, я не при исполнении. У меня еще перерыв.— Татьяна демонстративно сложила на груди длинные руки.

Сазонов повернулся в сторону касс и крикнул, чтобы прислали жалобную книгу.

Кассир кассы номер пять Кира Александровна Аматауни, вытянув шею, следила за сварой поверх стеклянных боковин своей будочки. Она пыталась точно уловить значение тона главного администратора: выдать припрятанную в самом начале скандала жалобную книгу или сослаться на то, что книга сейчас на обработке в орготделе, надо подождать... Предусмотрительный человек, Кира Александровна Аматауни, оказывая любезность секции, рассчитывала на взаимность...

— В чем дело?! Пришлите жалобную книгу! — повысил голос Сазонов.

Аматауни еще раз вслушалась в тон голоса администратора, приподнялась, вытянула из-под себя книгу жалоб и просунула в окошко.

Передаваемая из рук в руки, книга в красной обложке, еще хранившая тепло пудового зада величественной кассирши Киры Александровны Аматауни, пунктирно плыла над головами покупателей. Как трассирующая пуля.

— Пусть пишет. Только без ошибок,— ехидно напутствовал кто-то.

— И не стыдно,— подхватил другой голос.— Девчонки из кожи вон лезут, стараются — и все как вода меж пальцев.

— Я тоже напишу. Благодарность. И что дамочка эта придирается! — воскликнула женщина в искусственной шубе.— Будет так на так!

Эту идею тут же подхватили несколько человек.

— Ну почему же я придираюсь? — сдерживая слезы, пробивалась сквозь возбужденные голоса дама с пухлыми губами. — Она меня обозвала лошадьё. А что я требовала? Чтобы меня обслужили как положено.

Сазонов пожал плечами. Не так-то часто становятся на сторону продавцов. Да еще с такой решительностью.

— Покупатель всегда прав, Павел Павлович, — усмехнулся Дорфман и тронул Козлову за руку: мол, ступай в подсобку, не мозоль глаза, администратор сам все уладит, а твое присутствие только распялет страсти.

В подсобном помещении, отгороженном от зала легким пластиком, тлела слабосильная лампочка.

В углу на дачном складном табурете сидела Неля.

Татьяна шагнула к зеркалу, достала из кармана расческу.

— Разве это люди? И так и эдак. Все им плохо, — всхлипывала Неля. — А у меня гемоглобин тридцать восемь...

— Самый низкий за всю историю человечества, — перебила Татьяна.

— Тебе смешно. Врачи удивляются.

— Что ты переживаешь? На меня жалоба, не на тебя... За всех ты переживаешь. — В тусклом зеркале она видела печальное лицо подружки. — Сейчас выйдешь — и снова будешь им улыбаться.

— Буду, — вздохнула Неля.

— Знаешь... Я до «Олимпа» в «Спорттоварах» работала. — Татьяна принялась расчесывать свои прямые волосы. — Так мы сговорились с девочками: не видеть покупателя.

— То есть как? — удивилась Неля.

— А так. Смотреть на него и не видеть. Он рядом, а мы — мимо. Словно он за горизонтом. И новеньким наказывали. Ми-мо! А кто нарушал уговор, такие, как ты, скажем, мы им неприятности устраивали, чтобы проучить... Сразу гемоглобин у нас поднялся. А то совсем доходили.

— Не смогла бы я так. Чтобы мимо, — вздохнула Неля.

— Смогла бы. Вошла бы во вкус и смогла. — Татьяна обернулась и посмотрела на подружку. — Слушай, ты вот стараешься... Сама по себе или в игру такую играешь? Юлька Дербенева из кожгалантереи в игру, говорит, играет. Иначе с ума можно сойти.

— Нет. Не играю я в игру. Работаю, и все.

## 18

Спекулянтка Светлана Бельская проснулась от лязганья замка.

— Бабоньки! Подъем! — послышался мужской голос.

Светлана резко приподнялась и села. Надорванный воротник пальто завалился набок. Яркий свет падал из распахнутой двери и освещал фигуру дежурного милиционера с мятым чайником, на носик которого были нанизаны две алюминиевые кружки.

— Позавтракаете. Подметете камеру, веник в углу... Если кому надо куда пройти, говорите сейчас. Потом будет не до вас.

Он подошел к железному, привинченному к полу табурету и поставил на него чайник. Вытащил из кармана несколько кубиков сахара.

Светлана осмотрелась.

На соседних нарах, сунув кулак под щеку и подтянув красный платок к подбородку, посапывала цыганка. Заколка с золотым набалдашником выпала из немытых волос и валялась у самого лица. «Спит, дрянь, — тоскливо подумала Светлана. — А тут ошивайся из-за

нее». Но злость против цыганки скоро притупилась, уступив место тревоге.

— Послушайте... Долго мне здесь торчать?

— Днем придет судья, определит кому сколько,— охотно ответил милиционер.— Что, пойдешь в туалет? Пользуйся. Дежурство сдавать буду.— Он принялся тормошить цыганку за плечо.— Подъем! В туалет.

Ресницы цыганки дрогнули, открывая затуманенные сном глаза.

— Чего дергаешь! Свою дергай! — Цыганка приподнялась.— Ну?!

— Не ну, а за дело! Камеру подметете. Придет судья — чтобы не злить по ерунде. А то всю катушку разматаете, пятнадцать суток.

— Ладно. Иди себе,— проворчала цыганка.— Уборная где?

— Я и жду. Тоже мне царевна-лебедь. Золото сыплется.

Цыганка подобрала булавку, сунула в чашобу черных волос, опустила с нар тощие ноги в теплых чулках. Нашарила сапоги. Натянула...

В коридоре было тепло. На деревянной скамье сидели два небритых парня. Один курил, пряча в ладони сигарету, другой вертел в руках шапку. Тут же, повернувшись спиной к парням, сидела старуха в тулупе.

— Курить запрещается! — строго напомнил милиционер.

— Слушаюсь, начальник,— бодро согласился парень и порыскал глазами, куда приткнуться сигарету.

— Шапку вертеть можно? — ехидно спросил второй.

— Повякай мне еще! — одернул милиционер.— Вам что, бабушка?

— Жалоба у меня. Сверху каплет, комнату заливает.

— Это не к нам. В ЖЭК вам надо.

— Так они ж еще спят. Замок на ЖЭКе.

— И ты б спала, бабуля,— посоветовал тот, с шапкой.

— Спала-а-а,— подхватила старушка.— На голову каплет. А кровать — сто пудов, мне ее с места не сдвинуть.

— Перевернулась бы, одела бы боты да и спала. Есть боты? — Парню было скучно.

— Не острить! — приказал милиционер.— А что вы, бабушка, сами\*к соседям не подниметесь?

— Поднималась. С лестницы меня шуганули: «Придумала, старая, сухо у нас». А у меня течет.

Цыганка засучила ногами по свежевывытому линолеуму.

— Веди, начальник. А то и здесь натечет.

Светлана надеялась, что Платоша уже пришел. Но, кроме этих троих, никого в коридоре не было. И в тех комнатах, двери которых были распахнуты, никого не было.

Милиционер остановился у двери в облупившейся голубой краске и повел головой...

Когда Светлана и цыганка вышли, он стоял в той же позе.

— Полотенце бы дал,— буркнула цыганка, обтирая лицо концом платка.— Или б духовку электрическую прибили.

— Не санаторий, обсохнешь.— И милиционер повел женщин в камеру.

— Ладно тебе! Санаторий... Ты хоть раз цыгана в санатории видел?

— Занялись бы делом — увидел! — веско ответил дежурный и приказал: — С чайником не задерживать, один на всех. Пользуйтесь, пока горячий.

Светлана села на нары, потом прилегла, поддерживая спадающий воротник. От досок тянуло кислым запахом сивухи. Она перевернулась на спину. Пахло меньше, но заняла спина. Еще бы, ночь провалялась на досках... Цыганка расставила кружки и принялась разливать чай.

— Горячий,— проворчала она. Взяла кружку, кусок сахара и поставила на доску рядом с головой Светланы.

Со второй кружкой цыганка вернулась к своим нарам.

Она причмокивала, шмыгала носом, хрумкала и шумно глотала.

Светлана пролежала несколько минут. От кружки к щеке тянулось слабое тепло. Приподнявшись, Светлана подобрала сахар, сколупнула ногтем крошку табака. Пригляделась, заметила еще табак. Брезгливо скинула сахар на пол... Чай был теплый, с вонючим рыбным привкусом. Светлана сделала глоток и отодвинула кружку.

— Завтрак,— ворчала цыганка.— Теперь до трех жди. Принесут какой-нибудь суп... А тот мент вроде добрый. У тебя денег нет?

Светлана молчала. Сумку с кошельком, как и все ее вещи, отобрали при составлении протокола.

— Может, что-нибудь осталось в записке? Попросим мента, он пирожков купит.— Переждав, цыганка вздохнула.— У меня есть три рубчика. В трусах спрятала... Ты что, в первый раз?.. Молчишь? Ну молчи-молчи...

Светлана не в первый раз попадала в милицию. Были приводы. Но все сходило с рук. И в участке ни разу не ночевала. Правда, однажды дело дошло до суда. Тот сержант, любитель кроссвордов, об этом не помнил. Но проходила она как свидетель — сама перекупила у какого-то типа шубу. Ее задержали. Сфотографировали. Видно, тот тип был уже на крючке, за ним следили. Потом пришла повестка в суд. Она не явилась. Еще повестка — опять не явилась. Вот и приехал за ней любитель кроссвордов. Кроме нее, свидетелями проходили еще несколько человек. Прижали того типа фактами и фотографиями. Дали срок. А Светлану отпустили, переслав бумагу в техникум: мол, покупает вещи у спекулянтов. Лето, техникум не работал. Так все и похерили...

Цыганка подошла к двери и постучала. Звякнул засов. В проеме показалось лицо дежурного.

— Чайник возьми. Позавтракали,— сказала цыганка.— Забыл?

— Быстро управились.— Дежурный вошел, взял чайник и кружки.

— Послушай, добрый человек,— цыганка протянула дежурному деньги,— купи пирожков. Без сдачи.

— Смену сдаю. Другого проси,— ответил милиционер.

— Ты ж добрый человек. Жена у тебя. Двое детишек. Мальчик и девочка.

Дежурный изумленно приподнял брови. Покачал головой. Взял деньги и аккуратно прикрыл дверь, осторожно брякнув щекоткой.

Цыганка засмеялась детским смехом, встряхивая золотым брашлетом. Шлепнула смуглой ладонью колено Светланы.

— Здорово он испугался, а? Здорово, да? Как же это я угадала?

И Светлана уже смеялась.

— Слушай, сколько тебе лет? — спросила она сквозь смех.

— Двадцать один,— ответила цыганка.— А тебе?

— Тридцать восемь.

— Я думала, меньше. Это потому, что ты худая.

Помолчали.

— Ты сколько классов кончила? — Светлана не знала, что спросить.

— Классов? Каких классов? Родила в пятнадцать лет пацана.

— Ну? — удивилась Светлана.— С кем же он остался?

— С мужем,— гордо ответила цыганка.— Эх, закурить бы... Вернется тот, с пирожками, я что-нибудь придумаю.

Светлана нащупала в кармане листик жевательной резинки. Листик лежал отдельно, не в сумке, вот и остался... Вытащила, развернула обертку, переломила пополам, протянула цыганке. Та с удовольствием приняла подарок.

— Странные вы люди, цыгане,— произнесла Светлана.

— Почему странные? Как все. Дом. Горячая-холодная вода. Газ. Как все. Раньше было худо, жили в сараях. А теперь в совхозе живем. «Луч» называется. Как все.

— А муж что делает?

— Работает,— с достоинством ответила цыганка.— Сто пятьдесят получает и премию.

— Свеклу убирает? — Светлана произнесла первое, что пришло в голову.

— Почему свеклу? — В голосе цыганки скользнула обида.— Он детали собирает, для радио. Завод в совхозе цех держит... А свеклу есть кому убирать. Из города приезжают...

Женщины умолкли. Каждая из них думала о странностях жизни. И это молчание сближало их, как может сближать людей ночь где-нибудь в лесу. Когда никого вокруг. Когда так остро хочется, чтобы тот, другой, был рядом подольше. Это чувство печали исходило от душевного одиночества. В последние годы Светлана испытывала его острее. Особенно ночами, если оставалась одна...

Она протянула руку и коснулась плеча цыганки. И та легонько пошлепала ладонью по ее руке. И, желая чем-то отблагодарить Светлану за дружескую, непривычную для закаленного цыганского сердца волну, спросила тихо:

— Не знаешь, когда будут отмечаться на ковры? В Универмаге. Вдруг не успеем освободиться. Обидно. Столько отмечались.

И Светлана ее верно поняла. Дело не в коврах, не в коврах дело.

— По-моему, через пятницу.— Светлана убрала руку и вздохнула.— А муж-то не будет волноваться? Если дадут пятнадцать суток.

— Нет! — решительно воскликнула цыганка.— Если бы год дали или больше. Тогда бы он, может, и вспомнил. А так — нет, не будет. И сын уже большой... Вернусь, куплю ему шоколад.

В коридоре раздалась приглушенная стеной голоса.

— Судья приехал? Хорошо бы. А то торчи тут еще сутки. В тюрьме лучше. Кормят. И подушку дадут... Интересно, успеет мент пирожки принести? — вздохнула цыганка.

Светлана наклонилась к цыганке и проговорила торопливо:

— Слушай, у тебя есть булавка? Дай, я воротник подколю. Болтается, понимаешь, вещественное доказательство.

Цыганка мгновенно вытащила из волос приколку, протянула.

— Ты что! Золотая ведь,— отвела ее руку Светлана.

— Золотая? Тридцать копеек цена. В Грузии делают.

Светлана скинула пальто и принялась прилаживать воротник.

— Скажу, на живой нитке держался. Сама и подцепила... Знаешь, суду все важно, каждая деталь.

Едва она справилась с воротником, как дверь распахнулась. В проем просунулась круглая голова незнакомого милиционера.

— Кто Бельская? Пошли, ждут.

Светлана поднялась. Бросила на цыганку взгляд, улыбнулась, пожала плечами: мол, значит, я первая. Та ободряюще кивнула в ответ и тоже улыбнулась. Но как-то беззащитно... Почему первая, почему не вместе? Суд ведь...

Переступив порог камеры, Светлана сразу же увидела Платона Ивановича. Тот стоял посреди коридора с выражением безразличия на лице. Увидев Светлану, он раскинул руки и шагнул навстречу.

— Светик, милая, ты так напугала своего дядю!

Светлана поняла: ей предлагалась игра. И, судя по всему, игра эта может определить ее дальнейшее положение...

— К майору, к майору. — Милиционер продолжал возиться с замком.

Светлана вникала в каждое слово Платоши.

— Я привел твоего лечащего врача-гинеколога, Арнольда Алек-

сандровича. Он обеспокоен твоим состоянием. Ты должна была прийти к нему на прием вчера в семь вечера. Третья городская клиника...

Из распахнутой двери угловой комнаты доносились мужские голоса.

Майор, тот самый, который вчера составлял протокол, сидел за столом. Напротив в кресле расположился молодой человек с белым лицом и густой черной бородой. Светлана видела его впервые.

— Светлана Михайловна! Голубушка! — Молодой человек живо поднялся. — Ваш дядя ворвался ко мне в клинику чуть ли не плача...

— Здравствуйте, Арнольд Александрович, — потупилась Светлана. — Извините, я должна была быть у вас на приеме вчера...

— Как вы себя чувствуете? — оживился чернобородый, уяснив, что все в порядке, «пациентка» нафарширована.

Майор листал пухлую тетрадь и, казалось, не обращал никакого внимания на разговор Светланы с чернобородым. Перевернув обложку, он сдвинул тетрадь на край стола. Светлана подавила изумление, узнав свою амбулаторную карту из поликлиники.

— Да... Многовато для ее возраста. — Майор взглянул на чернобородого. — Считаете, что задержанная нуждается в медицинском обследовании?

— Да-да, сами понимаете... — с готовностью кивнул чернобородый. Он шагнул к майору, наклонился и что-то шепнул на ухо.

Лицо майора стало печальным, он посмотрел на Светлану как на безнадежно больную. В то же время в его глазах еще держалась тень сомнения.

Чернобородый раскрыл амбулаторную карту и ткнул ногтем в какую-то запись, которой окончательно сразил майора. Тот хоть и не стал читать, но кивнул в знак участия и сострадания. Душа майора разрывалась между долгом и великодушием.

— Хорошо, — сказал майор, сдаваясь. — Я не против. Но протокол задержания передам в суд. Обязан.

Майор приказал дежурному вернуть вещи задержанной Бельской.

— Проверьте. Все на месте?

Светлана раскрыла сумку, бегло осмотрела. Ондатровые шапки она вытаскивать не стала, чтобы не возбуждать лишних разговоров.

— Распишитесь, — предложил майор.

Светлана расписалась.

— И вы, — обратился он к чернобородому.

Молодой человек поставил подпись под словами «врач-гинеколог» и с предупредительностью вытянул из-под ладоней майора свое удостоверение.

Платон Иванович подобрал амбулаторную карту и сунул в карман.

На выходе им повстречался милиционер с пакетом, из которого выглядывали пирожки. Узнав Светлану, он перевел недоуменный взгляд на ее спутников и посторонился...

Прощаясь, чернобородый порекомендовал Светлане все-таки прийти к нему в консультацию во избежание накладок. Сел в автобус и уехал.

— Сын моего знакомого. И, кажется, неплохой врач. — Платон Иванович взял Светлану под руку.

— Как же тебе удалось с этой карточкой? Ну и проныра ты, Платоша! — смеялась Светлана.

— Сунулся в окошко. Сказал, что вы уже у врача, а карточку все не несут. Мне и выдали... Только надо немедленно вернуть. — Он достал из кармана амбулаторную карту и передал Светлане. — Просуньте в окошко регистратуры и уходите. Никто не спросит. Обратная сторона бюрократизма — полное равнодушие.

— Извини, Платоша... Так получилось.— Светлане не хотелось, чтобы ее расспрашивали о том, что произошло вчера в Универмаге.

— Что вы! Все в порядке... Но в суд, думаю, вас все-таки вызовут. Надо нанять адвоката...

— Ты так хорошо знаешь порядки, Платоша?

— С некоторых пор, Светлана Михайловна. Я не только хорошо знаю кодекс, но и чту. И стараюсь совершать поступки, которые если не духом, то буквой непременно соответствуют закону.

— А это? — Светлана лукаво встряхнула амбулаторной картой.

— И это. Дух закона, может быть, и нарушен. Чуть-чуть. А буква — нет... Надеюсь, что карточка будет на месте вовремя. К тому же вам, вероятно, надо обратиться к такому врачу.

Светлана почувствовала, как лицо ее залило жаром.

— Платоша... Что ты, в самом деле? «Вы» да «вы». Не слишком ли ты затянул? Или привык?

Платон Иванович крепко ступал узкими сапогами по вялому снегу. Бобровая шапка касалась на затылке элегантно бобрового воротника, скрывая седые, коротко стриженные волосы. Только на висках серебрились клиновидные острые мысочки...

Они расстались на углу Главной улицы и Моховой. Светлана потянулась и поцеловала Платона Ивановича в щеку, и поцелуй этот чем-то отличался от тех легких прикосновений, которыми она одаривала своего покровителя прежде...

Оказавшись один, Платон Иванович остановил такси и попросил подвезти его к универмагу «Олимп».

Сегодня он поднялся раньше обычного, озабоченный делами Светланы. Надо было успеть повернуть задуманное дело до суда. Иначе все усложнится. И он успел... Не затянулись ли его отношения с этой мелкой спекулянткой? Но Платон Иванович ничего не мог поделать с собой — Светлана была ему нужна. Одинокий и много повидавший на своем веку, Платон Иванович тосковал по искренней привязанности. Он хотел видеть рядом с собой молодость. Не ту, которая напоминала бы ему, что жизнь уже прошла. Не юную и предательскую, а именно такую, какую еще хранила в себе Светлана. Тертая, битая, она ценила бы спокойствие. И — еще одно! Именно то, чем занималась Светлана, могло без упреков примирить ее с прошлым Платона Ивановича. Они были одного поля ягода, правда разного сорта...

Такси остановилось за квартал до Универмага.

Четверть первого. Именно в это время к складам, размещенным в бывших каретниках, должен подъехать экспедитор Второй обувной фабрики.

Конечно, Платон Иванович мог и не приезжать сюда. Но слишком велико было любопытство...

Свернув на площадь, Платон Иванович увидел слоновий зад трайлера. Какие-то парни резво передавали друг другу по цепочке связки голубых коробок с обувью. Судя по виду, их наняли у ближайшего пивного ларька. «Молодец Сергей Алексеевич, — одобрительно подумал Платон Иванович о начальнике сбыта Второй обувной фабрики. — Не скупись. Понимает: дело не терпит задержек. Подсобницам-старушкам работы тут хватит на всю оставшуюся жизнь. Да и лишние глаза не нужны».

Платон Иванович приблизился к распахнутым воротам каретника.

У маленького столика притулился заведующий складом в синем ватнике. Он просматривал накладные. Рядом стоял парень с розовым лицом взрослого младенца. Это и был экспедитор фабрики.

Платон Иванович понимал, что Рудина договорилась с заведующим складом. Не тот товар, чтобы принимать его с таким смирением.

Да еще в таком количестве! Вообще заведующий отделом должен быть в тесном контакте со складом. Иначе какая работа?

— Что ж такое, Степан Степаныч! — отчаянно крикнула из пещерной глубины склада девушка-приемщица. — Куда такую прорву везут!

— Наше дело солдатское. Сказано: принять. Начальству виднее. — Заведующий складом взял очередную пачку накладных.

— Считай, считай! — весело бросил ей экспедитор.

— Шустри, девка, шустри! Горло пересохло! — торопили приемщицу наемники, передавая из рук в руки коробки. — А ну, дед, посторонись!

Платон Иванович вежливо улыбнулся и отошел от трайлера.

— Так и быть, куплю у вас пару этих г...давов, — пообещал приемщице парень в куртке. — На память о загубленной молодости.

— На том и кончится вся продажа, — ответила девушка.

Платон Иванович с любопытством заглянул в склад.

— Все! Сороковые кончились! Начинаем сорок первый! — раздался голос подавальщика.

— С сороковыми все! — передали по цепи. — Начинаем сорок первый. Все! Укладываем новый размер. Сорок первый!

Платон Иванович свернул за угол.

## 19

Ключник Степан Лукич Болдырев сидел на перевернутом ящике, положив на колени резиновый шланг. В случае если огонь вдруг проявит строптивость и вырвется из печи, Степан Лукич согласно инструкции должен будет «предотвратить распространение загорания на близлежащие предметы».

Степан Лукич любил смотреть на огонь. Жар прошибал валенки, поднимался от ног, подкатывал к животу. Мысли становились вялыми, полусонными. О дочери, о внуке. И зять вспоминал Степан Лукич, любил его не меньше дочери. В типографии тот работал. Хотел старик его в Универмаг устроить, да зять руками-ногами отбивался: «Ты зачем, дед, меня в торгаши заманиваешь? Хватит с нас, что сам поклоны бьешь комбинаторам всяким!..» Комбинаторам! Э-хе-хе, скажет тоже. Крутятся многие, это есть. Так, по чепухе. А чтобы всерьез, с размахом, о таком давненько старик не слышал.

Несведущий человек и не поверит, скажет: агитация-пропаганда. Опять же фельетоны всякие да карикатуры на торговых работников рисуют. Господи, прочтешь раз и диву дашься, как это их еще земля носит!.. А взять бы этих художничков да в «Олимп» запустить: глядите. На Аксакова Азария, что швейно-меховым везует. Усы гусарские отрастил и сам словно рыцарь гордый. Порядочнейший человек! Или, скажем, Антонян Юрий Аванесыч... А сами продавцы? Есть, конечно, прощельги, не без этого. Но как подметил Степан Лукич: человек порядочный — и работник добросовестный. И еще одно: кто Универмаг считает родным домом, тот редко идет на нарушение. Все равно что себя обманывать...

Степан Лукич глянул во двор. Вон как раз одна из таких идет, переваливается. Сударушкина Марья, командир туалетной бумаги! А что? Первое лицо по нынешним временам... Рыжий парик заведующей отделом канцтоваров, как всегда, сбился набекрень, что делало Сударушкину похожей на курицу.

— Что, Лукич, нет еще людей из обувного? — спросила Сударушкина.

Степан Лукич важно смотрел на огонь и молчал. Чего спрашивать-то, сама видит, что никого рядом. Он да печь — вот и вся компания...

— Верь этой Рудиной, — вздохнула Сударушкина.



Степан Лукич кивнул. Да, Рудиной особенно верить не следует.

— Чеки сжигать собралась? — спросил Степан Лукич. — Когда ж это у тебя переучет был? Не помню что-то.

— На той неделе и был. — Сударушкина не удивилась вопросу.

Любая сторона жизни Универмага воспринималась старыми сотрудниками как общая забота... Ключник и так знал, что сегодня «канцелярия» собралась чеки сжигать. Утром комендант предупредил: готовься. А что готовиться-то? Огонь, так вот он, полыхает. Не все ли равно, чем топить? Бумага, она и есть бумага...

Обычно чеки сжигали после очередного переучета. И Сударушкина все ноги сбила: бегала, собирала комиссию. А честно говоря, просто очевидцев, которые, поглазев на огонь, подписали бы акт.

— Как жизнь, Маня? — спросил Степан Лукич.

— Цвету-у-у. — Сударушкина пританцовывала, словно гася энергию, что бушевала в кособоком теле.

— Не соберешь свидетелей, давай я подпись приложу, — предложил ключник.

— Соберу. Сейчас придут, — зябко хлопала Сударушкина в ладоши. — Холодноовато что-то у твоего самовара.

— Власьевские морозы стучатся. Правда, они не больно ярятся, на весну поворачивает... Был такой великомученик, Власий.

— А ты верующий, Лукич?

— Верую. В денежные знаки крупного достоинства, — напужал на себя ключник.

— Болтун, — засмеялась Сударушкина. — Держал ты их в руках, знаки-то?

— Сколько раз! Помню, в войну садануло бомбой, стена рухнула, и деньги посыпались на снег. Их тогда неделями не кассировали. Видать, сейф своротило... Так бегали по двору, собирали. Кто в совок, кто по карманам пихал.

— И все до копейки собрали, — проговорила Сударушкина, не сомневаясь.

— А то! Главным кассиром тогда была Наташка Семицветова, она сейчас в «Заезжем дворе» директорствует. Умница, светлая душа... Все сокрушалась, что денег больше собрали, чем было...

С фанерным стуком откинулась дверь, и в проеме показался угол бумажного мешка. Потом и весь мешок, охваченный тонкими руками Нели Павловой. Под ярким платком сияли огромные ее глаза.

Вслед за Нелей вошли бухгалтер Шура Сазонова и старший продавец «канцелярии» Магда Васильевна, пожилая женщина с опухшими большими ногами. Она несла мешок поменьше.

— Вот и весь оркестр! — Сударушкина взглянула на ликующую Нелю и вздохнула. Лично против Нели она, как говорится, ничего не имела. Ее возмутила Рудина, приславшая на комиссию младшего продавца. Хотя бы товароведа, на худой конец. Конечно, отдел канцтоваров, кто его принимает всерьез...

Степан Лукич отбросил шланг, поднялся с ящика и призывно взглянул на членов комиссии: пора приступать к делу.

Женщины устали на огонь, улыбаясь своим мыслям. Суетливое пламя отражалось в зрачках, делая их лица чем-то похожими друг на друга. И Сударушкина уже справилась с негодованием против Рудиной.

Бледная большеглазая Неля пыталась выглядеть озабоченной, но это ей плохо удавалось.

— Прозрачная ты какая-то, — дружески проговорила Сударушкина.

— У меня кислотность нулевая, — с готовностью отозвалась Неля и захлебнулась в смехе. — Это что, а раньше сквозь меня газету можно было читать.

— И чего смешного? — проворчала степенная Магда Васильевна.

— А чего плакать? — не унималась Неля.

— Характер у нее такой, — заметила Шурочка Сазонова.

— Ага, — подтвердила Неля. — Характер у меня такой.

— Не наговаривай на себя. — Магда Васильевна покачала головой. — Не стыдно? Ведь красивая.

Женщины взглянули на Нелю и дружно кивнули.

— Хотела сама поднести большой мешок. Нет, говорит, дайте мне. — Магда Васильевна зарылась носом в платок.

— Разве это тяжесть? — проговорила Неля. — Сейчас таскаем обувь Второй фабрики. Каждая пара тонну весит, руки отваливаются.

— А чего их таскать-то? — подал голос Степан Лукич. — Кто их берет? Перекладываете с места на место — вот и вся торговля.

— У вас вообще творится непонятное в отделе, — заметила бухгалтер Сазонова. — Как бы весь «Олимп» не подвели. Плюсовая сальдовка который день держится. Гром с ясного неба.

— А что это значит? — поинтересовалась Неля.

— А то. Взяли с фабрики обувь, выплатили им огромные деньги, а продавать не продаете.

Неля испуганно посмотрела на бухгалтера, словно от этой хрупкой женщины зависело благополучие отдела...

Покончив с первым мешком, комиссия принялась за второй.

Когда расправились и с ним, Сударушкина вытянула из папки бланк, и члены комиссии поочередно поставили свои подписи под актом.

Никто и не заметил, как подошла Рудина.

— Ну, как мои лучшие кадры? — бодро произнесла Стелла Георгиевна.

Сударушкина покачала головой, показывая, что она на нее не сердится, прошло. Рудина улыбнулась всем сразу и собралась было идти дальше, но Сазонова тронула ее за рукав. На мгновение лицо Рудиной подернулось едва уловимой тенью. Но только на миг. И вновь она мягко, доброжелательно смотрела на Сазонову.

— Вы получили сальдовку со счетной станции? — спросила Сазонова.

— Получила. — В тоне Рудиной звучало спокойствие за дела, которыми она занимается. Да и не вчера пришла она в торговлю, знает что к чему.

— И тем не менее, Стелла Георгиевна, — проговорила Сазонова, — все отделы сообщили нам о состоянии товарных остатков, а вы задерживаете. Чего доброго, столкнете нас с банком. Лисовский этого не любит.

Рудина безмятежно улыбнулась и отошла. На душе у нее было спокойно.

Штабс-капитан в отставке Януарий Лисовский умер в возрасте пятидесяти пяти лет, оставив жене Ванде троих детей, младшему из которых, Мише, было два года.

Помимо скудного наследства штабс-капитан передал своим детям предрасположение к сахарному диабету. Правда, старшая дочь Наталья удачно проскочила критический рубеж, и болезнь настигла ее уже в преклонном возрасте. А вот средний брат, Дмитрий, и особенно младший, Михаил, заболели рано...

У Лисовских была пятикомнатная квартира на Моховой улице.

С годами семья разрасталась. Наталья с мужем и детьми заняла две комнаты. Дмитрий дважды женился. Первая жена его после развода так и осталась на Моховой в одной из комнат. Куда и вселился ее новый муж, крикливый инженер-путеец. Инженер оказался весьма достойным человеком, несмотря на вздорный характер. Он сошел-

ся во взглядах с младшим Лисовским, подружился и пронес эту дружбу через годы. А вот вторая жена Дмитрия, женщина чванливая, язвительная, перессорилась со всем семейством и поставила в прихожей свой электросчетчик. Дмитрий, добряк по натуре, вначале конфузливо заглядывал в глаза сестре и младшему брату, потом замолчал и стал пить. В запое он не буянил, а мирно спал за ширмой...

В итоге всех этих жизненных катаклизмов глава семейства старая Вада оказалась в одной комнате с Мишей. Собственно, это была ее комната, но Михаил Януарьевич Лисовский упорно не желал переезжать в выбитую ему Универмагом квартиру. Скучал он там, в новостройках, маялся. И жил с матерью. А квартиру ту отдали пережившимся племянникам.

Комната старой Ванды вся была заставлена книгами. Книги — часть наследства покойного штабс-капитана — отошли младшему Лисовскому как человеку, не обремененному семьей. В те времена на них еще не смотрели как на состояние. К тому же Михаил Януарьевич был книголюбом. Библиотеку отца он приумножил, дополнив уникальными изданиями по специальным финансовым вопросам. Несколько раз профессиональный бухгалтер Михаил Януарьевич принимался пересчитывать и систематизировать свою библиотеку. Но бросал, не выдерживал марафона.

Кроме книг, огромная комната была знаменита тем, что в ней пухлым бордовым парашютом парил абажур.

— Ах, боже мой, настоящий абажур! — восклицали те, кто впервые попадал в эту комнату.

Михаил Януарьевич пожимал мягкими плечами. Да, дескать, абажур...

— Послушайте, почему их перестали выпускать? — обращались гости к хозяину, главному бухгалтеру Универмага.

— Ку-да-а-а,— проникала в разговор старая Вада. — Небось комнаты сицяс тють больше моего сундуца.— И она касалась ладошкой сундука, в котором свободно можно было разместить современную малагабаритную квартиру.

А вчера в отсутствие Михаила Януарьевича сосед, инженер-путеец, затащил в комнату опытного книжного маклака. Ради интереса.

Маклак медленно обвел взглядом стены, откинул крышку сундука, поднял пудовый том полного собрания сочинений господина Мольера, изданного Брокгаузом, и застонал от вожделения.

— Тысячи! — воскликнул маклак. — Через год это будет стоить миллион. Впервые вижу всю двадцатку. В сундуке! Ах!

— Двадцатку? — переспросил инженер-путеец.

— Двадцать томов. «Библиотека великих писателей». Редкая картина.

Подошедший Михаил Януарьевич спустил маклака с лестницы.

— Безумцы! — орал маклак. — Заставили стены золотом, а живут, как мыши. Безумцы! — Крик его утонул в сыром колоде подъезда старинного дома...

— Мне хватает этих типов на работе,— сказал Михаил Януарьевич.

— Я хотел знать, на каком ты свете,— весело отвечал бузотер-путеец.— Выпьем, Миша! Ты наш Ротшильд. Нет хорошего пожара, чтобы ты задумался. Или ждешь, когда вновь взвинтят цены?

— Дал бы я тебе по вые, но я тебя люблю,— вздохнул Лисовский.

Потом они разостлали клеенку на плюшевой скатерти круглого стола. Михаил Януарьевич водрузил графинчик. Путеец, озираясь, внес из коридора банку маринованных грибочков собственного засола. Вада достала из холодильника сыр. Она не отставала от компании и с годами как-то смягчила свое отношение к водочке...

Им нравились такие импровизированные посиделки. Добрый абажур бросал на лица прозрачные тени. В просторные окна, прощаклеванные на зиму ватой, колотились снежинки...

К ним присоединился и Дмитрий Януарьевич. Он как-то покорно воспринимал путейца, мужа своей бывшей жены. То ли вторая жена, стерва, отбила у него всякое чувство мужской гордости, то ли он просто был философ... Скорее всего его привлекала возможность выпить на дармовщинку.

Дмитрий Януарьевич сел с краю, сложил руки и ждал, когда поднесут.

— Погоди, Дмитрий! — добродушно обещал крикун-путеец. — Я тебя напою, а опохмелиться не дам.

Дмитрий Януарьевич лишь улыбался мягкой виноватой улыбкой. В такие минуты он разрывал сердце старой Ванды. Все дети и внуки у нее вышли в люди. Старшая, Наталья, — серьезный ученый-математик. Мишка — главный бухгалтер, голова, каких мало. Внуки — инженеры, врачи. А Дмитрий хоть и конструктор, а вот какой-то сломанный.

— Ты вот что, паловоз, — приструнила путейца старая Ванда. — Принес глибоцки и молци. Тозе мне хозяин выискался на Митрия... Луцсе послушай, что Миска расскажет. — И, повернувшись острыми плечиками к младшему сыну, взглянула на него слезящимися глазами.

Михаил Януарьевич не торопясь разливал водку в граненые рюмки.

— Пить грех, — говорил он.

— Глех, глех, — подхватывала Ванда. — Сколо пелед богом стоть. А что я ему сказу?

— Вы, мамаша, до страшного суда дотянете, — ободрил путеец. — По лестнице за вами не угнаться.

Дмитрий Януарьевич тихо улыбался. И, не дожидаясь, опрокинул рюмку. За ним выпили и остальные...

— Ну скажи, не томи душу. — Путеец повернул к Михаилу Януарьевичу круглое веселое лицо. — На кой тебе сдался этот Мольер! Такой кирпич. Им же костыли можно забивать.

Михаил Януарьевич поднялся с кресла, широко развел руки, словно пытаясь обнять абажур, и, подвывая низким голосом, продекламировал:

Лишь посмотри кругом, как род людской живет!  
Везде предательство, измена, плутни, льстивость.  
Повсюду гнусная царит несправедливость...

Он умолк и, справившись с проклятым дыханием, манерно раскланялся на обе стороны и налил себе еще водки.

— Сам сочинил? — поинтересовался зрудит-путеец. — Барахло. Тоже открыл Америку.

— Классика! Сочинение господина Мольера! Комедия «Мизантроп». Триста пятьдесят лет читают люди и восхищаются. А ты — «барахло». — Его глаза устало темнели. — Черт-те что! На работе крутишься-вертишься. Еще в суд ездил, там забот по горло с экспертизой. Возвращаешься домой, и тут на тебе — алкаши-надомники...

— Какие же мы алкасы, Миська? Болтаесь сам не знаесь чего, — обиделась старая Ванда. — Пообедать надо? Я счас суп плинесу. — Она обернулась к мужчинам. — А ну ступайте к себе! Ис какие! Обедом вас колмить не стану, к зёнам ступайте!

— Ну что ты, мама, в самом деле, — встрепенулся Дмитрий и тронул брата за полу пиджака. — А что за экспертиза? Интересно.

— Любопытно, — кивнул Михаил Януарьевич. — Ловчат люди.

Путеец решил было отправиться к себе, но передумал и плотнее вдвинулся в глубокое кресло.

Михаил Януарьевич сел, придвинул банку с грибами. Скользкие мелкие грибы увертывались, соскальзывали с вилки...

— В общем-то, ничего особенного, но любопытно,— произнес Михаил Януарьевич.— Знаете ресторан «Созвездие»?

— Еще бы,— подхватил Дмитрий Януарьевич.— Кто ж его не знает.

— Я не снаю,— ввернула старая Ванда.

— Ну ты, мама... Помнишь кафе «Монпарнас», на холме? — мягко подсказал Дмитрий Януарьевич.— На его месте теперь ресторан.

— А кафе куда подевали?

— Сломали. Лет десять как,— терпеливо разъяснил Дмитрий Януарьевич.

Путеец повел недовольным взглядом в сторону еголивой старухи.

— Так вот,— продолжил Михаил Януарьевич.— Месяца три назад нагрянули в этот ресторан ревизоры и обнаружили в буфете значительное превышение полученных со склада товаров над вырубкой.

— От палазиты! — вставила Ванда, ничего пока не понимая.

— Потянулась веревочка. И вышли на заведующего складом ресторана. Опечатали склад, провели инвентаризацию. И обнаружили огромную недостачу. Предъявили обвинение кладовщику. Тот все отрицал. Даже пытался повеситься, из петли сняли в изоляторе.

— Бозе мой! — не выдержала Ванда.— Мозет, и вплямь не виноват?

— Следователь тоже считает, что парень только ширма. По неопытности...

— Что он, не видел, что подписывает? — перебил путеец.

— В том-то и дело. Мальчишка! Что давали, то и подписывал. Они, хитрецы, что придумали: все товары — и крупные и кухонные изделия — через склад оформляли. Хоть кухонные-то можно было прямо в буфет направлять, минуя склад.

— Ну а бухгалтер что? — спросил Дмитрий Януарьевич.— Страж!

— Бухгалтер там всем и крутила. Копии накладных вручала парню. А через месяц при сверке прихода буфета и расхода склада изымала. И уничтожала. Говорила этому желторотику, что теперь, дескать, тебе они не нужны.

— От палазитка! — переживала Ванда.— Дулацок он, дулацок.

— Ну а буфетчик-то, он куда смотрел? — пытался разобраться путеец.

— Буфетчик был в деле. По суду проходит. Он уничтожал накладные на кухонную продукцию, полученную со склада. Продукцию реализовывали, а деньги — в карман. И делился кое с кем.

— Цто зе полуцается? — напрыглась Ванда.

— А то,— терпеливо пояснял Михаил Януарьевич.— Со склада ушли, в буфет не пришли. Кто отвечает? Кладовщик! А он клянется, что ни ухом ни рылом, как говорится. В петлю лезет.

Старая Ванда проворно поднялась.

— Батюськи! Суп-то, суп... Погоди, на ласказывай, я мигом.

Протягивая по полу шлепанцы, она вышла из комнаты.

Дмитрий Януарьевич встал из-за стола, сделал по комнате несколько кошачьих шагов. Остановился, к чему-то прислушиваясь. Приоткрыл дверь, выглянул в коридор. Путеец толкнул локтем Михаила Януарьевича, подмигнул, кивая на брата.

— Пусть,— одернул Михаил Януарьевич.— Что ты тиранишь его?

— А противно,— прошептал путеец.— Что он ее боится? И трезвый и выпимший. Это ж надо...

Дмитрий Януарьевич отошел от двери. В уголках его большого рта приоткрылась легкая довольная улыбка.

— Телевизор смотрят. Хорошо-о-о.— Он сел на место, взял ломтик сыра, поднес ко рту и, взглянув на младшего брата, проговорил: — Ну а дальше что? С твоими жуликами из ресторана.

— Успеется. Мать подождет. — Михаил Януарьевич укоризненно взглянул на брата.

Тот смутился и приутих.

Дверь отворилась, и в комнату вернулась старая Ванда, держа в руках судочек. Сухонькая, крепкая, трудно было поверить, что ей далеко за восемьдесят. Кажется, что бог из любопытства поддерживал в ней огонек жизни: когда же надоест ей самой земное существование? Но, судя по всему, его любопытство будет удовлетворено не скоро...

Маленькое сморщенное личико Ванды лукаво улыбалось.

— Ну! Ласкал свою стласную истолию?

— Нет. Тебя дождался, — улынулся в ответ Михаил Януарьевич.

Мать была единственным существом, к которому он, старый холостяк, был привязан всей душой. До самозабвения. И мать платила ему своей заботой и долголетием. Она понимала, что без нее Михаил осиротеет и пропадет. Особенно с его проклятой болезнью.

— Холосо. Садитесь все. Я и вам супа налью. Только сидите смильно. А ты, Миська, ласкал!

Путеец и Дмитрий Януарьевич послушно заерзали в своих креслах, всем видом обещая сидеть смильно. Стараясь не греметь, Ванда ловко расставила тарелки, достала из буфета тяжелые серебряные ложки.

— Да рассказывать-то, собственно, больше и нечего... Поскольку кладовщик не признал недостачу, а буфетчик отказывался в получении товаров на сумму хищения, суд назначил судебно-бухгалтерскую экспертизу. Вот я ее и провожу за два рубля в час.

Михаил Януарьевич зачерпнул супу и поднес ложку ко рту. Лицо его исказила благостная гримаса. Путеец и Дмитрий Януарьевич зачмокали, засопели, закивали седыми головами, всем своим видом выражая полную солидарность... Несколько минут они ели молча, наслаждаясь крупной восковой фасолью, изумрудным узором веточек петрушки, пятаяками янтарного жира на прозрачной толще супа, сквозь которые, как сквозь увеличительное стекло, проявлялось дно старинных тарелок, расписанных картинами на античные темы.

— Хорошо сидим, — одобрил путеец.

— Ага, — тихо подтвердил Дмитрий Януарьевич.

— Так сколько же они заглабастали денег-то? — спросила старая Ванда и толкнула локтем Михаила Януарьевича.

— По первым прикидкам не менее двухсот тысяч за четыре года. Три ложки замерли в воздухе, а Михаил Януарьевич продолжал спокойно есть.

Путеец тяжело вздохнул, словно эти деньги вытащили у него из кармана много лет назад и теперь он вдруг вспомнил об этом.

— Да-а-а... Как же ты это обнаружил? Сам сказал, что накладные уничтожили.

— Есть способы. На то я и эксперт... В основном по черновым записям бухгалтера. Ну и женщина, я вам доложу. Отсидит, выйдет — к себе возьму. При хорошем присмотре горы свернет...

— Как же по черновику-то? Мало ли что там можно накалякать! — все не верил путеец.

— При подобной экспертизе черновик имеет силу документа. Она вела двойную бухгалтерию. Одну для кладовщика, фиктивную, вторую для себя, истинную. ОБХСС нагрянул неожиданно. Она не

успела уничтожить черновики. Целые тома. На даче нашли, в полной сохранности.

Помолчали. Путеец развалил ножом кусок вареного мяса, обильно посолил и поддел вилкой.

— В день они имели порядка полтора ста рублей. Почти мой вклад,— произнес он.— На сколько же это человек?

— По делу проходят трое, кроме кладовщика.

— Бухгалтер, буфетчик, директор,— догадливо перечислил путеец.

— В том-то и дело, что директора нет. Директор в стороне. Все бумаги подписывал его зам. И на кладовщика давил зам. А директор вроде бы ни при чем.

— Голова! — восхищенно произнес Дмитрий Януарьевич.

— Ну! Аркадий Савельич Кузнецов. Хозяин!

— Хозяин, хозяин. Как же он эту абехеес допустил-то? — засомневалась Ванда.— Видать, сам хотел.

Михаил Януарьевич вскинул глаза на мать. Ее слова молнией озарили темные нагромождения путаного дела, мучившего его вот уже столько дней.

— Как ты говоришь, мама? Сам хотел?!

— А цё? Если он такой богатый и знакомства имеет. Неусто допустил бы левизию, да ещо незиданно? Стало быть, хотел. Суд-то его не судит. То-то...

«Хотел, хотел... Сам хотел Аркадий Савельевич,— размышлял Михаил Януарьевич.— Но зачем? С какой целью? Подкладывать бомбу под свой дом и наблюдать за взрывом из шалаша. Месть? Такие люди выше мести».

И робкий эфир разгадки, уже, казалось бы, щекотавший нос, рассеялся, оставляя томящую досаду...

Дмитрий Януарьевич и инженер-путеец разошлись по своим комнатам. Старая Ванда принялась убирать со стола. Михаил Януарьевич бросил в изголовье тахты подушку. На ночь укладываться еще рано. Да и дела ждали. Надо было просмотреть кое-какие бумаги. Но сегодня он устал, да и чувствовал себя неважно, перетруился.

Мысли, связанные с экспертизой, не оставляли его, принимая несколько иное направление. Какое отношение имеет Фиртич ко всей этой истории? То, что он связан с Кузнецовым, несомненно. И неожиданный ночной звонок, когда Фиртич сообщил о полученном разрешении на продажу ресторану шерсти. Чем он был вызван? Возможно, Фиртич узнал, что его главный бухгалтер назначен экспертом. И хотел дать понять, что судьба Кузнецова ему небезразлична. Почему он позволил Кузнецову то, чего никогда ни при каких обстоятельствах не позволил бы ни один директор Универмага: продажу пирожков в торговом зале? Мелочи? Нет, не мелочи. Фиртич чем-то обязан Кузнецову. Но чем? Впрочем, Лисовскому показалось, что сообщение об экспертизе было новостью для Фиртича. И новостью настораживающей. Не потянет ли следствие какие-то другие махинации Кузнецова, в которых замешан и директор Универмага?

— Миська! Ты не уснул? Я пойду к Наталье телевизол глядеть,— произнесла Ванда.— А ты смотли не зевни свой укол.

Обычно в восемь вечера Лисовский вводил себе инсулин, животворный спутник треклятой болезни. Колетсья уже столько лет, а мать всегда ему напоминает...

Ванда вышла из комнаты.

Пронзительная тишина высоким звоном заложила уши, сковала мозг, смежила веки... И еще одна забота тревожила главного бухгалтера универсама «Олимп», занозой вцепившись в память. Бухгалтер Сазонова (ох эта бухгалтер Сазонова!) обратила внимание на рост товарного остатка по обувному отделу. Откуда он взялся — непонятно. Отдел работал довольно устойчиво. Полученный товар

оборачивался быстро. А тут вдруг наметился разрыв. Первый сигнал поступил еще вчера с машиносчетной станции. Лисовский как-то не придавал этому значения. Сегодня же к полудню индекс разрыва подскочил. Так и держался до вечера. Конечно, ничего тревожного пока нет. Мало ли. Завезли неходовой товар. Но все равно почему-то среди всевозможных вопросов именно внезапный рост товарного остатка по обувному отделу запал в его память...

Тишину комнаты нарушили приглушенные стеной голоса. «Дмитрия за посиделки прорабатывают,— вздохнул Михаил Януарьевич.— Бедный мой брат, не повезло ему со второй женой».

Сам Михаил Януарьевич так и не сподобился стать мужем. В молодости он считался завидным парнем — красивый, остроумный. Но с четвертого курса Финансового института ушел на фронт, в пехоту. Был ранен, долго лечился. После войны окончил институт, поступил в управление торговли. И наконец в «Олимп»... Михаил Януарьевич не был аскетом. Но и не увлекался. Года три он состоял в неофициальном браке с одной женщиной. Врачом. По какому-то необъяснимому капризу та не желала оформлять их отношения. И в один прекрасный день порвала с Михаилом Януарьевичем. Может быть, она чувствовала, что Михаил Януарьевич не очень огорчится разрывом. И действительно, работа, необременительные знакомства довольно быстро превратили трехлетнюю связь в смутные воспоминания. Однако новых долгих увлечений больше не возникало. Присутствие матери смягчало одиночество и даже создавало определенные удобства. А с годами вопрос женитьбы отпал сам собой...

Шум за стеной то нарастал, то стихал. Как прибор. Видно, Дмитрию здорово доставалось. Никто из домашних, наученные опытом, в их дела не вмешивался, даже сама Ванда. «Так ему, дулаку, и надо,— говорила она.— Оставил холосую зенсину, связался с гадиной». Хотя, по правде говоря, первая жена сама бросила Дмитрия. Но Ванда не хотела этого признавать.

Михаил Януарьевич изловчился и пристроил подушку таким образом, что она углами прижалась к ушам. Вот и вновь тишина...

Он даже не слышал звонка в передней. Лишь сквозь дрему почувствовал, как его тормошат за плечо:

— Миська! К тебе человек.

Михаил Януарьевич поднял глаза на мать, стоящую у изголовья.

— Какой человек?

— Не знаю. Толстый. В плихозей субу снимает.

Михаил Януарьевич никого сегодня не ждал. А тем более директора ресторана «Созвездие» Аркадия Савельевича Кузнецова...

Высокий, тяжелый, в мешковатом пиджаке с отвисшими карманами, Кузнецов вошел в комнату. В руках он держал старенький портфель.

— Вечер добрый! — громко приветствовал он удивленного Лисовского, так и не успевшего подняться с тахты.

Старая Ванда повела рукой: вот он, мол, Михаил, разговаривайте. И вышла, плотно прикрыв дверь.

— Не ждали,— улыбнулся Кузнецов.— А я без приглашения. Дай, думаю, зайду к Михаилу Януарьевичу. Столько лет знакомы — и все вокруг, а не в яблочко.

Лисовский уже оправился от неожиданности. Поднялся. Придвинул гостю кресло, сам вернулся к тахте.

— А книг-то, книг! — воскликнул Кузнецов, оглядываясь.— Сколько ж это у вас книг?

— Не знаю. Тысяч пять, может, боле,— сухо зато ответил Лисовский.

— И абажур. Вечность не видал абажура. Сколько ж ему?

— Да постарше меня.



— А сохранился лучше.— Кузнецов дружески подмигнул.— Стареем мы с вами, Михаил Януарьевич.

Лисовский насупленно молчал.

Кузнецов пока чувствовал себя не в своей тарелке. Холодок приема сковывал его, хотя он и предполагал, что особого радушия не встретит. Но Кузнецов не был застенчив, к тому же он пришел не в гости, Лисовский это понимает...

— Извините, я ненадолго вас оставляю.— Михаил Януарьевич взял с подоконника бокс для шприца, достал ампулу инсулина.

Кузнецов сочувственно кивнул.

Вернувшись, Лисовский увидел на столе бутылку дорогого коньяка, коробку конфет, напоминающую размером детский настольный бильярд.

— Вот рюмки придется позаимствовать, не прихватил.— Улыбка не покидала широкое лицо директора ресторана.

— Ну, рюмки-то мы найдем.— Казалось, Лисовский ничуть не удивился. Он подошел к шкафу, достал две рюмки.— Жаль, конфет мне нельзя,— произнес он, с восхищением рассматривая коробку.— Никогда таких не видел.

— Не пропадут. Мать угостите... Кстати, Михаил Януарьевич, сейчас появилось новое лекарство от диабета. Таблетки под язык — и никаких тебе уколов. Японское. Не считите за назойливость — завтра доставлю. Одна упаковка на год.

— Слышал, слышал. Буду весьма признателен.

Лисовский придвинул стул и сел напротив. Кузнецов скрутил пробку плоской бутылки и плеснул в рюмку коричневую жидкость.

— А запах-то, запах! — Лисовский придвинул к себе рюмку.

— Ну! Королевский настой. Травку туда засадили. Вроде женьшеня, что ли. От всех болезней снадобье.

— А что, бережете здоровье? — обронил Лисовский.

— Много прожил, мало осталось. День как миг. Вот и берегу.— Кузнецов сделал вид, что не уловил иронии.— Ну! Со свиданьем!

Лисовский пригубил коньяк. Густой, точно патока, он лип к зубам, горячил небо, ласкал язык. Даже не хотелось глотать. Глаза сами собой прикрывались в блаженстве...

— Какая роскошь,— произнес Лисовский.— Небось всю зарплату угрохали?

— Для нужного человека ничего не пожалеешь,— кивнул Кузнецов.— У меня для вас еще подарок припасен.

— Большой?

— Нет. В карман уместится... Ежели умело сложить.

Кузнецов наклонился к портфелю, достал пакет, завернутый в газету и стянутый черной аптекарской резинкой.

— Тут пять тысяч. Не трудитесь считать. В сотенных купюрах.

Голубые глаза Лисовского сощурились. Он зашелся в кашле. Впервые за весь вечер. Вытащил платок, прижал ко рту. Кузнецов отвел глаза к разноцветным книжным стенам...

Лисовский утер губы, провел ладонью по остаткам рыжеватых волос.

— Мало,— произнес он.

Кузнецов кивнул, наклонился к портфелю и достал еще одну пачку.

— Столько же. Не трудитесь считать.

— Таскаете с собой такое состояние. Не боитесь?

Кузнецов выпрямился, развернул молодежато плечи.

— Кончилось время, когда я боялся. Теперь меня боятся.

— Так-так... И за что мне такое уважение, разлюбезный Аркадий?

— Услуга за услугу. Мне нужно, чтобы несчастная вдова не оставила сиротами своих детей.

— Имеете в виду бывшего бухгалтера ресторана «Созвездие»?

— Именно! — резко перебил Кузнецов. — Экспертиза может подвести ее к статье сто семьдесят второй — халатность, вместо девяносто третьей — хищение в особо крупных размерах.

— Хотите, чтобы она вместо пятнадцати получила три года?

— Ради детей, — кивнул Кузнецов.

Его глаза смотрели на Лисовского твердо, не мигая.

— А как же быть с ее двумя подельниками?

— Выскочит она, выскочат и остальные.

— Кроме паренька-кладовщика.

— Это особый разговор, — вздохнул Кузнецов. — Я подумаю о его судьбе. Придется повозиться... Ну, выпьем! — И он плеснул в рюмку коньяка. — Есть у меня в Крыму приятель. Тот сам настаивает коньяк, для себя. Что это за прелесть...

— Да, — подхватил Лисовский. — Помню, в войну... Мы вошли в маленький чешский городок. И старичок чех угощал нас вином. Ну я вам доложу! До сих пор помню вкус... А где вы воевали?

— Третий Украинский. Был ранен под Белградом. Легкое пробило.

— Значит, вы почти всю войну прошли?

— А как же! — загорелся Кузнецов. — Четыре ранения. Три ордена. Окопник!

— И в штыковую ходили?

— Три раза.

— Я всегда поражался людям, которые ходили в штыковую. Верх человеческого духа.

— Три раза... Первый раз не по себе было. А потом уверовал в свою звезду. И ничего, везло, — засмеялся Кузнецов.

— И до сих пор везет, — засмеялся вслед Лисовский.

— Не жалуясь, — хохотнул Кузнецов.

— Еще бы, — не успокаивался Лисовский.

Оба чем-то были похожи друг на друга. Высокие, громоздкие. Только у Лисовского серый, болезненный цвет лица. В то время как Кузнецов со своей прической ежиком, похожей на белую щетку, выглядел даже спортивно, несмотря на бесформенный костюм...

Успокоились. Кузнецов наклонился, застегнул портфель, собираясь уходить. Лисовский подобрал пачку, положил на нее вторую.

— Забавно. Миллионы проходят за моей подписью, а чтобы так держать в руках живые десять тысяч — не было.

— Вот и держите крепко.

— Послушайте, Аркадий Савельич. — Лисовский поднял рюмку, сделал глоток. — Почему вы решили, что я возьму эти деньги?

— Потому что десять тысяч.

— Знаете, мне, дураку, за шесть десятков прожитых лет казалось, что крупные взятки дают каким-то особым, сложным путем.

Кузнецов разогнулся, поднял портфель, поставил на колени.

— Так ведь я человек простой, Михаил Януарьевич. Простой! А простота, брат, это ключ ко всему. У других — комплексы, рефлексии. В лице меняются, заикаются, не знают, куда положить, чтобы и видно было и не пропало... Ты — мне, я — тебе. И концы! И вся философия. К тому же, брат, ради детей стараюсь. Святое дело!

— Ради детей... Кха-кха-ха, — опять зашелся в кашле Лисовский.

Кузнецов поднялся, пережидая. Протянул руку, погладил абажур.

— Что ж это вы, Аркадий Савельич, — отдышался наконец Лисовский. — Ради детей... А сами ревизоров напустили на свое хозяйство.

Сквозь смуглоту щек Кузнецова проступила бледность. Он резко отдернул руку от абажура. По комнате накатом поплыли тени.

— С чего это вы так решили? Слова-то, Михаил, обдумывать надо.

— А как же, Аркадий... С такими-то деньгами — и вдруг ревизоров допустили? Стало быть, нужно вам было. Только для чего, не пойму?

— Так зачем мне было сюда являться? Уговаривать вас!

— Зачем? И верно... Не думали вы, Аркадий Савельич, что ОБХСС черновики прихватит. Бухгалтер ваш их на даче хранила. А те молодцы раз — и туда сиганули. Вот и всплыла статья девяносто третья, часть первая. Хищение в особо крупных... Вы, Аркадий Савельич, и поняли, что ей терять нечего: потянет она вас, чтобы себе участь признанием облегчить. Поворот для вас неожиданный, может, вы о черновиках тех и знать не знали... Вот и прискакали ко мне... То-то...

Кузнецов выпятил толстые губы, покачал головой и засмеялся.

— Ты что, старый! Я ведь чист в этом деле, сам знаешь. Нигде моей подписи нет. В одном моя вина: приказал через склад кухонные изделия проводить. Для лучшего контроля. А нечестные люди этим воспользовались. Выговором, на худой конец, отделаюсь...

— Ну, это суду решать, не мне, — прервал его Лисовский.

Он придвинул к себе портфель Кузнецова, раскрыл и швырнул туда деньги. Защелкнул замок.

— Неси обратно, Аркаша. Может, кому и сунешь, ты мужик головастый. Всплывешь еще, если не расстреляют, — с какой-то леницей в голосе проговорил Лисовский. — А от меня пощады не жди. Потому как ты мне враг номер один, Аркаша. Так-то.

Глаза Лисовского налились кровью. Лицо покрылось темными пятнами, а руки — большие, мясистые — вздрагивали.

— Бог даст, Аркаша, я еще дотумкаю: с чего это ты надумал собственный дом поджечь? Неделю мне еще возиться над экспертизой, если не более. Накрутил ты там, Аркаша, накрутил.

Кузнецов поднял портфель, подержал, словно пробуя вес.

— Дурак ты, Мишка. Десять тысяч! Больше бы дал хоть раза в два. — В голосе Кузнецова еще теплилась надежда. — Все равно откуплюсь. А ты с носом останешься...

Лисовский чувствовал, что кашель вновь сейчас его скрутит. Уже подкатывал к горлу шершавым неотвратимым комом. И он проговорил торопливо, на одном выдохе:

— Коньяк оставь. И конфеты. Мать порадую. Гонорар за визит. Тайну твою тебе приоткрыл. Стоит этих царских конфет?

— Стоит, — кивнул Кузнецов.

Он остановил абажур, взял портфель и вышел, не простившись...

Такой кашель давно не сотрясал большое тело Михаила Януарьевича. Сухой, раскатистый, он чередовался с трубным звериным воем... Михаил Януарьевич присел на тахту. Книги, фотографии, шкаф — все плыло перед глазами. Потом дверь растворилась, и в комнату вошел Дмитрий. Он хотел было подать воду, но Михаил остановил его жестом.

Кашель выдыхался, редел. Михаил бессильно откинулся на спинку тахты.

— Знаешь, кто сейчас приходил? — спросил он. — Директор ресторана. Взятку принес.

Дмитрий Януарьевич молчал, опустив плечи и бессмысленно глядя в пол.

— И знаешь сколько? — продолжал с какой-то радостью в голосе Михаил Януарьевич. — Десять тысяч. И коньяк с конфетами.

Дмитрий Януарьевич поднял лицо. Видно, только сейчас он заметил бутылку и раскрытую коробку. Встал, подошел к столу. Поднял бутылку, встряхнул. Медленно, точно в каком-то гипнотическом сне...

— Не могу я больше, брат,— проговорил он глухо.— Убью я ее... Что за баба окаянная.

— Зачем же убивать? Разойдись,— произнес Михаил Януарьевич.

— Люди живут, работают... Поступки совершают, понимаешь, брат. Поступки! Десять тысяч денег тебе принес. Разве это не поступок? Пусть шкуру спасал свою. Но, видно, натворил он дел, раз такие деньги принес... А ты? Прогнал его. Тоже поступок! Я не ставлю вас на одну доску. Подлец он, ясное дело. Но — поступок, понимаешь... Ты, Мишаня, человек. А я — ничто. Сам себе противен. Ни на что не способен... Сколько помню себя — все подлаживался под начальство. С самой отчаянной глупостью соглашался. Потерял уважение сослуживцев. Потерял уважение близких. Даже собственной жены...

— Да ты что, брат! — воскликнул Михаил Януарьевич.— Опомнись, Митя. Бывает, и хуже живут.

— Ну живут, ну и что? Разве мне от этого легче?.. Что был я, что не был. Пустое место. О-хо-хо... Тяжко! Иной раз кажется: помру, положат меня в гроб, а возьмутся хоронить — и некого. Пустота, смрад один...

Михаил Януарьевич смотрел на брата немигающими выпуклыми глазами. Нет, не пьяный Дмитрий, прорвало его. Истерика. То ли жена до точки довела. То ли вдруг в душу свою заглянул... Жаль Дмитрия — добрейшая душа. Верно говорят: характер — это судьба.

## 21

Последний день месяца выпадал на воскресенье. И если бы дьявол задумал подстроить каверзу для работников торговли, худшего бы он придумать не смог...

Светом полыхали окна управления. Не гасли огни и в административных помещениях универмагов и многих крупных магазинов города.

До режимного закрытия — девяти часов — оставалось час сорок минут. Начальник Управления торговли промышленными товарами Кирилл Макарович Барамзин сидел в своем кабинете. Он предпринял все что мог, но по опыту знал: если план не будет выполнен, в душе останется досада на то, что не полностью выложился — можно было бы еще что-то, где-то, как-то...

Городу надо было наторговать сегодня семнадцать миллионов.

На столе Барамзина лежали сводки о выполнении на шестнадцать миллионов сто тысяч. Уже получены сведения о том, что комиссионные магазины дадут пятьдесят три тысячи. Магазины автомобилей около ста тридцати. Хозяйственные магазины работали бойко, но больше восьмидесяти тысяч им не набрать, мелочевка. Вот мебельные еще куда ни шло.

По радию Управления внутренних дел час назад сообщили, что на сотом километре прошло несколько трайлеров с мебелью. На дорогах гололед. Трайлеры опасаются давать скорость. Утром в город все же прорвался автопоезд с дорогой мебелью. Но при вскрытии в пяти контейнерах не оказалось сопроводительной документации. Возможно, счета подвезут трайлеры, что приближались к городу. Барамзин позвонил в мебельный магазин «Дубок». Подошел директор. У него с планом все было в порядке. Даже в плюсе тридцать тысяч. Совестно подбрасывать им новые заботы...

— Послушай, Серегин,— произнес Барамзин.— Надо принять автопоезд. Центральная база уже закрыта.

— У меня инвентаризация,— ответил директор.— С полудня начали.

— Надо, Серегин. Можем пролететь. Не хватает-то всего ничего.

Директор сопел в трубку. Конечно, он мог и отказать, имел полное право. Во время инвентаризации директор не подчиняется ничьим приказам. Правда, магазин торговал по образцам и с инвентаризацией мог управиться быстро.

— Нашел время,— подталкивал к согласию Барамзин.— Личная к тебе просьба. Ожидается дефицитная мебель. Объясни ситуацию. Продавай прямо с колес.

Директор вздохнул. Хорошенькое дело: объясни. Платить надо, вот и все объяснения... И начальник управления и директор отлично понимали друг друга. Но помалкивали.

— А банк? Я уже закрыл месяц,— безнадежно отбивался директор.

— С банком я договарюсь. Моя забота.

Директор вновь вздохнул. Чем больше тащишь, тем больше на тебя вваливают. И дернуло же его подойти к телефону...

Барамзин положил трубку. С банком дела в этом месяце складывались непросто. И нужно было вмешательство именно на его уровне. К тому же по чисто личным каналам. Банк — организация капризная.

Но самую большую надежду Барамзин возлагал на хозяйство Фиртича. К пятнице «Олимп» выполнил план на девяносто два процента. Добиться успеха за оставшееся время — задача трудная, учитывая сложившуюся конъюнктуру и товарную насыщенность. Но Барамзин верил в Фиртича. У того в арсенале были дубленки, меха, ювелирные изделия. Конечно, Фиртич с ними расстаться не захочет, он понимает, что во время реконструкции станет объектом многих упреков и недовольств, и единственное, что его может спасти, это выполнение плана товарооборота. И сейчас он пытается накопить резерв. Как профессионал Барамзин его понимал, а как начальник управления он желал, чтобы «Олимп» выложился до конца.

Звонок телефона прервал его размышления. Поднося руку к трубке, Барамзин предчувствовал, что звонит Фиртич. И не ошибся. Голос директора «Олимпа», как обычно, был сдержан и бодр.

— Кирилл Макарович, добрый вечер. Мы выполнили план и уже минут двадцать работаем с плюсом.

— Ну, Костя, молодец! — обрадовался Барамзин.— Гора с плеч. Каким же образом? Ты ведь был в прорыве.

— С помощью своих сотрудников.

По тону Фиртича было ясно, что сейчас в директорском кабинете сидели сотрудники Универмага.

— Передай им от меня поздравление! — Барамзин слышал, как Фиртич выполнил его просьбу.— И все же, Костя?

— Прибыли извещения железной дороги. Трудно было с транспортом. Но вывезли. Дефицитные магнитофоны, радиотовары. На сто пятьдесят тысяч. Весь день торговали.

— А теперь что? Будешь гасить январский должок?

— Есть предложение, Кирилл Макарович. Завтра, в субботу, мы еще будем гасить, а на воскресенье отпустите. Надо приводить Универмаг в порядок. Объявим санитарный день. В понедельник гостей ждем.

— Костя, Костя... Город будет работать, а ты... Ладно, возьму грех на душу, закрывайся. Сколько же их прибудет-то?

— Эти молодцы из Инторга пригласили представителей обеих фирм на один и тот же день. Не сговорятся ли между собой капиталисты?

— Не сговорятся, Костя. В том-то и дело. Когда сговорятся — перестанут быть капиталистами. Думаю, ты с ними сладись.

— Надеюсь. Спокойной ночи, Кирилл Макарович.

— Кому ночь, а кому рабочий день.— Барамзин положил трубку.

Он уж и не помнил, когда магазины не работали в последнее

воскресенье месяца. Бывало, прихватывали подряд два воскресенья. Особенно в мае и ноябре. Да и в феврале тоже, урезанном месяце. Сколько управление получило жалоб! Люди строили планы, просто хотели отдохнуть в семейном кругу, так нет — и в воскресенье иди на работу...

И никто не мог понять: почему поток товаров, который наваливался на магазины в последнюю декаду, нельзя реализовать в спокойной обстановке в начале следующего месяца? Нарушение ритма плановой торговли? Но какой же это ритм, если в последние дни месяца делаются семьдесят — восемьдесят процентов плана! А почему нельзя подвести черту под план, скажем, в конце года? Или полугодия? И магазину удобней маневрировать, и осталось бы время работать с поставщиками. А то берут все, что везут, вдруг покупатель пойдет. А он не идет, «голосует спинами», нос воротит, выжидает... И продавец был жил, не мочалился... Вот какие мысли одолевали начальника Управления торговли промышленными товарами Кирилла Макаровича Барамзина. Более того! Его воля, он бы вообще отдал магазины во власть директорам: хозяйствуйте! Вот вам годовой план, а вы и мозгуйте, голубчики, как год сложить да людьми распорядиться. Год не месяц. Присядь, подумай... Правда, пришлось бы разогнать половину управления — на кой нужно столько умников в белых сорочках и галстуках? Взять, к примеру, корабль или самолет. Ничего лишнего! Ни одной детальки такой, чтобы сама по себе. Все отлажено, каждая свою задачу решает. Точно, четко, определенно. Потому и плавает, потому и летает...

Когда такие мысли овладевали государственным человеком — депутатом, членом партии с одна тысяча девятьсот сорок первого года Барамзиным К. М., ему казалось, что у него физически болит сердце. И если он встречал человека, у которого такой же болью ныло сердце, он многое ему прощал. Ради главного! Взять то письмо, где говорилось, что «Олимп» премию получил незаслуженную, по недоразумению: ошиблись с коэффициентом, получилась другая цифра. Конечно, можно это дело раздуть до уголовного преступления. Только кому польза? Ну разберутся, накажут виновных. Вроде бы все встанет на место. Формально. А по-человечески? Если уборщица какая в «Олимпе» или, скажем, старуха подсобница получила с премии свою пятерку-десятку? Был ли в этом великий грех? Не заработала ли она эту десятку, толкая по щербатому, обледенелому подвалу груженные товаром железные телеги?

А если кто-нибудь решит, исходя из этого случая, что он, Барамзин К. М., покрывает лихоимцев, то такой человек печется только о личном спокойствии. И боль государства, заботы и жизнь этого государства проходят мимо его сердца... Конечно, Барамзин вернется к этому вопросу. Не для того, чтобы наказать, нет! Чтобы показать: не зевайте, работайте точнее... Но позже, позже. Пускай сейчас Фиртич делает свое дело. Да, да, да! Тем самым он берет часть вины Фиртича на себя. Сознательно. А кто не допускал просчетов? Кто? Тот, кто ничего не делает! Кто ни за что не отвечает. Кто зубоскалит со стороны и чужим ошибкам радуется.

В кабинет Барамзина мелкими шажками вкатился его заместитель Полозов, следом за ним Гарусов, начальник орготдела управления.

— Ты, Григорий, в «Олимп» не ездят — все у них вроде в порядке, — произнес Барамзин, глядя на Полозова. — Поезжай лучше к Табееву в «Фантазию». Там прорыв на двести тысяч. Думаю, Табеев все-таки вывернется, раз не звонит, не плачется.

— Зачем же мне гонять? Считаю, вторые сутки дома не был.

Полозов сам понимал: ехать надо. А капризничал так, для порядка. Но не зарываясь, с Барамзиным палку перегибать нельзя.

— Я еще в «Заезжий двор» подскочу,— предложил Полозов.— Мало ли! Вдруг сорвутся.

— Не надо. Там норма. Даже Табееву кое-что подкинули. Я решил.

Полозов потоптался и вышел.

— А ты, Лева, сговорись с Фиртичем. Гостей он ждет, заграничных.

Подвижный сухощавый Гарусов не мог стоять на месте. Он ходил по ковру кабинета, поглядывая боком, словно крупная птица. По управлению ходили слухи о том, что Гарусов оставляет семью. Или уже оставил. Вероятно, так и есть. Обычно суетливый, озабоченный Гарусов в последнее время был тревожно-печальным. Барамзин знал жену Гарусова, она работала в управлении экономистом. Крикливая, взбалмошная женщина. И Гарусов был язвительен, несдержан. Но у него это шло от бойкости мысли, от множества идей, будоражащих его. Правда, после того как пошел слух об уходе Гарусова из семьи, все отметили, что Гарусов «остепенился». Да и бывшая жена несколько приутихла.

Барамзин ценил Гарусова и не хотел, чтобы тот оказался в двусмысленном положении.

— Что, Лева, говорят, ты в холостяки подался на старости лет?

Гарусов с удивлением взглянул на Барамзина — не в обычаях начальника было копаться в семейных неурядицах подчиненных.

— Я не из любопытства... Если так сложилось дело, может, ей лучше перейти куда-нибудь? Например, в торг? Или в магазин. Подберем что-нибудь. Там и оклады выше. И премии получают...

Гарусов верно понял намерения Барамзина и по достоинству оценил его тактичность. Барамзин помолчал, поглаживая подбородок.

— И еще, Лева... Поедешь к Фиртичу. Старайся держаться в тени, не вмешивайся в его решения. Короче, не дави на него управлением, если даже будешь с чем-то и не согласен. Он хозяин, пусть это чувствует.

Гарусов покачал головой и хмыкнул.

— Для чего мне вообще ходить к нему? Показать, что управление не в стороне от его затей?

— Да. Именно,— вздохнул Барамзин.— Если на Фиртича начнут катить сверху, понимаешь... А промашек в таком вопросе не избежать. Попадетя, скажем, из министерства куратор-формалист, любитель розового цвета для лихого отчета. Вот Фиртич нами и прикроется...

Гарусов ухмыльнулся, но промолчал, продолжая ходить по кабинету.

— Я, Лева, не ангел. И ты это знаешь,— ровным тоном продолжал Барамзин.— И пекусь сейчас не о Фиртиче, а о себе. Больше будет у меня самостоятельных директоров — легче мне будет работать.

— Вам на пенсию скоро, Кирилл Макарыч.— Гарусов был верен себе. Ехидная натура.

— А ты мне, Лева, годы не считай. Человек не всегда по старости уходит на пенсию, сам понимаешь. Иной раз так в тебя вцепятся бездельники и бузотеры, что бежал бы куда глаза глядят. И пенсия чаще всего не заслуженный отдых, а избавление... Ладно, ступай. Сейчас трезвонить начнут, докладывать.

Стрелки электрических часов приближались к девяти.

Получив согласие начальника управления на отмену работы в воскресный день, Фиртич положил трубку и с нетерпением обернулся к сидящему поодаль начальнику планового отдела.

То, о чем докладывал Франц Федорович Корш, сыпля на память многозначными цифрами, интересовало сейчас директора куда боль-

ше возвращения Универмагу законного выходного дня. Маленький Корш уже длительное время вел переговоры с экономистами швейной фабрики номер четыре объединения «Волна». Правда, пока похвастаться успехами не мог. Суть переговоров заключалась в том, что в порядке эксперимента швейная фабрика поставляла бы товар напрямую, минуя оптовую базу. Опыт этот был не нов, давно внедрен в стране, но был нюанс, инициатором которого являлся Корш: продукция с дефектом, который выявлялся в Универмаге, не возвращалась на фабрику. Слишком велики расходы: погрузка на фабрике, разгрузка в Универмаге, переоценка, отгрузка некачественного товара назад на фабрику. Опять же транспортировка... Экономисты Корша подсчитали, что стоимость забракованного товара окажется даже выше стоимости идеального товара.

— Возвращать некачественный товар на фабрику не будем,— развивал свою мысль Корш,— а прямехонько в отдел «Уценка». Минусовый счет выставим фабрике. Сотрудники ОТК фабрики будут сидеть в Универмаге...

В кабинете оживились. Одни утверждали, что количество брака не изменится, наоборот, в надежде на Универмаг фабрика ослабит контроль. Другие приняли сторону Корша...

В кабинете собрался весь руководящий состав Универмага за исключением Лисовского (тот уехал на экспертизу) и коммерческого директора. Индурский час назад вылетел в Ленинград к поставщикам.

Фиртич внимательно слушал каждого выступающего. И всякий раз в поле зрения директора каким-то непостижимым образом оказывалась заведующая обувным отделом Рудина.

Она сидела, привычно откинув голову, отчего ее рыхлый подбородок сглаживался, придавая лицу молоджавость. Ей предстояло сегодня принять контейнеры, которые утром отыскал на сортировочной станции Индурский. Рудина держала на коленях пластмассовую папку с бумагами, что принесла на подпись директору. Последний раз она приходила к Фиртичу несколько дней назад с предложением принять товар Второй обувной фабрики, утверждала, что обувь представленного артикула должна пойти. Фиртич не вникал в детали. Заведующей отделом виднее. С чем она пожаловала сегодня? Фиртич подумал об этом вскользь, занятый вопросом, который поднял Корш.

— А я вот что думаю по этому поводу,— произнес он, дождавшись, когда утихнет возбуждение, вызванное сообщением Корша.— Мы не будем приглашать к себе контролеров. Зачем? У нас и так повернуться негде. Пусть работают на своем месте. Но мы можем их сделать своими союзниками.

В кабинете молчали, стараясь понять, куда клонит директор.

— Кто выплачивает работникам ОТК премию за выполнение плана? Фабрика. Вот они и хлопают ушами, пропускают брак, не желая портить отношения с товарищами. А если контролерам будем платить мы? Универмаг?..— Фиртич отодвинул стул и возбужденно зашагал по кабинету.— Экспериментально! Скажем, на полгода. Мы предложим фабрике снять с премиального довольствия работников ОТК. Сами же изыщем фонды. Будем платить им не сорок процентов, а, скажем, пятьдесят. Причем не в зависимости от выполнения фабрикой своего плана, а в зависимости от выполнения товарооборота Универмагом. Вот что важно! Сидите на своей фабрике, но работайте на нас. Блюдите наши интересы...

— Фабрика не клюнет!— воскликнула Мезенцева.— Они выполняют план за счет всей продукции, вала. А так что?

— А так они выполняют план за счет улучшения качества.

— А их поставщики? Текстильщики, химики!— всплеснула руками Мезенцева.



— То же самое,— развивал свою мысль Фиртич.— Каждый поставщик поощряет или целиком содержит работников ОТК за счет своего потребителя! Качественно новый подход. И главное, проверенный. Возьмите контролеров на оборонных заводах! Разве они пропустят брак?

— Это что же? Каждый магазин будет платить работникам ОТК всех своих предприятий-поставщиков? — не унималась Мезенцева.— Да откуда им наскрести такие деньги? Грузчикам платят из своих, будто мы не знаем.

— Во-первых, пока это эксперимент. Во-вторых, мы производим всякие отчисления. Так будет еще одно, куда более важное, чем множество других.— Голос Фиртича звучал уверенно.— Мы отчисляем в бюджет государства чуть ли не всю товарную скидку. Мы получаем крохи с этого стола. Неужели мы не можем ничтожную часть этих денег использовать с тем, чтобы дать еще большую прибыль?

— Во всяком случае, не будет потерь от транспортировки неходовой продукции,— рассудительно промолвил парторг Пасечный.

— Именно! — воскликнул Корш.

Идея Фиртича показала ему интересней собственного предложения. Эта деловая честность и привлекала к нему Фиртича, не говоря о том, что Корш слыл отменным специалистом.

— А чем тогда займутся наши товароведы-бракеры? — уточнил Пасечный.

— Найдем работу,— отозвалась кадровичка.— Без дела не останутся.

— Ну-ну,— засмеялся Фиртич,— вы уж совсем. Кроме «Волны», у нас сотни поставщиков. Бракерам работы хватит. Не станем же мы сразу со всеми налаживать новые деловые отношения. Дай бог «Волну» уговорить на эксперимент...

— Пойдут ли на это швейники? — сомневалась Мезенцева.

— Из «Волны» пойдут,— твердо сказал Корш.

— Я тоже думаю, что пойдут,— согласился Фиртич.— Генеральный директор — человек самостоятельный, мы встречались на партактиве... Лишь бы министерство согласилось. Вот кого надо уламывать. Их да Госплан. Всё будут согласовывать да утрясать...

Фиртич взглянул на часы. В половине десятого он собирался встретиться с директором ресторана «Созвездие». Кузнецов позвонил утром, хотел приехать. Но Фиртич был занят. Уговорились перенести разговор на вечер. Вероятно, выразит недовольство тем, что Фиртич запретил торговлю пирожками в помещении Универмага. А может быть... И в памяти мелькнул разговор по телефону с Лисовским о машинациях в ресторане «Созвездие». Собственно, какое он, Фиртич, мог иметь отношение к делам Кузнецова? Тем не менее беспокойство, оставшееся после утреннего звонка директора ресторана, вновь овладело Фиртичем. До встречи оставалось пятнадцать минут...

Фиртич закончил совещание и отпустил сотрудников.

Лишь Рудина продолжала сидеть, убрав под кресло ноги в высоких светлых сапожках и плотно запахнув на груди пуховый платок в ярких пунцовых цветах.

Фиртич посмотрел на Стеллу Георгиевну и легонько постучал костяшками пальцев о стол.

— Вы хотите мне что-то сказать?

Рудина молчала, и он почувствовал в этом молчании какой-то особый, зловещий смысл. Он перестал стучать, выпрямился и повторил свой вопрос нетерпеливым и требовательным тоном.

— Вот принесла на подпись,— выдавила Рудина.— Коммерческий директор уже подписал. Перед командировкой.

Она приподнялась и, глядя в сторону, положила на стол свои бу-

маги. Фиртич бегло просмотрел их — у него совсем не оставалось времени.

— Вторая обувная? Не много ли?..

Предчувствие серьезности встречи с директором ресторана полностью поглотило его. И с каждой минутой, приближающей эту встречу, его охватывало дурное настроение. Ему сейчас было не до Рудиной с ее уже завизированными Индурским бумагами. И Фиртич подписал все, что лежало в папке.

## 22

Ни одна реклама не выдерживает конкуренции со слухами. Возникшие в лабиринтах Большого города, слухи поначалу неуверенно просачиваются в самых разных местах, но спустя короткое время они уже сливаются, образуя мощный поток, несущий к магазинам толпы озабоченных горожан: не упустить момент! завтра будет поздно...

Нередко слухи подтверждались, обретая задним числом статус предсказания. И хотя чаще оставались пустым звуком, тем не менее в душе теплилась надежда, что рано или поздно сбудутся. Не сегодня, так завтра. Просто где-то что-то не сработало. Надо ждать и готовиться!

Слухи ничем не компрометировали себя, даже в случае полного провала. Им все прощалось. Возможно, оттого, что каждый вносил в них посильную лепту...

К концу месяца у горожан появлялся зуд в ногах. Транспорт не справлялся с наплывом пассажиров. Трогуары не вмещали потоки людей. Универмаг «Олимп», как крупнейший торговый центр, привлекал к себе повышенное внимание. Что-нибудь да будет! И горожане не ошибались. В «Олимпе» всегда что-нибудь да было... К тому же в городе давно циркулировали слухи о завозе в «Олимп» товаров особого спроса. И всем было известно, что они в продажу пока не поступали.

Люди собирались группами, составляли списки «на завтра». Фамилии вносились в ученические тетрадки. Строго по номерам. Для более четкого учета специально выделенная личность наносила чернильным карандашом соответствующий номер на ладони. Именно этот акт чем-то особенно успокаивал душу: кривая лиловая цифра на ладони приближала заветную цель, что-то уже было в руках. Как печать! В случае конфликтной ситуации ладонь как документ совали под нос «администрации» с требованием проведения экспертизы...

Похожая на итальянскую киноактрису спекулянтка Светлана Бельская значилась в первой тетрадке под номером шесть, что само собой означало прямое попадание в случае, если в «Олимпе» выбросят пудовые ковры. Слухи о продаже ковров подмяли слухи о продаже дубленок, надежда на которые как-то постепенно рассеялась.

Несмотря на то, что Светлана исправно оказывалась в первой тетрадке, ей удавалось увернуться от общественных нагрузок: заниматься переключкой, вести списки или наносить на ладонь чернильное тавро. Дело хоть и почетное, но крайне канительное и рискованное...

У ярко освещенной витрины стоял летчик в шапке и с портфелем в руках.

Светлана приблизилась к летчику. Остановилась. Вечерний свет от витрин и фонарей прятал все, что нужно было прятать в ее возрасте, и выпячивал то, что надо было выпятить. Косметика у Светланы первосортная, французская. В такие минуты она особенно походила на всех выдающихся киноактрис. А подобное сходство не может оставить равнодушным мужчину, тем более летчика, который сегодня здесь, а завтра там... Летчик смотрел в сторону, вероятно, размышляя, стоит ли затевать бузу с очередью или плюнуть и растереть. У него был совсем еще девичий профиль и тонкая шея.

— Вы из Сиволопска? — В голосе Светланы звучали одновременно гордая неприступность и манящее кокетство.

Летчик обернулся. На его светлом лице не дрогнул ни один мускул. Сразу видать: волевой парень, будущий командир корабля.

— Из Бердянска прилетел... Что это у вас тут делается?

Светлана уперлась каблуком в дремучую стену «Олимпа».

— В вашем... Бердянске иначе?

— В нашем Бердянске иначе, — твердо ответил летчик.

— Вероятно, с товарами полная безнадега. Вот и спокойно, — продолжала Светлана плести сети.

— Не знаю, как с товарами... Но люди как люди. Нормально одеты. Ходят в гости друг к другу. А не ошиваются в очередях.

Светлану задел тон юного Икара.

— А мы тоже не все, между прочим, в очередях ошиваемся. Порасспросить, так здесь половина из вашего Бердянска. — И, шагнув вперед, Светлана окликнула какого-то мужчину, неспешно проходившего мимо.

Мужчина остановился. Огляделся вокруг: его ли позвали?

— Вы откуда приехали? Лицо знакомое, — обратилась Светлана.

— Откуда приехал, туда и уеду! — Мужчина сдвинул на лоб шапку и отошел. Но вскоре оглянулся: может, и вправду знакомы?

Светлана и летчик рассмеялись.

— Так вот, — Светлана бросила на летчика смелый взгляд, — мы тоже ходим в гости друг к другу. И одеты нормально... Ну а кое-кто стоит в очередях. Жизнь, пилот, она ведь разная.

Летчик перебросил портфель из одной руки в другую.

— Ладно. Пройдусь еще раз по Универмагу. А то закроют через десять минут, — сказал он и, кивнув Светлане, скрылся.

Светлана растерялась. Неожиданное решение молодого человека, мгновенно принятое к исполнению, ее обидело. И слова о том, что в «Олимпе» сейчас ничего нет интересного, застряли у нее в горле.

Светлана неторопливо двинулась вдоль фасада Универмага. А свет, падающий от витрин и фонарей, теперь, наоборот, выпячивал то, что надо было прятать, а прятал то, что надо было выпятить. Ей хотелось плакать. Почему? Она и сама не могла объяснить. Иногда она запиралась в своей квартире, пускала в ванной воду для шума и плакала. На душе становилось легче... Вот и теперь ей нестерпимо хотелось заплакать. Глаза уже тяжелели, в горле першило. Но, подумала она, потечет тушь, потом возись с ней... И взяла себя в руки.

У амбарных ворот бывших каретников стояло несколько фургонов. «Что-то привезли», — отметила Светлана. Но в душе у нее ничего не шевельнулось. Она ступила на каменные плиты площади. На противоположной стороне полыхал огнями подъезд театра. Белые колонны уходили ввысь, поддерживая лепной навес, по углам которого приютились насупленные мраморные птицы. В уютно освещенном фонарями портале толпились люди. Антракт. Они вышли покурить, подышать свежим воздухом... Женщина в темном бархатном костюме («Сто девяносто рублей, финский. Был в конце прошлого года», — отметила механически Светлана). Рядом с ней мужчина с курткой в руках. Он все порывался накинуть на плечи женщины куртку, но та отказывалась...

Давно Светлана не была в театре. В Дом кино ходила, Платоша пригласил, а в театре не была...

Перейдя площадь, Светлана вышла к бульвару.

Это была территория, над которой Синьора шефствовала уже несколько лет. Вот, например, трехэтажное кирпичное здание, в котором расположилось СМУ, строительно-монтажное управление... Дни прихода Светланы сюда многие сотрудницы обводили в календаре красным карандашом. Обычно этому учреждению она выделяла первый и третий понедельник каждого месяца. Вахтер не требовал у нее

пропуска — он знал Светлану в лицо. Даже иногда помогал донести саквояж до отдела. Торг проходил открыто. Иногда, ближе к концу месяца, когда горела программа и по управлению ходили разъяренные прорабы, торги переносились в туалет, чтобы не мешали. Благо там было достаточно места. И удобно: не надо прятаться за канцелярский шкаф или придерживать дверь ножкой стула, чтобы примерить ту или иную тряпку. Все как в лучших ателье города. Жаль, зеркала были маленькие... Не то что в цирке в гримерной заслуженного деятеля искусств почти всех республик. Правда, запах в цирке стоял плотный. И у Светланы подкашивались ноги, кружилась голова, да так, что иногда приходилось набавлять за вредность. А дрессировщик, озверевший мужчина, заглядывал в гримерную, где толпились артистки, и грозил бросить Светлану на съедение тиграм как общественно вредный элемент. Вредный?! Хо-хо! Что бы тогда носили твои ассистентки, паяц, если бы не Светлана? Костюмы фабрики имени Володарского, от которых тигры шарахаются? Кого бы тогда дрессировал, интересно?..

Неподалеку от СМУ в одном из девятиэтажных домов жил Платоша. Светлана знала адрес, хотя никогда у него не была в гостях. Платоша сам навещал ее...

В теплом подъезде кисло пахло сохнувшим тряпьем. Лифт, старый, скрипучий, неохотно поднял Светлану на пятый этаж. У двери под номером семьдесят три виноградной кистью сгрудились кнопки звонков. Светлана нажала голубую кнопку над табличкой «Сорокин П. И.».

Долго ждать не пришлось. Послышались протяжные шаркающие шаги, но с твердым волевым прищелком. Дверь растворилась, и в проеме появилось лицо Платона Ивановича. В блеклых глазах мелькнула растерянность.

Обходя какие-то тюки, велосипеды, ящики, он торопливо провел гостью в дальнюю комнату и захлопнул дверь.

— Что ты так, Платоша? Испугался вроде? — Светлана переводила дух от стремительного броска по длинному коридору.

— Соседи, понимаешь.— Платон Иванович придерживал ворот халата, в котором виднелось теплое голубое белье с крупными простыми пуговицами.

— Думала, ты живешь один.

— Жил, Светлана. И неплохо. А когда вернулся, моя квартира была уже заселена. С трудом выхлопотал себе угол.

— Откуда ты вернулся, Платоша? — Светлана запрыгала, скидывая пальто.

Платон Иванович усмехнулся, прихватил что-то из шкафа и вышел.

Комната была хоть и большая, но тесная — кругом вещи. Старинные, громоздкие, добротные... Картины в тяжелых рамах. Бронзовые ангелы. Пепельница с печальным Наполеоном. Кресла с гнутыми подлокотниками... Вскоре Платон Иванович вернулся. Как всегда, в безукоризненном костюме, правда в необычном для него глухом сером свитере. И в этом свитере он смотрелся куда моложе, чем при галстук.

— Тебе к лицу водолазка, Платоша, — сказала Светлана.

— В то время как тебе, Светлана, к лицу все, — галантно ответил Платон Иванович и улыбнулся.

«Наверно, я сейчас похожа на драную куклу», — подумала Светлана. И еще она подумала, что ей и в голову не пришло как-то привести себя в порядок, прежде чем нажать кнопку звонка. Это произошло как-то механически. Оттого, что она уверена в Платоше, как в родном отце.

— Извини, Платоша, — смутилась она и, поднявшись с кресла, отошла в сторону, достала из сумки косметичку.

— Зеркало за шкафом,— мягко проговорил Платон Иванович.— А я пока поставлю чай. У меня есть торт. И вообще мы сейчас что-нибудь придумаем.

Он приблизился к буфету, распахнул створки.

Платон Иванович Сорокин пребывал сейчас в большом волнении.

## 23

Выйдя из служебного подъезда Универмага, Фиртич увидел директора ресторана «Созвездие» с какой-то личностью в потертом кожаном пальто. И решил, что это просто случайный знакомый Кузнецова. Но Кузнецов хозяйским жестом откинул дверь, и мужчина уверенно пролез в автомобиль Фиртича...

В зеркале заднего обзора рисовалось довольно приятное лицо незнакомца. Снятая шапка обнажила круглую, с залысинами голову.

После того как они отъехали от Универмага, Кузнецов коротко проинформировал:

— Это Валера. Мой человек.

Несколько минут ехали молча, условившись поначалу, что Фиртич подбросит их на дачу. А по дороге кое о чем поговорят. Дача Кузнецова недалеко, на двадцать втором километре. Так что гнать не надо, разговор серьезный.

Кузнецов пошуршал пальцами в пачке, нащупал сигарету, смял пачку и сунул в пепельницу.

— Последняя. У тебя нет?

Фиртич отрицательно качнул головой и сухо проговорил:

— В чем дело, Аркадий, выкладывай... У меня не так уж много времени для подобных прогулок.

— Найдешь время,— отрубил Кузнецов.— Дело общее.

Он прижал головку прикуривателя и вытянул зажигалку, не дожидаясь автоматического выброса. Раскаленный кружочек закатно осветил набухший нос и толстые крепкие щеки.

— И все же, Аркадий, я жду,— настойчиво произнес Фиртич.

Мужчина наклонился вперед, и Фиртич почувствовал его дыхание.

— Разрешите, я изложу существо вопроса.— Голос его звучал почтительно.— Аркадий Савельевич несколько взволнован, может упустить детали.— Мужчина сдержанно откашлялся.— Дело в следующем... В свое время на ресторан «Созвездие» был совершен рейд сотрудников ОБХСС...

Его речь, неторопливая, обстоятельная, вплеталась в ровный гул двигателя. В изложении Валеры сам хозяин — Кузнецов — в этой истории не замешан. Во всем была виновата бухгалтер ресторана. Она ввела дела и положила в свой карман, в карман буфетчика и заместителя директора довольно серьезную сумму...

— Сколько? — впервые прервал Фиртич.

— Цифру пока знает один человек. И он еще не поставил точку.

— Кто?

— Об этом ниже.— Валера не хотел нарушать композицию рассказа.

Фиртич откинулся на спинку кресла, вытягивая затомившиеся руки.

— Лисовский лишнего не припишет,— усмехнулся Фиртич.

Его осведомленность повергла спутников в некоторое замешательство. И они этого не скрывали.

— А им лишнего и не надо,— проворчал Кузнецов и напряженно хохотнул.— Верно, Валера?

— Вполне достаточно,— незамедлительно поддержал Валера.

Фиртич еще раз усмехнулся, в должной мере оценив смысл сказанного. Ясно, что Кузнецов видит в нем единственного человека, имеющего влияние на Лисовского. А то, что разговор пойдет о Лисов-

ском, Фиртич понял сразу, как только Валера принялся излагать существо дела...

— Откуда вам известно, что Лисовский может предъявить серьезную цифру? — спросил Фиртич.

— Бухгалтер ресторана вела двойную бухгалтерию, — ответил Валера, скрывая раздражение, он уже несколько раз помянул эту важную деталь. — Сотрудники ОБХСС арестовали все бумаги.

— Дура! — буркнул Кузнецов. — Хранить черновики чуть ли не в кармане. Как я мог столько лет держать такую дуру!

— Для экспертизы черновики могут иметь силу официального документа, — продолжал Валера. — В случае, если суд признает их неоспоримость.

— Замри, Валера! — одернул Кузнецов. — Размусоливаешь. Привык у себя на колокольне слова лепить да любоваться ими.

— Аркадий Савельич, — сконфузился Валера, — я по существу.

— По существу ты уже сказал... Константин Петрович с первой фразы все понял. А теперь притворяется. Верно, Костя?

Фиртич не ответил, следя за дорогой.

— Ты, Валера, лучше сбегай сигарет купи. Как раз и магазин. — Кузнецов достал деньги и не глядя занес руку за спину.

— Что вы! Четвертная? На сигареты у меня хватит! — Мужчина хихикнул. Ему было неловко перед Фиртичем, ему хотелось показать, что хозяйский тон директора ресторана — так, шутка, по-приятельски.

— Прихвати что-нибудь из еды. Коньяк...

— Так ведь... — начал было Валера.

— Найди директора. Скажи, для кого. Отпустит.

Фиртич прижал автомобиль к тротуару. Сухо шелестя кожей пальто, Валера вылез из машины и, выпрямившись, направился к гастроному. Фиртич обернулся и плотно прихлопнул заднюю дверь.

— Что за тип?

— Адвокат, — ответил Кузнецов. — Выручил как-то я его, по гроб жизни мне обязан.

— А для чего ты его с собой взял?

— Для обстоятельного разговора.

— Врешь, Аркадий! — Фиртич постукивал пальцами по рулю. — Хочешь при свидетеле со мной разговор вести, чтобы в угол загнать. О той услуге, которую мне оказал. Придет час — тут твой холуй и стодитя: сам, мол, слышал, как дела свои обделывал директор Универмага. Верно, Аркадий Савельевич?

Фиртич давно был знаком с Кузнецовым. Но той неопределенной степенью знакомства, когда каждый из них мог принять его и как дружбу, и как равнодушие, и даже как вражду. Бывают такие странные отношения. Все зависело от обстоятельств. Охваченный желанием во что бы то ни стало заполучить весь пакет заказов на новое оборудование «Олимпа», Фиртич не все предусмотрел. А теперь вот как дело обернулось. Не одной голубой шерстью да пирожками. Кузнецов даже и не вспоминал, что Фиртич запретил продажу пирожков, а ведь наверняка был в этом лично заинтересован... Он берег Фиртича для серьезного дела. Конечно, он не мог предположить, что именно от Лисовского, главного бухгалтера «Олимпа», будет зависеть его судьба — экспертизу могли поручить и другому... Но не раз бывавший во всяких передерягах, Кузнецов свято верил: то, что сегодня кажется пустяком, завтра может стать решающим.

Превыше всего Кузнецов ценил ловкость. Если он чувствовал, что его поступок расценивается как хитрость, он был недоволен собой, считая, что в чем-то изменила ему ловкость. Хитрость должна быть незаметна, как дыхание. И фразу, которую обронил тогда у себя дома Лисовский о том, что еще следует разобраться, почему он, директор ресторана, при всех своих великих благах и возможностях допустил

эту заваруху, Кузнецов рассматривал как недостаточную свою ловкость...

И точно угадывая ход его мыслей, Фиртич произнес:

— Ты уже виделся с Лисовским? И хотел его купить. И проехало.— Фиртич не знал об этом факте, но по молчанию Кузнецова понял: так оно и было.— Есть люди, Аркадий Савельич, которые не вписываются в твое представление о мире.

— А в твое? — иронически произнес Кузнецов.

— А в мое, Аркадий Савельич, в мое вписываются! — с нажимом сказал Фиртич.— Этим мы и отличаемся друг от друга. Хотя многим можем показаться близнецами. У нас разные точки отсчета, Аркаша. Что делаешь ты, Аркаша, я ненавижу. А что делаю я — тебе безразлично... Лисовский — мой бухгалтер. И останется им, чего бы мне это ни стоило.

От стекла задней двери донесся шорох. Фиртич обернулся. В прямоугольнике окна он увидел Валеру.

— Скажи своему холуе, пусть погуляет, — произнес Фиртич.

Кузнецов приоткрыл дверь и бросил в проем:

— Погуляй.

Валера сделал несколько шагов и остановился, прижимая к животу пакеты.

— Что ты хочешь от Лисовского? — проговорил Фиртич.

— Ты ж понимаешь, Костя, я как директор ресторана лицо без материальной ответственности, но мои люди...

— Короче.

— Чтобы экспертиза подвела под другую статью. Вместо особо крупных к обычному... Ну, сменить статью, словом.

— А по совокупности?

— Я найму лучшего адвоката, Костя. Все будет чисто.

Фиртич усмехнулся:

— Любопытно. Твой Валера утверждает, что улик против тебя лично нет. К тому же ты без материальной ответственности...

— При статье, к которой подведет Лисовский, улики появятся. Той дуре бухгалтеру нечего будет терять...

— Значит, так, Аркадий, — перебил Фиртич.— Я попытаюсь поговорить с Михаилом Януарьевичем... Но у меня условие. Ты ни при каких обстоятельствах не станешь меня шантажировать. И мне нужны гарантии.

— Расписку, что ли, тебе дать? — буркнул Кузнецов.— Гарантия может быть одна, Костя. На пенсию я уйду через месяц-другой. Купил домик в Крыму, уеду отсюда.— Кузнецов заметил, как уголки губ Фиртича тронула слабая улыбка.— Чего ты?

— Так. Свои мысли... Ладно, Аркадий, я сам позабочусь о гарантиях. Зови своего адвоката.

Кузнецов приспустил стекло и кликнул Валеру. Сырой воздух вполз в теплый салон зримой сиреневой полосой, увлажняя ноздри, наполняя свежестью легкие.

Валера протиснулся в салон, положил пакеты и откинулся в блаженстве на спинку. Замерз, бедняга...

— Вот что, Валера, — произнес Фиртич.— Вы будете всю дорогу молчать. Как камень. И ты, Аркадий. У меня нет никаких с вами дел. Нет и не было. Нам нечего обсуждать! Вы поняли, адвокат? Это официальное заявление.

Он протянул руку и вогнал в паз магнитофонную кассету. Медленная музыка заглушила нетерпеливое урчание двигателя. В зеркале он видел взгляд Валеры, в недоумении обращенный к Кузнецову...

В потоке идущих мимо автомобилей образовался просвет, и Фиртич нажал на газ.

У Стеллы Георгиевны Рудиной было отвратительное настроение. И не без причин. Во-первых, вчерашнее письмо от мужа. Конечно, он прав. Нельзя так долго жить порознь. А что делать? Сейчас ей никак не взять отпуск — связалась с этой Второй обувной на свою голову. Да и не тянуло ее в Заполярье. Все ее там раздражало. Даже песни. Взрослые люди бренчат на гитаре и вяжут какие-то глупые слова. Пустое кривлянье... Семен, муж, видел ее состояние. И объяснял это просто хандрой, непривычной обстановкой. А может, и догадывался об истинной причине, но, боясь признаться самому себе, валил все на обстоятельства. Была и вторая причина дурного настроения: Рудина и не помнила, когда еще в отделе наблюдалась такая низкая реализация товаров, как вчера. Последняя сверка чеков ее ошеломила. Выручки почти никакой не было. А те крохи, что все-таки были, — от продажи осевшей на складах московской и ереванской обуви. А склады ломались от продукции Второй обувной фабрики. И Рудина подозревала, что фабрика, пользуясь ситуацией, завезла в каретники значительно больше обуви, чем оговорено счетом. В надежде выставить Универмагу в дальнейшем дополнительный счет... Надо что-то делать. Надо позвонить этому старикашке Платону Ивановичу. Случись неприятность, бриллиантовые кольцо и серьги, которыми одарил ее за услугу старик, будут не ценнее обыкновенного стекла... Да, напрасно она связалась с этой дрянной фабрикой, но пути назад уже нет.

Самолет Аэрофлота рейсом из Амстердама приземлился точно по расписанию.

Фиртич и представитель Инторга Дубасов — унылый мужчина в крупных дымчатых очках на рылом лице — стояли в зале ожидания. В который раз прикладывал Дубасов платок к простуженному носу. И все напрасно. Чихнуть не удавалось. Не забирало до точки. Отвратительное состояние.

«Тоже мне представитель, — злился Фиртич. — Если он еще раз начнет оправдываться и объяснять, каким образом простудился, дам по башке портфелем... И еще эти таможенные формальности. Сколько можно? Час ждем».

Дубасов сунул платок в карман и принялся извиняться. Фиртич скривил лицо.

— Это ваша была затея пригласить представителей двух конкурирующих фирм одновременно?

— Что вы! Это так непрофессионально! Я с самого начала был против... Но, кажется, вам удалось отфутболить «арчисонов»?

— Да. Перенесли встречу с ними на неделю.

— Ну, через неделю-то я выздоровею, — вздохнул представитель Инторга. — Не вздумайте сегодня называть сумму денег, которыми вы располагаете. Овес надо держать перед лошадьёю на расстоянии. Понимаете? — Дубасов поднял вверх палец в знак особой важности сказанного.

Фиртич хотел ответить, но сдержался. Все ему внушают одно и то же, словно мошенника инструктируют. С ума, что ли, они посходили? Вообще-то этот Дубасов, несмотря на свой занудливый характер, был толковый специалист, Фиртич это уяснил еще на первых совещаниях...

— Особенно эти парни из «Стрика». Их за ухом не почешешь...

— Как расшифровывается «Стрик»? — перебил Фиртич.

— «Скэндинэйвен трейд энд индастри корпорейшен». «Скандинавская торгово-промышленная корпорация»... Я с ними имел дело, когда



возводили центр в студенческом городке. Начали с двух миллионов, закончили полутора. Правда, материал там шел дорогой, много цветного металла... Но «стрики» более покладисты, чем «Арчисон и компания». Вот кто настоящие капиталисты. Сигары курят с кулак толщиной. И не до конца.

— Сигары мы тоже можем курить такие, что и в кулаке не уместятся,— кивнул Фиртич.

— Что вы говорите! Их годовой оборот — двести миллионов! — воскликнул Дубасов.

Фиртич не знал, большая это сумма для фирмы такого ранга или нет. Но, видимо, большая: Дубасов дока, без причины печалиться не станет... Одно Фиртич представлял четко: ему не нужны ошеломляющие вывески и блеск. Пусть фирма будет не со столь громкой известностью. Главное, что она предложит «Олимпу». Как правило, скромная фирма трудней получает заказ, поэтому будет идти на компромиссы, будет работать добросовестней, отлично понимая, какую рекламу ей делает «Олимп»...

Полуденный аэропорт шумел.

Часть пассажиров из Амстердама, громко горланя, уже протопала к автобусу. Не то что наши туристы за рубежом, тихие, скромные, точно прилетели на похороны мирового капитализма... Временами в гул толпы с металлической бесцеремонностью врезался голос диктора-информатора:

— Копенгаген... Прага... Мехико... Лондон...

Названия знаменитых городов волновали. Создавали иллюзию причастности к большому и разнообразному миру...

Фиртич несколько раз был за рубежом. И туристом и в командировке. Встречи с людьми, язык которых он не понимал, его всегда угнетали. Через несколько дней он, как правило, уже думал не о том, что его ждет в следующем пункте маршрута, а о том, как вернется домой и расскажет Елене, где был. Кроме того, он привык постоянно находиться в центре внимания, привлекать к себе интерес, а там превращался в глухонемого человека, которого никто не знал. Он задыхался от бессилия и безвестности. Лишь попадая в магазины, он оживал. Он там не был покупателем, он там вновь становился человеком своего дела. Какими товарами можно удивить его, директора универмага «Олимп»? Даже если Фиртич впервые видел те или иные вещи, он видел их не как обыватель, а как профессионал. Иной раз у него невольно вырывалась фраза: «Нашим бы товарам да их краски. Вот тогда бы мы сравнили». Его спутники соглашались, но без энтузиазма: черт его знает, чем он занимается, этот малознакомый мужчина с кинжальным пробором в каштановой шевелюре. И по сдержанному пыхтению соотечественников у прилавков многоэтажного токийского универмага «Мицубиси» с неоновым трилистником на крыше Фиртич понимал, что его слова не находят отклика в их душах. И умолкал. Поводить бы этих туристов по оптовым ярмаркам, по конъюнктурным совещаниям, по Дому моделей, по музеям освоенной продукции многих наших фабрик, дать бы им там поглядеть на российские товары. А потом уж посылать в зарубежную поездку. Так нет, едут они за границу после стандарта, потока, вала, ширпотреба, брака... Фиртич помнил, как однажды к нему чуть не плача ворвался Аксаков, заведующий швейно-меховым отделом. Пришла партия пальто — и все без пуговиц! А пуговицы (есть все же совесть) в карманах были, весь комплект. Отличные пальто, с мутоновыми воротниками. Не отсылать же обратно. Да и с фабрикой не хотелось портить отношений. Несклько дней старушки гладильщицы пуговицы приметывали, песни комсомольские распевали...

Дубасов вытянул платок из кармана, с надеждой ловя момент: удастся чихнуть или нет? «Опять не дотянет, будь он неладен!» — подумал Фиртич. И не ошибся. Отдышавшись, Дубасов проговорил:

— Послушайте, Константин Петрович, неужели у нас нет нормальных заводов торгового оборудования? На кой вы связались с фирмачами?

— Есть, Дубасов, есть у нас заводы. Но слишком уж нормальные. Нормы у них железные, непробиваемые. Там, где по их нормам покажешь покупателю пять сорочек, скандинавы выставят двадцать пять. На тех же установочных площадях. Да так, что в зале, кажется, и нет никого.

Фиртич мог привести более убедительные доводы, почему затрачивал столько энергии, чтобы вдохнуть жизнь в крепостные стены старого «Олимпа». И о том, что давно пытался пробить Гипроторг. И пробивал. Тратил деньги на разработку. А в итоге после тягостной канители ему предлагали оборудование, на котором «Олимп» и без того торгует последние тридцать лет. Ну, может, чуть помодерней. И расстановка этого оборудования ничего бы нового не внесла: так же колесобродила бы вечная весна покупателей, создавая потоки, которые не снились ни одному зарубежному торговому предприятию. А сколько денег они уносили с собой только из-за того, что не удавалось разглядеть, что же выставлено на продажу.

— А что нам мешает выпускать такое же оборудование? — Дубасов приподнял дымчатые очки и показал маленькие, невыразительные глаза, мокрые от простуды. Вытащил платок и принялся протирать очки. — Да, что мешает? — повторил он.

— Безответственность и непрофессионализм. Как следствие отсутствия объективного конкурса на замещение должности руководящих работников торговли. Конкурса по деловым качествам. И никаким другим!.. Ну а вы-то что сами?

— Что? — испугался Дубасов и оглядел себя. — Что я?

— А ничего... Назначены куратором Инторга по крупной сделке, а задаете наивные вопросы. И еще вздыхаете так, что самолет может крылья опустить.

Дубасов сделал шаг в сторону и склонил голову набок, изумленно глядя на Фиртича. Его стеариновые уши стали прозрачными, сквозь них можно было рассмотреть голубой плакат с длинноногой стюардессой. Девушка приглашала всех желающих на экскурсию в любую страну мира. Были б охота и время...

— Верно, Константин Петрович, я куратор Инторга. И мне достаточно своих забот. А для деталей предстоящей сделки пригласили вас. Если я буду столь же компетентен в организации торговли, то, простите, зачем нужны вы? Насколько мне известно, Универмаг не располагает инвалютой... А беда наша в том, Константин Петрович, что каждый считает, что он может делать все. А в итоге — ничего.

Уши Дубасова вновь стали наливать гранатовый спелостью. Он и сам не ждал от себя подобной дерзости.

— Молодец, Дубасов! — Фиртич дружески хлопнул его по плечу.

И тут лицо Дубасова стянулось в гуттаперчевый плаксивый кукиш и Дубасов — чихнул! На мгновение все посторонние звуки: го-мон толпы, иноязычные вопли информатора, форсаж тысячных двигателей — все это словно пришибло гигантской мухобойкой. Уши метнулись красными сполохами, и белокочанное, избавленное от мук лицо представителя Инторга засияло...

— Поздравляю, — просто сказал Фиртич.

— Благодарю, — потупился представитель.

И тут раздался мягкий вежливый голос с диким акцентом.

— Мистер Тубасофф! Исфините. Мы застафили фас потожтать, — старательно выводились трудные русские слова.

На фоне стюардессы стояли двое мужчин. В одинаковых шубах. В одинаковых шапках. С одинаковыми улыбками... Коммерческий директор «Скандинавской торгово-промышленной корпорации» господин

Лейф Раун и технический эксперт той же компании господин Кнуд Шёберг были рады встрече со своими будущими партнерами и заказчиками.

В кабинете директора универмага «Олимп» заканчивались приготовления к приему гостей.

Сотрудники орготдела во главе с Клавдией Алексеевной Мезенцевой развешивали в простенках отсинькованные листы с поэтажными планами всех линий Универмага, а рядом схемы изменений, которыми занялись бы иноземные фирмы. Поначалу, когда заваривалась вся каша, Мезенцева сопротивлялась: за что мы платим деньги фирмачам? пусть думают сами, что где размещать! Но Фиртич был решительно против. Надо выходить на деловые переговоры не только с деньгами, но и с конкретными предложениями! Почему, к примеру, экспериментальный универмаг под Москвой не оправдал надежд? А ведь подряд был передан старейшей финской фирме. Да потому, что на самом ответственном этапе — разработке технического задания — отстранили тех, кто должен будет работать здесь. Все на себя взяли теоретики из Гипроторга. Ездили в Финляндию группами и поодиночке. Как говорится, гостили в командировке. Ухлопали огромные деньги. Финны пожелания выполнили с великой точностью. В результате магистрали универмага не выдержали потоков покупателей и дрогнули. В первые же дни. И ажурное оборудование начало перемещаться на задний двор, где время от времени сжигалось, чтобы освободить место для хранения контейнеров. А вместо кружевных стеллажей вновь возводились монументальные прилавки... «Помните, мы оборудование закупим не у Алексашки Старовойтова на Кречетовской улице, дом сорок,— говорил Фиртич.— Мы закупим оборудование за государственной границей страны, на валюту. Отнесите к этому факту с должным пониманием и ответственностью...»

Михаил Януарьевич Лисовский, приглаживая ладонью остатки рыжеватых волос, недоверчиво разглядывал схемы. Делал шаг в сторону, откидывая голову, сравнивая «настоящее и будущее». До сих пор он относился ко всем «закидонам» Фиртича со скептицизмом. И все это знали, хотя Лисовский помалкивал. Лишь однажды не выдержал и подошел к начальнику планового отдела: «Послушайте, Корш, что вы ждете от затеи с новым Вавилоном?» Деликатный Корш пожал плечами. «Помяните мое слово,— продолжал Лисовский.— Все растает, как утренний туман. Трескотни будет много, а толку на копейку. Даже наоборот! Чем он будет торговать в своем дворе? Вы не знаете? И я не знаю. Он авантюрист, Франц Федорович!» «Мне кажется,— мягко вставил Корш,— вы никогда не сможете понять Фиртича.— И добавил весело: — Были бы вы женаты, вы бы гибче воспринимали мир. Кто упрямей старых холостяков? Только старые ослы, уверяю вас!»

Лисовского не волновало, передаст Корш его слова директору или нет. Директоров много, а таких специалистов, как он, раз-два — и обчелся. А с годами станет еще меньше. Разве это бухгалтеров выпускают пачками наши институты?! Бухгалтерия — это искусство. Профессия, требующая таланта и терпения. Особый дар видеть за цифрами сложный мир в его взаимосвязях и гармонии... А что сегодняшние бухгалтеры? Они бегут, им некогда присесть, подумать. Они озабочены только собой! С утра и до вечера решают множество личных вопросов: где что достать и где чего не упустить. Бегут! И все мимо библиотек! Да и когда им учиться, этим девчонкам!

Конечно, Лисовский преувеличивал. Взять хотя бы эту серенькую птичку Сазонову. Хватка стальная. И таких немало... Но все равно это исполнители, а не творцы. Живые машины. Настоящих бухгалтеров становится все меньше, в этом Лисовский не сомневался. А вот директора нет-нет да и появляются.

При всем своем недоверии к Фиртичу Лисовский испытывал любопытство. Фиртич не укладывался в схему. Почему Фиртич запер докладную Сазоновой? Конечно, Лисовский сам мог пойти с покаянием в управление. Но что-то его удерживало. Он помнил, как был взбуряжен Фиртич, когда узнал, что письмо о незаконных премиальных попало к Барамзину. И искал его автора. А ведь прямой вины Фиртича не было. Наоборот, вскрытие такого факта окружило бы директора ореолом принципиальности, что особенно ценится в их мире. Ради сомнительной идеи реконструкции Универмага идти на подлог?.. А ведь иначе не назовешь утаивание истины о прошлогодних «успехах». Во всяком случае, поведение Фиртича вызывало у главбуха стойкую недоверчивость. Нет, он, Лисовский, долго плестись на поводу не станет. Он привык контролировать ситуацию...

Мезенцева взяла под руку главного бухгалтера.

— Что, Михаил Януарьевич? Впечатляет?

— Через годика два проведем калькуляцию — впечатление усилится, — язвительно ответил Лисовский.

— Не сомневаюсь, — подначила Мезенцева. Ей нравилось болтать с Лисовским.

Дверь чуть приоткрылась, и в кабинет бочком протиснулся Лев Иванович Гарусов. Это было неожиданно и смешно. И еще Лисовский подбавил:

— А вот и герцог!

В кабинете покатались со смеху. Гарусов хохотал вместе со всеми. Как говорится, смешинка в рот попала.

— Смейтесь, смейтесь над начальством, — приговаривал Гарусов.

В дверь кабинета просунулась голова коммерческого директора. И все вновь зашлись смехом.

— Смеетесь? — проговорил Индурский. — А там телетайп отбил приказ. Об уценке зимнего спортивного инвентаря. — И, едва договорив, коммерческий тоже засмеялся.

— Будет, будет! — пыталась осадить веселую компанию Мезенцева. — Сейчас гости явятся заморские, а мы ржем... — И, не выдержав, вновь закатилась.

— Нельзя так говорить о начальстве, — подмигнул Гарусов. — Что подумают ваши сотрудницы?

Девушки из орготдела повалились от хохота. Одна из них бросилась из кабинета и на пороге ткнулась носом в живот Каланчи. Что само собой привело к новому взрыву смеха. Главный администратор оглядел веселую компанию с подчеркнутой серьезностью.

— Идут! — проговорил он. — Весь Универмаг успели обойти.

И эту весть почему-то сочли достаточным поводом для ликования, чем повергли Павла Павловича Сазонова в смятение:

— Что тут смешного? Не понимаю.

— Мы тоже не понимаем, — отмахивался Лисовский. — Смеемся, и все! Нервное. Смейтесь и вы...

Тут в просторный кабинет вошли два представителя корпорации «Стрик», директор Универмага, представитель Инторга и приглашенные на совещание сотрудники... Поднаторевший в самых затейливых международных коммерческих переговорах, представитель Инторга развел руками и проговорил, скрывая недоумение:

— У русских принято встречать гостей весельем и смехом.

— Карашо-о-о! — разом произнесли Лейф Раун и Кнуд Шёберг. — Клеп да сол!

— Хлеб да соль! — подхватили сотрудницы орготдела, помогая гостям стянуть тяжелые шубы.

Фиртич снял пальто и, шагнув к Индурскому, спросил, едва раздвигая губы:

— Над чем смеетесь?

— Понятия не имею, — беззаботно ответил Индурский и со значением протянул телеграмму с приказом. — Только получил.

Фиртич пробежал глазами текст.

Приказа об уценке Фиртич ждал давно. Это была его победа. Фиртич убеждал министерство разрешить эксперимент: продавать по сниженной цене товары, спрос на которые доживал последние дни. Через недели две на лыжи и санки никто и глядеть не захочет. И девять месяцев они будут захламлять склады. А сейчас самое время провести уценку и рывком раскидать все запасы, высвободить площадь для накопления товаров весенне-летнего ассортимента. Сколько лет потратил Фиртич, чтобы доказать выгоду продажи товаров по сниженным ценам с таким вот сезонным перехлестом. И вот приказ появился. Фиртич включил в перечень и ряд позиций, на которые спрос еще держался, но на пределе. Самый раз и от них избавиться. Эксперимент обоснован экономистами Корша — комар носа не подточит. Прямая выгода! Если еще учесть стоимость хранения. Даже сбросив тридцать процентов, торговая скидка на круг сохранится в пределах нормы, и государство свое в бюджет получит. Жаль, что удалось пробить только спортивный инвентарь, а не пальто с меховыми воротниками и шапки. Но главное — начать! Будь этот приказ недели две назад, когда прошел обильный снегопад, выигрыш оказался бы значительней...

Фиртич едва сдерживал ликование. Он положил приказ на стол и поздравил Мезенцеву.

— Уценку произвести в три дня максимально! Дайте срочную рекламу по радио и телевизору. Продавать на улице! С яркими новыми ценами. Покупатель должен видеть выгоду. А там, бог даст, еще и снег повалит... Свяжитесь с метеорологами, узнайте прогноз. Если благоприятный — включите в рекламу. Все!

Мезенцева кивнула: будет сделано в лучшем виде.

— Николай Филимонович, вы условились с директором швейного объединения о встрече? — обратился Фиртич к Индурскому.

— Сегодня в пять, — ответил коммерческий.

Фиртич сделал пометку в календаре, выпрямился и улыбнулся. Он знал обаяние своей улыбки. И сейчас пользовался ею, сохраняя достоинство и уверенность в себе. Как всегда, тщательно причесан и со вкусом одет. Платочек снежно белеет в кармане пиджака. Глухой свитер заменен сорочкой с ярким галстуком...

— Итак, господа... Мы рады приветствовать вас в стенах нашего дома. И надеемся, что сегодняшняя встреча послужит началом не только деловых, но и дружеских отношений между нами и вашей корпорацией.

Дубасов перевел слова Фиртича на английский. Представители корпорации закивали, широко улыбаясь и что-то бормоча в знак расположения. Без шапок они казались еще больше похожими друг на друга. Оба курносые, со здоровым цветом лица. Круглые светлые глаза под пшеничными веселыми бровями. Соломенные волосы свободно падают на плечи и воротники серых пиджаков. На лацканах — значки корпорации.

«Кто есть кто? — подумал Фиртич, собираясь представить гостей своим сотрудникам. — Похожи, как Голландия на Нидерланды». Глядя куда-то в пространство между круглыми лицами фирмачей, он произнес:

— Коммерческий директор корпорации господин Лейф Раун.

Мужчина, что сидел правее, приподнялся и прижал руки к груди.

«У коммерческого, значит, какой-то намек на усы. Да и ростом он вроде пониже, в плечах шире», — пометил про себя Фиртич и представил технического эксперта:

— Господин Кнуд Шёберг.

Технарь бодро приподнялся, собрал свое количество доброже-

лательных улыбок и опустился на место. Человек ценит время, сразу видно.

Фиртич оглядел своих сотрудников: с кого начинать знакомство? С дам, вероятно... И тут у окна он заметил Гарусова... Фиртича обдало жаром.

— Доверяют, но проверяют? — бросил он Гарусову с усмешкой.

Гарусов приподнял руки над потертыми подлокотниками кресла в знак покорности судьбе. Никто в кабинете и внимания не обратил на этот полуметный диалог, так как Фиртич уже начал представлять гостям своих помощников.

Дубасов переводил легко, с удовольствием:

— Господа! Универмаг «Олимп» принимает в месяц примерно два с половиной миллиона посетителей. Причем каждый третий становится покупателем.

Оба представителя корпорации повернули головы к Дубасову: не ошибся ли тот с переводом? Дубасов повторил. Со стороны фирмачей послышался звук, как будто прокололи волейбольную камеру: пс-с-с-с...

— Месячный план товарооборота Универмага около семнадцати миллионов рублей...

— Плян, плян,— общительно кивнул Лейф Раун, очевидно, это слово было на слуху у заморского гостя.

По кабинету прошло оживление.

— Естественно,— продолжал Фиртич,— подобные цифры предполагают не только эстетическое выполнение работ, но и запас прочности...

Дубасов замялся, подбирая перевод сочетания «запас прочности».

— Сэфти фэктор,— подсказал Корш.

Гости понимающе закивали. Начальник планового отдела опустил глаза. От его зардевшихся щек можно было прикуривать. Сотрудники горделиво взглянули на чужеземцев: знай наших!

Фиртич остался недоволен своим вступительным словом, чего-то не хватало. Пружины, задора... И всему виной Гарусов. Конечно, он! Сидит тихо, в стороне, видно, готовит поправки и предложения. Отсутствие единства у заказчика может переориентировать скандинавов, когда настанет время решать финансовую сторону сделки. А Гарусов не тот человек, который долго сидит с закрытым ртом...

— Клавдия Алексеевна, может быть, вы расскажете гостям о наших планах? — Фиртичу надо было спокойно обдумать возможную ситуацию.

Мезенцева поправила прическу и поднялась: легкая, спортивная, в костюме, ладно сидящем на ее не по годам стройной фигуре.

— Мы, гости наши дорогие, хотим сделать так,— начала Мезенцева, направляясь к столу директора,— чтобы наш советский человек, если он даже ничего не купит, уходил бы из Универмага с хорошим настроением, с желанием прийти еще раз.

Лейф Раун что-то произнес.

— Господин Раун спрашивает: «Недостаточно вам семнадцати миллионов в месяц?», — перевел Дубасов.

— Нет. Недостаточно! — решительно ответила Мезенцева. — Вон какая наша страна. Океан! И каждый, кто приезжает в наш город, заходит к нам. А здание наше красивое, старинное. Вы еще не все осмотрели. Очень важно не заглушить его современным оборудованием. Наоборот: выпятить, показать людям. А то заходишь в новый магазин — не знаю, как у вас, а у нас стекло да бетон...

Гостям пришлось по душе раскованность Мезенцевой. И Дубасов одобрительно кивал... Фиртич пересел на свободный стул позади Лисовского. От тяжелой спины Лисовского, как от нагретой баржи, тянуло жаром. «О чем он сейчас размышляет, старый тюлень?» —

подумал Фиртич и достал из кармана блокнот, готовясь к предстоящему разговору...

— Мы хотим нацелить Универмаг на комплексную торговлю,— продолжала Мезенцева.— Мы хотим ввести комплексные отделы, такие, как «Ваша спальня», «Ваша кухня». То есть на выставочной площади демонстрируются макеты, а точнее, декорации. Покупатель, осматривая макет, как бы сам побывает на своей будущей кухне. Главная задача макета: создать настроение, вызвать желание купить. Тут мы очень надеемся использовать опыт вашей фирмы: предельное товарное насыщение на небольших площадях... Первые этажи всех трех линий отдаются товарам повышенного спроса, а также крупногабаритным и тяжелым. Там разместятся комплексы «Твой дом» или «Отдых»... Второй этаж Северной линии — «Все для мужчин», Южной линии — «Все для женщин», Средней линии — «Товары смешанного спроса», скажем спорттовары... И вообще наша мечта — торговля по образцам. Концентрация товаров на торговых площадях магазинов себя изживает. Продажа по образцам, с доставкой на дом — вот, нам кажется, будущее торгового дела...

Мезенцевой нравилось то, что она говорила. Узкие глаза блестели из-под припухлых век.

— В Универмаге предусмотрено несколько секций самообслуживания. Учитывая привычку наших людей к правостороннему движению, справа разместятся товары слабой реализации, а с левой стороны — товары повышенного спроса...

Технический эксперт Кнуд Шёберг задал вопрос.

— Какая общая торговая площадь? — перевел Дубасов.

— Семнадцать тысяч квадратных метров,— ответил Фиртич.— С каждого метра по тысяче рублей оборота... Реконструкцию будем проводить поэтапно. Не закрывая Универмаг.

Лисовский перегнулся назад и повернул к Фиртичу лицо, прикрыв ладонью губы. Фиртич наклонился, чтобы лучше слышать.

— Однажды вы уже попали в катастрофу, но отделались только шрамом,— проговорил Лисовский.— Сейчас вы рискуете остаться без головы.

Он поднялся и вышел из кабинета.

Сколько лет Михаил Януарьевич ходил по этим коридорам! Когда-то здесь лежала дорожка, вдоль стены дежурили кадки с пальмами. Людей было сравнительно немного, и все знали друг друга по имени-отчеству... Со временем вынесли кадки. Дорожку протерли до лысины и однажды свернули и убрали навсегда. Обнажился крепкий паркет. Потом в паркете появились выбоины, пустоты. Их заделывали. Новые дощечки противно скрипели и трескались. С приходом Фиртича коридор обновили. Кто-кто, а Лисовский знал, с какими сложностями изыскивались деньги. Универмаг, который приносил в год около пяти миллионов чистой прибыли, не мог провести приличный косметический ремонт. Выделенных средств хватало только на то, чтобы выкрасить стены и побелить потолок. Правда, Лисовский умел предвидеть. И никогда не скупился при расчете издержек обращения. Но все равно не хватало, как ни закладывай смету. Пьют они, что ли, эту известь, краской закусывают? «Таскают по жилым домам, халтурят,— наушничал колченогий ключник Степан Лукич.— Да разве поймашь!..» Хорошо, что стало модным натуральное дерево, можно использовать обожженные доски из-под тары. В те времена Лисовский поддерживал начинания Фиртича, а сейчас противилась душа. Иные масштабы? Испугался пропасти, через которую предлагали ему прыгать?.. Конечно, план товарооборота не скостят, об этом и думать нечего. А выполнить его двумя третями торговых площадей —

дело сомнительное. Вот и начнется закат Константина Петровича Фиртича. И «Олимпа» вместе с ним. Взять, к примеру, «Фантазию». Год шел у них ремонт, горожане привыкли, что там давка и кавардак, перестали ходить. Так до сих пор и обходят. Великое дело — молва. Собираешь годами, теряешь в два счета...

На душе у Лисовского кошки скребли. С чего это он ушел с совещания? Нехорошо. Мог бы и перетерпеть, к тому же, если честно, весьма интересно было слушать. И всем было интересно, Лисовский чувствовал. Падок народ до сказок, с детства заложено... Он еще подумал, что наверняка Фиртич постарается устроить банкет в честь гостей. И придет к нему за советом. Конечно, долг вежливости. Но не за счет же государства! А если всерьез — почему бы и нет? Не личные же они гости Фиртича, деловые люди приехали на деловую встречу... «Не дам ни копейки! — хмурился Лисовский. — Пусть выворачивает свои карманы. Тряхнет Индурского, Мезенцеву... Сколько их, закоперщиков? Человек пять-шесть. И не смогут накормить двух шведов-финнов? Или кто они там... Не дам, и все! Универмаг не Дом дружбы с зарубежными странами. Пусть только явится ко мне, так шугану...»

Но Лисовский знал, что не шутанет, а будет думать-гадать, под какую статью подвести несколько десятков рублей, чтобы не ударить лицом в грязь. Хоть сам лично никогда в подобных вечеринках не участвовал... «Ладно, на горячее или там закуску я им наскребу, — думал Лисовский. — А со спиртным пусть сами выкручиваются. Правда, они, скандинавы, дуют водку, как воду, знаю я их... Выходит, наши будут считать им рюмки? Неприлично. Международный конфуз... А где мне им взять на спиртное? Считай, коньяк попросят, стервецы. Их бы к Кузнецову Аркаше отправить, пока тот на свободе. Вот кто их напоит до одурения. А Фиртич? Тьфу!.. Впрочем, неизвестно, какие связи у Фиртича с Кузнецовым»... Так мысли Михаила Януарьевича незаметно через проблемы международных деловых отношений легли в русло тревоживших его вопросов.

Лисовский свернул в «свой проулок». Время обеда.

Просторная комната бухгалтерии была тиха. За крайним столом, закутавшись в шаль, одиноко сидела Александра Павловна Сазонова. Бледная, с гладкими волосами, зачесанными назад, она чем-то напоминала Лисовскому Неточку Незванову, сердце которой разрывалось между любовью к матери и отчиму, бедному музыканту...

*(Окончание следует)*

---



# О ЧИЕРКИ НАШИ ИХ ДИЕИ

АЛЕКСАНДР ЛЕВИКОВ



## ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

**Д**иректор Никитин писал: «Вас встретят в одесском аэропорту, дайте телеграмму». Я дал, не очень уверенный, что узнают в толпе прилетевших. На всякий случай прибавил нечто детективное, заставившее московскую телеграфистку сверкнуть бдительным взором: «У справочного сером берете «Литгазетой» левой руке»...

Шофер обнаружил меня через минуту, комната в Доме приезжих была в идеальном порядке, директор, несмотря на воскресенье, ждал в своем кабинете на втором этаже ничем не примечательного двухэтажного здания конторы.

Руслану Евгеньевичу сорок с небольшим, жену, естественно, зовут Людмила, но это выяснилось позже. Меня встречал директор Заплавского сахарного завода, что в поселке Зеленогорское Любашевского района. Весь в тон (костюм, рубашка, галстук, носки, волосы, загорелая кожа), подтянутый, собранный и вместе с тем нетерпеливый, напружиненный, готовый к спору, разговору, схватке — пожалуйста!

Чуть ли не вместо приветствия, во всяком случае вместо церемонии знакомства, сразу в карьер, в кавалерийскую атаку:

— Возьмите любое производство. Вот руководитель принял решение. Хорошее решение. Люди вроде бы готовы выполнить, но в душу их залезь — не очень верят, внутренне не верят. Почему?

— Почему?

— Се ля ви... Нарывались! На необеспеченность всякую, неподкрепленность. Боятся опять нарваться... Приезжает ко мне молодой парень, начальник объединения агрохимии. Недавно создали. Как будто стоящее дело: в одни руки передать внесение удобрений. Дали им площадку. Но ни складов, ни погрузочных средств — ничего! Базы никакой! Халупы носносили — площадка. Отчитались: создано объединение. Вагоны негде выгружать, механизмов нет. Вывеска? Вывеска — пожалуйста: «Агрохим-объединение». План, кадры, отчет — завертелось...

— Это в вашем районе?

— Нет, в соседнем. Но и наше в таком же положении.

— Ваш знакомый приезжал?

— Нет, просто просил помочь с вывозкой удобрений. А чем я могу помочь? Мотается як прокаженный по всей округе на грузовичке — спасайте, братцы! Как спасти? Или еще... Нам говорят: срочно, надо! Выручай, посылай своих заводских с косами по балкам, неудобьям, Бурьяны, сорняки — все коровушки съедят. Мы косим, сдаем колхозам зеленую массу. А она там гниет! Как же так? Я людей агитирую, в грудь себя бью — надо! И все в отвал пошло.

— Трава?

— И трава... Слова мои подгнивают, в отвал идут — вот беда. Кто же мне верить будет после этого?! И как я сам буду теперь верить в призывы о помощи?..

Конечно, он прав. Люди должны верить, что труд их не бессмысленный, что слова «наше», «общее», им внушаемые, — правда. Если вера потеряна — это почти невозстановимо. Хрупкий, тонкий инструмент, надавил — и трещина, а то и пополам. Можно еще со льдом весенним сравнить: идешь с надеждой, остороженько, не дай бог. Однако себя бережешь. А если чужие души?..

— Нельзя без конца терпение испытывать. Людей надо вести не как попало, а сквозь моральный слой.

«Сквозь моральный слой»? Любопытно. Я достаю блокнот, записываю в раздел «Мысли». Там уже есть кое-что из писем Никитина, полученных еще до очного знакомства. Собственно, я и поехал к нему из-за писем.

Он возник в моей жизни неожиданно, я и понятия не имел о Заплавском заводе, пока не пришел отсюда читательский отклик на книгу «Калужский вариант». Неведомый единомышленник протягивал руку, но и осторожничал, предупреждал против запальчивости, крайностей: «Я не спешу погонять лошадей. Притормаживаю. Боюсь авантюризма, обмана и красивой отчетности. А промышленность рапортует! Пожалуй, мы, начавшие бригадное движение в пищевой промышленности, останемся позади. На «сверкающем фоне» других нас ругать еще будут! Вот такое течение жизни...»

Поселок недаром Зеленогорское, соответствует. Тонет в кустах, цветах, траве. Огороды картошки вперемежку с розами, белье на веревках, в сарайчиках рядом с пристройками для всякой живности — автомобили.

В книжном приобрел для дочери «Энциклопедический словарь юного техника» — попробуй купи в Москве! И запасные кассеты для диктофона себе. Симпатичный новый Дом культуры, музыкальная школа, Дом детского творчества, торговый центр, средняя школа, столовая, больница — все заводом поставлено, многое стараниями Никитина.

Ладный поселочек прорисовывается на крутом склоне, над оврагом, за которым до горизонта — поля. Зеленогорское. Точно!

Здесь вообще, как я обратил внимание, любят точность. При всем при том, что соприкасается Заплавский завод со стихией самой неопределенной: сырье зависит от урожая, а тот от погоды, план в год меняется восемь раз, по окончании сезона переработки половину рабочих приходится рассчитывать, а к началу следующего собирать заново — частично тех же, но больше новых, «темных» в сахарном деле, чужих для завода и считающих его чужим себе. В зыбкой этой ситуации Никитин стремится опереться на твердь нравственную: честность в словах и поступках.

— Однажды план нам кроили-перекраивали и довели до нереального, — говорит он. — Мы выполнили задание по объему переработки свеклы, потери в норме. Значит, на план по сахару должны выйти? А не вышли. Чуть-чуть! Конечно, я мог бы схимичить, между нами говоря, залезть на сутки, на полсуток, взять взаймы из следующего месяца — не хватало всего сто двадцать тонн. Но принципиально не пошел на это. Так в области и сказал: цифра нереальная, необоснованная, у нас к ней недоверие. Надо не замазывать, а найти ошибку... Рабочий не дурак, все понимает...

— Руслан Евгеньевич, ваша правда для всех или для узкого круга?

Вскинул глаза на меня. Не ожидал такого вопроса? Некоторые убеждены, что полная информация о потерях и убытках, происшедших не по вине предприятия, лишь расхолаживает работников. Скажут: чего ж нам-то стараться. Или лучше — правда?

— Я понял, — подумав, говорит Никитин. — Понял... Допустим, мы на войне. В окопах. И я ваш командир. Я говорю: у нас танковая поддержка за бугром в лесочке и впереди поле заминировано. Патронов достаточно и еще должны подвести. Наша задача выстоять. А сам знаю, что все это блеф: танков, мин и патронов нет. Выстоять нужно с тем, что имеется, или умереть. В ходе боя мое вранье выясняется... Ну как? Что скажете о такой ситуации?.. Человек способен на все, когда его ведет правда. И он оказывается растерянным, небоеспособным перед лицом циничной, а в моем условном примере преступной, лжи. Так я считаю... Теперь возьмем производство. У меня, директора, две сферы общения: с вышестоящими и рабочими. И если я рабочим буду говорить не то, что есть на самом деле... На что тогда я смогу их поднять? Послушайте, в семьдесят девятом, когда у нас шла реконструкция, люди работали до трех часов ночи. С восьми утра и до трех! Сварщики, монтажники — все. И комбинат питания с ними, кормили прямо на рабочих местах, надо было успеть к сроку. Я рассказал им правду о тяжелом положении завода, иначе они просто не поняли бы смысла этого перенапряжения. Как же людям не объяснить?

Теперь я скажу, почему Никитину трудно, болезненно трудно далась правда о злосчастных 120 тоннах не полученного сахара: на всю пищевую промышленность страны, а не только среди сахарников Заплавский завод слывет инициатором новых, прогрессивных форм организации труда. Две всесоюзные школы здесь проведены. В Зеленогорском, буклеты многокрасочные выпущены, название звучное придумали —

СИБРИС: система бригадной самоорганизации. Обидно, несправедливо, когда авторитет серьезно задуманного и успешно начавшегося дела порочат треклятые 120 тонн, выползшие из щели неплотно подогнанного плана. Никитин места себе не находил. Об этих тяжелых днях он мог бы, кстати, мне и не рассказывать, но таиться не стал.

О бригадной системе на таком предприятии прежде мне слышать не доводилось. Завод, обвенчанный с деревней. Работают треть года, а ремонтируются две трети. Половину коллектива дважды в году надо набирать и увольнять. Едва создашь общественные организации, составят они свой план на бумаге, утвердить не успеют — пора расходиться. Инженерная работа, воспитание, управление — всё муки адские.

Сахароварение — непрерывное аппаратное производство. Мне довелось видеть на Каме изготовление бумаги. Очень просто: с одного конца суют бревно, а на другом сматывают рулоны. Между этими точками технология и машины такой сложности, что мы их всю жизнь покупали на золото и только сравнительно недавно стали делать сами. Еще пример: большая химия. Циклопические емкости, сказочное переплетение труб. На одном конце... На другом конце... Пойди разберись в этих трубах и чанах, перемешанных, будто клубок ползучих во время змеиной свадьбы. Где тут чья продукция? Как вычленил конечный результат для участка, цеха, а тем более бригады? Как перейти на коллективный метод организации и оплаты труда?

У сахарников нет цехов — смены. Смена выбивает из техники все возможное и невозможное, подгребая остатки. А рухнет что у следующей смены — нам какое дело? Авария у них — не у нас, машины стоят — не наш карман плачет. Тут уж кто кого, вернее кто за кем.

Взаимоотношения рабочих друг с другом и администрацией соответствующие. В ремонтный период слесари, сварщики и электрики накрутили свои рубли, шик-блеск! А пришел день, встали люди к аппаратам — там трещит, здесь ломается. Загорай, ребята! С ремонтников какой спрос: сезонники виноваты, техники не знают, работать не умеют, все им до лампочки. Похоже на правду, но кому от этого легче? Да и не совсем правда, если честно. Ремонтникам выгодно сделать тяп-ляп. Они получили сполна, а потом их опять вызывают по аварийной и платят второй раз. Чинить хорошо заранее — вроде самому себе добра не желать.

Надо назвать дату: они начали в 1975 году. Точность не помешает: сейчас многие объявляют себя пионерами.

Первый их шаг — цех жомосушения, относительно самостоятельное производство. Придумали комплексный наряд — единый — на весь ремонтный период. Вот вам, сказали рабочим, оборудование, материалы, деньги — распоряжайтесь. Потом дальше пошла. Те, кто ремонтирует оборудование, стали на нем работать. Сами! Ремонтники-эксплуатационники. А почему бы нет? И сразу ухищрения, о которых я говорил, отлетели. Для себя — не для дяди: отремонтировать стали на совесть. На сезонников уже не сваляешь. В жомосушилку их вовсе не стали приглашать. Пошла круглогодичная работа. Стабильным стал коллектив. Возглавлявший там дело мастер Н. Стремедловский поразился, насколько все переменялось к лучшему.

Единый наряд распространили на оба периода — и ремонтный и производственный. Коллектив один — и один на всех документ. Администрация стала заключать с ними годовой договор подряда. И началось...

Ремонтно-силовой цех? По тому же пути. Известково-газовое отделение? Соко-очистительный участок? В ту же дверь. «Покажи мне, куда идти, а дойду я сам» — так и хочется приписать афоризм кому-либо из великих, но, честное слово, только что за машинкой придумал. Стали переделывать всю систему планирования, стимулирования, организации. Весь завод по кирпичику разобрали, почистили, помыли, проветрили и сложили заново.

Руслан Евгеньевич вместе с бывшим главным инженером Борисом Ивановичем Копытчуком, вышедшим на пенсию, взялись написать книгу для издательства пищевой промышленности, да, собственно, и написали. Утром, когда Никитин заглянул ко мне в Дом приезжих, я уже рукопись прочитал. Хорошая работа. Толково опыт изложен и не без страсти.

— Ой как трудно было писать! — Никитин тяжело опустился на диван, будто только что сей труд и завершил. — Чтобы обобщающую главу сделать, сидели днями

и ночами. Днем все было ясно, а по ночам разваливалось. И названьице главе придумали: «Совершенствование производственных отношений». Потому, разумею, что ничего нельзя достичь, если не подтянем производственные отношения к материальной базе. А нам говорят: «Социализм построен, к коммунизму идем — какое еще совершенствование?». Идем, но в пути-то надо улучшать?..

С Борисом Ивановичем, соавтором Никитина, я познакомился на заводе. Улыбчивый человек. О чем бы ни заговорили — улыбается. Улыбающиеся глаза глядят сквозь очки, скрывая страстность натуры, воинственную непримиримость к «мерзостям жизни». Его мучит жажда деятельности в широком, философском смысле слова, забота о справедливости и разумном устройстве всего сущего. Наверное, это он написал как припечатал: «Помощь должна быть не в форме вмешательства и диктата, а в виде интереса к жизни и работе... индивидуализм человека опасен, но не менее опасны сильные тенденции к администрированию со стороны руководящих кадров в промышленности...»

— Страсти хватало, — улыбается Копытчук, — вышла вся. Но я так считаю: уцепишься за один принцип, в организации ли, в технике, — отстанешь. Хочешь с жизнью ладить — не стой на месте, иди.

— Иной не знает, в какую сторону.

— А надо искать! Искать и думать.

— У нас, похоже, немало заблудившихся. Хватаются за все почины, о которых слышат.

— Вот-вот...

— И я говорю: «Вот-вот».

— Так неплохо! — давит Борис Иванович прессом многозначной своей улыбки. — Неплохо; что мы хватаемся. В каждом есть зерно.

— В каждом?

— В каждом. Что-нибудь да есть. Призыв нужен, если умный, свежий и в точку. Затасканный призыв мимо ушей ползет.

Времена переменялись, и агитировать за хорошую работу нет смысла. Еще недавно мастер говорил: «Я исполнитель». А сейчас уже и слесарь не хочет просто исполнять. Думать жаждет. И делать по-своему. В этом мы с Борисом Ивановичем сходимся. Если человек чувствует, что от него ждут от сих и до сих, он даже исполнителем хорошим не может быть. Самый энергичный при таком положении зажимается.

— Закрывается, — уточняет Копытчук. — У нас есть такой инженер — закрылся. Что ему скажут, то и сделает. Скажут не лучшее, не умное, бестолковое — пусть! Сам он мог бы придумать и потолковее, а зачем? Раз вы так хотите, так и получите... Да хоть бы и меня возьмите. Я не мог бы раскрыться, если б почувствовал, что мне не доверяют. Доверие должно быть взаимным. Если обманул или тебя обманули — все. Понимаете? Это может быть только один раз, как у сапера, подорвался на обмане — все!

— А прощение? Не век же помнить?

— Отчего же? — Борис Иванович, как всегда, улыбается. — Простить можно. Верить после этого — извините...

Когда разрушается доверие в деловых отношениях, урон терпят и работа, и личность, и все общество. Весов доверия нет даже во всемирно знаменитых палатах, где собраны диковинные эталоны. И тем не менее они существуют! Каждый из нас пользуется ими. Мы взвешиваем достоинства собеседника, солидность организаций, правдивость слов, надежность продукции, авторитет управленческих решений. Без доверия немыслимы предприимчивость, нестандартный подход к решению тех или иных проблем. Отсутствие доверия способно породить бескрылое, формальное исполнительство. В такой ситуации трудно рассчитывать на инициативу, потенциал личности реализовать невозможно — лишь «указивки» будут ползать по пыльным бумагам.

— Иной начальник услышит по радио или из газеты, что сейчас поддерживается, — говорит Борис Иванович, — и начинает контролировать: сколько внедрено, почему не внедрено, где отчетность? Проверяющих послать, на коллегия вызвать, приказ издать! Страх нагонит, и люди ради галочки любую цифру сотворят. А все почему? Привык работать диктатором...

«Привык работать диктатором» — тоже в блокнот мыслей. Там уже разместились и придуманный Никитиным мероприятель — некий бюрократический жучок, питаю-

щийся входящими и исходящими. Руслан Евгеньевич не поленился сделать анализ корреспонденции по своему заводу. И вот что у него вышло (без учета внутриводской переписки, актов, резолюций и т. д.): в 1977 году было 11 155 документов, в 1978-м — 12 012, в 1979-м — 13 029, в 1980-м — 13 778...

— Лавина! У нас всего сто шестнадцать итээровцев и служащих, а полсотни из них тонут в бумажном вихре, не успевая выполнять свои основные обязанности. И ведь речь веду о главных специалистах, начальниках цехов, отделов, мастерах — до бюрократии ли им, если по совести разобраться...

По директорским подсчетам, самым приближенным, как он полагает, в среднем 16 специалистов высокой квалификации круглый год заняты у них перепиской. А суммарная их зарплата с премиями — 40 тысяч рублей. Потому Никитин и видит в ме­ропрприятии врага леса: сколько могучих стволов срублено лишь для того, чтобы сплавлялись они сверху вниз по мутным водам канцелярского потока.

Я слушаю его и к своему поворачиваю: страсть к документам, излишней отчетности — нет, не свидетельствует все это об избытке доверия в нашей деловой жизни.

Цветут розы, и пахнет черемухой. Мы идем с директором мимо длиннющего склада и производственного корпуса, облицованных белой плиткой, и я поглядываю по сторонам, деревья разные примечаю, лилии тигровые, ромашки... Руслан Евгеньевич объясняет, как варят сахар. У него получается, что дело нехитрое: свеклу моют, очищают, режут из нее лапшу (Никитин: «Стружку»), выжимают сок, очищают, перекачивают, добавляя в числе прочего известковое молоко, отбеливают, выпаривают, кристаллизуют, упаковывают в тару и отправляют прямо в рот сладкоежкам. Просто!

В техническом отношении предприятие Никитина оснащено хорошо. По своему уровню и принципам технологии это, в сущности, химическая промышленность, и не случайно, допустим, болгары платят сахарникам по тарифам химиков, более высоким.

Средняя зарплата на Заплавском заводе 149 рублей. Квалифицированный рабочий до бригадной системы получал около 250, в бригаде заработка несколько повысились. Сельская местность накладывает свой отпечаток на все, в том числе и на тарифы. Зарплата инженеров и техников здесь в среднем не превышает 140 рублей. Завод наполовину женский. Руслан Евгеньевич директорствует с семьдесят первого и вскоре после прихода заказал социологическое обследование. Результаты повергали в уныние: жалобы на ручной труд, всяческую неустроенность.

То, что сделали Никитин и его единомышленники в сельской глубинке, вдали от «индустриальной цивилизации» и высокоученых институтов, заслуживает самых добрых слов.

Вы уже знаете, что с комплексной бригадой заключают годовой договор подряда. Права и ответственность поделены между рабочими и администрацией — «тебе половина и мне половина». Бригаде дали в полное распоряжение средства производства, у нее есть график работ и смета, а также план выработки продукции и калькуляция допустимых затрат. И помимо всего прочего, вооружили ее инструментом, на котором коллектив может сыграть свою мелодию, отличную от песни других. В переводе на деловой язык это означает: конец уравниловки. Люди получают только за конкретный труд и конечный результат — так система построена.

Бригадира выбирают голосованием, заработок, руководствуясь коэффициентом трудового участия, распределяет совет бригады — демократия прибавляет доверия.

— Нас было двадцать семь, и казалось — мало, а перешли на новую систему — одиннадцати стало хватать, — сказал мне Василий Федосеевич Пастыка, черноволосый человек с бакенбардами, бригадир комплексной бригады ремонтно-силового цеха. — Я ночами целый месяц сам пересчитывал данные нормировщиков. Ребята сказали: тебе, Федосейч, мы верим, а начальству нет — решай. Чуть не свихнулся. Все перепроверял! А как же? Ребята мне поверили...

Рабочий ночами пересчитывал! А директор? Никитин сказал: «Я сам лично, своей рукой общезаводское положение переписал двенадцать раз. Мы творили вместо института».

Пастыка был болен, но, узнав о приезде корреспондента, пожелал изложить свои взгляды. Я отправился к нему в больницу. Надев халат, он вышел на улицу — мог уже выходить, — и мы расположились во дворе, за столиком для любителей домино.

— Директор даже поначалу опешил слегка, когда ему сказали, что больше половины сокращаем и будем работать одиннадцатью, как футболисты. Осаживать на-

чал: «Не слишком ли? Не перебрали?» А мы: «В каком это смысле «перебрали»?..» Ну, конечно, первое время я сам оставался и во вторую смену, учил ребят. Теперь у нас аварий нет и поломок почти нет. Для себя же заранее ремонтировали, еще в несезон... Назад? Не-е, моя бригада вспять не пойдет. Я ездил по другим заводам, никто не верит, говорят, что у них не получится. Я им, чудачкам, внушаю: мы стали зарабатывать по-людски. На других сахарных заводах машинисты газовых машин, компрессорных установок получают по сто сорок, а у нас в ремонт двести десять и в сезон двести сорок, мы теперь обслуживаем и все питьевые скважины, и станцию ирригационную, и промышленную воду, и фекальную, а еще все внутренние насосы на производстве — серьезное дело у нас...

Пастыка на заводе без малого четверть века. В армии был танкистом, после нее шофером. Строил этот завод, возглавлял на нем аварийную бригаду.

— Я вот четверть века на одном месте, не каждый может,— рассуждает Василий Федосеевич. — Бывает, что и переругаешься с начальством, но ничего. Оно у нас такое — верить можно. Сильный у нас коллектив. Не то что на сахзаводе в Котовске. Там утечка людей страшная. Я им говорю: делайте комплекс, как у нас,— и не будет утечки. Механик ихний почесал затылок: «Василий, а как его делать-то?» Приглашали меня, трехкомнатную квартиру давали — не пошел...

Говорил я и с другими бригадирами, рабочими. Мнение едино: прежде потери были страшные, но само это понятие «теряем, выбрасываем» до рабочих не доходило, ибо лично они ничего не теряли. Кто терял? Завод? Это для них было — дирекция, обойдется. Государство? Вообще далеко, как до бога. «Текет и текет сок на пол, льется — и пусть льется». К примеру, моторист. Он знал, что у него ставка сто двадцать. Ну там премию ему еще дадут, двадцатку. Когда комплекс стали собирать, люди чем заинтересовались? Оплатой поначалу — это ясно. Но чтобы денежки получить, отдачу должен дать — вот это попервости не было ясно. Вначале долго рядили, с нормировщиками скандалили, время сами засекали: за сколько такую работу можно сделать. Сразу не бросались, побаивались, что их надуют. Но потом стали договариваться с администрацией на год вперед. Договор есть договор, и если начальство нарушит, мы тоже можем расторгнуть...

Так примерно, дополняя друг друга, рассказывали заплазские сахарники. Из администрации при этих разговорах никто не присутствовал, Никитин только справился потом, говорил или нет с рабочими, а что они поведали заезжему литератору — допытываться не стал. Мне это понравилось.

Зато систему заводскую Руслан Евгеньевич растолковывал подолгу, что называется, со вкусом, каждую деталь пояснял, божился, что имеет она решающее значение. Главное, говорил он, человек видит, за что именно его премируют: действуют четкие стимулы труда и оценки качества, каждый рабочий в десять утра знает, как накануне сработал его коллектив и он сам, они болеют, следят — «это их линия жизни».

Главное — бригадный хозрасчет позволил наконец людям по-настоящему проявить чувство хозяина. Цель видна, есть из-за чего вести счет копейкам.

Главное — они освободились от «комплекса нанятости», когда такая психология работает: нас директор нанял, пусть у него голова и болит, есть работенка — работаем, простой — стоим.

Главное — подписи совета бригады и дирекции в типовом договоре скреплены печатью. Юридический документ, гарантия. Теперь они так рассуждают: я вам — бережливость и старание, вы мне — оплату и премии, я вам уважение — вы мне уважение.

Главнее этого ничего не может быть, клянется Никитин, и тут же: главное — договоры заключаем добровольно, некоторые бригады еще не решились, и мы не настаиваем, пусть друг на друга смотрят, заражаются верой.

Теперь пришло время дать справку о результатах. Сравнивая десятую пятилетку с девятой, мы видим, что производительность труда на заводе выросла на треть, а текучесть уменьшилась вдвое. Если же взять увеличительное стекло и навести его на конкретный коллектив, скажем жомосушилку, то выяснится, что вместо 300 (трехсот!) рублей прибыли в год стабильно стали получать по... 100 тысяч (сто тысяч!). Было 60 процентов текучести, а теперь ее практически нет. Простаивали по пятнадцать суток в сезон — теперь работают без аварий. Выпуск жома, ценнейшего корма для скота, утроился. Многократно сократились потери. И как венец всего: работали здесь прежде 32 человека — ныне справляются 19!

Хорошая ли система? Полагаю, хорошая, если побуждает людей так стараться, конечно не без выгоды для себя. Треть зарплаты высвобожденных работников остается в бригаде. Премии за бережливость надежно подпирают стимулирование производства сахара. В целом заработок возрос в полтора-два раза, хотя справедливее было бы в три, если уж втрое лучше сработали. Взаимоотношения труда и оплаты — особый вопрос, большая тема нашей экономики. Бывает, много зарабатывают при минимальной отдаче, случается и наоборот. Главным критерием при социализме может быть только труд. «К сожалению, на практике не всегда бывает так, — отмечалось на XXVI съезде КПСС. — Всякого рода уравниловка, факты начисления зарплаты по существу лишь за явку на работу, а не за ее реальные результаты, выдачи незаслуженных премий — все это крайне вредно сказывается и на производственных показателях, и на психологии людей».

Система, в разработке и внедрении которой Заплавскому заводу помог Укрсахарпром, уже принесла эффект, измеримый более чем 600 тысячами рублей. Полная ее реализация в отрасли могла бы дать, по расчетам, 1,5 миллиарда рублей. И все же не проценты роста и даже не ожидаемые миллиарды считаю я наибольшей заслугой, не с этим в первую очередь хочу заплазцев поздравить. Я видел предприятия, где машины и технология с иглолочки, а отношения людей тусклые. А здесь нашли, повторяю за Никитиным, линию жизни. Это и есть показатель.

Чем больше я вникал в жизнь завода, тем больше тянуло меня в колхоз. И Никитин, угадав мое настроение, предложил:

— Махнем к Мазуренко?

Секретарь Любашевского райкома партии Михаил Филиппович Шпаковский захал за нами на своем «уазике», и мы отправились втроем.

Ах до чего хорошо! Густой воздух пьянит. Птичка-пасметюха чистит перышки в коридоре озимого ячменя. Поблескивают, наливаясь, стручки гороха. Еще поворот — смотрите, смотрите, аисты на капусте! Слева от нас шесть белых, величественных, с черными хвостами. И дальше до горизонта — разноцветные поля, поля, поля, стелющиеся по склонам холмов, расчерченных темно-зелеными квадратами лесозащитных полос.

Ни одной стены многоэтажной, куда глаз ни кинь, ни одной кирпичной трубы. Синее до невозможности небо, и высоко над самой головой повис жаворонок. Я радуюсь, а секретарь райкома озабоченно смотрит мимо парящей птицы куда-то еще выше, в крутизну неба, где ни облачка. Время от времени он останавливает «уазик» и выпрыгивает в зелень — подержать на ладони, помять пальцами, растереть, понюхать.

— Здесь еще ничего, а там совсем худо. — Голос его тревожный, и мы не спрашиваем почему. Палит.

Прежде чем попасть к Мазуренко, сделали небольшой крюк в Сельхозтехнику. Главный инженер Михайленко, хитровато прищуриваясь, приглашает рассаживаться.

«Можно?.. Разрешите?» — шоферы и крановщики комплексного механизированного отряда набиваются в кабинет главного: плотный Дизенко, рыжеволосый Карпов, другие... Пора начинать.

— Такая штука получается. — Хозяин берет на себя бразды правления, покосившись на присевшего в сторонке секретаря райкома. — В отряде двенадцать человек. За год Любашевский район, используя сто шестьдесят машин, сдал сто сорок тысяч тонн свеклы. Из них отряд вывез двадцать четыре тысячи. Шестую, стало быть, часть...

— Слышите? Шестую! — врывается нетерпеливый Никитин. — А у них десять машин всего...

— Восемь у нас.

— Восемь?.. Да ладно, пусть десять — считать удобнее... Машин в шестнадцать раз меньше, а вывезли шестую часть! Слышите? Производительность выросла в два раза с гаком!

— Сам у себя красть не станешь, верно? — опять овладевает вниманием главный. — Время, говорю, свое красть никто не будет. Так? Раньше они кругом были в простое. А теперь заранее знают маршруты, график, ни от кого не зависят. Мы им доверили это дело.

— А проверяете как? — интересуюсь я.

— Контролировать, собственно, нет нужды, их заработок ведет.

«Правильно... Точно...» — баят механизаторы, подтверждая. Один лоб вытирает рукавом — жара, другой тянется в карман за сигаретой, но запалить не решается, весь разговор так и продержал в руке, время от времени разминая пальцами. Рассказывают: работать стало в охотку, дело быстрее перемещается и заработки, как один деликатно выразился, «оседают».

Опять Никитин встречается:

— А до того, до того? До отряда?

— Да ничего жилось, — отвечают, — каждый был сам по себе... Слетела у меня цепь — я на погрузчике, а ему, шоферу, без разницы. Сейчас все кидаются... А чего мне было-то выступать? Завяз — ну и кукуй. Я себе круть, развернулся — и ходу... Теперь мы меняемся, с машины на погрузчик можем враз пересесть и обратно. Раньше сделал ходочку-две — и пошел отдыхать. А в бригаде скажут: «Вася, что с тобой? Если уж давать, так давать...» Да и надоело по старинке, чего-то уж новенького попробовать хочется. Когда организовались в отряд, приехали в самый дальний колхоз и вычистили у них все затело. Люди дивились: мы, сказывают, никогда так рано не кончали бураки, еще солнце вовсю. Нормовички на колени падали...

Нормовичками здесь называют колхозниц-свекловодов, но почему на колени падали? Я не понял.

— Так как же! Они всегда ковырялись с этой свеклой осенью поздней, в дождь, холод, грязь... А сейчас мы идем в графике: до октябрьских — чистое поле...

— Тут вот еще что, — поясняет Никитин, — колхозница знает: когда свеклу привозят на завод вялой или подмороженной, ей двадцать процентов оплаты снимают. Ощутимо.

Механизированный погрузочно-транспортный отряд, как я выяснил, форма промежуточная, но они уже приближаются к подрядной бригаде, хотя еще большей самостоятельности.

— Сами желаете, или кто подталкивает вас? — поинтересовался секретарь райкома.

Ответили:

— Жизнь подталкивает.

Никитин с ходу предлагает: давайте организуем обучение, чтобы вы четко представляли себе все элементы подряда. Подсчитаем с вами нормативы. Что вы сделать должны, сколько получить и за что, много ли людей можно сократить и какую часть их зарплаты себе оставить — все! Дадите свежую свеклу, она сахар не потеряет — мы больше продукции из нее получим. А вам тоже прямой резон: жом будем вам выделять для личного скота. По рукам? Тройственный договор заключим: завод — отряд — Сельхозтехника. Оформим документально, печать поставим.

Механизаторы переглядываются со своим начальством, посматривают и на нас, приезжих; печать — это хорошо, но надо подумать. А Никитин не дает передышки, развивает успех: на год вперед договор заключим, чтобы вы не беспокоились — мол, директор наобещает, а потом его иди ищи.

Если создать 6 таких отрядов, мечтательно подсчитывает секретарь райкома, то на перевозку свеклы понадобится не 160 автомашин, которые сейчас пригоняют даже из Одессы, а только 60.

Людей в деревне не прибавляется, хотя украинское село не сравнишь с Нечерноземьем. А посевные площади под сахарной свеклой растут быстро: 1940 год — 1,23 миллиона гектаров, 1980-й — 3,71 миллиона. И хотя затраты труда на центнер упали вдвое, но к технике еще требуется человек с душой.

Придерживаясь одной лишь концепции «технологического мышления» — больше денег, машин, удобрений, энергии, мелиорации, построек и т. д. и т. п., — далеко не уедем. Деньги будут распыляться, машины гробиться, удобрения портиться, строительные материалы разворовываться. Поэтому и оказался агропромышленный комплекс в центре внимания участников недавнего майского (1982) Пленума ЦК КПСС, принявшего на сей счет основополагающие решения: объединить усилия партнеров — и тех, кто производит сельскохозяйственную продукцию, и тех, кто перевозит ее, хранит, перерабатывает, продает. Иначе нельзя решить задачи, выдвигаемые Продовольственной программой.



Еще до Пленума было проведено широкое экспериментирование, в Эстонии, Латвии, Грузии появились районные агропромышленные объединения (РАПО), ставящие целью улучшить взаимодействие всех участников процесса — от поля до потребителя. Пленум рекомендовал следовать таким курсом.

В сахарной промышленности первой ласточкой было Ямпольское объединение в Винницкой области, где раньше других заключили договор о содружестве свекловодов, работников сахарного завода, автопредприятия, Сельхозтехники. Но договор договором, а минувшей весной украинская «Рабочая газета» публично высказала неудовлетворение... самих инициаторов, получивших всеобщую известность. Отчего же замучались своей славой авторы почина? В статье «Амфора, полная проблем» журналист В. Смага приводит мнения директора сахарного завода М. И. Чернаты, начальника райсельхозуправления Н. В. Пастернака и других партнеров: бывший совет смежников стал называться советом агропромышленного объединения — вот и все различия, единства экономических интересов добиться не удалось. Сохраняются отраслевые принципы планирования и финансирования, не спрашивая совет, решают, куда пойдут средства, запчасты, где строить дороги; шоферов по-прежнему поощряют за валовую показатель — перевезенные тонны — и нельзя наказать их рублем за потери, сказывающиеся на урожайности, и так далее и так далее. Ямпольцы мечтали о совместных фондах стимулирования и развития, полученных за счет отчислений от прибылей, высказывали и прочие, как им казалось, далеко идущие предложения.

Решения майского Пленума ЦК партии помогут и ямпольцам и другим участникам агропромышленного комплекса овладеть всеми преимуществами «организационной идеи» — условно буду называть ее так. Но отдача гигантских материальных вложений в деревню была бы гораздо большей, если б в дополнение к «технологическому» и «организационному» мышлению получила всеобщую поддержку концепция «социального мышления». Под этим термином, столь же приблизительным, как и первые два, я подразумеваю курс на такие формы организации и стимулирования труда, которые исполнителя чужой воли, безразличного, стороннего наблюдателя («Не наше — колхозное») превращают в бережливого и рачительного хозяина. На этом принципе основывается бригадный подряд в строительстве, «калужский вариант» в промышленности. Такие системы и в деревне отлично себя показали: безнарядные звенья и бригады, где платят не за пахоту, не за подкормку химикалиями, не за прополку, не за полив, не за уборку, а только за готовую продукцию, урожай.

«Главное состоит здесь в том, — говорилось на майском Пленуме, — чтобы каждый трудящийся видел, осязал прямую, простую и понятную связь между тем, что он сделал, и тем, что он заработал».

Уже в этой пятилетке предусматривается широко внедрить в отраслях агропромышленного комплекса бригадный подряд, аккордно-премиальную систему.

Именно сюда устремлены помыслы Руслана Евгеньевича Никитина, мечтающего объединить партнеров своего завода не парадным «договором содружества», за фасадом которого нет и тени социально-экономического содержания, а сквозным — от поля до завода — бригадным подрядом.

Хлеборобский (обобщенно\* говорю — вообще земледельческий) подряд, где его с умом организовали, совершает чудеса. На той же Украине секретарь Николаевского обкома партии А. Г. Захарченко приводил такое сравнение. В одном колхозе — механизированный отряд, работающий на условиях подряда, в другом — обычная тракторная бригада. За ними закреплено одинаковое количество земли — около 2,5 тысячи гектаров. У них по 12 тракторов, но во втором случае, в тракторной бригаде, на 10 человек больше. Так вот там, где подряд, продукции дают вдвое больше (в расчете на механизатора — даже в три с лишним раза) и зарабатывают почти вдвое больше. Хотя в стоимости продукции удельный вес их оплаты составляет лишь 9,7 процента, а у «проигравших» — 14,7! Победа убедительная, ничего не скажешь. «Эти экономические выкладки, надо полагать, не требуют комментариев», — замечает секретарь обкома.

Требуют! Почему безнарядные бригады и звенья, родившиеся в деревне задолго до злобинского почина, не стали в нашем селе правилом, хотя и прижились во многих местах, удивляя стойкостью результатов? Почему они рассыпаются, гаснут, подобно незащищенному огоньку на сильном ветру? Дело в уровне управления. Иные руководители хватаются за новшество, а потом остывают. Оно слишком серьезные

предъявляет требования к ним самим — человеческие, нравственные в первую очередь, — и к качеству руководства хозяйством. Подрядному коллективу надо дать фронт работ. Их не пошлешь куда подальше с их повторяющимися просьбами — у них же вся оплата от урожая! И совершенно иное самосознание, достоинство возникают в таких коллективах. Они испытывают на прочность широковещательные разглагольствования иных начальников о доверии и уважении к работнику, приверженности идеалам производственного демократизма. Когда директор совхоза или председатель колхоза ставит свою амбицию выше дела, когда он не желает отказаться от привычек властвовать даже в мелочах, самостоятельность подрядного звена для него кость в горле. Находит коса на камень, и поражение, увы, чаще всего терпят не администрации.

Обо всем этом я размышлял, сидя рядом с Никитиным, пока шустрый вази «уазик» снова кружил и кружил по дорогам между бескрайних полей.

— Дороги все-таки основное, — ни к кому конкретно не обращаясь, бросает сидящий впереди секретарь райкома, — дороги, а не дома культуры. Установка на ДК была неправильной. Вот Дмитровку возьмите. Из нее разбегались, а едва начали дорогу строить — две семьи вернулись.

Дмитровка, поясняют, та самая деревня, где «нормовички падали на колени».

— Сколько помотался я по колхозам, районным организациям, сколько бумаги извел, сигарет выкурил на совещаниях! — откинувшись на сиденье, вспоминает этих нормовичек Никитин. — Почему свеклу не вывозят прямо с комбайнов, а пользуются перевалкой? Все кричат, что не хватает транспорта. Ерунда! Умения нам не хватает, а пуще всего — взаимной заинтересованности. Крутим так и сяк, но каждый в свою сторону. Идея объединяющая нужна...

Дело Никитина — завод, деревня вроде бы не его забота. Но завод с сельскохозяйственным сырьем — и директор не равнодушный человек. Взялся Руслан Евгеньевич за капитальную разработку «Пути совершенствования хозяйственного механизма в сахарном агропромышленном комплексе». Механизм — вот в чем штука! Расчеты, цифры, теоретические обоснования — факторы интенсификации... факторы организационно-хозяйственные... факторы экономические... факторы социальные...

Единый и вневедомственный технологический цикл, по его замыслу, должен иметь такие очертания. Первый этап (от подготовки поля к посеву свеклы до уборки) берет на себя механизированное звено, работающее на условиях подряда. Ориентеры дать ему — урожайность, сахаристость, технологическое качество сырья. И оценивать по этим показателям, точно так же как Заплавский завод оценивает свои комплексные бригады. Оплату поставить в прямую зависимость от конечного итога. Однако все это, развивает он, еще полдела. Этап следующий: погрузка и перевозка. Опять на тех же самых принципах создать комплексные механизированные отряды, как создали в Любашевке, — повсюду такие! Далее — завод. Здесь бригады уже действуют. Сахар в мешке.

— Цепочку надо замкнуть. Но как быть с ведомственной подчиненностью? Слить завод и колхозы? Нет, даже в рамках объединения не получится. Чтобы вырастить свеклу, нужна многопольная система земледелия, лет через семь в этом месте придется ее сеять. А в другие годы выращивать зерно, масличные, корма какие-то. Так что же, заводу навесить весь этот шлейф? Абсурд. За разнотравьем и зерном животноводство потянется.

— Можно договор заключать с правлением колхоза, — предполагаю я, — наверное, так и делается.

— Не про то речь. Мы хотим заключать втроем: завод, звено и правление. Уже заключали раз — с Мазуренко...

Дорога под уклон пошла, становилась все круче. «Уазик» нырнул, не сбавляя скорости, где-то под ложечкой у меня екнуло.

Солнце перевалило зенит.

Попетляв еще немного, вырулили прямо на Мазуренко.

Невысокий, худощавый, светловолосый, он стоял среди разобранных, полусобранных и почти готовых машин, вытирая замасленные руки паклей. А рядом со всей этой «грудой железа» будто для контраста, поддразнивая, били копытами сытые кони, запряженные в тарантас, где сидела красивая молодка.

— Я к тебе. Корреспондента привез,— здороваясь с Мазуренко, кивнул на меня Никитин.

— А нечего было привозить! — Мазуренко, круто развернувшись, пошел в дом.

Смущенная наша команда — Никитин, секретарь райкома, вынырнувший откуда-то колхозный парторг Александр Тимофеевич Стебловский и я — потянулась следом.

О приезде моем в Любашевский район, да и вообще о моем существовании на белом свете Мазуренко понятия не имел. А я о нем читал еще в Москве. В брошюре Руслана Евгеньевича Никитина. Директор рассказывал, что, пытаясь наладить систему поле — завод, заключили договор между звеном В. Г. Мазуренко, правлением колхоза «Родина» и предприятием.

9 человек — 4 механизатора и 5 колхозниц — получили поле в 93 гектара. Состояние его было ужасным. Вспашка небрежная, остатки жнивья, да и предшествующие культуры не из лучших для сахарной свеклы: подсолнечник, кукуруза на силос. Условились, что работать будут по единому наряду. Полный расчет по окончании года. Детали и тонкости разные (надбавки, доплаты за дополнительную продукцию, сахаристость и скидки, если что не так по вине звена) обговорили со всей тщательностью. Никитин включил в договор и обязательство своего завода, не имевшее тогда прецедента: отпускать членам звена сухой жом для личных буренок.

В брошюре подробно объясняется, какую Мазуренко применил агротехнику, как снег задерживал, с каким рвением поля очищал от сорняков, подкармливал удобрениями, техникой как маневрировал, вплоть до погоды летом и осенью, с разбивкой температуры и осадков по месяцам, да еще в сравнении со средними многолетними, — это я все опускаю и сразу перехожу к результатам. Вот таблица, которую я, прочитав, отчеркнул, поставив на полях жирный восклицательный знак.

Звено Мазуренко получило на своей площади в среднем по 252 центнера свеклы с гектара, а весь колхоз «Родина» по 165. Сахаристость была у Мазуренко 17,4 процента, у колхоза — 15,8. Посмотрим себестоимость: у Мазуренко 2 рубля 10 копеек, в колхозе 3 рубля 87 копеек. Еще сравнение: расход труда на центнер корней у Мазуренко 0,8 человеко-часа, у колхоза — 3,1. На заводе не стали смешивать мазуренковскую свеклу со всем потоком, замерили отдельно. Вышло готовой продукции с гектара: у Мазуренко 35,7 центнера, в колхозе 20,3.

«Из приведенных данных очевидны преимущества новой формы организации труда на свекловичном поле», подводил итог автор, подчеркивая «сотрудничество и обоюдную заинтересованность свекловодов и сахарников».

— То дело зарбóсло, заросло, мы его запустили,— кричит в мой диктофон возбужденный Мазуренко,— заросло оно!

— Подожди, не горячись... Как люди в звене смотрят на это? — спрашивает Никитин, горько переживающий крах своего столь обнадеживавшего эксперимента.

— Они отрицательно смотрят.

— Не нравится работать звеном?

— Нет, к звену они положительно. А отрицательно на организацию нашу. Понимаете?

— Нет,— говорю я,— не понимаю.

— Ну так заросло же оно, заросло!

Еще три-четыре фразы, и я понимаю: звено распалось. Блистательный результат — уже история. Теперь Мазуренко и люди его намерены работать, как все: куда пошлют, по нарядам. И результаты у них будут равны не «показателям Мазуренко», а средним по колхозу «Родина», который частенько не выполняет план по выращиванию свеклы, имеет невысокую культуру земледелия. Начальник райсельхозуправления Г. В. Березанский говорил на одном из совещаний (цитирую по стенограмме): «В этом колхозе очень мало рабочей силы и очень высокая нагрузка на женщину в прорывке свеклы... Поэтому четыре механизатора во главе с опытным специалистом-механизатором т. Мазуренко взялись выращивать сахарную свеклу без затрат ручного труда. Они в свое звено приняли еще пять женщин, которые помогали им в борьбе с сорняком на краях поля, на поворотных полосах». Колхоз обеспечил звено всем необходимым, утверждал Березанский. Мне пришлось убедиться в обратном. Не останавливаясь и перед соленым словцом, Виктор Гаврилович Мазуренко с такой яростью чихвостил «обеспечение», что Стебловский, секретарь парторганизации, не знал сначала, как отбиваться. Но потом и сам перешел в атаку, обвиняя в случившемся звеньевого, который де оказался «не тем человеком».

Каюсь, я сначала подумал, что механизаторов надули с оплатой. И подтвердись, можно было бы выстраивать дальше: нечестность в расчетах подрывала доверие к уговору. Не подтвердилось! Звено заработало в тот год 6157 рублей (основная оплата), да еще получили 14 470 рублей по конечному результату плюс сахар. Сам Мазуренко, например, кроме денег, получил дополнительно 25 центнеров сахара, колхозницам тоже вышло прилично. Столько они прежде не имели.

Может, не замечали его, Мазуренко? Да нет, телевидение областное, радио, пресса — все пошумели в меру.

— Мазуренко вместе со мной по телевидению несколько раз выступал, — вспоминает Никитин, — газета печатала его мнение по проблеме поле — завод. А потом не пошло... С правлением колхоза у него противоречие вышло. Не помогли ему ни в чем. Он прямо-таки волчком крутился. Меня работать заставлял, я посылал своих гонцов в Киев, звонил туда: пожалуйста, помогите ему с удобрениями. А руководство колхоза отошло в сторону, не поддержало. Он и разуверился.

Разуверился? Берусь утверждать: безнравные звенья в деревне распадаются не потому, что механизаторы теряют доверие к идее. Они хотят, чтобы вслед за ними верили и другие, особенно начальство ближайшее. Верили и действовали как единомышленники. Не красноречиво, а строго придерживались условий, на которых люди согласились работать: не мешали, технику не отбирали на другие поля, не дергали туда-сюда, обеспечили чем положено. А когда руководители хозяйства к ним равнодушны, механизаторы перестают доверять — начальству своему, а не подряду.

— Откровенно хотите? Я скажу, — заводит Мазуренко, — значит, откровенно... Удобрения сам крал! Как ворюга какой себе возил...

— Нет, ты подожди, — останавливает Стебловский.

— Да было ж так! Просили: скажи откровенно... Хорошее дело, и можно было бы робить. Но одни люди тянутся, а другие к ним без различия.

— Тебе что, не помогли? — наседает Стебловский. — Машин не давали? Говори, да не заговаривайся. Отвечай на вопрос.

— И не помогли и не мешали. Без различия... Чего мне отвечать? Вот людей интересует, почему звено не прижилось. Я считаю, то дело хорошее. Если мы не введем то дело, будем голы, босы, мы ж без людей! А колхоз нам не помогал... Удобрения крал, семена себе сам возил...

— Тут просчет вышел, — объясняет Никитин, — перевозки семян не входили в общий наряд и не оплачивались, в принципе надо включать, наверное.

— Я не знаю ваших принципов, знаю, что так было... Дозвольте сказать правду: надо, чтобы не один звеньевой думал. Чтоб думали и другие... А робить так можно. У меня нормовички получили по две тысячи, когда раньше получали пятьсот.

— Выходит, что шло хорошо?

— Шло. Хорошо шло. Только помощь не шла. Со стороны правления как: взялся Мазуренко — пусть работает. А яка помощь?

Я попросил высказаться секретаря парторганизации колхоза, Стебловский сказал:

— Хорошее дело, и работали они хорошо, оплата заслуженная, а все остальное... Вот он говорит, что ему внимания не уделяли. Я мало уделял? Да, мало. Признаю. А ты сам, Мазуренко, уделял? Ты больше собой занимался, чем звеном.

— Не крути! — взвился Мазуренко. — Разговор тут откровенный. Так было!

— Нет, не так! Тебе что не по тебе — сразу в психику падаешь. И все!

— Уже на меня бочку катят...

Когда садились в машину, подошел ко мне учетчик колхозный Николай Демьянович Кривцов, сказал:

— Людей в колхозе убывает, на собрании прошлый год говорили, что у нас шестьсот человек и триста из них трудоспособных, а сейчас уже объявляют — на сорок человек стало меньше. Без таких звеньев, как Мазуренко, нам не справиться.

Мы уехали с горьким чувством. Ясно было одно: эти люди не верят друг другу. Позже и председатель «Родины» сказал мне о Мазуренко: «Не тот человек». Не те отношения — могу я ему возразить! Самая замечательная идея не спасет, даже успех очевидный, даже деньги большие, честно заработанные, — ничего не спасет дело от развала, если истончилось до едва видимой пленочки, а затем и вовсе испарилось то, что не фиксируется договором, не скрепляется печатью, — доверие.

— Очень полезное дело, но, согласен, без доверия не пойдет,— подытожил наш визит секретарь райкома Михаил Филиппович Шпаковский.

Я вспоминаю Мазуренко, худого разгоряченного человека в рубашке с цветными горошинками, сдвинутой на затылок кепке, с черными от смазки руками, яростный спор его, резкие, бьющие наотмашь слова: «Не можно так... не верю... на хрена мне брехать?.. Я стоял из-за принципа...» Вспоминаю и оппонента его, Стебловского, красные пятна на разгневанном полном лице: «Нет к тебе у нас доверия!»

А велика ли цена взаимной требовательности без взаимного доверия! Мы должны здесь признать бесспорный факт: высшая справедливость остается за земледельцем, ибо нет ничего справедливее желания его выращивать урожай. Справедлива позиция человека, отказывающегося быть винтиком, желающего думать, решать, управлять вместе со своими руководителями, разделяя их ответственность.

Трудно управлять думающими людьми, но вот беда — не думающих людей нет, все мы мыслим, только не все высказывают свои требования вслух, многие помалкивают, поддакивают, возможно, не зная правила, которое Герцен наблюдал в тогдашней русской действительности, но руководствуясь им: «...думай как знаешь, но лги, как другие». И отчуждают себя от труда, полагая дело «колхозным», а не своим собственным. Не отсюда ли эрозия нравственности в сфере труда? Не здесь ли истоки недобросовестности, прогулов, опозданий, брака, неисполнения в срок заданий?

— Зависимость порождает нечестность. Вы согласны? — спрашивает Руслан Евгеньевич, отклебывая с удовольствием из большой кружки простоквашу.

У меня в руках такая же. Сидим на траве возле домика, поставленного заводом на берегу озера. Что и говорить, не ахти какая богатая база отдыха, но и эту удалось пробыть с трудом, подталкивали сооружать где-то далеко от поселка. А зачем? Своя вода рядом — лодки, удочки, лежаки. Правда, спуск крутой — аж дух захватывало, когда директор, сидя за рулем, газовал вниз, так и казалось: сейчас сверзимся.

— В самом факте зависимости уже есть что-то, вызывающее протест. Слову зависимого трудно доверять. Говорит на собрании, и видно, что скован своей несвободой. Зависимость им дирижирует, убивает откровенность в суждениях. — Мысль его вздымает к высотам моральных сентенций и снова опускается на грешную землю. — В подрядных бригадах рабочие друг другу и администраторам всё говорят откровенно. Почему? Раньше такого не наблюдалось. Я не сразу догадался: от степени честности оценки труда зависит и честность в чисто человеческом общении. Возьмите любое производство, где нет такой формы: официальные и неофициальные отношения, скажем, рабочего и мастера могут не совпадать. Официально — руководитель и подчиненный, а по сути они погрязли во взаимных услугах. В сельской местности вроде нашей, в маленьком поселке отношения переплетены. Надо уметь держаться. Иной побывает со своим начальством на пикнике где-то или на свадьбе, спляшут, на гармошке сыграют — и запанибрата. Я этого не люблю: отдых отдыхом, а дело делом. У меня сосед по дому — заместитель главного инженера. Хороший сосед, мы друг другу и по хозяйству поможем и отдохнем вместе. Но на производстве ему, бедному, достается больше всех, он от меня столько пилюль получает!

— Страхуетесь? Как бы чего не подумали, мол, соседи...

— Интуитивно разве что... А нарочно? Нет, не думаю... Просто я за дело спрашиваю с каждого, сосед ли, сват ли — мне все равно. Сделал — покажи, не сделал — получи... А верно, мне иногда говорят: что ты на него напустился, соседи все-таки, нельзя так наваливаться, не по-людски. Но я отношения по-людски иначе понимаю. И он не обижается, если за дело.

— Обманывают вас? Бывает?

— Особенно не замечал... Знаете, я очень остро воспринимаю обман. Если меня раз обмануть — больше никогда не поверю.

— Вот и Борис Иванович теми же словами...

— А что? Он прав! И у меня так... Представляете, какое скверное бывает ощущение? Как будто возле тебя нет человека. Если он обманул меня и я уверен в прямой лжи, человек в моих глазах как бы растворяется. Перестаю его ощущать. Это допустимо для руководителя?

— Трудно сказать. Все мы человеки...

— Нет, наверное, это мой недостаток. На себя всех мерить нельзя, видимо. Сам я стараюсь быть обязательным, понимаете?

Отец его, Евгений Павлович, тоже был «сахарным королем», директорствовал неподалеку, в Ульяновке. Какое-то время Руслан работал на заводе отца — электромом.

Выпало ему повидать всякого. Тушил лесные пожары на Вятке, где до армии работал железнодорожным диспетчером («Страшно, гудит все, заряды в несколько рядов рвутся, оборудование вытаскивают в противогазах»), поднимал залежные земли в сибирской глухомани («От железки село триста верст, некоторые там жизнь прожили, а паровоза не видели»), был начальником цеха, радиотехником в авиации...

В школе и в институте, Киевском политехническом, Руслан Никитин считался художником — оформлял газету, афиши разные к праздникам. Карикатуры рисовал и сочинял к ним стихотворные тексты. Позже, секретарем парткома в Новоукраинке, возобновил эти «окна РОСТА» — рисунки писал акварелью, тушью и опять стихи под ними. Некоторые предупреждали: смотри, Руслан Евгеньевич, взъеряты на тебя раскритикованные, жалобы в райком пойдут: что это за дело партийному секретарю — людей кривыми изображать? Отбивался: «Крокодил» тоже не беспартийные выпускают, пусть в жизни выпрямятся сначала, тогда и в «кривые рисунки» не попадут.

Страсть рисовать осталась. Дома у Руслана Евгеньевича висит портрет его жены Людмилы и пейзаж, а в служебном кабинете изображен родной завод. Я сперва подумал — литье, оказалось — нет, рисовал Никитин по пенопласту, выдавил и покрасил бронзой.

В студии учился? Немного ходил, отвечает, но потом бросил, некогда. Студентом напряжковался, надо было на жизнь зарабатывать — вот и марал плакаты.

Второй разряд у него по волейболу, а по стрельбе и того выше: участвовал в областных соревнованиях, защищая честь института, завода. Вид и сейчас спортивный, подтянут, «директорского живота» нет. Смеется:

— Стараюсь... Ох, в молодости я ворочал, горел аж! И начальником цеха был, и команду организовывал, и в самодеятельности...

— Еще и артист?

— Да нет, какое... Конферанс я вел. В масках выступал, под Райкина, сам же и лепил их из глины, папье-маше. Я когда сюда приехал, директором уже был, раз в неделю с поселковыми детьми занимался. Жаль, теперь времени лишен... А своей малышке сделал маску яги. Так старался, но в школе ей не дали первого места, дали королеве. Королева красивая, а баба-яга кривая...

В директорской своей жизни Никитин спотыкается о «кривые» частенько.

Хозяйственнику-сахарнику не позавидуешь. «Нужен инструмент в электроцех — ищи где придется, там две отвертки, здесь одну...» С утра директор засел звонить по телефону — при мне было — добывать где-то 150 килограммов полиэтиленовой пленки для заводских теплиц: хотя бы выращивать укроп, петрушку, редис, огурцы, чтобы круглый год кормить витаминами рабочих. Пачка писем на подпись — слезные мольбы в разные инстанции о строительстве. Пришли возбужденные заместитель начальника ТЭЦ и сменный инженер: срочно нужен квалифицированный сварщик, а им не дают — повсюду идет ремонт. Заглянул председатель завкома: «Руслан Евгеньевич, там человек явился за ордером, но вы же знаете положение с жильем — пусть пока подождет?» «Ему было обещано? Все! Слову назад ходу нет». По телефону (гневно): «Я не верю любашевским связистам!.. И дорожникам вашим не верю!..» Десять лет, поясняет мне, не могут радиофицировать рабочий поселок. Сколько было писем, звонков, личных встреч, заверений — ничего не делают. Страшная безответственность — ничем больше объяснить нельзя, теперь обещают сделать в третьем квартале, но Никитин им уже не верит.

Руслан Евгеньевич говорит, что все труднее становится пробивать, реализовывать замыслы. Пока утвердишь, получишь одобрение — время бежит, и, случается, идея где-то вянет, гложет. Сражаться ему приходится нередко, но характер у Никитина, подмечаю, покладистый, несмотря на воинственность, видимо, умеет строить отношения с начальством, смежниками, прочими организациями.

— Это ясно, — соглашается, — сегодня хозяйственнику надо быть дипломатом. Внешняя политика завода, если гибко ее вести, смягчает тяжесть работы под давлением. Необязательно идти напролом, успешнее может оказаться иной маневр.

«Иной маневр» не всегда проходит безболезненно. Для отделки Дворца культуры понадобилась черная и белая мраморная крошка, получить официально ее не могли, а в обход... Выменял где-то за два вагона сырого жома — и получил директор на

**орехи:** выговор, денежный начет — нельзя отпускать без наряда, да еще в другую республику. Сидел два месяца на 130 рублях и помалкивал, а все-таки обидно: вагон сырого жома — полсотни рублей, копейки в заводском обороте, зато вид какой! «Меня не будет, а дело останется». Корпус завода облицевали — тоже выговор, нашли какие-то нарушения. Руки чешутся жилой дом для рабочих облицевать, плитка есть, да решил переждать...

— Хозяйственника без выговора встретить — все равно что пятиногую собаку. Многие так рассуждают: выговор снимут, а сделаешь дело — и люди добром вспомнят. Знаете, я иногда сам прошу: дайте мне строгач, задумал то-то и то-то. Хорошо, говорят, выговор получишь, делай! — Руслан Евгеньевич смеется, и не поймешь, разыгрывает он меня или это правда.

— Почему трест за то-то и то-то должен выговор давать? — хочу понять механику этих взаимоотношений.

— За переплату.

— А переплачивать зачем?

— Так я же договорюсь с швабшниками, естественно, не с кем больше. Жена возмущается: не ввязывайся, угомонись. Угомониться проще простого, боюсь, тогда и всякое дело угомонится... Вот у нас сейчас здание строится, и я хочу в нем молочное кафе для детей открыть. А сделаю — опять склопочу. Нарушение: дом-то жилой, придется первый этаж перекраивать...

Что тут сказать? Ухищрения, с помощью которых поддерживается заводской быт и частенько сама жизнедеятельность производства (нарушения правил, ограничительных инструкций, финансовой дисциплины), повсюду вошли в систему. Формально за них наказывают, но ни сам хозяйственник, ни вышестоящие, ни коллектив в действительности не считают эти проступки безнравственными. Нарушение закона опасно. И не только потому, что приводит к дезорганизации в экономике, — создается возможность для злоупотреблений, личность подвергается искушению.

Когда задумываешься о таких вещах, разные мысли приходят в голову. Хочется говорить о крупных недостатках и просчетах в материально-техническом снабжении, вынуждающих работников предприятий искать окольные пути. Настораживает и нравственная, психологическая сторона, привычка к слову «достать». Председатель колхоза достал кровельное железо. Снабженец оперативно достал самосвал. Где достал? Таких вопросов задавать не принято: не для себя старался! Однако механизм доставания отнюдь не безобиден. Эта воронка засасывает порядочных людей в орбиту машинаторов, перемалывает представления о совести, щепетильности, ведет к раздвоению личности. Да и так ли уж бескорыстны доставалы? Их нередко премируют и выдвигают, они еще пуще стараются, чтобы выдвинуться.

Подавляющее большинство хозяйственников, разумеется, «чтит уголовный кодекс», как говаривал великий комбинатор, не идет на маневр, за который полагается возмездие большее, чем выговор и денежный начет. А на взыскания и штрафы давно махнули рукой — последний окоп, дальше отступать некуда, если хочешь делать дело. Увы, все это из-за отсутствия подлинной хозрасчетной самостоятельности.

Паутина запретительных инструкций, улавливающая души хозяйственников и липкой своей основой клеящая им выговор за выговором, является не более чем анахронизмом подозрительности, тотального контроля за каждым охом и чихом. Не только с экономической, но и с нравственной точки зрения целесообразнее пойти на расширение прав предприятия и перестать тем самым деформировать совесть. Разве не прямой сигнал о помехах в системе управления, если хозяйственник наш начинает уже гордиться: «Я выговоры ношу, как ордена»? Фраза была напечатана в газете, где речь шла о хорошем хозяйственнике, и звучала в статье откровенной похвалой.

— Я свою первую благодарность запомнил, — говорит Никитин, — на Севере тогда работал, и выговор первый тоже. Во всех деталях — когда и за что. А дальше... По итогам хозяйственной деятельности выговор каждому директору объявляется законным. Понимаете? Законом уже стало. Любого спросите... Бывает, много вызовут: мы тебя снимаем с работы, оставляем условно еще на три дня, если меры не примешь... Какие меры он может принять за три дня? Работает, а сам чувствует себя заложником. Потом приглашают: ладно, работай пока дальше. У сахарников это в основном бывает из-за резких стычек с районными организациями по сельскохозяйственным вопросам, когда мы гнилье не принимаем, которое нам из колхозов везут, или еще

что-нибудь в этом роде. Разговорились как-то со знакомыми директорами — никто из них не уверен в своем завтрашнем дне. Сегодня предприятие возглавляет, а завтра его могут послать куда угодно. Бах-бах — и сняли. Поэтому у нас дефицит директоров сахарных заводов и многих главных инженеров недостает. Разогнать-то проще... А почему не хотят идти? Вопрос доверия. Есть предприятия, где директора меняются ежегодно.

На таком фоне одиннадцать лет директорства Никитина выглядят сроком внушительным. В голове у Руслана Евгеньевича полным-полно всяких дерзких идей, упирающихся главным образом в малые права или ведомственные барьеры.

Заплавский завод выпускает от 32 до 40 тысяч тонн сахара (год на год не приходится), в деньгах выходит 12—16 миллионов рублей. Если «все отходы завязать в кольцо», как выражается директор, можно получить дополнительно еще до 5 миллионов рублей. Об этом Никитин не раз посылал докладные записки в областные организации, республиканское министерство. Подробную разработку делал, расчеты. Для проверки требует поставить серию экспериментов стоимостью примерно в 100 тысяч рублей. Завод готов проделать необходимые опыты и выдать рекомендации для сельского хозяйства, поскольку отходы в основном предполагается пустить на корма. Ему ответили в таком приблизительно духе: все прекрасно, ты, Никитин, молодец, — но в деньгах отказали.

— Сейчас жом лишь частично сушат, — рассказывает Никитин, — а при закладке в силосные ямы треть кормовых достоинств пропадает. Это по прикидке наших ученых, за рубежом считают, что гибнет половина. Ясно, надо сушить. И не только сушить — обогащать, приблизить этот корм к концентратам, чтобы выдернуть зерно из баланса животноводства. Мы начали у себя на заводе сдобривать жом мелассой — паточка такая, — хорошо получается.

Множество других отходов, так он считает, можно пустить в дело. Добавки выпускать из них кормобогащающие. А что после технологической фильтрации идет в отстойники и затем попадает в заводские отвалы — использовать для восстановления почвы.

— Нам нужно сто тысяч рублей, чтобы получить через три года пять миллионов! И отказали...

Заплавцы заключили договор с университетом, хотели проверить сорбиновую кислоту в качестве консерванта при хранении свеклы, опыт поставили. Надеялись сберечь процент, ну, пусть хотя бы полпроцента сахара на каждой тонне — помножьте это на тысячи тонн перерабатываемой свеклы! Получили бы лишних 1,5 тысячи тонн сахара, а каждая тонна по 450 рубликов. Выходит, 675 тысяч могло в кошелек лечь.

— Я прошу: дайте под это дело десять тысяч рублей, чтобы закончить опыты. Дали? Шшш...

— Позвольте, вы ведь не храните свеклу? С поля — в переработку?

— Нет, немного храним. В среднем шестьдесят дней храним. И за этот малый срок сумели бы сберечь полпроцента сахара.

— Куда он улетучивается?

— Разлагается сахароза, микроорганизмы съедают.

По стратегическому замыслу Никитина, полная переработка отходов, помимо экономии, позволила бы занять нынешних сезонников круглый год и тем самым приблизить коллектив к идеалу стабильности, при которой комплексные бригады могут быть по всему циклу производства. Впрочем, идеала, спешит он добавить, одной заботой об отходах не добиться. Это лишь шаг в нужную сторону...

На пути из Умани, куда мы вырвались в директорский выходной, чтобы поглядеть на дендрологический парк «Софиевка», основанный в конце XVIII столетия магнатом Феликсом Потоцким в честь своей жены, прекрасной гречанки Софии, Руслан Евгеньевич принялся развивать свои идеи. Я был переполнен впечатлениями от величественных вековых елей, растущих между скалами на берегу реки Каменки, трехсотлетнего дуба, каскада водопадов, фонтанов, скульптурных изображений древнегреческих богов и героев — все это бродило во мне полусном нереальности, фантазией почти такой же притягательной, как картинки из цветных стеклышек в первом калейдоскопе моего детства, — и потому слушал вполуха, не пропуская в сознание. Но постепенно смысл того, что говорил Руслан Евгеньевич, стал до меня доходить.



— Вы представляете, сколько сезонников в сахарной промышленности? На каждом заводе — полштата, а всего в стране — тысяч двести, не менее того! В глубинках они еще возвращаются, а там, где зашевелится другая промышленность, только их и видели. Отработают у нас осень и больше не желают. А разве нельзя построить на заводе, допустим, цех для трехсот женщин, машины поставить — пусть в межсезонье шьют! Производство швейное организовать! Да, при сахарном заводе. Дикость? Это как взглянуть. По-моему, так очень даже разумно. Так нет — доказывают, что юридически немыслимо, препятствие непреодолимое, поскольку неизвестно, как профессию в трудовой книжке писать, не напишешь ведь «пищевик-швея». Да неужто из-за таких крючков остановимся?

Руслан Евгеньевич убежден, что это правильное направление: комбинирование производства на межведомственной основе. Он недоумевает, почему, допустим, завод штамповки фильтровальных пробок должен быть отдельным предприятием в Киеве. Отдать эту работу одному из сахарных заводов, сбалансировать численность! Отштамповал пробки на весь сезон — иди на сахарное производство. Тару делать, рукавицы шить для своих же сахарников. На одном заводе это, на другом — то. Действовать предпринимчиво, ломая местнические и ведомственные барьеры. Можно заводы вот так загрузить, говорит он и делает выразительный жест ребром ладони по горлу. Сезонничество, кипятится он, — социальное зло, через пять лет останемся вообще без людей.

Противоречие заложено самой природой: свекла не руда, круглый год ее добывать нельзя. Заводы ждут урожая, а потом, особенно если свеклы подвалит, начинается лихорадка переработки с неизбежными, как и при любой лихорадке, потерями. Один завод, тот же Заплавский, может проглотить в сутки максимально 3 тысячи тонн сладкого корня, другой (крупнейший в СССР — Лохвицкий в Полтавской области, где Никитин работал заместителем директора) съедает 10 тысяч. А среднегодовой сбор по стране в 70-е годы составил 82.5 миллиона тонн. В одиннадцатой пятилетке запланировано и того больше — в среднем по 100—103 миллиона тонн в год. Чтобы такое одолеть, более 300 заводов пыхтят изо всех сил. Худо, что часть урожая пропадает, плохо, что приходится выжимать все соки из техники, но труднее всего примириться с жертвами социальными, сезонничеством, при таком положении вещей неизбежным.

Есть два пути. Западные страны идут по линии наращивания мощностей заводов — быстрее переработать урожай. Идея проста: чем быстрее, тем меньше потерь сахара. В идеале хорошо бы все начать и кончить за месяц. Но куда девать людей? Техника отрасли еще не достигла такого совершенства, чтобы обойтись малым их числом («Сахарозаводчика проблема может не занимать, а нам надо подумать»). Между тем мы уже строим заводы на 6 тысяч тонн в сутки, в будущем намерены иметь предприятия на 16 тысяч тонн! Вкладываем огромные деньги. И возникает мысль: не присмотреться ли к пути другому? Некоторые ученые и специалисты, в их числе и Р. Е. Никитин, считают более перспективным те же деньги потратить на решение проблемы хранения сырья. Самое рентабельное, полагает Руслан Евгеньевич, когда завод перерабатывает свеклу 240 суток: отпадает социальный вопрос, нет сезонности.

— Стопы свои направить в сторону сырья, — несколько торжественно, что, прямо скажем, к случаю не подходит, декламирует Руслан Евгеньевич.

Лишние мощности, уверяет он, только расширят зону бездействия человека. Сейчас шесть месяцев сидит дома, будет сидеть девять. Увеличивая скорости переработки, одновременно и даже ранее того надо превращать сахарные заводы в многопрофильные комбинаты. Пробовали пристраивать консервные цехи, ликеро-водочные, лимонной кислоты. Это не решает проблемы: сокращать по окончании сезона на каждом заводе приходится сотни людей, а «шттейное дело» способно занять человек 80 от силы.

Еще и еще раз доказывает он мне: швейные цехи надо заводить, сборку каких-то приборов, придумывать самые невероятные сочетания, ориентируясь на максимальное использование женского труда. Лучше всего — легкую промышленность.

— Крутлогодное производство, постоянный коллектив — вот мой символ веры!

Сквозь кривые жизненных декал он все-таки просматривает и пытается тянуть свою единственную прямую.

Я перечитываю письма Никитина, полученные в разное время.

«Представьте себе поселок сахарного завода, до райцентра восемнадцать километров, вокруг колхозы. Сельская местность — значит, свой дом у заводского человека, огороды, живность, к зарплате солидная прибавка, у многих даже превышающая основной заработок. Как считать, что же у них основное? Наш рабочий с уклоном крестьянина отличается от привычного Вам городского рабочего...»

Задумывались ли Вы о конфликтах? Социальной природе и психологии их?

Конфликт рабочего с бригадиром — подозрение в нечестности, непорядочности, несправедливости... Конфликт мастера с бригадиром — последний получает много больше. На планерках чуть что — «пойду в рабочие!». Доплата мастеру из директорского фонда ненадежна (пусть хотя бы и сто рублей), сегодня доплатил, завтра снял — хлипкая основа. Мастер должен получать от конечного результата своего коллектива. Но вопрос не решен, мастер в обиде и нередко вымещает на рабочем — столкновение... Конфликт мастера с начальником цеха (отдела, главным специалистом) — на почве необузданных, кажущихся неразумными требований. Один спорит, другой молчит, уверенный, что не переспоришь, замыкается в себе. Инженеру нужно не приказывать, а предлагать инженерный расчет, экономическое обоснование. Его союзники — знания, логика, опыт, решать лучше вместе... Конфликт главного специалиста с директором — в основе частенько залезание руководителя в чужие дела. Не может быть директора-всезнайки. Надо радоваться силе своего главного специалиста. Дирижировать. Но каждый пусть играет на своем инструменте! Первопричиной конфликта здесь нередко служит давление на директора вышестоящих, он и приказывает вопреки логике главного специалиста... Конфликт директора с объединением, главом — конфликта нет, просто... директор не знает, когда и за что его снимут, но хорошо знает тех, кто может снять, — их много...»

«...«Кто в прошлое стреляет из пистолета, в того будущее выстрелит из пушки», — я часто думаю об этих словах. Смысл глубокий, но верно, если даже взять в узком, ограничительном толковании — забвение опыта предшественников твоих, вольное или невольное недоверие ко всему, что «не ты» и «до тебя». Не отсюда ли шараханья, перегибы, всяческая суета, как в народе говорят, «ради справной цифры»?..»

«Я бываю в школе, в старших классах. Ребята все видят в розовом свете и повторяют штампы — разрыв с реальной жизнью, — не тут ли истоки проблемы доверия?»

«Может, я не могу сейчас подобрать нужного слова — личность ждет раскрепощения от понуканий, ненужной опеки, надзирательства. Готовы ли мы к этому?..»

«Вдруг задумался: доверие и предел потребностей — возможностей на определенном этапе. Ощущаю связь. Оправданные ограничения необходимы. Но понимаемые, воспринимаемые, вообще — истинно оправданные. Только в истине — доверие. Потерять веру в истину страшно.»

«Хотите — принимайте это в шутку, хотите — всерьез (есть доля того и другого): директору 50 — работает, 52 — впервые задумывается о пенсии, 55 — начинает бояться самостоятельных решений, 58 — покорный исполнитель чужой воли, лишь бы доработать, 62 — еще работаю, сам немного удивлен, 63 — сад и телевизор. Мне 44 — еще повоюем...»

У директора Заплазского сахарного завода темно-русые волосы и густые брови. Задорный мальчишеский чуб.

— Вы не могли бы изобразить символ нашего труда? — спросил он однажды архитектора.

— Какие мотивы должны быть отражены?

— Головка сахара и ветка полыни.

— Как понимать?

— Эта сладкая горькая жизнь.

Архитектор шутку не воспринял, сказал серьезно:

— Знаете, Руслан Евгеньевич, мне такое худсовет не утвердят.

# ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

## ПИСЬМА Л. Н. ТОЛСТОГО БРАТУ СЕРГЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ

**П**ереписка Л. Н. Толстого с его старшими братьями Николаем, Сергеем и Дмитрием и единственной сестрой Марией, которая была на полтора года моложе Льва Николаевича, продолжалась в течение всей жизни. Открывается переписка в 1838 году письмом Николая Николаевича десятилетнему брату Льву, а завершается письмом Льва Николаевича сестре в октябре 1910 года. «...люблю тебя особенной, нежной, братской старческой любовью. Левочка<sup>1</sup>» — так закончил восьмидесятиоднолетний Толстой свое письмо.

Вся переписка (449 писем: 236 писем Толстого и 213 писем к нему) представляет большой интерес для изучения биографии и творчества Л. Н. Толстого и является дополнением к «Воспоминаниям» Толстого, писавшимся, когда ему было семьдесят пять лет. «Воспоминания» остались незаконченными, в них отражены главным образом детские годы. С любовью описывал тогда Толстой каждого из братьев. «Он был удивительный мальчик и потом удивительный человек,— писал Толстой о брате Николае.— Николинку я уважал, с Митинькой я был товарищем, но Сережей я восхищался и пограждал ему, любил его, хотел быть им. Я восхищался его красивой наружностью, его пенцем — он всегда пел,— его рисованием... и в особенности, как ни странно это сказать, его непосредственностью, его эгоизмом».

Дмитрий Николаевич умер в 1856 году. Для образа Николая Левина в «Анне Карениной» Толстой воспользовался жизнью, характером и наружностью брата Дмитрия. Смерть Николая Левина — это воспоминание о смерти брата.

Николай Николаевич умер в сентябре 1860 года. «Страшно оторвало меня от жизни это событие»,— записал Толстой в дневнике 13 октября.

До последних дней своей жизни Толстой любовно вспоминал братьев. А в 1874 году, сообщая сестре о смерти Т. А. Ергольской, Толстой писал: «...для меня это разорвалась одна из важных связей с прошедшим. Осталась ты и Сережа». Сын Толстого Илья Львович вспоминал, что «в последние годы жизни Сергея Николаевича отец был с ним особенно дружен, любил делиться с ним всеми своими мыслями». «Хотя мы и стары, а все-таки никто нас так не понимает и не любит, как мы понимаем и любим друг друга»,— писал Толстой брату в 1895 году.

Публикуемые впервые 19 писем Толстого дополняют его обширную переписку с Сергеем Николаевичем.

Письма не датированы, и некоторые из них не поддаются точной датировке. Приходилось ограничиваться указанием лишь года. Первые письма относятся преимущественно к 70-м годам и отражают жизнь Толстого той поры, когда он увлекся охотой, когда его занимали хозяйственные вопросы — все это были общие интересы братьев. В двух лишь письмах упоминается творчество Толстого, занятого тогда «Анной Карениной».

Точно датировать удалось письма 1890-х и 1900-х годов, объединенных одной темой — сложными, а позже и горестными событиями личной жизни Сергея Николаевича и его дочерей, которые глубоко переживались и Львом Николаевичем.

Э. Е. ЗАЙДЕНШУР.

Публикацию подготовили научные сотрудники Музея Л. Н. Толстого молодые текстологи Н. А. Калинина, В. В. Лозбякова, Т. Г. Никифорова, участники постоянного текстологического семинара, руководит которым Э. Е. Зайденшур.

<sup>1</sup> «Эта форма его имени — «Левочка» — употреблялась в его семье и напоминала ему его детство»,— отметил П. И. Бирюков в «Биографии Толстого».

«Текстологическое исследование,— пишет академик Д. С. Лихачев,— фундамент, на котором строится вся последующая литературоведческая работа». Многие же художественные и большинство теоретических произведений Л. Н. Толстого текстологическому анализу еще не подвергались, не говоря уж о том, что перед толстоведением стоит грандиозная задача подготовки академического издания сочинений Л. Н. Толстого. Семинар при Музее Л. Н. Толстого готовит кадры молодых текстологов-толстоведов для этой работы.

Предлагаемые письма являются одной из первых публикаций семинара. Письма войдут в книгу «Переписка Л. Н. Толстого с братьями и сестрой. 1838—1910», которая готовится к печати научными сотрудниками Музея Л. Н. Толстого.

## 1

1868 г. — весна 1869 г.

Кислинский<sup>1</sup> привез мне целую кучу бумаг по твоему делу<sup>2</sup> и заметку, которая может быть тебе нужна. Посылаю их тебе, так как теперь, как мне ни хочется, не успею побывать у тебя до августа. У нас все по-старому. И у тебя было очень хорошо по рассказам Сони<sup>3</sup>.

Л. Т.

Датируется по содержанию.

<sup>1</sup> Кислинский Андрей Николаевич (1831—1888) — председатель Тульской губернской земской управы.

<sup>2</sup> 7 июня 1867 года Сергей Николаевич Толстой обвенчался с цыганкой Марией Михайловной Шишкиной (1832—1918), певицей цыганского табора. У них было много детей, в детстве умерших. Остались в живых три дочери и сын. С 1850 года С. Н. Толстой и М. М. Шишкина состояли в гражданском браке, и трое детей считались незаконными. В начале 1868 года С. Н. Толстой подал прошение царю об их усыновлении. Адвокат сообщил ему, что дело продвигается плохо и имеет мало надежды на успех. Желая помочь брату, Л. Н. Толстой обратился за содействием к двоюродной тетке, фрейлине двора А. А. Толстой. «От успеха или неуспеха его дела зависит, кроме счастья детей, спокойствие и прочность его семейной жизни,— писал Толстой в письме от 16 апреля 1868 года.— Если вы можете сказать кому нужно нужное слово, вы сделаете добро ему, его семье и мне большое добро, которое я запишу у себя в сердце на большой счет, который записан там на ваше имя». Дело об усыновлении благополучно завершилось весной 1869 года. 10 мая 1869 года, посылая полученную по этому поводу «бумагу» от А. А. Толстой, Лев Николаевич писал брату: «Я очень рад за тебя и твоих и очень горд тем, что мне удалось сему содействовать».

<sup>3</sup> С. А. Толстая.

## 2

1872 г., январь. Я. П.

Мы с Николинкой<sup>1</sup> приедем к тебе нынче по поезду, который выходит от нас в 4-м часу. Если ты можешь прислать за нами в Лазарево<sup>2</sup> тележку или верховых лошадей, то пришли. Мы без вещей.

Л. Т.

Датируется по содержанию письма Л. Н. Толстого С. Н. Толстому от 1—15 января 1872 года.

<sup>1</sup> Толстой Николай Валерианович, племянник Л. Н. Толстого (1850—1879). Изображен Л. Н. Толстым под именем Николинки в «Сказке о том, как другая девочка Варинька скоро выросла большая».

<sup>2</sup> Лазарево — железнодорожная станция в Тульской губернии, недалеко от имения С. Н. Толстого Пирогово.

## 3

1874 г., февраля конец. Я. П.

Я теперь доканчиваю всю свою работу<sup>1</sup>, и ты не можешь себе представить, как я этого жду и надеюсь, что это будет вместе с хорошей погодой и я поеду к тебе. Покаместа<sup>2</sup> же если ты будешь в Туле или в Москве, заезжай к нам. Мы так давно не видались и мне очень — очень нужно, хочется с тобой поговорить. Если не приедешь, все-таки напиши, что у вас нового. У нас ровно ничего. Одно дурно, что Соня все хворает.

Л. Т.

Датируется на основании письма Л. Н. Толстого Сергею Николаевичу от 15—23 (?) февраля 1874 года, в котором он писал: «...я кончаю поправлять первую часть и думаю на будущей неделе ехать в Москву печатать».

<sup>1</sup> Речь идет о работе над романом «Анна Каренина», которая продолжалась пять лет, с 1873 до 1878 года. Печатание первых частей началось задолго до окончания романа. Толстой намеревался издать «Анну Каренину» отдельной книгой и в первых числах марта 1874 года сдал в типографию журнала «Русский вестник» первую часть романа. Набраны были только главы I—XXVI. Издание это не осуществилось. Толстой временно прервал работу над романом. 23 июня 1874 года он писал А. А. Толстой: «Я нахожусь в своем летнем расположении духа, т. е. не занят поэзией, и перестал печатать свой роман и хочу бросить его, так он мне не нравится, а занят практическими делами, а именно педагогией...» Началось печатание романа в журнале «Русский вестник», в котором в 1875—1877 годах напечатаны части первая — седьмая. Восьмая часть была издана отдельной книгой в 1877 году.

<sup>2</sup> Так в подлиннике.

## 4

1875 г., март. Я. П.

Посылаю тебе 317 рублей (триста 17,29). Больше не посылаю, потому что боюсь и еще потому, что деньги в Туле в банке. Если тебе нужно, то пришли. Я думаю, лучше отдать тебе проценты, т. е. около 1000 рублей. Если тебе довольно будет. Если же хочешь 2000, то возьми 2000. Если ты не приедешь к нам, то я, как только дорога будет возможна, т. е. не позже как через неделю приеду к тебе и привезу денег, сколько велишь, и сочтусь с тобой хорошенько, так как я решительно ничего не помню. Ты не поверишь, как мне грустно часто о том, что мы не видимся. А старость приходит все заметнее. Теперь если чего-нибудь особенного не случится, то, наверное, до свидания.

А. Т.

Настоящее письмо является ответом на письмо С. Н. Толстого, посланное в начале марта 1875 года, что и служит основанием датировки.

## 5

1876 г., марта конец. Я. П.

Посылаю тебе 300 рублей и 5 плутов. У меня их, как говорит Алексей <sup>1</sup>, 20 штук. Он ошибается, считая в том числе скоропашки очень дурные и картофельные пропашки. Еще есть селка. Все, разумеется, к твоим услугам. Если все это годится, то пришли взять. Ты же мне, пожалуйста, пришли платья на трех и кинжалы и рога и одно седло if you can spare it <sup>2</sup>.— Я еду в Москву, вероятно, послезавтра и поручение твое Грише <sup>3</sup> исполню. Я забыла в Пирогове чулки и белую фуражку.

А. Т.

Запомни и запиши где-нибудь, что из 2000, взятых у тебя, 300 эти и 100 Грише,— 400, отданы.

Датируется на основании письма С. Н. Толстого от 1—16 (?) марта 1876 года, в котором он спрашивал Льва Николаевича, послал ли он Грише сто рублей.

<sup>1</sup> Орехов Алексей Степанович — из крепостных (ум. в октябре 1882 года), один из тех мальчиков, которых опекунша Толстых П. И. Юшкова определила в качестве слуг к каждому из братьев Толстых. Алексей Орехов был, по-видимому, сначала слугой Н. Н. Толстого, но служил нередко и Льву Николаевичу. После смерти Н. Н. Толстого и освобождения крестьян он жил в Ясной Поляне в качестве слуги Толстого, а затем в должности управляющего Ясной Поляной. А. С. Орехов в качестве камердинера сопровождал Толстого на Кавказ и в Севастополь (см. о нем: И. Л. Толстой, «Мои воспоминания», М., 1969, стр. 50; С. Л. Толстой, «Очерки былого», Тула, 1965, стр. 20).

<sup>2</sup> Если есть лишнее (англ.).

<sup>3</sup> Толстой Григорий Сергеевич (1853--1928) — сын С. Н. Толстого. С. Л. Толстой писал в воспоминаниях, что Г. С. Толстой «был мало образован, рано поступил на военную службу, служил в павлоградских гусарах. Он редко бывал в Пирогове и держался в стороне от нашей семьи и родственников, так что мы мало его знали. Он нехорошо относился к своему отцу, в нетрезвом виде писал ему дерзкие письма и требовал уплаты своих долгов» (С. Л. Толстой, «Очерки былого», Тула, 1965, стр. 299).

## 6

1878 г., декабрь. Я. П.

Посылаю тебе Аргмака за кобылу. Надеюсь, что ты будешь доволен. Мне по крайней мере жалько, и утешаюсь тем, что ты будешь доволен. Один недостаток его, это то, что горяч с другими лошадьми.

Посылаю тебе бухарский недоуздок при нем.

«Анну Каренину»<sup>1</sup> я выписал из Москвы и на днях должен получить и пришло. Наши вернулись очень довольные своей поездкой и вами. Поздравляю с производством Гриши<sup>2</sup>. Я после 22 поеду в Москву дня на два<sup>3</sup>. Не приедешь ли ты до 22, а то так 25. Машеньку целуем и ждем.

Датируется на основании писем Л. Н. Толстого С. Н. Толстому от 5 октября и 18 октября 1878 года и по содержанию (т. 62, стр. 442, 443).

<sup>1</sup> В январе 1878 года вышло в свет первое отдельное издание романа «Анна Каренина» в трех томах.

<sup>2</sup> Точных сведений о службе Г. С. Толстого нет. Известно, что он был гусаром павлоградского полка и закончил службу в чине подполковника.

<sup>3</sup> 27—30 декабря 1878 года Толстой ездил в Москву, чтобы подыскать детям гувернера.

## 7

1879 г., июня начало.

Не ты виноват, а я. Я же достоин снисхождения, потому что вот целую неделю каждый день собираюсь к тебе и каждый день меня задерживают новые и новые и более и более скучные и тяжелые гости.

Теперь: 1) Доктор Лазарев<sup>1</sup>. 2) Любовь Александровна<sup>2</sup>. 3) Владимир Александрович<sup>3</sup> с сыном. Два месяца не было, слава Богу, никого, теперь посыпались. Деньги посылаю тебе 1500 рублей. Очень плохо, что у тебя предстоит малый доход, а плоше всего то, что это тебя беспокоит. Довлеет дневи злоба его<sup>4</sup>.

Илюша<sup>5</sup> был в твоих странах, но не заехал по своим охотничьим расчетам. На днях, т. е. воскресенье, кажется, они — все мальчики едут на охоту и будут у вас. Я теперь едва ли приеду, потому что хочу идти в Киев<sup>6</sup> и откладывать уже поздно. У нас все благополучно.

Наши целуют всех ваших.

Очень хочется побывать у вас и увидеть и Машеньку<sup>7</sup>. Может быть и приеду. Вексель я этот не учитывал. А посылаю свои деньги.

Основание датировки — упоминание Толстого о намерении поехать в Киев (см. ниже прим. 6).

<sup>1</sup> Доктор Лазарев — яснополянский врач.

<sup>2</sup> Берс Любовь Александровна (1826—1886) — мать С. А. Толстой.

<sup>3</sup> Иславин Владимир Александрович (1818—1895) — дядя С. А. Толстой.

<sup>4</sup> Цитата из церковнославянского текста Евангелия (Матф., VI, 34); по-русски: «Довольно для каждого дня своей заботы».

<sup>5</sup> Толстой Илья Львович (1866—1933) — второй сын Л. Н. Толстого.

<sup>6</sup> Толстой осуществил свое намерение, пробыл в Киеве с 14 по 16 июня 1879 года (см. письмо Толстого жене от 14 июня 1879 года).

<sup>7</sup> Толстая Мария Николаевна (1830—1912) — сестра Л. Н. Толстого.

## 8

1870-е гг. Я. П.

Очень благодарим за книги<sup>1</sup> и за приглашение, которым воспользуемся непременно. Костинька<sup>2</sup> сейчас говорит: «Надо ехать в поведельник». Если что-нибудь не помешает, то приеду на будущей неделе. Если бы стало теплее, то привез бы детей кого-нибудь; но едва ли.

Книги собираемся читать вслух, и потому никто не читает.

Лошадь, говорят, справная.

Наш поклон Марье Михайловне.

Датируется по содержанию и почерку. Точно датировать не представляется возможным.

<sup>1</sup> О каких именно книгах идет речь, установить не удалось. Из переписки братьев известно, что они постоянно обменивались книгами. В 1877 году С. Н. Толстой писал брату: «Посылаю тебе 17 английских и французских книг... и твои книги. Пожалуйста, мои возврати, а то у вас много моих книг...»

<sup>2</sup> Иславин Константин Александрович (1827—1903) — дядя С. А. Толстой. Толстой в молодости был с ним в дружеских отношениях. В 70-е годы Иславин часто гостил в Ясной Поляне и у С. Н. Толстого в Циргове. В 1876 году Толстой устроил Иславина к М. Н. Каткову секретарем «Московских ведомостей».

## 9

1870-е гг. Я. П.

В понедельник, как я обещал, я не приехал, потому что собаки совсем ослабли, а в четверг я совсем собрался к тебе с собаками и с чемоданом, но туман был такой, что я насилу нашел Ягодную<sup>1</sup>.

Теперь же уж времени прошло столько, что не знаю, дома ли ты, да и собак я двух получил, за которых не знаю кого благодарить, и узнал, что ты в с е х будто собак отдал Бибикову<sup>2</sup>.

Пишу к тебе с тем, чтобы узнать, едешь ли ты в Москву и когда, и не раздумал ли ты дать мне 12 тысяч по 8% и если не раздумал, то не поедем ли в Москву вместе. Я готов ехать хоть сейчас. Если ты поедешь, то или приезжай к нам и мы поедем, или назначь день и мы съедемся на курьерском поезде. Задержать меня может только пороша. Если у тебя есть лишний рог, пришли мне, пожалуйста. Соня кланяется тебе и Марье Михайловне и обижается, что она хлопотала о немках, а вы их не берете.

Охота у меня идет дурно, вчера в чистых полях ушел подозренный русак, и больше ничего не нашел, проехав целый день.

Видал во сне, что ты мне обстриг бороду, и все боюсь, как бы ты за что-нибудь на меня не рассердился.

Датируется по содержанию и почерку. Точно датировать не представляется возможным.

<sup>1</sup> Я г о д н а — деревня в шестнадцати километрах от Ясной Поляны.

<sup>2</sup> Б и б и к о в Александр Николаевич (1827—1889) — помещик Тульской губернии, владелец имения Телятинки в трех верстах от Ясной Поляны; знакомый, корреспондент и адресат Толстого.

## 10

1870-е гг. Я. П.

Псылаю тебе нового английского писателя Kingsley. Мне кажется, что это тот самый, которого мы искали («Дом сумасшедших»)<sup>1</sup>. Пожалуйста, пришли мне каких-нибудь книг, а то нечего читать. Пришли побольше из того, что ты прочел, я возвращу.

Датируется по почерку и содержанию. Точно датировать не представляется возможным.

<sup>1</sup> Очевидно, была послана книга английского романиста Henry Kingsley (1830—1876) «Ravenshoe Tauchnitz» (1862). Книга хранится в Яснополянской библиотеке.

## 11

1870-е гг. Я. П.

Пожалуйста, вели отпустить собак с этим посланным. Если милость будет, то хоть одну молодую.— У нас все благополучно.

А. Толстой.

Датируется по почерку и содержанию.

## 12

1870-е гг. Я. П.

Хорошо, что дал о себе известие, а то я был озадачен твоим молчаньем. Я удивляюсь, как ты еще так здоров при твоей сидячей жизни после охоты. Если погода будет хороша, приезжай к нам по дороге в Москву. Столько хочется переговорить. Я по всем вероятностям буду дома — никуда не собираюсь.

А. Толстой.

Датируется по почерку и содержанию.

## 13

1881 г., август (?).

Извини, что я не писал тебе тогда при посылке денег. Дьяков<sup>1</sup> сказал, что деньги будут после 20-го и после 20-го я пошла к нему и получу и перешлю тебе. Если бы я и уехал, то это будет исполнено. Хлопот мне это никаких не причинило, и получить по другому векселю я могу без поездки в Тулу, т. е. по письму. Еще мы подумаем и, может быть, соберем свои деньги и пришлем тебе с Илюшей до 20-го.

У нас все благополучно. Полагаю, то же у вас.

А. Т.

Основание датировки — содержание письма Толстого С. Н. Толстому от 30 августа 1881 года и запись дневника 31 августа 1881 года.

<sup>1</sup> Дьяков Дмитрий Алексеевич (1823—1891) — друг молодости Л. Н. Толстого. Жил в Казани одновременно с Толстым и был другом сначала Н. Н. Толстого, а потом и остальных братьев. Его именем Черемошны находилось в ста двадцати шести верстах от Ясной Поляны. Дружба Толстого с Дьяковым в первые годы студенчества в Казани дала Толстому материал для описания дружбы Николиньки Иргеньева с Нехлюдовым («Отрочество», гл. XXV—XXVII).

## 14

1898 г., августа конец. Я. П.

Вот и я припишу, потому что знаю грамоте. У нас не совсем хорошо<sup>1</sup>. Стараюсь только, чтоб в душе было хорошо, чего и тебе желаю.

Датируется по содержанию писем М. Л. Оболенской и М. Н. Толстой в конце августа 1898 года, одновременно гостивших в Ясной Поляне.

<sup>1</sup> Приписка Л. Н. Толстого к письмам его дочери Марии Львовны Оболенской и его сестры Марии Николаевны Толстой, написанным на одном листе и обращенным к С. Н. Толстому.

## 15

1899 г., мая 1. Я. П.

Каждый день и по несколько раз в день думаю о тебе и очень желаю тебя видеть. Знаю и болею о нелепости выходки Вари<sup>1</sup>. Надеюсь, что пребывание на Кавказе у Скороходовых<sup>2</sup> и других, если она там, образумит ее. Они очень хорошие люди. Больно то, что под видом христианских чувств в ней сделалось какое-то неприятное озлобление. Тут есть почти болезненное состояние. Чем больше живешь, тем больше убеждаешься в том, что ум люди употребляют только на то, чтобы оправдывать свои безумные поступки. И скучно смотреть на всю эту царствующую чепуху и хочется скорее уйти и получить новое назначение в такое место, где не так ясно будешь видеть всю нелепость людской жизни. Утешаешься тем, что если видишь нелепость, то обязан указать ее другим и что в этом твое дело. Но все-таки скучно и хочется скорее переехать, только бы не при очень дурном экипаже и дороге. Я все надеялся приехать в Пирогово и очень радовался этому.

Софья Андреевна, которой я предоставляю распоряжаться мною, решила, что Маша — милая Маша, которую целую с Колей<sup>3</sup> и прошу не сердиться, что не писал ей, — приедет сюда, а я с ней уеду в Пирогово. Но она не приехала, и я все сижу у утро, не переставая работать над «Воскресением», которое надоело мне страшно<sup>4</sup>, а потом предоставляю себя тем сумасшедшим, которые около меня суетятся. Сам я такой же. И очень надоело. Привет всем твоим — Марье Михайловне, Вере, Маше<sup>5</sup>, может быть и Варе.

Л. Толстой.

Датируется по содержанию.

<sup>1</sup> Толстая Варвара Сергеевна (1871—1920) — дочь С. Н. Толстого, вступила в гражданский брак с пироговским крестьянином Владимиром Никитичем Васильевым, служившим в имении ее отца, и уехала из дома. Под Сызранью В. С. Толстая купила небольшой участок земли и поселилась там с семьей. «Варя Толстая не хотела понять, что я говорю, что невыгода брака с таким неровней та, что ему слишком огромно выгодно, и потому он сам не может знать, какую долю в его чувстве играет желание огромного улучшения быта и какое любовь», — писал Толстой 26 февраля 1899 года своей дочери Марии Львовне Оболенской. В ответном письме Мария Львовна писала отцу: «В Пирогово даже жутко ехать на все тамошние истории. Ужасно мне жаль Варю, она упорно идет на то, что, мне кажется, и ей самой представляется несчастием, и не отступает из самолюбия и упрямства. И стариков жаль». А Сергей Николаевич писал тогда брату: «Об наших из Сызрани ничего хорошего не слышно, они все стараются ничего не видеть и не слышать и удивляются, что можно находить, что им нехорошо, и, как видно, желают, чтобы одобрили то, что они говорят». В письме Татьяне Львовне отец писал по поводу письма Вари: «Она пишет о своем счастье и признает, что Владимир там. Вот это нехорошо».

<sup>2</sup> Скороходовы — семья Владимира Ивановича Скороходова (1861—1924), единомышленника и последователя Л. Н. Толстого. Предполагалось, что В. С. Толстая уехала к Скороходовым, жившим на небольшом хуторе под Нальчиком.

<sup>3</sup> Мария Львовна и Николай Леонидович Оболенские.

<sup>4</sup> В 1899 году в еженедельном журнале «Нива» с № 11 началась публикация романа «Воскресение». Весь год Толстой усиленно работал над окончанием «Воскресения» и чтением корректур.

<sup>5</sup> Жена С. Н. Толстого и его дочери Вера и Мария.



## 16

1899 г.

Боюсь, что кумысом ты не воспользуешься наилучшим образом. Во 1-х я советую пить гораздо больше: бутылки по крайней мере 3, а то 4. 2) Пить перед едой как водку — он возбуждает аппетит и после еды. 3) Вина не пить. Это всегда считается вредным с кумысом. Кобылы твои дают прекрасное молоко<sup>1</sup>.

Верочку еще не пускаем<sup>2</sup>. Очень хочется к вам приехать и исполню. Всем вашим поклоном.

А. Т.

Датируется по содержанию.

<sup>1</sup> В 1899 году в Пирогово был приглашен для приготовления кумыса башкир Абдерашид Сарафов. Кумысом поили Веру Сергеевну Толстую, у которой подозревали туберкулез, пили кумыс и остальные члены семьи и Мария Львовна Оболенская.

<sup>2</sup> В 1899 году В. С. Толстая часто гостила в Ясной Поляне.

## 17

1900 г., ноября 13. Я. П.

Маша написала мне о том, что у вас сделалось: о приезде Веры — милой, жалкой Веры и приезде в тех условиях, в которых это случилось<sup>1</sup>. Хотя я и подозревал это, видя, что она прямо на время лишилась не только рассудка, но и сердца — прямо была душевно больна, — я, читая письма Маши, переживал ужасное чувство, доходящее до физического страдания. Воображаю, что ты испытывал. И это еще прибавляло к моей боли. Прибавляло к моему страданию еще немного и то, что я был невольной косвенной причиной этого. Я знаю, что руководило мною, в том, что я не препятствовал ни моим, ни твоим дочерям узнавать мои взгляды на жизнь и следовать им (признаюсь, это радовало даже меня), так руководило мною самое хорошее чувство, в котором я не могу раскаиваться, но вышло так, что это самое было причиной этого страшного горя для них, и для вас, и для меня. И не то, что меня люди могут упрекать (это Бог с ними, я знаю, что было у меня в душе), но то, что я сам вижу, что я, мои мысли, взгляды (пускай ложно поняты), все-таки они были внешней причиной всего этого. Как если бы я от души желал вытащить человека из воды, его бы не вытащил и утопил другого, и сам бы остался цел<sup>2</sup>.

Утешать вас и тебя и Марию Михайловну и Веру, которую мне ужасно-ужасно жалко и положение которой тяжелее всех, я ничем не стану, да и не могу. Утешение только в Боге. Так неприятно повторять эти избитые слова, а между тем, это одно, что можно сказать: то есть перенести свою жизнь в такую область, где важно только одобрение или не одобрение Бога, а не людей. И я уверен, что вы все это делаете каждый по-своему, потому что всякое несчастье пригоняет к этому (к Богу), заставляет это сделать. И когда это делается, то несчастье с излишком вознаграждается. С Богом лучше жить, чем с людьми: Он и разумнее и добрее и все знает.

Прости, если пишу лишнее. У нас ни и кто, кроме меня, не знает и от меня не узнает. Хорошо в этом все-таки то, что Вера вернулась не только физически, но и духовно. Хорошо, разумеется, только сравнительно с тем, что было последнее время.

Прощай.

А. Т.

Пожалуйста, не считай нужным отвечать мне на это письмо. Тебе это будет трудно, а я думаю, что знаю все, что в тебе делается. Вот если бы Вера написала мне два слова, только в том смысле, что она не не любит меня, я был бы рад<sup>3</sup>.

Год определяется по содержанию.

<sup>1</sup> В письме от 11 ноября 1900 года М. Л. Оболенская сообщила Л. Н. Толстому о возвращении в Пирогово к родителям Веры Сергеевны Толстой (1856—1923), старшей дочери Сергея Николаевича, с маленьким сыном, рожденным от Абдерашиды Сарафова, который был приглашен в Пирогово, чтобы лечить ее кумысом от начавшегося туберкулеза. Узнав обо всем случившемся, Л. Н. Толстой писал Сергею Николаевичу: «Не переставая думаю о тебе... Болею твоим горем, хотел сказать, не меньше твоего, но это была бы неправда, но очень сильно». И в последующих письмах возвращался к растревожившим его событиям в жизни брата. «Ты не можешь себе представить, как мне близко все то, что тебя касается, и как я болею за то, что есть тяжелого в твоей жизни. А тяжелого у тебя много. Трудно придумать самому злейшему врагу все то, что с тобой случилось», — писал Толстой 28 июля 1901 года. Спустя полтора года, находясь в Гаспре во время своей тяжелой болезни, Толстой вновь писал брату: «...когда я был очень плох и потому все думал духовно, думая о тебе, твоём положении, мне стало ясно, что Ве-

рочкин мальчик ни в чем не виноват, появившись на свет, и имеет такое же право на существование и на уважение и любовь других людей, какое имеем мы».

Во время беременности Вера Сергеевна уехала из Пирогова на несколько месяцев и жила некоторое время у сестры в Сызрани. По воспоминаниям Сергея Львовича, Сергей Николаевич «был глубоко огорчен и лишь понемногу примирился с совершившимся фактом и разрешил ей вернуться».

Роман Веры Толстой послужил сюжетом для написанного Толстым через шесть лет рассказа «Что я видел во сне». Случившееся не оставляло Л. Н. Толстого все эти годы. Как известно, Толстой много работал почти над каждым своим произведением, многократно перерабатывая его. От этого же небольшого наброска осталась только одна рукопись — 24 листка почтового формата. К работе над ней Толстой, видимо, больше не возвращался, и при жизни Толстого рассказ не был опубликован. Он вошел в первый том посмертного издания произведений Толстого в 1911 году.

По рассказу, Лиза, дочь князя, родила внебрачного ребенка от случайно встреченного ею женатого человека. Уверенная, что отец не простит ей позора, уехала и «поселилась в далеком губернском городе, где никто бы не мог найти ее». Она жила там под именем Веры Ивановны Селиверстовой. Но, «на ее беду», как пишет Толстой, был назначен туда губернатором брат ее отца. Безгранично огорченный отец думал: «Лучше смерть, чем эти мучения», но все же поехал к брату, чтобы оставить ему деньги и просить ежемесячно давать их дочери.

Жена брата, зная обо всем случившемся и зная, где живет Лиза, отдельными намеками дала понять ее отцу, что он должен навестить ее. «И такое чувство ненависти и злости поднялось в нем при мысли о всем том, что теперь будут говорить в город... что захотелось все сказать дочери, дать ей понять все значение того, что она сделала», и он решил пойти к дочери. Встреча потрясла обоих. «Он смотрел на нее и не двигался с места... И не знал, что сказать и что сделать. Он забыл все, что он думал о своем сраме, и ему только жалко, жалко было ее, жалко и за ее худобу, и за ее плохую простую одежду, и, главное, за жалкое лицо ее с умоляющими о чем-то, устремленными на него глазами.

— Папа, прости,— сказала она, подвигаясь к нему.

— Меня,— проговорил он,— меня прости,— и он захлопал, как ребенок, целуя ее лицо, руки и обливая их слезами.

Жалость к ней открыла ему самого себя... он понял, как он виноват перед ней...» Отец «простил дочь, совсем простил, и ради прощения победил в себе весь страх перед славой людской... и выдался с дочерью и любил ее не только по-прежнему, но еще больше, чем прежде».

<sup>1</sup> В ответ С. Н. Толстой написал 23 ноября 1900 года: «Но кто же — исключая сумасшедшего — может думать это, что общего между тем, что ты говоришь, и случившимся. Конечно, косвенно может быть всякий всему причиной, и невольно мне вспомнился наш последний разговор в Пирогове, когда ты говорил, что всякий из нас должен стараться подражать насколько может Христу, который сказал, что он призван говорить истину».

<sup>2</sup> В письме от 7 декабря 1900 года М. Л. Оболенская писала Толстому: «На днях Верочка в записке ко мне писала вот что: "Вот о чем хочу тебя попросить: когда будешь писать своему отцу, скажи, что я очень, очень люблю его. Его письмо было такое хорошее, и папа был так рад ему, и мне кажется, ему стало легче после того, как он получил его"».

1903 г., февраля конец — марта начало. Я. П.

Письмо твое длинное с карточками Гриши<sup>1</sup> я получил, но не отвечал на него, потому что там не было вопросов. А просто был очень рад получить и успокоился. Получив же твое маленькое письмо, в котором ты пишешь, что написал лишнее, я отвечал, что сколько бы ты ни писал о себе и своих душевных делах, мне все мало, потому что хочется знать как можно больше.

Хотел я только на одно ответить из твоего длинного письма. Это то, что я думаю, что Варя права, что если люди равны и братья, то нет никакой разницы выдти за мужика Владимира или за Саксонского принца. Даже надо радоваться случаю показать, что поступаешь так, как думаешь. По рассуждению это выходит так, но по душе, по чувству всего существа — это не так, и я возмущен такими доказательствами равенства. И я думаю, что тут чувства вернее рассудка. Если бы это делалось только во имя признания равенства, тогда бы хорошо, а то мы знаем, что тут есть другое и очень сильное и эгоистическое и не имеющее ничего общего с христианством. И это слияние двух совершенно различных мотивов и выдавание одного за другое, я думаю, неправильно.

Впрочем, как и в деле Принцессы<sup>2</sup>, я не судья.

От Маши еще нет писем из-за границы<sup>3</sup>. Софья Андреевна в Москве<sup>4</sup>. У Миши родилась дочь, а у Андруши мальчик<sup>5</sup>. Сам он заболел в Москве — желудком. Я по-

правляюсь, но не скажу, чтобы был здоров. Сердце слабо: стеснение в груди и остановки пульса. Но я привыкаю к этому. И это имеет выгоду, что ничто так не напоминает о близости смерти, как болезнь сердца. Я рад, что смутил тебя не ответчением на первое письмо — получил за это свежие известия.

А. Т.

---

Датируется по содержанию.

<sup>1</sup> Григорий Сергеевич Толстой, сын С. Н. Толстого.

<sup>2</sup> Принцесса — кронпринцесса Луиза Саксонская, жена наследного принца Саксонии Фридриха-Августа; в декабре 1902 года уехала в Швейцарию, оставив пятерых детей. Уехала она вследствие придворных интриг против нее. В Швейцарии она находилась с бывшим учителем своих детей Жироном, надеясь скомпрометировать себя настолько, чтобы порвать связь с королевским домом. В частной беседе, ставшей достоянием прессы, принцесса Луиза заявила, что сочинения Толстого оказали сильное влияние на ее мировоззрение. В письме М. Моррисону от 28 января 1903 года Толстой писал, что во всем, когда-либо написанном им, «нет ни одного слова, которым можно было бы оправдать» поведение принцессы, и с осуждением отозвался об ее поступке. Очень скоро Толстой выразил сожаление по поводу резкого тона своего письма, но оно уже было напечатано в «New York World» и перепечатано в русских и иностранных газетах. В письме В. Г. Черткову от 3 февраля 1903 года Толстой выражает сожаление о том, что «необдуманно высказался в письме к г-ну Morrison'у», и пишет: «...я не только не осуждаю ее, но всей душой сочувствую ее страданиям и желаю ей избавления от того наваждения, которое овладело ею, и того успокоения, которое всегда возможно для человека, верующего в Бога и обращающегося к нему».

<sup>3</sup> Мария Львовна Оболенская уехала с мужем за границу 17 февраля 1903 года (см. С. А. Толстая, «Ежедневник», 1903, запись 17 февраля 1903 года; ГМТ неопубл.).

<sup>4</sup> С. А. Толстая уехала в Москву 23 февраля, вернулась в Ясную Поляну 2 марта (см. С. А. Толстая, «Ежедневник», 1903; ГМТ неопубл.).

<sup>5</sup> Дочь Михаила Львовича Толстого Татьяна родилась 22 февраля 1903 года, сын Андрея Львовича Толстого Илья родился 4 февраля 1903 года.

## 19

1900-е гг.

Неприменно бы приехал, но надо побережись. Яичница ни в чем не виновата. А у меня так постоянно и дурного ничего не будет.

О том, что ты вспомнил из Евангелия, я вчера думал и хотел узнать. Прощай пока.

А. Толстой.

---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ЭДУАРА РОЗЕНТАЛЬ

★

## НА БЕРЕГАХ КОНГО

ЭКЗОТИКА И ПОЛИТИКА

**М**аленький самолетик авиакомпании «Лина-Конго», чиркнув по взлетной полосе аэропорта Май-Май, легко поднялся в воздух. Сделал круг над Браззавилем. Внизу проплыли чаша стадиона, здание пивоваренного завода, на его крыше огромными буквами выведена надпись «Кроненбург», белые виллы в купах деревьев, некоторые с голубыми озерцами бассейнов, улицы, заполненные транспортом. Это «европейский» центр. А по окраинам — бурые, почти без зелени геометрически правильные квадраты черных кварталов с одноэтажными домиками барачного типа. Обычная планировка старых колониальных городов. На той стороне полноводного Конго явственно вырисовывались небоскребы Киншасы, столицы Заира. Потом и они растаяли в туманной дымке. Наш самолетик держал курс на север, в областной центр Овандо, что в двух часах лета от Браззавиля. При виде каждого облачка он испуганно вздрагивал, подпрыгивал кверху и нырял вниз. Толстый добродушный конголезец-пилот похохатывал при каждом таком прыжке. В разрывах облаков виднелись зеленые массивы леса, едко-зеленые заболоченные пространства, песочно-коричневая саванна. Притиснутый ко мне сосед ткнул пальцем в окно: внизу в лесной прогалине prominently вырисовывались несколько хижин. Сосед прокричал, перекрывая шум мотора:

— Деревня Эду! Здесь родился наш президент Дени Сассу-Нгессо!

Овандо оказался маленьким поселком. Правда, с собственным водопроводом и электростанцией, хотя без воды и электричества, воду и свет здесь дают по большим праздникам, топлива хватает лишь на переносные нефтяные лампы, которыми в основном и пользуются жители.

Есть в Овандо и ретрансляционная телевизионная станция, которая должна принимать передачи из Браззавиля, и даже в цветном изображении, но, увы, ей тоже нужна электроэнергия. В этом местечке мы, небольшая группа пассажиров, провели ночь, божественную африканскую ночь: черную, с серебряной звездной инкрустацией. Электричество загубило бы эту красоту. Все же, покидая наутро Овандо, я пожелал региональному президенту побыстрее избавиться от перебоев в подаче воды и света.

От Овандо до районного центра Маква мы летели еще около часа, приземлились прямо в чистом поле на жухлую траву. В сравнении с Овандо Маква просто деревня. Здесь меня встретил мой знакомый Ги Нганга, сейчас он преподавал философию в старших классах местного лицея. Вместе с ним мы двинулись на «ленд-ровер»-вездеходе в брус, в настоящую деревню. В Макве «цивилизация», даже взятая в кавычки, кончалась.

Мы ехали вдоль реки Ликвала, точно по оси экватора, по нулевому градусу северной и южной широты. Только что закончился период дождей, и дорога кое-где еще утопала в воде, тогда приходилось двигаться почти что шагом, чтобы не угудить в глубокую рытвину, их по пути было предостаточно.

Я размышлял и не уставал удивляться про себя. Вот еду по самой что ни на есть тропической Африке, где-то совсем рядом с местами, которые почти не изменились за последние... пятьдесят — шестьдесят миллионов лет. Совсем недавно несколько американских ученых разыскивали в Конго живого бронтозавра. Ни больше ни меньше. Мы ехали в район, где хотя и не было бронтозавров, но зато сохранились

пережитки первобытнообщинного строя. А ведь Народная Республика Конго вот уже более пятнадцати лет неуклонно идет по пути социалистической ориентации. Вот так здесь спрессовалась история!

От рассказов об Африке обычно ждут экзотики. Ее здесь предостаточно. Африканская природа много ярче, пышнее, больше, ядовитее нашей. Все знают о высочайших африканских эвкалиптах и толщенных баобабах. Но и обыкновенная акация в тропиках обретает экзотические черты: у нее огромные стручки, которые не лопаются, как у нашей, а выстреливают. Семена же величиной с три больших фасолы разлетаются в стороны, как шрапнель, и, если попадет такое семечко в лоб, будет шишка. У меня на балконе оно расколело толстый стеклянный колпак от лампы, а акация росла не меньше чем в двадцати метрах от балкона.

Столь же гротескна и африканская фауна. Представьте себе десяток наших тараканов, сложенных вместе, и получится африканский таракан, который к тому же отлично летает. Ночные бабочки размером с птицу! Летучие мыши-собаки с крыльями. Ночью летают стаями, а днем висят на деревьях вниз головой, обвив хвостом ветки. О подобной экзотике, к которой, в общем-то, довольно быстро привыкаешь, можно рассказывать часами.

А вот экзотика иного колера. В первые недели пребывания в Конго у меня было такое впечатление, что все здесь что-то продают. И в самом деле, торговцев поштучными товарами можно встретить везде и в любое время дня. Наблюдал я как-то такое зрелище. Напротив одного из столичных лицеев мальчишка швырял камнями в гущу развесистой кроны мангового дерева, сбивая спелые манго (они растут сами, их не выращивают, природа здесь милостива к людям), потом сложил их в несколько кучек и начал продавать по сто франков за кучку. Мимо проезжал другой мальчишка. К багажнику его велосипеда был прикреплен ящик-холодильник с мороженым. Он спешил около мальчишки — владельца манго, и они тут же осуществили натуральный обмен. За кучку манго мальчишка-мороженщик выскреб два шарика малинового мороженого на банановый лист и отдал мальчишке с манго. Через некоторое время оба, довольные, бойко распродавали свой товар лицеистам, выскочившим во двор на большую перемену.

И все же если попытаться вылущить из сотен экзотических обычаев главный, то в Африке это безусловно танец. Африканцы танцуют с удовольствием по поводу любого события. Свадьба, рождение ребенка, похороны, охота, сев, уборка урожая, приезд гостя и многое другое — все это протанцовывается. Причем для каждого события свой особый танец или оттенок танца. Африканец живет в танце, танец важен для него не менее еды или сна. Это я понял, но до сих пор не могу понять другое: как можно — чисто физически — танцевать по многу часов кряду? Как-то на празднике в городе Лубомо, где мы были с артистами литовского национального ансамбля, нас тоже вовлекли в танцевальный круг. Я уж не говорю о себе, но и наши профессиональные танцоры тоже довольно быстро взмокли: не забывайте про жару. А африканцам хоть бы что, танцуют. И как танцуют! В ритм тамтамам. У них танцуют живот, бедра, ноги, руки. Вместе и по отдельности. Пока одни части тела ритмично движутся, работают, другие расслабляются, отдыхают. Видно, этим и объясняется африканская неустойчивость в танце.

Об африканском танце рассказано и написано много, он того бесспорно заслуживает. Но на нем строятся и философские и политические концепции, причем не такие уж безобидные. Так, скажем, в устах бывшего президента Сенегала Леопольда Седара Сенгора танец из предмета национального фольклора и традиционного ритуала превращается в основной источник познания и созидания. Сенгор приводит известную формулу Декарта: «Я мыслю, следовательно, я существую» — и утверждает, что она годится только для белого человека. Африканец же, по его словам, мыслит не разумом, а чувствами: «Я танцую, следовательно, я существую».

Нет спору, чувства и вообще психика играют очень важную роль в процессе познания, помогают разуму, окрашивают его в живые тона. Бесстрастные идеи и рассуждения не убеждают. Но концепция Сенгора предполагает достижение «высшей формы познания» не путем соединения разума с чувствами, а путем «вторжения в сферу разума иррационального и магического». Иначе говоря, чувства не подкрепляют разум, а противопоставляются ему. Сенгор пишет: «Негроафриканец, кожей своей подобный первозданной ночи, не видит предмета, а ощущает его. Мир открывается ему в обнаженном нерве его чувства». Так создается миф об африканской исключитель-

ности. Исключительности африканской жизни, африканской революции, африканского социализма. В частности, если верить Сенгору, классовая борьба, пронизывавшая собой все европейские революции, абсолютно неприемлема в Африке. Место ее занимает идиллия танцующей деревенской общины.

Сегодня подобную концепцию подхватили и многие социологи Запада. В унисон Сенгору французский философ Роже Гароди утверждает, что «ритмичная вибрация — будь то ритмы танца или причитания колдуна — играет главную роль во всей деятельности африканца». Гароди тоже говорит об африканской революции как о явлении совершенно особом, порожденном не борьбой классов, а «духом божественного озарения». И заключает, что марксизм для Африки — явление чужеродное, что ей нужны другие модели и эталоны.

Немаловажную роль в сотворении этого идеологического мифа играет и волна иррационализма, захлестнувшая сегодня Запад. Европейские фетишисты все чаще обращаются к фетишам Востока (нет пророка в своем отечестве), ищут в них ответ на свои вопросы. Жанна Фавре, французская специалистка в области этнологии (а также сторонница оккультных «наук»), пишет: «Убеденность в силе фетишей укрепляет веру в существование далеких народов и стран, чистых и бескорыстных, которые могут послужить для нас образцом. От них к нам придет заря новой жизни». Вот так. В течение столетий Запад отнимал у африканцев их земли, выжигал каленым железом их богов и фетиши, насаждая единого белого Иисуса Христа. И танцы африканские тоже высмеивались, представлялись как культура недоразвитых аборигенов, которых презрительно именовали обезьянами, спустившимися с деревьев. В лицеех и коллежах, основанных колонизаторами, конголезским детям прививали презрение к местным традициям и обычаям, пытались убить в их душах национальные корни, лишить национальной гордости. И вот теперь вдруг оказывается, что африканцы вовсе и не низшие, а высшие существа! Ибо они слиты воедино с космосом, их постоянно окружает девственная природа, а потому и чувства их не раздроблены, а спаяны воедино с этой природой. И хотя они живут в мире чувств, их не терзают страсти.

В этой метаморфозе мнений есть своя логика. Если хорошенько поразмыслить, то западных социологов можно понять. И дело тут, разумеется, не в ностальгии по девственной природе и не в танцах, а в самих реалиях современного капиталистического мира и его образа жизни, при которых, по словам Маркса, «вместе с ростом массы предметов растет царство чуждых сущностей, под игом которых находится человек». Капитализм с его вещными отношениями действительно принижает в человеке естественное, человеческое, огрубляет его душу. Вот и хочется позаимствовать то, чего не хватает. Но главное — направить помыслы людей не к действительному освобождению от капиталистической эксплуатации, а к поискам выхода в экзотических материях.

Так создается легенда о примитивном африканце-освободителе, которого воспел в своих стихах известный антильский поэт Эме Сезер:

Честь тому, кто ничего не создал в своей жизни,  
Тому, кто ничего не выдумал  
И никого не усмирил,  
Но кто жил в самой сущности каждой вещи,  
Не зная ее, но следуя самому ее движенью,  
Не думая о сегодняшнем дне, но живя им.  
Истинные старшие сыновья природы  
С душой, открытой ветрам всех частей света,  
С телом трепещущего мира.

...Я напрягал память, вспоминая строки из Сезера, а рядом чертыхался и усердно крутил баранку «ленд-ровера» Нганга, африканец далеко не примитивный. Нганга и другие молодые конголезцы, с которыми мне довелось встречаться, были, как правило, очень прилежны в изучении социальных наук: философии, политэкономии, научного коммунизма. Занимались с удовольствием. Сначала с трудом, затем все более осмысленно и творчески они овладевали принципами диалектики и материализма. Не обходилось без горячих дискуссий, занятия проходили интересно, неформально, и было отраднo наблюдать, как слушатели постепенно оставляли одну за другой старые свои позиции, приобщаясь к идеологии пролетариата. К концу обучения многие из них **самостоятельно пытались разобраться во внутренних и внешних, основных и второ-**

степенных, антагонистических и неантагонистических противоречиях революции, анализировали расстановку классовых сил в стране, определяли главных врагов социалистической ориентации развития.

Нганга любил повторять слова Амилкара Кабрала: «Когда горит твоя хижина, тамтамы не помогут». Вождь революции в Гвинее-Бисау видел главный недостаток освободительного движения в Африке в том, что ему зачастую не хватает ясного идеологического сознания, понимания необходимости классовой борьбы. То есть как раз того, что Сенгор провозглашает его главным достоинством. Империалисты убили Кабрала, но у него осталось много единомышленников. Нганга один из них. Живое опровержение досужей болтовни о неизменной африканской душе, якобы закрытой для рациональной идеологии.

...Наконец мы въехали в деревню, которую я не стану описывать; читатель наверняка смотрит телевизионный «Клуб кинопутешествий», так что при упоминании об африканской деревне у него перед глазами сразу возникает теплая луна над джунглями, причудливые термитники, живописные хижины под соломенными шапками, белозубые улыбки аборигенов — короче, тропический стереотип со всеми его компонентами. Честно говоря, я и сам сейчас, особенно в московскую слякоть, вспоминая прошлое, тоже вижу теплую луну и белозубые улыбки. Таково, видно, свойство памяти. А тогда проворочался полночи на жесткой постели, хотя мне, как гостю, предоставили высокую честь спать на деревянной кровати, стоявшей в канзе, просторной хижине, которая принадлежала удачливому охотнику Мбамбе, другу Нганги. Кровать была устлана пятью покрывалами, что считается у племени аква признаком достатка. Так вот ворочался я на этих покрывалах и прислушивался к звукам близких джунглей. Время от времени оттуда доносились то пронзительные тоскливые вопли, то гомерический хохот, там игрались свои трагедии и комедии. Гнусавили комары, все как один малярийные, пытались, и не без успеха, прорваться через защитную сетку штопаного-перештопаного мустикёра. Я обливался липким потом и по-черному завидовал Нганге, мирно посапывающему в темноте.

В племени аква я провел два дня. Участвовал в охоте на обезьян, делил с жителями деревни трапезу и снова и снова становился свидетелем танцев.

...Традиционный танец бэга был естественным продолжением трапезы. Танцоры образовали круг и, притопывая, сначала медленно, а потом все быстрее передвигались, следуя ритмичным ударам тамтама. Один из них отделялся от группы и исполнял сольные па внутри круга, потом уступал место другому, который исполнял свой номер.

На головах у некоторых танцующих возвышался парик кема, сфабрикованный из обезьяньих шкур. Нганга объяснил мне, что носить такой парик имеют право только торе, наиболее знатные члены племени. Им же при разделе добычи достаются лучшие куски мяса. Торе обладают наибольшим числом жен, иногда до тридцати. За полигамией нередко скрывалась, да и сейчас скрывается тоже, эксплуатация многочисленных жен в качестве обычной наемной силы. В основном они обрабатывают землю.

Несмотря на формальную национализацию земли, во многих деревнях ею фактически по-прежнему распоряжается вождь племени или старейшины рода. Со всеми земельными делами члены племени обязаны обращаться к ним, и таким образом отношения между рядовыми общинниками и племенной знатью представляют собой отношения полуфеодалной зависимости. За полученные из рук вождя земельные наделы общинники отдают ему часть урожая или отработывают определенное время на его земле. Побочные заработки также облагаются обязательными отчислениями вождю в виде части урожая, убитой на охоте дичи или выловленной рыбы. Так что при ближайшем рассмотрении традиционное африканское племя представляет собой далеко не такую идиллическую картину, как рисуют апологеты примитивного общества и его морали.

Сегодня патриархальный уклад в Конго неуклонно разрушается. Хотя и очень медленно, но технический прогресс проникает в глухие уголки страны. Это испытывают на себе даже самые отсталые племена пигмеев, сегодня нередко пигмеев нанимают сезонными рабочими на сельскохозяйственные фермы. Растет в стране движение по организации кооперативных хозяйств в деревне, идея кооперации сельского хозяйства становится все более популярной у конголезцев. Есть, конечно, и такие, которые тоскуют по прошлому и хотели бы сохранить старый уклад жизни.

## ОШИБКА В РАСЧЕТАХ? НЕТ, САБОТАЖ!

Идеологи сочиняют басни об импорте иррациональной африканской души, а империалисты продолжают импортировать из Африки вполне реальные ценности: золото, драгоценные камни, нефть, уран, кобальт.

..Много дней и ночей с того берега Конго, где возвышаются небоскребы Киншасы, доносился гул авиационных моторов. Надрывный и тяжелый. Казалось, вибрировал сам воздух. Это американские «Локхиды С-5» доставляли в столицу Заира оружие, боеприпасы, горючее. Одновременно на юге, в провинции Шаба, высаживались отряды французского иностранного легиона и бельгийских парашютистов. Западные державы еще раз решили поддержать шатающийся и непопулярный режим Мобуту. Еще до высадки войск французские пилоты осуществляли рейды «миражей» заирских вооруженных сил против повстанцев. А чтобы их не опознали, они мазали лица черной краской.

По версии заирского радио, французские солдаты выполняли «гуманную миссию защиты жизни и имущества иностранных граждан от повстанцев, действующих по инструкциям Москвы и Гаваны». По заирскому телевидению показывали трупы и говорили о зверствах «советско-кубинских наемников». А также о стремлении Советского Союза прибрать к рукам богатые заирские залежи кобальта, золота, адмазоров, меди, о «цепной идеологической экспансии» коммунизма в Африке и о многом другом. В том же духе.

Человеку нормальному, умеющему мало-мальски мыслить, опровергнуть подобное вранье совсем несложно. Просто надо познакомиться с фактами реальной жизни. С тем, например, что американский капитал прочно внедрился в добывающую, энергетическую и нефтяную индустрию Заира, британский — в сельское хозяйство, западногерманский — в лесную промышленность, французский — в перерабатывающую, японский — в разработку рудников, бельгийский — во внутреннюю и внешнюю торговлю страны. А также с тем, что баснословный рост прибылей мультинациональных монополий и обогащение их посредников в Заире сопровождаются катастрофическим падением уровня жизни трудящихся. На свою дневную зарплату сельскохозяйственный рабочий — заирец едва может купить подкило хлеба. Достаточно сопоставить факты и цифры, чтобы понять, кому выгодно продление нынешнего заирского режима.

Мне довелось побывать в Киншасе. Паром заирской пароходной компании, вонючий и заплесневевший, до отказа набитый заирскими торговцами, спекулянтами, ворами и проститутками, промышленявшими в Браззавиле, медленно пересек реку Конго, ширина которой составляет в этом месте около пяти километров. И вот я стою перед теми самыми небоскребами, которые наблюдал не раз с той стороны реки, из Браззавиля. Самый большой из них целиком принадлежит международному консорциуму по продаже заирских бриллиантов. У центрального подъезда — шикарные «роллс-ройсы» и «мерседесы». И тут же рядом на тротуаре протягивают обрубки рук прокаженные, демонстрируют свои непомерно раздутые ноги больные слоновой болезнью. Простят монетку. Блеск и нищета неокOLONиализма.

Таковы не мифические, а реальные отношения Запада с Африкой. Империалистический грабег продолжается.

..Пуэнт-Нуар в переводе означает «черная точка». Когда-то это была точка на карте Африки, откуда в Новый Свет вывозили живой товар. Черных рабов. Согласно подсчетам отсюда вывезено больше миллиона человек.

С Шарлоттой Сузой меня познакомила хозяйка гостиницы, в которой я остановился в Пуэнт-Нуаре. Хозяйка пригласила меня поужинать вместе, пообещала, что придет ее подруга, профсоюзная активистка франко-конголезской нефтяной компании «Эльф-Конго», «очень интересный человек, к мнению которой прислушиваются даже мужчины».

Вечером я поднялся на второй этаж к хозяйке. На пороге ее комнаты меня оставил властный голос, потребовавший на хорошем русском языке: «Давай деньги, нахал!» Из подвешенной к потолку клетки не мигая смотрел взерошенный и выцветший от времени попугай. Смотрел нагло и требовательно. Я опешил от неожиданности, а он, видимо довольный произведенным эффектом, сказал примирительно: «Ладно, проходи, нахал».

**Хозяйка рассмеялась:**



— Это ваши рыбаки мне его подарили, очень потешная птица, говорит по-французски и по-испански, но предпочтение отдает русскому.

Когда мы сели за стол и пожелали друг другу приятного аппетита, попугай не преминул встрянуть снова: «Жора, рубай компот, он жирный».

Шарлотта Суза — активная участница августовской революции 1963 года, свергнувшей неокOLONиалистский режим диктатора Ф. Юлу и провозгласившей путь некапиталистического развития Конго. Шарлотта некоторое время жила во Франции, училась там на заочных курсах народного университета, куда ей помогли устроиться друзья мужа, коммунисты, посещала публичные лекции, много читала сама. Вернувшись в Конго, вступила в Конголезскую партию труда, которая образована в конце 1969 года. Первая правящая партия в Африке, объявившая марксизм-ленинизм идеологической основой своей деятельности. Одновременно Конго было провозглашено народной республикой, на знамени которой начертаны орудия труда: молот и мотыга под золотой звездой, в окружении пальмовых веток. Первое красное знамя на африканском континенте, где еще недавно безраздельно господствовали империалистические силы и свирепствовали антикоммунизм и религиозные предрассудки, вселило в трудящихся энтузиазм и социальный оптимизм. Шарлотта Суза активно включилась в работу профсоюза смешанной нефтедобывающей компании «Эльф-Конго». Именно к этому времени в шельфе Пуэнт-Нуара были обнаружены большие запасы нефти. И тут она по-настоящему осознала, что провозгласить политическую независимость и поднять алый флаг — это еще совсем не значит стать действительно независимыми.

— Мы, конечно, понимали, что сами не в силах ни в технологическом, ни в финансовом плане поднять найденные богатства. Понимали также, что французские компании, взявшиеся за разработку шельфа, поставят нас в тяжелые условия — неизбежная плата за отсталость. Но мы надеялись, что доходы от продажи нефти помогут стране выйти из затянувшегося кризиса. И, надо сказать, сначала все шло нормально, только за период с 1972 по 1974 год добыча возросла с 14 тысяч до 2,5 миллиона тонн. По соглашению с французской компанией «Эльф» доля каждого партнера определяется количеством добытой нефти: при добыче до 3 миллионов тонн в год доля Конго составляет 20 процентов, добыча от 3 до 10 миллионов тонн увеличивает нашу долю до 25 процентов, а при 15 миллионах и выше мы получаем уже 40 процентов.

Шарлотта помолчала, задумчиво помешивая ложечкой кофе, и попугай немедленно заполнил паузу, заявив безапелляционно, что будет дождь. На сей раз по-французски, а по-испански добавил, что он желает спать. Хозяйка накрыла клетку легкой тканью. Шарлотта Суза продолжала свой рассказ.

— Вопросами нефтяной промышленности занимался лично покойный президент Марьян Нгуаби, он часто приезжал в Пуэнт-Нуар. Ему принадлежит и идея строительства здесь завода по перегонке нефти: продавать ее производные значительно выгоднее по сравнению с продажей чистого сырья. К тому же страна была бы обеспечена своим топливом, бензином. Уж не говоря о том, что предприятие давало возможность занять солидное число безработных. Завод был построен по технологии, разработанной за рубежом. Вы сами были на нем и видели его. Не правда ли, солидное предприятие?

— Впечатляющее. Только почему оно не работает? Я наблюдал, как служащие, не зная, чем себя занять, высаживали во дворе цветы.

— Все очень просто. Технология оказалась порочной.

— Ошибка в расчетах?

— Если бы ошибка!

— Саботаж?

— Вне всякого сомнения. Эксперты по нефти изучили документацию и обнаружили, что в ней пропущено несколько важных звеньев процесса переработки, таких, скажем, как извлечение из нефти примесей морских солей. В довершение всего оказалось, что вся технология рассчитана на нефть другой структуры, например на ту, что добывают в Саудовской Аравии.

— Может быть, все-таки ошибка в расчетах?

— Исключено. Ведь завод, построенный в соседнем Габоне, работает. А наш за все эти годы не переработал и килограмма нефти. Великолепная иллюстрация для учебника по неокOLONиализму, не правда ли?

— Вы, конечно, протестовали?

— Больше того, подали апелляцию в международный трибунал в Гааге с требованием судебного разбирательства<sup>1</sup>.

— А как вообще с добычей нефти? Растет?

— Как бы не так. Я уже говорила, что в начале семидесятых годов добыча пошла, но с тех пор топчемся на месте. Где-то в пределах двух с лишним миллионов тонн ежегодно.

— Другими словами, Конго получает свои прежние двадцать процентов?

— Да, но дело не только в этом. Думаю, что проблема здесь не столько экономическая, сколько политическая. Откажись мы от избранного пути, от ориентации на социализм,— и добыча возросла бы. У нас есть такие, что непрочь бы переориентироваться на капитализм, они уверяют, что нам это было бы выгоднее, ну вот хотя бы с той же нефтью. Но это ерунда. Возьмите соседний Заир, который гораздо богаче, чем Конго. И что? Уровень жизни там значительно ниже, чем у нас. Да что я вам рассказываю, вы и сами это знаете. Дай им палец — откусят руку. Так что мы предпочитаем следовать своим путем. Ну а пока не можем твердо стать на собственные ноги, приходится лавировать, использовать противоречия между империалистами. Сейчас за разработку шельфа в Пуэнт-Нуаре серьезно взялась итальянская компания «Аджип». Это, думаю, подстегнет и наш «Эльф».

Забегая вперед скажу, что действительно в последнее время добыча нефти начала расти. Сегодня даже заговорили о нефтяном буме.

Когда мы расставались, Шарлотта спросила, а не хотел бы я сам побывать на нефтяных платформах. Я сказал, что, конечно, хотел бы, но что завтра мне надо возвращаться в Браззавиль.

— Тогда отложим до следующего раза. Как приедете, сразу позвоните мне.

В следующий раз в Пуэнт-Нуар я приехал с московскими преподавателями Олегом Цукановым и Юрием Косилкиным. Мы выступали с докладами перед рабочими. Численно рабочий класс Конго медленно, но неуклонно растет. Особенно в Пуэнт-Нуаре, который называют экономической столицей страны.

Шарлотта Суза сдержала слово, и ранним утром мы встретились на маленьком аэродроме компании «Эльф-Конго». Оказалось, что добиться разрешения на наш визит было не так просто, нашлись люди, которым это было не по душе, они слушали наши выступления по радио, и многое из сказанного им явно не понравилось. Однако они не могли не считаться с просьбой профсоюза и уступили скрепя сердце. Встретили нас на аэродроме довольно холодно. Шарлотта сказала, чтобы мы не обращали на это внимания. Перед тем как сесть в вертолет, нас попросили написать завещание на случай непредвиденного. Олег Цуканов очень серьезно спросил у сопровождающего нас в поездке конголезца Андре Онганьи, есть ли у него дети. Узнав, что у него дочь Урсула, записал в завещании, что оставляет все свое добро Урсуле. Мишель, пилот вертолета, который следил за этой процедурой со скепсисом, не выдержал и расхохотался.

Наконец с формальностями покончено, мы заняли места в вертолете, надели спасательные жилеты, полетели. Мишель, молодой француз родом из Бордо, вел машину уверенно, даже несколько лихо. Один раз ткнул рукой вниз, коротко бросил: «Дельфины». Большая стая дельфинов играла в зеленых волнах. Мишель снизился и погнался за ними, они выпрыгивали из воды и шлепались обратно, поднимая брызги. Потом мы снова легли на курс — в простор океана — и минут через двадцать увидели впереди светлые вертикальные штрихи: языки пламени над нефтяными вышками. Еще через несколько минут вертолет приземлился на круглой площадке одной из платформ. Встретивший нас представитель компании, тоже француз, повел по платформе, рассказал историю «Эльф-Конго». Потом он отвечал на наши вопросы. Я спросил, чем он объясняет относительно небольшой объем добычи нефти, а главное, почему добыча не растет, хотя запасы вроде бы вполне позволяют это. Он подумал немного.

— Видите ли, мы рассчитывали в этом году увеличить добычу, но лопнула труба, образовалась течь в ее нижней части. Вот и приходится гнать нефть пополам с водой, нефть легче воды и идет поверху. Вы сами понимаете, нефть из-за этого гоним гораздо медленнее, почти вдвое медленнее. Отсюда и меньший объем добычи.

— А что — трубу починить нельзя?

— Можно, но это работа для специалистов. Вот уже несколько месяцев ждем, когда приедут из Франции.

Специалистов из Франции посылать не торопились.

<sup>1</sup> Недавно суд вынес свое решение в пользу конголезской стороны.

### ПЛАТЬЯ ОТ ДИОРА. ДЛЯ КОГО?

Своеобразная стратегия вызывает к жизни и соответствующую тактику. С одной стороны, не бросать бывшую колонию на произвол судьбы, не оставлять своими заботами, напоминать о себе время от времени кредитами. Непосредственное распределение основной массы финансовых средств осуществляет французский фонд помощи и сотрудничества. Эти средства предоставляются в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями. Хотя формально объекты этих соглашений определяет правительство Конго, на деле большинство вопросов, связанных с финансированием через фонд, решаются на основе рекомендаций так называемой постоянной французской миссии помощи в Конго. Около 80 процентов такой помощи возвращается во Францию в виде платежей за экспорт французской техники и материалов, в форме оплаты специалистов и прибылей французских фирм-подрядчиков, участвующих в реализации проектов. Значительная часть кредитов идет на закупку товаров того же кредитора. Таким образом, монополии обеспечивают себе постоянный рынок сбыта и прибыль в виде надбавки на цены. И летят из Парижа самолеты, везут в Браззавиль сыры, колбасы, кур и индеек, яблоки и персики, рыбу и консервы. Это в страну сельского хозяйства! Которая вполне способна прокормить себя сама и еще поделиться с другими! Но везут из Западной Европы.

Я уж не говорю о платьях от Диора или духах от Елены Рубинштейн, стоимость которых просто баснословна. Диву даешься, на кого все это рассчитано. А между тем расчет есть, и весьма точный: усилить в стране слой обуржуазившейся бюрократии, приучить ее к потребительской роскоши и помочь установить власть над народными массами. Конголезская бюрократическая буржуазия — весьма серьезная угроза существующему режиму. Некоторым ее представителям удалось пробраться в органы власти, на руководящие посты, где они занимаются саботажем, дезорганизуют работу партии.

В свое время французский империализм навязал своей колонии экономику, предназначенную для выкачивания природных ресурсов в интересах монополий. На месте было создано учебное заведение для подготовки кадров, способных обслуживать французский империализм, управлять колониальной экономикой, это уменьшало расходы по оплате специалистов, прибывавших из самой Франции. Вот эти кадры, унаследованные от колониального периода, и взяли после провозглашения независимости Конго бразды государственного правления в свои руки. И хотя впоследствии они потеряли политический контроль над страной, многие из них и сейчас занимают высокие посты в государственных учреждениях. И жаждут видеть Конго привязанным к Западу, их устраивает экономическая зависимость, которую они используют для личного обогащения.

Система оплаты чиновников в Конго не претерпела особых изменений со времен колониализма. Официальные ставки высших должностных лиц примерно в 10 раз превышают зарплату рабочего. Но главным источником обогащения обуржуазившегося чиновничества служит не заработная плата, а расхищение государственных средств, коррупция и взяточничество.

В Конго мне приходилось встречаться и с рабочими, и с крестьянами, и с интеллигентами, и с люмпен-пролетариями. А вот буржуа-бюрократа не то что не встречал, а не сразу узнавал: удивительный у него талант к мимикрии. Сидит он тишайший в бюро и даже выкрикивает на митингах революционные лозунги: «Все для народа, только для народа!» А через подставных лиц строит и сдает доходные дома, занимается ростовщичеством, взяточничеством.

В Конго происходило немало громких судебных процессов над незаконно обогатившимися чиновниками, однако и сегодня таких, кто ставит личные интересы выше интересов народа, больше чем достаточно. Подкармливаемая иностранными монополиями бюрократическая буржуазия выступает против курса социалистической ориентации, всячески тормозит развитие производительных сил, сдерживает рост национальной промышленности, играет на руку неокolonизаторам. Мне рассказывали, что и немалая часть мелких розничных торговцев, вносящих своими действиями хаос в государственный сектор торговли, состоит на откупке у бюрократической буржуазии, поддерживается и направляется ею. Оттого, что все это делается исподтишка, подрывная работа не становится менее опасной. Скорее наоборот. С помощью бюрократической буржуазии неокolonизаторы стремятся подчинить себе бывшую колонию, заполнить рычаги политического давления на нее.

К сожалению, финансовая и экономическая сила здесь пока еще в руках империалистических государств. Только на одну Францию приходится более 50 процентов стоимости конголезского импорта и 24 процента — экспорта. Существенную долю во внешней торговле Конго имеют и страны «Общего рынка».

Удельный вес социалистических стран во внешнеторговом обороте республики еще очень незначителен. И это объясняется в первую очередь слабостью государственного сектора страны. Государственные внешнеторговые организации играют пока мизерную роль и не могут служить достаточной опорой для проведения самостоятельной внешнеторговой политики. Введение государственной монополии внешней торговли страны — дело относительно далекого будущего. Таможенный режим, действующий в Конго, также открывает благоприятные возможности для развития торговли со странами зоны франка, в которую входит Конго. Так, в торговом обмене Конго с Францией практически не существует каких-либо количественных ограничений.

Руководство НРК ставит одной из своих стратегических задач освобождение от экономической зависимости, выход из зоны франка и создание своей национальной денежной системы. Однако условия для этого еще не созрели, а спешка в подобном деле может привести к пагубным результатам. Тут необходимы мудрость и терпение.

Но даже в нынешних условиях экономическое и торговое сотрудничество Конго с социалистическими странами имеет огромное значение. Лидеры конголезской революции не раз подчеркивали серьезную роль такого сотрудничества. «Может ли Конго перейти от нынешнего состояния слаборазвитой страны к государству с социалистическим режимом?» Этот вопрос задал в своем выступлении 30 июля 1969 года президент Мариан Нгуаби. И ответил на него: «Да, это возможно, и возможно с помощью пролетариата, победившего в передовых странах... И, конечно, это наш долг — приветствовать все дружественные страны социалистического содружества, которые нам помогают и нас поддерживают и борьба которых неотделима от нашей».

Этот курс нашел подтверждение в мае 1981 года, когда в Москве руководители Советского Союза и Народной Республики Конго подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между обеими странами. В нем подчеркивается, что развитие дружественных отношений и сотрудничества между социалистическими и развивающимися странами отвечает их общим интересам и что СССР и Конго будут углублять эти отношения в политической, экономической, торговой, научно-технической, культурной областях на основе полного равноправия.

Это жизненная реальность, которая проявляется на каждом шагу и в большом и в малом. Браззавильцам хорошо знакомы здания гостиницы «Космос», родильного дома «Бланш гомез», комплекса Национальной ветеринарной лаборатории. Все они построены с помощью Советского Союза. Растут корпуса нового здания Высшей партийной школы, дар Советского Союза народу Конго. Большой популярностью у конголезцев пользуются советские врачи, ученые, преподаватели, работающие в НРК. Многие конголезцы сами учатся в различных учебных заведениях нашей страны.

Технико-экономическое сотрудничество Конго с социалистическими странами — важное условие успешного развития по пути социалистической ориентации и укрепления политической независимости. Помощь социалистических стран направляется на развитие национальной промышленности, сельского хозяйства, транспорта, медицинского обслуживания. Она идет только в государственный сектор, основной рычаг строительства независимой национальной экономики. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но этот сектор набирает силы.

Нет спору, когда заходишь в Браззавиле в частный французский магазин, то товаров там побольше и они разнообразнее и красивее, чем в государственном. И вообще, как я уже говорил, французских товаров гораздо больше, чем других. Но вот берешь банку с латвийскими сардинами и смотришь цену — 200 франков. А такая же баночка французских сардин стоит 400 франков. Клубничный или малиновый конфитюр из Парижа — 680 франков, а из Будапешта — 380 франков. И я бы не сказал, что французский вкуснее. У конголезцев тоже есть глаза, и они умеют сравнивать и оценивать.

Все эти вопросы, большие и малые, мы постоянно обсуждали в Высшей партийной школе, которая превратилась ныне в главный очаг распространения марксистско-ленинской идеологии и исторического опыта международного коммунистического движения. Передовая теория социального прогресса, живые примеры строи-

тельства социализма в ранее отсталых странах вдохновляют слушателей, вселяют в них исторический оптимизм, делают их активными пропагандистами и борцами за дело коммунизма. Вместе с тем мы никогда не уходили на занятиях от самых острых вопросов, от трудностей, стоящих перед международным коммунистическим движением в целом, перед конголезской революцией в частности. Трезво оценивали силы и возможности монополистического капитала, который стремится перевести страны социалистической ориентации в Африке на капиталистический путь развития. В этом плане Конго представляет для Запада особый интерес, ведь страна соседствует с Габоном, Центральноафриканской Республикой, Камеруном, Заиром, которые избрали капиталистическую ориентацию социально-экономического развития. Неокolonизаторы очень опасаются, как бы «вирус коммунизма» не перебросился из Конго на эти страны, и делают все возможное, чтобы убить этот «вирус» в самом Конго.

Используя свой экономико-финансовый потенциал, они оказывают и огромное идеологическое воздействие на умы конголезцев. Под шумок лицемерной болтовни о спасительной планетарной миссии африканской культуры «цивилизovaná» массовая культура Запада буквально затопляет книжные и зрелищные рынки молодых стран. В кинотеатрах Конго демонстрируются сплошные вестерны, детективы, эротика. Массовое западное искусство все больше разрушает африканскую культуру, развращает африканца. Прививает ему вкус к сладкой жизни и отвращение к труду. Это не так сложно сделать, поскольку в сознании африканцев труд давно уже стал утрачивать свою традиционную ценность. Беспощадная эксплуатация периода колониализма, работа на империалистов превратили труд в тяжелейшее наказание и обузу. И африканская пассивность была проявлением своеобразного сопротивления колониальному господству. Изжить это из психологии африканца сейчас нелегко даже в странах, которые, подобно Конго, избрали некапиталистический путь развития. Понадобится еще немало времени для того, чтобы вновь изменить отношение людей к труду, убедить их в том, что они трудятся теперь для себя. Даже тогда, когда работают на предприятиях частного сектора. Ибо в конечном итоге это содействует развитию производительных сил, росту рабочего класса, что ускоряет процесс революции.

«Семь часов работы, а не семь часов на работе!» — этот лозунг можно встретить на многих предприятиях Народной Республики Конго. Вопросы дисциплины труда ставятся конголезским руководством очень остро. «У подавляющего большинства граждан страны, — заявил президент Дени Сассу-Нгессо, — пока еще недостаточно развито чувство патриотизма. Поведение значительного числа политических и административных кадров зачастую находится в противоречии с их публичными заявлениями. Каждый день и на всех уровнях укрепляется тенденция брать у общества больше, нежели давать ему». В этих условиях правительство не довольствуется только разъяснительными мерами, вводятся и меры принуждения. Так, в начале этого года вступило в силу новое законодательство, предусматривающее строгий контроль за мерой труда, учет конкретного вклада каждого конголезца в общее дело, санкции против нарушителей трудовой дисциплины вплоть до увольнения без сохранения права на пенсию.

Вместе с тем ведется серьезная работа по разъяснению диалектики нынешнего этапа национально-демократической революции. Она указывает главных врагов — империалистические монополии и их пособников внутри страны, бюрократическо-компрадорскую буржуазию. В борьбе против них партия объединяет широкие народные массы: пролетариат, крестьянство, мелкую буржуазию, революционную интеллигенцию, представителей национальной буржуазии, то есть тех, кто испытывает на себе гнет иностранного капитала. Конкретно эта борьба выражается в усилении контроля над экономикой, включая предприятия частного сектора, с перспективой превращения государственного сектора в доминирующий, в постепенном разрушении старого государственного аппарата и создании нового, который позволит широким массам принять реальное участие в управлении делами государства.

Многое на этом пути уже сделано. Органы народной власти избираются демократическим путем самим народом. Серьезные реформы проведены в системе народного образования, которое полностью национализировано, само обучение все больше приближается к реальной действительности, дает навыки трудовой жизни.

Успехи прогрессивных сил вызывают ненависть империалистов, которые не оставляют планов ликвидации революции, организуют против нее контрреволюционные заговоры. В результате одного из таких заговоров был злодейски убит герой конголезского народа президент Мариан Нгуаби. Так что разговоры о том, будто импе-

риалисты ждут, пока плод созреет и сам упадет им на блюдечко, всего лишь камуфляж, не больше. В этих условиях партия проявляет максимум бдительности. Учитывая опыт международной контрреволюции, в том числе чилийской, партия создала армию и милицию нового типа, близкие народу. Мне и моим товарищам неоднократно приходилось выступать с докладами в армейских частях, учреждениях министерства внутренних дел, и мы могли сами убедиться в высокой идеологической подготовке, прежде всего офицерского состава.

Однако партия отдает себе ясный отчет в том, что главная борьба впереди. Успех ее зависит от того, насколько быстро будут расти культура и политическое сознание самых широких народных масс, без чего ни одна революция не побеждала. Задача эта крайне сложная, особенно если иметь в виду, что политическое самосознание основной массы конголезцев еще очень низко.

Есть одна важная деталь, которая затрудняет обретение ясного сознания. Дело в том, что конголезцы с самого начала не восприняли французскую колонизацию как нечто, разрушающее их жизнь. Именно французскую. Пьер Саворньян де Бразза, придя во главе экспедиции французов в Конго, сделал ловкий жест: он на глазах у аборигенов закопал свое ружье в землю, показывая тем самым миролюбивый характер своей миссии. Ему удалось добиться мирным путем согласия правителя Элло I на протекторат Франции над землями в бассейне реки Конго. И хотя последующее завоевание севера страны было жестоким и кровопролитным, Бразза, первый француз, остался в глазах конголезцев «добрым белым». В отличие от «злого белого», Стэнли, подчинившего огнем и мечом соседний Заир Бельгии. Колониальная школа закрепила в умах конголезцев этот миф. До такой степени, что столица по-прежнему носит имя французского завоевателя. Я не раз слышал, как конголезцы с гордостью называют свою столицу маленьким Парижем. И это тоже можно понять: за многие десятилетия французского господства у местных жителей, особенно в городах, постепенно укоренилась и французская психология, стремление подражать образу жизни французов. Дело здесь доходит иногда до курьезов. На мой вопрос, как он понимает социализм, один лицеист ответил: это когда прогоняют белых патронов и сами становятся патронами. И уточнил: ну, это значит иметь большую черную машину, красивую белую жену и виллу на Лазурном берегу. Вот так. Я сам иногда ловил на себе откровенно удивленные и полупрезрительные взгляды, когда шел по жаре пешком. Белый патрон — и пешком?! Значит, не патрон, а значит, и не достоин уважения.

Нередко западные нравы в психологии конголезцев, да и вообще африканцев, соседствуют и переплетаются со старыми, патриархальными традициями. Знал я одного боксера. Был он малограмотен, но очень ему удавались апперкоты и свинги. Он тоже хотел иметь белую жену и черную автомашину, причем такую же, на какой ездит сам Мохаммед Али. И не мог понять белых, которые довольствуются блохами-малолитражками. Этот боксер жаловался на свою племенную родню, которая досаждала просьбами, и на традиции, согласно которым он обязан ей помогать. И он помогал дядьям, теткам, племянникам, хотя при этом костил их на чем свет стоит вместе с их «свинской» деревенской жизнью. Называл их трибалистами. Но помогал («Что как нокаутируют — придется идти к ним же»). Боялся и общественного осуждения («Вот бы пробиться в боксе повыше! Бросил бы все и укатил в Европу!»).

Что боксер! Был знаком я и с конголезцем, которого можно причислить к деятелям довольно высокого ранга. И он тоже помогал дядьям, теткам, племянникам. Устраивал их к себе в министерство. И тоже костил на чем свет стоит, жаловался: «Понимаю, что совершаю преступление, беру на службу полуграмотных родичей, от которых проку — зеро, ноль. А что делать? Ведь иначе проклянут в родной деревне и на тебе повиснет проклятие...» Он не договорил, но я понял: проклятие мистических духов, покровителей племени. Между тем сам себя он называл марксистом и изучал диалектику.

Вот и выходит, что диалектика живой жизни гораздо сложнее диалектики книжной. Прекрасные традиции племенной солидарности и взаимопомощи в абсолютизованном виде превращаются в свою противоположность — враждебность к иноплеменникам, в трибализм, страшный бич Африки. Искоренить его лозунгами невозможно, и тут необходима долгая и упорная воспитательная работа. В Конго она ведется, задача борьбы с трибализмом ставится здесь на первый план. Отчего она не становится более легкой.

Не забывайте и другое — официальным государственным языком в Конго служит французский. Следовательно, подавляющая масса информации в прессе, на радио, телевидении поступает на французском языке. И, конечно же, конголезская пресса (две-три газеты) составляет каплю в море в сравнении с буржуазными газетами, поступающими из Франции. Я уж не говорю о кинофильмах или книгах, тут засилье западной продукции особенно велико.

У всех свежа в памяти мощная пропагандистская антисоветская кампания, которая развернулась на Западе вокруг афганских событий. По каналам заирского радио и телевидения на нас лили потоки клеветы и грязи. Еще совсем недавно французских и бельгийских парашютистов, раскрывавших свои зловещие разноцветные зонтики в выцветшем небе Шабы, те же радио и телевидение изображали ангелами-спасителями — приглашенные диктатором Мобуту, они спасали его прогнивший режим. Советские воины, пришедшие на помощь афганской революции по просьбе афганских революционеров, изображались, конечно, дьяволами-завоевателями. Продающаяся в киосках Браззавиля французская газета «Монд», любящая именовать себя самым объективным органом информации Запада, тоже лила на нас грязь. И надо сказать, что те, кто не был хорошо знаком с сутью вопроса, попались на удочку западных пропагандистов.

Сильна в Конго и католическая церковь, которая призывает к смирению и терпимости. Так что Конго находится не только в экономической и финансовой зависимости от Запада, но — в серьезной степени — и в духовной. Часть населения адаптировалась к такому положению и находит его в порядке вещей.

С другой стороны, есть немало и таких, кто искренне одобряет путь социалистической ориентации, но полагает, что освободить Конго от неокOLONиальной зависимости обязаны Советский Союз и другие страны социализма. Согласно этой иждивенческой теории они должны накормить и обучить конголезцев. Все это делает процесс реального освобождения страны крайне сложным, ибо без ясного понимания того, что внешние факторы способны только облегчить или затруднить процесс освобождения, но никак не подменить его, что каждая революция — результат деятельности определенных сил внутри страны (деятельности, основанной на творческом использовании международного революционного опыта), никакое реальное освобождение немислимо.

## О ГОНКЕ ВООРУЖЕНИЙ И О МУХЕ ЦЕЦЕ

С несколькими конголезскими друзьями я смотрел в браззавильском кинотеатре «Вог» американский фильм «В упор». Картина эта не заслуживала бы никакого внимания, так себе, пустячок, если б в одной из главных ролей не выступал Рональд Рейган. Играл он гангстера с пистолетом, убивал неугодных ему направо и налево. Сначала мы похихикивали, как-никак президент в роли гангстера, смешно, а потом посерьезнели. Ведь ныне Рейган превратился в актера, играющего первые роли на авансцене современной истории. И в руках у него не игрушечный пистолет с холостыми патронами, а самое взавправдашнее ядерное оружие. И, судя по его воинственным заявлениям, он вовсе не исключает возможности его применения.

Эти заявления вызывают в Конго серьезную тревогу. Впрочем, как и во многих других странах Африки. Здесь хорошо понимают, что только прочный и справедливый мир может обеспечить развивающимся странам реальное право выбора собственного пути развития, право устанавливать общественно-политическую систему в соответствии с их собственными желаниями. В Договоре о дружбе и сотрудничестве между СССР и НРК сказано, что обе стороны будут и впредь прилагать все усилия для защиты международного мира и безопасности народов, для углубления процесса разрядки международной напряженности, распространения ее на все районы мира, воплощения ее в конкретные формы взаимовыгодного сотрудничества между государствами, для урегулирования международных спорных вопросов мирными средствами. Они будут активно содействовать делу всеобщего и полного разоружения.

Бессмысленная милитаризация, навязанная миру реакционерами Соединенных Штатов, пагубно отражается на жизни всех народов. Но особенно она безобразно контрастна в сопоставлении с нищетой и болезнями, царящими в развивающихся странах. Именно они страдают от гонки вооружений больше всех. В газетах и журналах постоянно встречаешь впечатляющие цифры, показывающие, насколько выиграли бы

народы Азии или Африки, если б военные бюджеты развитых стран сократились на столько-то процентов или даже на столько-то десятых процента. И сколько бы миллионов голодных перестали голодать.

Болезни, от которых страдают африканцы, не перечесть. Как-то в одном научном журнале мне довелось читать о том, что в Африке самый низкий процент заболеваний раком. И делались глубокомысленные выводы о том, что, очевидно, африканский климат неблагоприятен для этой болезни. Но ведь злокачественные опухоли особенно распространены в возрасте за сорок лет. А в Конго средняя продолжительность жизни составляет всего сорок лет. Здесь гибнут в основном от паразитов, бактерий и прочей мелкой твари. В Африке сосредоточились наиболее вредные и опасные бактерионосители. Тропическая лихорадка, филяриатоз, трипаносомоз и многие другие тяжелые болезни — все это от кровососущих.

Как-то я наприсился у врачей-французов из Центра эндемических заболеваний взять меня с собой в места, где свирепствует муха цеце. Меня взяли после того, как я дал подписку, что еду в очаге эпидемии сонной болезни, трипаносомоза, в здравом уме и по собственной инициативе и что никаких претензий в случае чего к Центру эндемических заболеваний предъявлять не буду. Кстати, я уже до этого был знаком с глосиной — так по-научному называется цеце. Она меня укусила в Мали. Но оказалась не зараженной. Вообще подсчитано, что на тысячу мух цеце только три несут в себе трипаносом, паразитов сонной болезни. Так что степень риска не так уж велика. Пьер-Ив Жинукс, капитан медицинской службы французской армии, возглавивший нашу экспедицию в брус, тоже говорил мне, что риск совсем невелик, но надо только лезть на рожон, то есть в самые очаги, которые располагаются, как правило, в полузатененных местах на опушках леса, вблизи от небольших речушек или озерец. Все-таки мы посетили одно из таких мест, правда после захода солнца, когда мухи укладываются спать, поставили там ловушку, матерчатый мешочек из темной ткани в основании и светлой марли вверху. Муха, попавшая в эту ловушку, летит кверху, к свету, и бьется о марлю, как о стекло. Таким образом, мы выловили нескольких мух, парочку я привез в Москву для коллекции. Муха цеце не очень отличается от обычной, только крылышки у нее не расходятся врозь, а сложены одно на другом да хоботок вытянут вперед.

Более 15 миллионов африканцев живут в постоянном страхе перед этой мушкой. Ежегодно регистрируется более 10 тысяч новых случаев заболеваний трипаносомозом. А сколько не регистрируется! Болезнь эта действительно страшная. Я разговаривал с пожилым конголезцем, который «клевал носом» и через каждые несколько фраз засыпал. Дни его были сочтены. Беседовал с мальчиком одиннадцати лет, он тоже был неизлечим, болезнь зашла слишком далеко. Она вылечивается на стадии, когда трипаносомы еще находятся в крови, тогда серия инъекций ломидина спасает. Нелеченая болезнь прогрессирует и поражает центральную нервную систему, именно на этой стадии в мозгу наступают процессы заторможенности, клонит в сон, отсюда и название болезни. На этой стадии ломидин уже бесполезен, тут может спасти арсобаль, очень токсичный препарат, изготовленный на базе мышьяка; далеко не все выдерживают курс лечения, нередко он сам служит причиной гибели. Но и арсобаль может спасти только на определенной стадии заболевания, запущенная болезнь ведет к неизбежной смерти. К сожалению, многие обращаются к врачам, когда бывает уже поздно. Многих спасают врачи, которые сами едут в очаги заболевания.

Пьер-Ив Жинукс из их числа. Директор Центра эндемических заболеваний Франсуа Манони тоже. Я смотрел на них с чувством восхищения. Ведь профессия их связана с постоянным риском. Манони постарше Пьер-Ива и в звании повыше, он медик-полковник. Оба изучали военную медицину в Бордо и окончили институт тропической медицины в Марселе. С обоими я подробно беседовал, бывал у них дома. Они далеко не сентиментальны, чувств сострадания к африканцам, которые были присущи доктору Швейцери, я у них не обнаружил. Это профессионалы, любящие свое дело. Далеко не последнюю роль здесь играет и то, что их профессия щедро оплачивается.

Как бы там ни было, но Пьер-Ив Жинукс и Франсуа Манони постоянно ездят в очаги страшной болезни и даже не делают себе профилактических прививок. Жинукс объяснил:

— Во-первых, эта прививка ломидином не из категории приятных. Во-вторых, она не дает полной гарантии, да и по-настоящему активна только в течение месяца. В какой-то степени она даже опасна. В том смысле, что, не спасая от болезни, может



затушевать ее симптомы, а здесь весь фокус состоит именно в том, чтобы вовремя схватить момент. Поэтому я лично предпочитаю дожидаться ясных признаков заболевания и потом провести нормальный курс лечения. Кстати, у белых симптомы трипаносомоза гораздо ярче и сама болезнь протекает значительно быстрее. У африканцев она принимает хронический характер и тянется годами, нелеченому европейцу я дам от силы три месяца жизни, так что тут особенно важен фактор времени.

Доктор Манони менее скептичен:

— Вы же знаете нынешнюю молодежь, она все отрицает. Я более высокого мнения о профилактике сонной болезни, чем Пьер-Ив. Во всяком случае, в зараженных местах мы стараемся делать такие прививки всему населению два раза в год. Хотя, конечно, исследования этой болезни все еще не вышли из стадии эксперимента, и насчет гарантий я с доктором Жинуксом согласен, их нет, и мы их не даем.

Я поинтересовался, почему же за пятьдесят лет исследований лечение сонной болезни все еще в стадии эксперимента.

— Понимаете,— сказал доктор Манони,— сонная болезнь в процентном отношении, если брать все болезни в мире, не представляет опасности для человечества.

— Прежде всего для человечества с белой кожей? В отличие, скажем, от оспы или чумы?

— Это тоже верно. Между прочим, Всемирная организация здравоохранения объявила оспу полностью излеченной и назначила премию в десять тысяч долларов тому, кто обнаружит хоть один случай этого заболевания. Есть любители, которые ищут.

— Ну а можно ли полностью излечить сонную болезнь?

— Конечно. И гораздо быстрее и проще, чем оспе.

— И лекарства можно создать более эффективные и менее токсичные?

— Безусловно. Но каждое новое лекарство относительно дорого, а африканцы бедны. В ФРГ, например, давно уже открыто очень эффективное средство против шистосоматоза, но из лаборатории оно еще не вышло. Все по той же причине.— Манони поершил волосы.— Да что там говорить, у нас иногда не хватает денег даже на бензин, из-за чего срываются запрограммированные поездки по стране. Между прочим, может, это вам покажется странным, но по сравнению с колониальным периодом сонная болезнь нынче, к сожалению, прогрессирует.

— Почему?

— Тогда была более строгая программа борьбы с болезнью. Поймите меня правильно, я сам против колониализма, освобождение принесло Африке много изменений к лучшему. Но... вот с сонной болезнью, тут никуда не денешься, факт остается фактом.

— Но, может быть, раньше считали, что работают для себя, ведь колонию рассматривали как свою собственность, а теперь надо помогать бескорыстно, вот и ослабили внимание?

— Не скажите. Всемирная организация здравоохранения уделяет сейчас большое внимание борьбе с тропическими заболеваниями.

— Да, но эта организация никогда не имела колоний. А вот бывшая метрополия, Франция, вносит ежегодно в фонд этой борьбы мизерную сумму, всего каких-то 230 тысяч долларов. Хотя маленькая Дания, для сравнения, дает 11 миллионов долларов.

Приведенные цифры я взял из французской газеты «Монд» от 5 ноября 1980 года, о чем и сказал своему собеседнику. Манони пожал плечами:

— Но при чем тут мы с мсье Жинуксом?

Манони с Жинуксом тут ни при чем.

В кабинете Франсуа Манони висит большая карта Конго. На ней жирными, полужирными и тонкими штрихами отмечены очаги сонной болезни — очень активные, средней активности и малой активности. К первым принадлежат районы Нгабе — Мпуя, Мадингу и Лудима. Особенно активен коридор вдоль реки Конго между Нгабе и Мпуя, примерно в ста восьмидесяти километрах северо-восточнее Браззавиля. Вот в этот коридор я и отправился с Пьер-Ивом Жинуксом, несколькими конголезскими врачами и медсестрами.

Внешне все выглядело буднично, прозаично, тяжкий однообразный труд медиков. В Нгабе около двух тысяч жителей, 20 процентов из них, то есть около 400 человек, больны трипаносомозом. Врачи брали пункции из спинного мозга и шейных железок заболевших, делали анализы крови, проверяли повторных больных. Смотрели

до одури и ряби в глазах в микроскопы, вакцинировали здоровых, проверяли действие прежних профилактических прививок. Отбирали особо тяжелых больных и направляли их для лечения в Браззавиль. Надо сказать, что люди приходили сами, и охотно. Делали прививки, улыбались, благодарили врачей.

Пьер-Ив оторвался от микроскопа.

— А бывало, не дозовешься, приходилось ездить самим по деревням в джунглях, буквально гоняться за больными. Иногда приезжали в деревню, а она пуста, только куры бегают ошалело да котлы еще дымятся. Грийо, местный колдун, страдал односельчан, говорил им, что белые наводят на африканцев порчу. Ослушаться грийю нельзя, иначе он сам напустит на тебя порчу. Вот и убегали все дружно в лес, прихватив и старых и малых.

Как раз в этот момент к нашему становищу подходила очередная группа африканцев, вызванных из довольно отдаленной деревушки, впереди всех шел грийо-врачеватель. Он оказался словоохотлив:

— Да, я верю белому доктору, он умеет лечить людей от сонной болезни. Ну а я лечу от всех остальных.

Дни шли, а народу не убывало. Я наблюдал за работой врачей. Мне тоже давали посмотреть в микроскоп, и я видел извивавшиеся спирали трипаносом.

В один из дней я нанял пирогу и отправился вверх по течению в зону средней активности. В деревне Кинкопо раскинулся большой пионерский лагерь. Прямо по Михалкову: «С небес африканское солнце печет, река, под названием Конго, течет. Подходит к реке пионерский отряд...» Ребятишки в белой форме, с красными галстуками и в пилотках. Я поговорил с вожатыми, почти всем детям сделаны профилактические прививки против сонной болезни.

На обратном пути в Нгабе мы причалили к рыбацкому поселку Нгобеле, здесь хижины на берегу подняты на сваи, бывает, что Конго, разливаясь, затопляет прибрежную зону. Нбока, владелец пироги, познакомил меня с местными рыбаками, они только что вернулись с приличным уловом. Несмотря на усталость, тут же поджарили на вертеле свежую рыбу для гостя. Ели мы ее с маниокой (хлеб сюда не завозят) и слушали транзистор. К сожалению, поговорить нам не удалось, так как никто из них не знал французского, а я — местного диалекта. По радио сначала была музыка, а потом — события международной жизни в интерпретации французской радиостанции «Франс-Интерн». Диктор говорил о политике нового президента Миттерана, о раскрытии заговора в Бангладеш, о катастрофе самолета алжирской авиакомпании, о налетах израильской авиации на Ливан. Мельком сказал об увеличении на 26 миллиардов долларов военного бюджета Соединенных Штатов.

Все это с теми или иными нюансами я слышал сотни раз и часто, как и многие другие, воспринимал как все ту же глобальную статистику. И вот здесь, в кругу рыбаков на берегу Конго, те же события предстали мне в иной, жестоко отчетливой конкретике. Я остро почувствовал всю несуразность реальной действительности. Честные и самоотверженные врачи, в том числе и американские, рискуя жизнью, забираются в джунгли, саванну, чтобы спасти от смерти африканцев, азиатов, латиноамериканцев, которые гибнут в мирное время — не от пуль и снарядов, как на войне, а от укусов мух, комаров и прочей нечисти. И в то же время соотечественники этих врачей в сенатах и конгрессах взвинчивают гонку вооружений, грозящую миру страшной катастрофой. Вместо того чтобы выделить достаточные средства на ликвидацию паразитов, переносчиков тяжелейших недугов, а с ними и всех этих активных и менее активных очагов заразы, они увеличивают ассигнования на разработку новых видов ядерного и биологического оружия, на выведение в лабораториях все тех же мух, комаров и паразитов, которые предназначаются для массового заражения людей.

Невольно задумаешься после этого, что же такое дикость и что — цивилизация!

### СНОВА В ГОСТЯХ У АКВА

На 15-м троллейбусе я доехал до Кропоткинского переулка, где находится посольство Народной Республики Конго. Здесь работает мой друг Жакоб Оканза, конголезец из племени аква. Когда-то юный Жакоб тоже танцевал танец бэга, верил в священные фетиши. Но потом окончил лицей, много читал, участвовал в революционной деятельности. Стал министром торговли. Сейчас он чрезвычайный и полномочный посол НРК в Советском Союзе.

...За окном носились хлопья снега, а мы пили чай и вспоминали о теплой луне над джунглями, беседовали о жизни. Жакоб Оканза очень интересный собеседник, большой знаток африканской литературы и традиций, на эту тему он защитил диссертацию и написал книгу. Потом перешли к актуальным проблемам сегодняшнего дня. Совсем недавно Ж. Оканза вернулся из Конго, где принимал участие в пленуме Центрального Комитета КПГТ, утвердившем пятилетний план развития страны на 1982—1986 годы. Оканза говорил четкими фразами:

— Вы знаете, что попытки планирования предпринимались у нас и раньше, но тогда не хватало материальных средств, сегодня мы их имеем... Да, прежде всего благодаря нефти. И вот теперь нам необходимо использовать благоприятную конъюнктуру для решения очень серьезных задач. Стратегическая цель пятилетнего плана — ликвидация колониального наследия. А для этого необходимо мобилизовать все внутренние ресурсы страны и создать мощный производственный сектор, гарантирующий нам независимость и рост жизненного и культурного уровня народа.

Жакоб Оканза встал, подошел к полке, порылся в кипе газет, вытащил одну, это была парижская «Монд».

— Разумеется, наши западные партнеры оказались тут как тут, уж они-то не упустят возможности урвать побольше за счет поставок техники, оборудования и услуг, которые потребуются для выполнения плановых проектов. И тут никуда не денешься, придется платить. Уже сейчас крупные французские фирмы получили подряды на строительство шоссе и аэродромов, развитию инфраструктуры в плане уделяется особое внимание. Но дело не только в прибылях, мы хорошо знаем, что подобная экономическая помощь повлечет за собой новые попытки заставить нас отказаться от политики создания независимой национальной экономики, и в первую очередь от укрепления ее государственного сектора. Ну и в конечном счете — от ориентации на социалистический путь развития. Впрочем, французы, например, этого и не скрывают. Вот, — Жакоб Оканза раскрыл газету, — серия статей под общим заголовком «Марксизм под вопросом». Специальный корреспондент «Монд» прямо пишет, что растущие прибыли от добычи нефти и растущее экономическое сотрудничество с Западом все больше заставляют конголезское руководство отходить от Маркса к Маммоне, богу наживы. Каково, а? Хотя удивляться тут нечему, обычная логика империалистов, к тому же не новая. В свое время они аплодировали ленинскому нэпу и тоже говорили об отходе от марксизма.

Жакоб Оканза провел платком по выпуклому лбу, вытер капельки пота.

— Но мы слишком хорошо знаем истинную цену капитализма, империализма, на своем собственном горбу испытали их. И выбор своего пути сделали основательно и со знанием дела. Мы убеждены сегодня больше чем когда-либо в правильности этого выбора. Конечно, мы не тешим себя иллюзиями, путь будет долгим и трудным, но первые шаги по нему уже сделаны. Наш народ не отступит от дела, за которое отдали свои жизни Патрис Лумумба, Амикара Кабрал, наш незабвенный Мариан Нгуаби. Очень возможно, что список жертв африканской революции пополнится новыми именами, что на каком-то этапе верх в той или иной стране может одержать реакция, империалисты без ожесточенного боя своих привилегий не отдадут, ради их сохранения они способны на любые преступления. И все же мы уверены в конечной победе. Ибо знаем, что нас поддерживают силы прогресса во всем мире.

\* \* \*

Да простит мне читатель фрагментарность этого очерка. Что поделаешь, о самой конголезской действительности сегодня можно сказать, что она крайне фрагментарна. Многоукладность экономики (от пережитков первобытной общины до зачатков крупной промышленности) вызывает к жизни самые разнообразные формы сознания — от племенного трибализма до пролетарского интернационализма. Старое тесно переплетается с новым, противоборствует с ним, остервенело и опасно контратакует. Такова логика классовой борьбы.

На определенном этапе перед каждой революцией остро встает вопрос: кто кого? От ответа на него зависит судьба самой революции.

Браззавиль — Москва.

И. СТРЕЛКОВА



## ЧЕЛОВЕК, ВРЕМЯ, НАДЕЖДЫ

**Л**итературе требуется срок, чтобы кристаллизировать идеи своего времени и вылепить характеры. Читателю тоже нужен срок, чтобы напрочь забыть все случайное и выбрать из литературного потока самое талантливое, обозначающее важные вехи развития. Поэтому вполне закономерно, что 80-е годы у нас начались с подведения итогов минувших 70-х, а размышления о новой приливной волне 70-х вывели нас к более глубокому пониманию того, что появилось в советской многонациональной литературе за 60-е годы.

Сегодня критика особо выделяет успехи прозы минувших двух десятилетий, ее активный гуманизм, углубившийся историзм, развитие черт демократизма и народности, принципиальность в постановке коренных проблем нашей жизни, процесс обновления формы, затронувший все национальные литературы.

Общие тенденции по-разному и самостоятельно, изнутри проявились в каждой из национальных литератур. Выделяя это своеобразное, мы яснее увидим все то, что составляет общий путь развития советской многонациональной прозы.

В литературе Киргизии 60-е и 70-е годы стали временем становления повести, а вместе с ней и киргизской психологической прозы, временем утверждения новых форм повествования, способных выразить национальную самобытность. Лучшие повести этого периода составили сборник «Киргизские повести», вышедший в издательстве «Художественная литература» в 1981 году.

Девять повестей, девять авторов. По киргизским обычаям, число девять означает полноту, завершенность счета. И действительно, этот сборник создает в полной мере представление о достижениях киргизской прозы, давая в то же время понять, что за пределами сборника осталось немало интересных, талантливых произведений, отражающих жизнь Киргизии во всем ее сегодняшнем многообразии.

В литературе всегда условен счет на поколения, но и обойтись без него трудно. В киргизской литературе интерес к повести

связан с приходом поколения, которое вынесло из своего военного детства раннее чувство ответственности за все, что происходит вокруг, чуткий слух к чужому горю, обостренное восприятие добра и зла. И если обратиться к биографиям авторов повестей, отобранных составителем сборника М. Рудовым в качестве образцов современной киргизской повести, мы увидим, что каждый из них в раннем детстве или в юности впитал в себя сильнейшие впечатления военных лет, ставшие затем нравственными точками отсчета во всем, что им написано. Сильнейшими впечатлениями детства и юности объясняется привязанность писателей этого поколения к родному аилу, к человеку, работающему в тесном общении с природой. Очевидно, не случайно большинство повестей в сборнике посвящено аилу и его жителям. И причина успехов киргизской деревенской прозы, судя по всему, та же, что и у русской деревенской прозы, — в постижении народного характера, народного нравственного идеала.

Читая повести, вошедшие в сборник, ощущаешь преемственность между современной прозой Киргизии и опытом первооснователей киргизской письменной литературы. О преемственности очень нужно сказать в год 60-летия образования СССР. Киргизская литература периода своего ускоренного развития не нуждается в снизводительных скидках. Еще не владея секретами формы и стиля, молодая письменная литература шла в ногу с ускоренной жизнью своего народа, с темпами коллективизации, пятилеток, всех социальных перемен, совершавшихся на земле киргизов, — и именно благодаря этому уменью поспеть за быстрым временем проза первых десятилетий осталась навсегда примером активного и деятельного участия художника в формировании нового человека. И если сегодняшняя проза — емкая, мастеровитая — с таким накалом ставит проблемы человеческих взаимоотношений, то в этом нельзя не видеть продолжения, творческого развития традиций, заложенных первооснователями киргизской письменной литературы.

Современная киргизская проза успешно продолжает начатое первооснователями исследование народного характера, народного самосознания. И она научилась выражать национальные черты в более своеобразных формах и образах. Такое становление национального присуще всем братским литературам нашей страны и происходит на основе творческого общения и взаимного обогащения литератур, под воздействием многомиллионной, многоязыковой читательской аудитории, к которой привык обращаться советский писатель, на каком бы языке он ни писал. Историческая общность советских людей пробуждает у художника одновременно и стремление как можно ярче выразить свою национальную стихию, и стремление высказать через свое, национальное то, чем живет вся страна, весь советский народ, понять наше время и все человеческие надежды.

В киргизской прозе открытие новых горизонтов связано с появлением в конце 50-х годов повести Чингиза Айтматова «Джамиля», которая по праву и стоит первой в сборнике.

Нелишне вспомнить, сколько подражаний хлынуло за «Джамилей» — и не только в киргизской прозе. Кому-то всегда кажется, что открытие, сделанное другим, распакивает и перед ним дверь, которая стояла закрытой. Влияние творчества Чингиза Айтматова на талантливых писателей — в том числе и у него на родине — складывалось и складывается сложными путями. По сборнику повестей видно, что Айтматов воздействует на талантливых писателей своей республики прежде всего тем, что ставит трудные задачи перед каждым, кто не согласен на вторичность, не хочет брать то, что уже взято, писать то, что уже написано. Из такого усложнения и родились многие достоинства современной киргизской прозы, в том числе и повести. Я бы назвала прежде всего «Зимние мотивы» Касыма Каимова, «Тропу» Мара Байджиева, «Две жизни» Мусы Мураталиева.

«Зимние мотивы» — повесть с удивительно точным названием. Казалось бы, незатейливы картины жителя-бытия чабанской семьи, которая круглый год пребывает в горах и лишь осенью ненадолго спускается в долину, чтобы попасти скот на недавно скошенных нивах. Действие движется неоторопливо, никаких неожиданных поворотов сюжета, никаких острых конфликтов. Чабан Апсамат уехал в аил за зарплатой, и еще у него там есть дела. Жена чабана Шакин осталась в юрте, дети возле юрты играют на самодельном катке. Шакин бе-

ременна, скоро появится еще ребенок. Счастлива ли она? Прислушаемся к ее размышлениям:

«Там, в городах и даже в аилах, люди живут совсем по-иному, другими заботами и интересами, и чуть не каждый день в их существование врывается что-то новое, яркое... Они же с Апсаматом вот уже десять лет пасут в этих горах овец, и каждый день повторяет день вчерашний, и каждый ушедший год ничем не отличается от наступившего...»

Шакин могла бы и сама жить в городе, если б не провалилась на вступительных экзаменах в институт. Она могла бы жить не в юрте, а в благоустроенном доме, если б вышла замуж за кого-либо из тех солидных женихов, что сватались к ней. Но она вышла замуж за своего одноклассника Апсамата, а он чабан — и этим определилась ее жизнь, которая и разворачивается в повести чередой воспоминаний Шакин, все больше заинтересовывая читателя. Шакин размышляет о своем «внутреннем мире» — слова, вычитанные из ответа известной артистки на ее письмо, сначала показались Шакин непонятными, однако теперь она явственно ощущает, что не только у артистки, но и у нее, жены чабана, есть внутренний мир. Однажды покой этого мира был нарушен, Шакин стала часто думать о зоотехнике Ботобае, он жил в каком-то уголке ее сердца, и не так-то просто было ей отделаться от мыслей о нем...

Меж тем в бессюжетных «Зимних мотивах» начинает расти тревога. Шакин беспокоится за Апсамата, все еще не вернувшегося домой, но читатель-то понимает, что опасность грозит ей, если придет время рожать и никого рядом. И тут читатель обнаруживает, что в «Зимних мотивах» нет и не было никакой монотонности, напротив — повесть выстроена очень напряженно. И наступивший день не повторяет вчерашний, в каждом дне есть что-то свое. Вот и этот зимний день посылает в юрту Шакин заплутавшего в дороге ничтожного Ботобае, от которого не будет никакого проку в час испытаний, когда и схватки начались и волки напали на отару... На последних страницах повести темп резко меняется, он взвинчен до предела.

Форма повествования в «Зимних мотивах» как бы подстраивается к характеру главной героини Шакин. Ее спокойствие, ее тревога, ее стойкость в час испытаний переходят в общий тон и строй повествования. Для читателя сама Шакин — открытие. Ведь поначалу ее принимаешь за существо милое и незатейливое, а потом она начинает выра-

стать, словно бы укрупняясь в нашем представлении. И становится ясно, что Шакин никогда не плыла по течению, не подчинялась обстоятельствам. Она сумела построить свою жизнь так, как хотела. Она любит Апсамата, любит своих детей, и это для нее не малый домашний мир, а мир большой, даже огромный. Таков здесь современный женский характер. Он выписан в повести с большим мастерством — на контрастах между бытом кочевой юрты, от которого животноводам Киргизии пока не уйти, и образом мыслей молодой женщины, выросшей в иной обстановке и сумевшей войти в юрту настоящей хозяйкой. Под стать Шакин написан в повести ее Апсамат — мужественный, работающий, прямодушный. Он добился, чтобы для чабанов построили межколхозный культурный очаг, но не устремился туда в числе первых; многие семьи животноводов переехали в благоустроенный поселок, а семья Апсамата осталась на прежнем месте. И Шакин его в этом не винит. Апсамат и не мог поступить иначе. Читателю показаны в повести как бы два Апсамата. Одного мы видим в повседневных делах и заботах, другого — в воспоминаниях Шакина о прожитых десяти годах. Этот другой высвечен ее любовью, отчего любая относящаяся к этому характеру подробность приобретает важный сокровенный смысл.

Повесть о двух любящих Касыма Каимова открывает читателю сегодняшнюю глубинную Киргизию. Мы узнаем, как обстоят дела в животноводстве, каковы отношения в современной киргизской семье между мужем и женой, родителями и детьми, и все это органично в повести, потому что составляет мир, в котором живут Шакин и Апсамат. Талантливая проза всегда многое в себя вбирает, чтобы отдать затем читателю.

Для киргизской литературы характерно изображение связи между судьбой человека и судьбой животного, и в этом сказывается непреходящее влияние фольклорных традиций. У Касыма Каимова в повести «Зимние мотивы» рассказана история Кабылана, любимой собаки Апсамата, его верного помощника. Кабылан живет в повести как одна из реалий быта чабанской семьи и как символическое существо. Увидев убитого Кабылана, Апсамат вспоминает народную мудрость: «Смерть любимой собаки приносит счастье ее хозяевам». И думает: «Не для того ли погиб Кабылан, чтобы остались живы Шакин и ее четвертый ребенок?..»

В повести Мусы Мураталиева «Две жи-

зи» предводитель отары, козел, тоже написан как существо не только реальное, но и символическое, свидетель давней зависти Айдаркула к сверстнику своему Мусакуну. «Две жизни» — повесть о двух разных путях людей старшего поколения. На ее примере можно рассмотреть тягу современной киргизской прозы к постижению опыта прошлого, к исследованию нашего времени в его сопряженности с глубиной истории.

Случается, что право подведения итогов жизни двоих людей достается не самому из них достойному. Так вышло в той житейской истории, о которой повесть «Две жизни». Когда разошлись пути Айдаркула и Мусакуну? Об этом размышляет Айдаркул, получив известие о смерти Мусакуну. В своих воспоминаниях он обращается то к одному эпизоду, то к другому, свободно перемещаясь во времени. Вот оба персонажа вытягивают только что сплетенный аркан, samozабвенно меряясь силами. Вот Мусакун ловит в голодный год Айдаркула с зерном, купленным у вора. Вот они, еще совсем молодые, борются на тое, устроенном Бирназар-баем... Но о чем бы ни вспоминал Айдаркул, каждый раз он убеждается, что победа оставалась за Мусакуну. Потому что Айдаркул всегда в любом поединке с ровесником боролся только за самого себя, за свои собственные интересы, а Мусакун всегда отстаивал интересы других — даже в том первом поединке на тое он защищал честь самого бедного рода кебешей...

В Айдаркуле угадывается типичная для киргизского аила прошлых лет фигура «темного бедняка», с которым в романах первых десятилетий киргизской письменной литературы авторы порой поступали с излишней прямоотой, выводя его коротким путем к полному прозрению. Повесть Мусы Мураталиева «Две жизни» убедительно показывает, что такие, как Айдаркул, — явление куда более живучее. Айдаркул написан Мураталиевым не как само зло, а как производное зла. И в этом качестве он подсуден только своей совести. Верша свой высший суд, Айдаркул даже в добром своем деянии — он спас раненого красноармейца Мусакуну — увидит изъян: началом доброго дела был страх, что бай увидит его с Мусакуну и убьет. Шаг за шагом герой повести «Две жизни», всегда уважавший себя за умение жить, за достаток в доме, обнаруживает, что он нищ по сравнению с Мусакуну — нищ духом, совершенно одинок, не владел истинных ценностей, которыми владел Мусакун, презираемый им за непрактичность.

Однако кто сегодня знает, какую разную

жизнь прожили два старика? Самое сильное место в повести «Две жизни» — приход Айдаркула на похороны Мусакуна, где его встречают с почетом, принимая за близкого друга покойного. И то, как люди встретили Айдаркула, — еще одна победа Мусакуна. Ведь не будь Айдаркул знаком с Мусакуном, кто бы назвал его на старости лет карыя, как называют самых уважаемых стариков. И тем горше ему после такого почета вернуться к себе и увидеть, что его дом пуст: ушла прожившая с ним много лет Такач, которую он так и не захотел сделать законной женой, но ушла не куда-то к чужим людям, а к детям Айдаркула, которые любят ее больше, чем родного отца.

Автор повести «Две жизни» приводит своего героя к полному душевному краху. Только тогда начинается второе рождение человека — Айдаркул продает свою личную отару, рушит высокий дувал, которым отгородился от людей. Он знает теперь, в чем должна быть цель последних лет жизни: в том, чтобы быть достойным лечь в землю рядом с Мусакуном.

Читая повесть «Две жизни», мы ощущаем, что Айдаркул — характер национальный. Быт, психология, традиции, система человеческих взаимоотношений — во всем Киргизия, горный аил. И вместе с тем характер схожий, даже близкий мог бы сыскаться среди другого народа, потому что было много общего в нашей истории, в ломке старого и строительстве нового, в необходимости для каждого выбрать свой путь.

В повести Мара Байджиева «Тропа» рассказана история некрасивого человека, история калеки, и рассказана так, что читатель перестает замечать убожество Абылкасыма и видит другое — его прекрасную душу.

Много лет назад в аиле появился чужой мальчик-калека. Его подобрала старая Зыяда, все дети которой умерли в разное время и в разном возрасте. Она привязалась к мальчику как к родному сыну и мечтала вырастить из него ученого человека, но Абылкасым оказался неспособным к школьным наукам, мишенью для насмешек, изгоем. Он старше и сильнее своих одноклассников, но не умеет — не хочет! — постоять за себя, он убегает в слезах даже от девочки — ее зовут Асипа, и она очень нравится несчастному Абылкасыму. Его беда не только в том, что он калека. Абылкасым — чужой, а чужого в аиле никто не пожалеет, кроме старой Зыяды, которая и говорит ему в свой смертный час: «Некрасивый человек должен светиться изнутри».

По этому ее завету и прожил свою жизнь Абылкасым. И получил в конце концов заслуженную награду. Асипа, мечта его детства, увидела, что у Абылкасыма большое нежное сердце. Сказочный конец — стало быть, перед нами сказка, сказочный герой? Однако Мар Байджиев прекрасно обходится без чисто внешних приемов модного сейчас мифотворчества. Его сказка о некрасивом человеке, который светится изнутри, близка к традициям киргизского фольклора, в котором, как отмечал еще первый исследователь богатейшей киргизской устной литературы Чокан Валиханов, наряду с элементами фантастики присутствовали картины реальной жизни народа, были запечатлены деяния выдающихся людей.

Герой современной сказки Мара Байджиева проходит, как и полагается, через многие испытания. Ему уготовано пройти и через тюрьму, куда он попадает из-за Сапаркула, брата Асипы, причем сначала доверчивый Абылкасым не догадывается, что оказался соучастником хищения колхозного зерна, а после, когда все узнал, берет вину на себя ради Амины и ее сына, и это значит, что он способен совершить свой сказочный богатырский подвиг — подвиг доброты.

Рисую своего героя батыром доброты, Байджиев свободно пользуется приемами, которые были бы немыслимы вне сказки. Его Абылкасым, толком не научившийся в детстве грамоте, обращается к любимой Асипе с письмом, исполненным мудрости и достоинства: «В жизни своей я ничего не совершил. На великие подвиги не пожуся. Учебой ничего не добился. Семья нет. Добра не накопил — да и зачем оно мне? Я не смог выйти на большую дорогу. Хромал узенькой тропкой». И дальше в этом письме, написанном где-то в бараке: «Но я ни о чем не жалею. Мечта моя сбылась. Я сделал для тебя все что мог. Теперь могу умереть со спокойной душой. Если когда-нибудь услышишь обо мне плохую весть и на глаза твои навернутся слезы, другой награды мне не нужно...»

Это письмо Абылкасыма написано короткими фразами, что, однако, не очень характерно для малообразованного человека. То есть письмо не стилизовано автором под реальное, житейски вероятное. Это, конечно, не составило бы для автора большого труда. Но в силу загадочной магии художества послание Абылкасыма выглядит таким, каким и должно быть у много пережившего и передумавшего человека с большим и нежным сердцем. И слогу Абылкасыма в точности соответствуют вызванные пись-

мом размышления Асины, в которых и выразилась боль автора «Тропы»: «Почему добрый и честный человек должен страдать оттого лишь, что не может бороться за себя, защитить свое благородство и чистоту?» Асина размышляет о том, что такие, как Сапаркул, берут верх именно там, где слабые не могут им дать отпор. Но почему «черное и подлое должно брать верх над светлым, трепетным, над человеческим доверием, надеждой, даже, может быть, глубокой и искренней любовью?.. И кто будет виноват,— спрашивает себя Асина,— если чистое погибнет лишь потому, что никто не подал ему руку, не помог сохранить равновесие и устоять на ногах?!»

Размеры небольшой статьи не дают возможности подробнее остановиться на художественном своеобразии всех повестей, представленных в сборнике. Современная киргизская повесть тяготеет к характерам крупным, эпическим, нередко избирает в качестве героя-повествователя человека молодого и наивного. Поклонники киргизского кинематографа, познакомившись с названным сборником, смогут убедиться, что киргизская проза многое дала кинематографу, взяв у него уроки изобразительного мастерства. Всесоюзному успеху киргизской прозы несомненно способствует сотрудничество с опытными переводчиками Г. Семенихиным, М. Горбачевым, А. Дмитриевой, Т. Сартаковой.

Современная киргизская повесть вводит читателя в духовный мир народа, проделавшего на коротком отрезке времени огромный путь. В повести Кенеша Джусупова «Лесорубы» юный Болотбек спрашивает старого мудрого Джумаке: «Для чего мы живем?» И слышит в ответ: «Откуда мне знать для чего. Живу, как живется. И тебе советую тоже так. Лишь бы не делал другим ничего плохого». Юношу не может удовлетворить такой ответ, он продолжает задавать вопросы. Спрашивает наконец и о том, что сделал сам Джумаке не для родных и близких, а для всего народа. «Про народ сразу не скажешь,— отвечает старик.— На то он и народ. Он сам о себе сказал. Вот построил для вас новую, хорошую жизнь. Этого тебе мало?..» И дальше: «Я своей жизни, сынок, не стыжусь, не жалею, что так прожил. Вместе с другими строил школы, дома, воевал с безграмотностью, с кулачеством, колхоз создавал, деревья сажал... Теперешняя жизнь не с неба упала». Эти слова старого Джумаке звучат в повести как завет старого поколения молодому. И они перекликаются с тем, что говорит чабан, живущий далеко в горах,

молодому герою повести Мурзы Гапарова «Дикий гусь». Молодой учитель спросил чабана, что же все-таки его держит там, куда не доедешь, не дойдешь. Чабан отвечает: «Не знаю.. Мы здесь родились. Почему должны оставить эти места?..» И вот на такой безыскусный вопрос не находит ответа молодой учитель — да и вряд ли существует однозначный ответ на этот вопрос, заданный не ему одному, а всем.

Для юных героев повести Казата Акматова «Две строки жизни», вчерашних десятиклассников, юных мудрецов и острословов, идеалом человека, образцом для подражания становятся их звеньевой Асет, упрямый, неразговорчивый, умеющий, несмотря ни на что, поставить на своем. Джума, героиней повести «Новый родственник» Асанбека Стамова, пронес через всю жизнь образ своего старшего друга Бейше, фронтовика, который по возвращении в аил с жаром взялся за мирный труд. «В это лето,— вспоминает уже немолодой Джума,— я своими глазами видел, что значит для людей труд в охоту, от души, без усталости, труд радостный, возвышающий человека. Я своими глазами видел, что делала с людьми мысль о достигнутой после тяжких страданий победе над врагом: счастье мирной жизни переполняло их сердца, они готовы были гору своротить, не было для них невыполнимых задач. Такое уж настало время — силы у народа прибывали, как поляя вода весной».

Чем ближе мы постигаем духовную сущность главного героя киргизской прозы — человека труда, тем больше обнаруживаем родства между ним и его товарищами, живущими в других частях нашей огромной многоязыкой страны. Это родство людей одного дела, одной великой цели.

В повестях, о которых речь шла выше, мы видели киргиза на его земле. Шукурбек Бейшеналиев в повести «Любовь солдата» раскрывает характер своего героя в общении с другой национальной средой. Действие происходит в Риге, солдат Макмут знакомится с латышской девушкой Айей. И когда он задумывается, как себя держать с девушкой, которая ему нравится, он решает следовать простым житейским наставлениям своего дяди, колхозного чабана Каная. То есть он остается самим собой, сыном своего народа — и этим он ближе Айе, понятней. Бейшеналиев не упрощает ситуацию, в которой оказываются герои его повести, несмотря на общность их интересов: и Айя и Макмут — одаренные музыканты, музыке не нужен переводчик, девушка-латышка помогает солдату-киргизу гото-



виться к поступлению в консерваторию. Мать Айи категорически против встреч дочери с солдатом из далекой Киргизии. И Канай пишет племяннику: «Если она не знает нашего языка, это плохо. Подумай, не торопись давать обещания». Свои сомнения есть и у отца Айи, привыкшего все взвешивать на весах прозорливости и опытности. «Как много требуется от нового человека, чтобы он сумел войти в незнакомую ему ранее семью, стать в ней своим. Чтобы раскрыть спрятанные в горах богатства, нужен многолетний труд опытных инженеров-исследователей. А чтобы раскрыть богатства человеческой души, нужен тонкий и терпеливый подход к нему, подход воспитателя, психолога, педагога... Может ли Айя выполнить эту задачу?» Бейшеналиев очень точно передает в этих размышлениях отца Айи его требовательность не к Макмуту, а прежде всего к своей дочери.

«Любовь солдата» — лирическая повесть. Автор любитесь молодостью своих героев, их непосредственностью, открытой радостью. «Простите меня, дядя, — думает Макмут, — но, когда мы поженимся, ярким светом загорятся наши молодые сердца, осветят ваш очаг и все вокруг нас. Мы, безусловно, так и сделаем, дядя».

«Любовь солдата» — повесть о человеческом взаимопонимании, о красоте души наших современников, о том, что интернационализм составляет сегодня не только всенародный исторический опыт, но и личный опыт множества людей, семейный опыт. Эта тема, тонко исследованная в повести Шукурбека Бейшеналиева, возникает и в других повестях, составивших сборник, она вообще характерна для киргизской прозы, как и для всех национальных литератур, и продиктована самой логикой народной жизни. Ленин говорил в первые годы советской власти, что действительно достигнутым в культурном строительстве можно считать только то, что прочно вошло в быт, в привычки. Философы относят нравы к зоне наиболее глубокого залегания «материковых» начал. Изменения, происшедшие в этой глубинной сфере народной жизни, свидетельствуют, что формирование человека коммунистического будущего осуществляется на прочном и надежном фундаменте. Интернационализм, став неотъемлемой частью нашей культуры и нашего повседневного быта, постоянно обновляется и укрепляется опытом новых поколений многомиллионной и многонациональной страны.

Литература здесь играет ведущую роль.

На примере книг, снискавших наивысшее читательское внимание и, следовательно, оказавших наиболее значительное воздействие на общественные взгляды и вкусы, — на примере этих книг подтверждается плодотворность осознанного участия художника в созидании интернациональных культурных ценностей, принадлежащих всему советскому народу. На этой основе 60-е и 70-е годы выдвинули блистательную плеяду писателей разных национальностей, представляющих большие и малые народы, но в равной степени завоевавших всесоюзное имя, а затем и всемирное признание как писатели советские, в творчестве которых нашел свое отражение советский образ жизни, выразились духовные и нравственные начала новой исторической общности советских людей, сказался свойственный советскому человеку гуманистический дружественный взгляд на другие народы, на весь мир, прозвучала всечеловечность социалистической культуры. В появлении и утверждении таких ярких писательских имен, несомненно, многое значила динамика общественной жизни последних двух десятилетий, фронтальный общественный поворот к проблеме человека, чем и было обусловлено более активное сближение и взаимодействие всех национальных литератур.

В доказательство того, как эти тенденции развития осуществляются в нынешние 80-е годы, приведу два факта отнюдь не частного звучания: анализ русской нравственно-философской прозы в выступлении Чингиза Айтматова на VII съезде писателей и статьи Сергея Залыгина о латышской прозе, написанные с залыгинским проникновением в суть явлений и проблем.

Творческое взаимообогащение национальных литератур как одно из непреходящих условий развития и упрочения их самобытности опрокидывает западные концепции нивелировки, якобы угрожающей художникам нашей страны. Размышляя об этом над книгой современных киргизских повестей, ищешь и находишь подтверждение в современном литовском психологическом романе, в белорусской прозе о войне, в грузинской кинодраматургии, в узбекском историческом романе, в латышском рассказе, во всех национальных литературах. Сильное общее впечатление возникает при чтении этих книг благодаря несхожести, своеобразию творческого почерка, формы, стиля. И думаешь о том, как интересна эта многообразная и многосоставная картина народной жизни.

## КОНСТАНТИН КЕДРОВ



# ЗВЕЗДНАЯ КНИГА

Я связь миров повсюду сущих...  
*Державин.*

**Е**ще до начала космической эры академик Вернадский с гениальной прозорливостью сказал, что «художественное творчество выявляет нам Космос, проходящий через сознание живого существа». И когда сегодня задаешь себе вопрос, почему именно в России родилась мысль о полете в космос, почему у нас она впервые осуществилась, взор невольно обращается к первоисточкам великой русской литературы — к фольклору.

Что любой фольклор по природе своей космичен, было известно давно, но русский фольклор обладает одним удивительным свойством: обытовление, или правильнее сказать обречение, космоса — самое привычное дело для героя русского фольклора. Когда сегодня мы называем космический корабль космическим домом, невольно вспоминаешь «звездный терем» — Иванов двор русской волшебной сказки:

А Иванов двор  
Ни близко, ни далёко,—

Ни близко, ни далёко,—  
На семи столбах;

Вокруг этого двора  
Тын серебряный стоит;

Вокруг этого тына  
Всё шелковая трава;

На всякой тынинке  
По жемчужинке.

Иванов двор — обнесенное серебряным тыном горизонта звездное небо. Звездный частокол, где на каждой тынинке по жемчужинке, ограждает три терема:

Во этом во тыну  
Стоят три терема,

Стоят три терема  
Златоверхие,

Во первом терему—  
Светел месяц,

Во втором терему —  
Красно солнышко,

В третьем терему —  
Часты звездочки.

Догадка о соотносительности звездного неба с крестьянским двором тотчас находит свое подтверждение:

Светел месяц —  
То хозяин во дому,

Красно солнышко—  
То хозяйошка,

Часты звездочки —  
Малы деточки.

Видимо, прав был Сергей Есенин, когда писал:

«Изба простолюдина — это символ понятий и отношений к миру, выработанных еще до него его отцами и предками, которые неосозаный и далекий мир подчинили себе уподоблениями вещам их кротких очаров...»

Красный угол, например, в избе есть уподобление заре, потолок — небесному своду, а матица — Млечному Пути... все наши коньки на крышах... носят не простой характер узорочья, это великая значная эпопея исходу мира и назначению человека. Конь как в греческой, египетской, римской, так и в русской мифологии есть знак устремления, но только один русский мужик догадался посадить его к себе на крышу, уподобляя свою хату под ним колеснице... «Я еду к тебе, в твои лона и пастбища»,— говорит наш мужик, запрокидывая голову конька в небо».

От космического корабля — космического дома на орбите — до космического дома русской избы пролегает непрерывный светя-

щийся путь, который прослеживается в веках.

Взаимовмещаемость человека и мироздания, крестьянского двора и звездного неба, человеческого тела и всей вселенной чрезвычайно характерна для фольклорного мироощущения всех народов. Для русского же фольклора важна доминирующая роль человека в этих взаимопревращениях. Здесь космос не подавляет человека своим величием. Человек и космос в русском фольклоре — как бы две маски одного лица. Звездный лик человека прекрасен, и прекрасно человеческое лицо мироздания:

В три ряда у него кудри завиваются.  
Во первой ряд завивались чистым  
серебром,  
Во второй ряд завивались красным  
золотом,  
Во третий ряд завивались скатым  
жемчугом.

Интересна сама система вопросов, где человека вопрошают о его рождении:

Кто это тебя изнасеял молодца?  
Изнасеял тебя да светел месяц же.  
Еще кто же тебя да воспородил молодца?  
Воспородила тебя да светлая заря.  
Еще кто же тебя воспелеговал молодца?  
Воспелеговали да часты звездочки.

Эти вопросы-ответы еще не сама разгадка тайны о человеке. Рассказ о космическом происхождении молодца — лишь первая часть загадки. Разгадка же заключается в том, что космос есть сам человек:

Уж выслушные хрестьяна, неразумные,  
Православные друзья-братья, товарищи,  
Еще как же изнасеет светел месяц?  
Да еще как же воспородит светла заря?  
Еще как же воспелеговают часты  
звездочки?  
Изнасеял меня сударь батюшка...  
А спородила меня родна маменька,  
Воспелеговали меня няньки-нянюшки...

Финал этот очень важен. После рассказа о звездных родителях, когда, казалось бы, загадка полностью решена и разгадана, следует новая система вопросов о том, каким образом космос породил человека. Ответы исключают возможность иного космического рождения, кроме человеческого: «Еще как же изнасеет светел месяц? Да еще как же воспородит светла заря?»

Здесь мы видим, что рождение поэтически мыслилось как рождение человека космосом. Человек и космос были в сознании древнерусского поэта взаимопревращаемы. Вот почему фольклорные обряды — сватовство, свадьба, погребение — высвечены и пронизаны звездной символикой.

Сватовство сопровождается песнями о Заре и Месяце. Зарей в крестьянской этимологии именовалась звезда Венера.

Походил, походил  
Месяц за водою.  
Он клинал, клинал  
Зарю за собою.

С детства помним мы свадебную песню о браке Венеры и Месяца:

Светит месяц,  
Светит ясный,  
Светит белая заря...

Смысл ее был расшифрован еще в XIX веке профессором Н. Ф. Сумцовым: «Нередко замечается явление на небе, что какая-нибудь звезда случайно как будто идет вместе с месяцем. Отсюда возникло представление, что звезда сопровождает месяц, как его близкая подруга». Рассказывается об особой любви месяца к «утренней звезде»: «Он увидел утреннюю звезду и влюбился в нее».

Венера — звезда-пыха, звезда-вышивальщица. Она ткет и вышивает покрывало — небесный свод. В русских обрядовых свадебных песнопениях этот мотив звучит довольно отчетливо. Невеста сидит на дереве, символизирующем Млечный Путь. Посвятить ее можно, либо срубив дерево, либо подпрыгнув до ее высоты. В русских свадебных песнопениях это дерево — береза:

У этой березы коренья булатной,  
У этой березы кора позолочена,  
У этой березы прутья серебряны,  
На этих же прутьях листья камчатные...

Звезда, ткущая своими лучами дневное и ночное небо, а иногда и всю землю с морями, реками и лесами, — образ удивительной красоты. Эта метафора обладает завораживающей наглядной убедительностью. Лучи — иглы, лучи — золотые и серебряные нити, белое тонкое воздушное полотно небес. Вероятно, отсюда же идет на первый взгляд странное название вышитого ритуального покрывала — воздух. Вышивание воздуха — образ, уходящий корнями в глубокую древность:

Да она шила-вышивала тонко бело  
полотно...  
Да во первой раз вышивала светел месяц  
со лунами,  
Да светел месяц со лунами, со частыми  
со звездами;  
Да во второй раз вышивала красно  
солнце с маревами...  
Она шила-вышивала шириночку.  
Шила-вышивала чистым серебром,  
Она строки строчила красным золотом.

Небезынтересно сравнить этот мотив с ткачеством Пенелопы. Она ткет погребальный покров, который должен одновременно

стать ее свадебным покрывалом; закончив работу, невеста выберет жениха. Покрывало ткется днем, а ночью, втайне от всех Пенелопа его распускает. Это дневное небо, которое исчезает ночью, а днем ткется снова.

Сватовство к невесте-вышивальщице в свадебной песне — это также угроза заломать или подпилить железно-серебряно-золотую березу:

А тут зázрел-засмотрел добрый молодец:  
«Я пойду, да добрый молодец, во кузницу,  
Искую три пилы, три булатные,  
Подпилю же я березу кудреватую,  
Урону же с березы высок терем!..»

Или опять же с детства знакомая нам песня: «Я пойду, пойду погуляю, белую березу заломаю...»

Иногда невеста сидит в звездном тереме, в верхнем оконце. До нее надо допрыгнуть либо достать стрелу. Вспомним, что месяц имеет форму лука, и лучи-стрелы, пускаемые им в разные стороны, входят в обряд сватовства. Так добывают себе невест Иван-царевич и князь Гвидон. Когда невеста Гвидона сбросила свое лебединое обличье, сразу высветился ее звездный облик:

Месяц под косой блестит,  
А во лбу звезда горит.

Разумеется, от такого звездного брака должны родиться непростые дети. Так и происходит в русской народной сказке, послужившей прототипом «Сказке о царе Салтане». Там невеста обещает родить царевичу «сынов что ни ясных соколов: во лбу солнце, на затылке месяц, по бокам звезды». Вот так появляется на свет добрый молодец — человек-космос в русской народной сказке. Да и сама невеста в период свадьбы как бы родится заново. Она сбрасывает свою звериную, лебединую, лягушачью оболочку и обретает звездное тело. Царевна-лягушка ткет из лучей ночью небесное полотно, мелет зерно на звездной мельнице, печет звездный хлеб. Само превращение ее в царевну связано с древним магическим ритуалом выворачивания: «...вышла она на крыльцо, вывернулась из кожуха...» Попробуем представить себе этот ритуал пространственно зримо.

Выворачивая наизнанку поверхность своего тела, герой как бы охватывает им весь космос, вмещает его в себя. Внутреннее становится внешним, а внешнее — внутренним. Нутро небом, а небо нутром. При всей необычности такого действия не будем забывать, что оно зиждется на имитации вполне реального природного процесса рождения.

В Третьяковской галерее в зале древнерусской живописи мы можем увидеть зри-

мое воплощение такого действия в живописи Дионисия. Это изображение материнского чрева, от которого исходят концентрические круги, разрастающиеся до неба и охватывающие всю фигуру снаружи. Так Дионисий воплотил в живописи словесный поэтический образ «и чрево твое пространнее небес содея».

Человек в таком поэтическом воплощении становится как бы меньшей матрешкой, вмещающей в момент выворачивания (рождения) матрешку большую — всю вселенную.

Есть множество визуальных символов фольклорной космогонии, основанных на взаимозамещаемости нутра и неба. Академик Б. А. Рыбаков справедливо считает, что изображение славянских рожаниц — хозяек мира лежит в основе всего древнерусского орнамента и восходит к глубокой древности.

«Небесные Хозяйки Мира... находились на небе, отождествлялись с двумя важнейшими звездными ориентирами» (Большая и Малая Медведицы). Они «рождают все поголовье животных, рыб и птиц, необходимое людям». «Нас может смущать, что почитаемые рожаницы... изображались в такой непристойной позе, которая превосходит натурализм Золя. Однако следует отметить, что даже православным иконам был не чужд подобный натурализм».

У Дионисия схематическое изображение нутра-неба составляет спиральный узор, расходящийся от центра и одновременно к нему сходящийся. «Повсеместность и устойчивость спирального орнамента, рожденного в земледельческом неолите, заставляло нас огнестись к нему с особым вниманием», — пишет Б. А. Рыбаков.

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на описание огромного «солярного знака», чрезвычайно распространенного в русском орнаменте.

«Он почти всегда составной — из отдельных кругов, шестиконечных розеток и полукружий. У него нет лучей, испускаемых вовне. Нередко лучи изображались по внутренней окружности знака и обращены к центру знака». В то же время в центре есть круг с расходящимися лучами. Этот свет, расходящийся от центра и сходящийся к нему, есть, по всей видимости, двойное выворачивание вселенной в человека и человека во вселенную — космическая спираль, восьмерка.

Очертания главного узора русского орнамента уходят корнями к самым первоисточкам культуры. В древнеиранском искусстве есть чрезвычайно интересное изображение.

В центре солнце, месяц, звезда, как бы утопающие в воронке, а по краям снаружи шесть сердец — шесть лепестков Небо внутри, а сердце снаружи.

Если же искать не плоскостную, а объемную модель человека-космоса, то здесь в русском фольклоре на первый план выступает образ котла и чаши. Две половинки единой сферы, как бы расколотые и соединенные в точках касания наподобие песочных часов. Это символическое изображение единения земли и неба, луны и солнца, человека и вселенной. Кстати, изображение шестилепестковой розетки как раз находится в центре чаши на грани соприкосновения полусфер неба и земли, человека и космоса. Таковы чаши Юрия Долгорукова и Ирины Годуновой, хранящиеся в Оружейной палате. Причем на чаше Годуновой даже видны изображения шести сердец в нижней части.

Таким же символом неба был в старину котел. Месяц — Иванушка-жених обрелал свое вселенский облик, испулавшись в котле с кипящим молоком. Котел с кипящим молоком — это небо и Млечный Путь. Месяц на ущербе (в последней фазе) — Иванушка-дурачок должен нырнуть, исчезнуть в небе, чтобы появиться молодым месяцем — Иваном-царевичем, но уже по другую сторону Млечного Пути.

В то же время царь — солнце — погибает в ночном котле. Сюжет сказки Ершова «Конец-горбунок» чрезвычайно популярен в Сибири, где еще в древние времена была распространена так называемая котловая культура. Множество котлов с изображением по краям заходящего и восходящего солнца почти не оставляют сомнений в правильном понимании заключенной в них небесной символики.

Вспомним античный миф о том, что когда-то человек имел «совершенное» сферическое тело и соединял в себе мужскую и женскую природу, но Зевс рассек его на две половины — мужскую и женскую, и с тех пор мужчина и женщина ищут друг друга, чтобы обрести свое единое тело. Миф этот явно перекликается с русскими фольклорными сказаниями о луне, разрубленной на две части Перуном, о браке солнца и земли, солнца и луны, земли и неба. Образ котла и чаши, соединяющий две разрозненные полусферы, естественно, связан с обрядами рождения и брака. Они всегда символизировали единение человека и космоса. «Разбираясь в узорах нашей мифологической эпикки, мы находим целый ряд указаний на то, что человек есть ни больше ни меньше как чаша космических обособ-

ленностей. «В «Голубиной книге» так и сказано», — пишет С. Есенин.

Размышляя о Голубиной книге, Есенин вполне естественно вспомнил образ чаши, когда заговорил о связи человека и вселенной. Верхняя часть ее символизирует вселенную, нижняя — человеческое тело. Каждой части небесной сферы соответствует часть ее нижней сферы — человеческого тела. Зори — глаза, месяц — грудь... Проекция любого изображения на чашу ясно проиллюстрирует, каким образом «человек, идущий по небесному своду, попадет головой в голову человеку, идущему по земле» (С. Есенин) Именно так будет выглядеть человек в двух соприкасающихся полусферах, символизирующих небо и землю. Вот почему вытряхивание перины в колодце, внизу, в царстве Метелицы вызывает снегопад наверху — в небесах.

Дойдя до средоточия двух полусфер, до иглы Кощя, сломав ее, Иван-царевич как бы выворачивает верхнюю, ночную, полусферу вниз, а нижнюю, дневную, выпускает на свободу вверх. Замок Кощя рушится, невеста восходит на востоке утренней Венерой, сбросившей лягушачью ночную кожу, облаченная в солнечный наряд. Звезда и месяц исчезли в лучах солнца, но это исчезновение означает теперь их соединение в единую сферу солнца — счастливый брак. Разлученные на две половины лунной сферы в ночи, они соединяются днем в другой совершенной сфере — солнце. Одновременно это символизирует то, о чем говорит Есенин: «...опрокинутость земли сольется в браке с опрокинутостью неба». Перед нами вечная феерия соединения двух полусфер чаши, то разъединенных, то соединяющихся снова. Это земля и небо, две половинки луны, солнце заходящее и восходящее. Соединение их означает счастливый брак. Выходит, человек, мужчина и женщина, — как бы чаша всех чаш, вмещающая небо, солнце, луну и весь мир.

В поэме узбекского поэта Навои «Фархад и Ширин» есть образ, многое проясняющий и для русского фольклора. Это зеркало Искандера, в котором как бы слились воедино и ларец Кощя и космическая чаша. В сокровищнице своего отца Фархад находит хрустальный ларец.

Как чудо это создала земля!  
Был дивный ларчик весь из хрустала,—

Непостижим он, необыден был,  
Внутри какой-то образ виден был,

Неясен, смутен, словно бы далек,—  
Неотразимой прелестью он влек.

В ларце оказалось магическое зеркало с надписью:

Вот зеркало, что отражает мир:  
Оно зенит покажет и надир...

Магическое зеркало! Оно —  
Столетиями в хрусталь заключено.

Нет! Словно солнце в сундуке небес,  
Хранилось это зеркало чудес.

Чтобы увидеть что-либо в это зеркало, Фархаду надо было проделать путешествие на другой конец света, убить дракона и властителя тьмы Ахримана. Дракон в русской сказке — змей, а властитель тьмы Ахриман тождествен Кощею. Проникнув в середину замка, Фархад находит вторую половину магического зеркала Искандера:

Фархад вошел, предчувствием влеком;  
Увидел солнце он под потолком,—

Нет, это лучезарная была  
Самосветящаяся пиала!..

Не пиала, а зеркало чудес,—  
Всевидящее око, дар небес!

Весь мир в многообразии своем,  
Все тайны тайн отображались в нем:

События, дела и люди — все,  
И то, что было, и что будет, все.

С поверхности был виден пуп земной,  
Внутри вращались сферы — до одной.

Теперь становится ясно, что символизирует собой ларец Кощея. Это русская модель зеркала-чаши. «Самосветящаяся пиала» Навои — тот же образ, что и чаша, о которой пишет Сергей Есенин. На Востоке она называлась чаша Джемшида. Ее геометрическое устройство поразительным образом совпадает с композицией художественного пространства русского фольклора.

Путь к ларцу в русской сказке идет как бы концентрически сжимающимися кругами. Пространство по мере приближения к ларцу порой сужается до узенькой щели в горе. В сказке «Хрустальная гора» Иван-царевич должен превратиться в муравья, чтобы проникнуть в хрустальную гору, в царство Кощея. В «Царевне-лягушке» Иван-царевич вплотную соприкасается с конечной целью своего путешествия — Кощеевой смертью. Пощадив волка, ворону, щуку, он раскроет ларец. Оттуда выскочит заяц — его догонит волк. Из разорванного зайца вылетит утка — ее поймает ворона. Из утки выпадет яйцо — его достанет из моря щука. В яйце — игла или семечко, в нем смерть Кощея. Получается своего рода обратная матрешка. В наименьшей содержится наибольшая — все царство и смерть Кощея. Внутри

человека, как в подземелье Кощея царства, спрятана вся вселенная.

Подобный образ есть в поэзии современника «Слова о полку Игореве» азербайджанского поэта Низами. У Низами звездное небо и нутро человека взаимовмещаемы. Поднимаясь в небо, к звездам, окажешься внутри себя; погружаясь в глубь себя, окажешься в небе. Кроме того, само это погружение есть спуск в глубокое подземелье, где в конечном итоге поэт оказывается в просторном небесном дворце. Мотив этот настолько распространен в русской сказке, что не нуждается в каких-либо пояснениях:

Как мяч, я ушел из себя самого,  
В одном виде сотню и в стах — одного.

Не вижу нигде продолженья пути,  
Вернуться — желанья нет; сил нет —  
войти,

Меж всеми отмечен, иду к дверям.  
Вновь голос: «Во внутри!» И уже — я там.

То царство просторнее неба всего,  
О, как же богат прах от праха его!

И сидят семь халифов в покое том.

Это семь планет и одновременно сердце, печень, легкие, желчный пузырь, желудок, кишечник, почки.

Вот в селенье дыханья — вдыханье.

На царственный трон  
Царь полудня воссел: управлял всеми  
властными он. (*сердце*)

Красный всадник пред ним ожидал  
приказанья, а следом (*легкие*)  
Прибыл в светлой кабе некий воин,  
готовый к победам. (*печень*)

Горевал некий отрок, разведчик, пред  
царственным стоя, (*желчь*)  
Ниже черный стоял, пожиратель любого  
отстоя. (*желудок*)

Был тут мастер засады, умело державший  
аркан, (*кишечник*)

И, в броне серебра, чей-то бронзовый  
виделся стан. (*почки*)

Но все семь всадников оказываются мощками вокруг свечи — сердца:

Были мощками все. Быть свечой только  
сердцу дано.  
Все рассеяны были, но собранным было  
оно.

Это сердце-солнце оказывается как бы точкой соприкосновения внутренностей и неба. При таком взгляде на человека вся окружающая его вселенная оказывается как бы большой матрешкой, вмещающей в себя меньшую — человеческое тело. Но это еще не исчерпывающая картина. Сложность в том, что меньшая матрешка (человеческое

тело) содержит внутри себя большую матрицу — вселенную. Это похоже на спираль, сходящуюся к центру и одновременно разбегающуюся от него. Это сфера, где непостижимым образом поверхность оказывается в центре, а центр объемлет поверхность. Здесь, поднимаясь ввысь, окажешься внизу; опускаясь вниз, окажешься на вершине; погружаясь во тьму, выйдешь к свету; проникая в узкое пространство, окажешься в бесконечности.

Такова композиция художественного пространства мифа и сказки. Она сохраняется в литературах самых разных эпох и народов, в частности композиция «Божественной комедии» Данте и «Одиссеи» Гомера.

Все свойства такого пространства отчетливо видны в русской сказке.

Путешествие героя за своей невестой — это уход на небо. Чтобы попасть на небо, надо спуститься под землю, пройдя сквозь узкое пространство — трещину, дупло, колодезь. Иногда узкое пространство — это тропа в лесу, лабиринт, проход между скалами или переправа по хлипкому мостику.

Через такую же узкую горловину предстоит пройти будущей счастливой невесте — падчерице, сиротке. Ее спускают в колодезь, но с ней происходит то же, что произошло с Иосифом прекрасным. Брошенный в колодезь в рубище, он в конечном итоге оказывается на вершине славы. Легенда об Иосифе интересна еще и тем, что в ней сохраняется изначальная, звездная основа, вытесненная во многих более поздних сюжетах.

Иосиф видит сон о том, как солнце, луна и одиннадцать звезд поклоняются ему. Близкие моментально истолковывают его сон: «...и побранил его отец его, и сказал ему: что это за сон, который ты видел? неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе до земли». Легенда ничем не обосновывает такое истолкование сна, но звездная символика едина у всех народов, и мы могли бы сами истолковать этот сон. Ведь и в русском фольклоре солнце — мать, месяц — отец, звезды — дети.

Еще отчетливой звездная основа сюжета о спуске в колодезь видна в киргизских сказках. В одной из них путешествие героя за своей небесной невестой предшествует не символическое, а прямое творение вселенной из человеческого нутра: «Мне снилось, будто из головы моей вышло золотое солнце, из ног выплыла серебряная луна. Потом раскрылась моя грудь и оттуда посыпались алмазные звезды». Герой продает свой сон другому за стадо овец, как

Исаа продавал свое первородство за чечевичную похлебку. Отец изгоняет сына, купившего сон, из дома, но все кончается благополучно. Изгнанник встречает свою невесту Айсулуу (красивую луну) и женится на ней, как и положено звездному жениху.

Уже из этих сопоставлений ясно, что есть все основания говорить о единой звездной символике, пронизывающей фольклорное мышление всех народов. Это устоявшаяся система символов, общая для разных ареалов культур.

О существовании ее свидетельствуют самые первые следы культурной деятельности человека. В этом смысле фольклор, существовавший задолго до письменности, все-таки имел свою «письменность» — огненные «письмена» ночного неба. Мифы и легенды о существовании звездной, небесной книги существуют во многих древних культурах. В русском фольклоре это сказание о Голубиной книге. На первых же страницах ее читаем о вселенском человеке, чье тело соткано из звезд, луны, солнца, чье дыхание — ветер. Представления эти уходят корнями в глубокую древность.

Значение их очень глубоко ощущал Сергей Есенин. «Звезды и круг — знаки той грамоты, которая ведет читающего ее...» Есенин справедливо упрекает фольклорную науку своего времени в непонимании фольклорных символов звездной письменности. «Наши исследователи не заглянули в сердце нашего народного творчества. Они не поняли поющего старца...

Потерял я книгу золотую  
Во темном бору...

„Ты не плачь, старец, не vzdыхай,  
Книгу новую я вытку звездами,  
Золотой ключ волной выплесну!“.

Есенин не из одних книг, а из самой фольклорной традиции знал многие правила чтения «звездной книги». Эту книгу, «небесный свиток», можно увидеть в зале древнерусской живописи Третьяковской галереи. Здесь на развернутом свитке изображена вся звездная азбука «от альфы до омеги», хотя, по сути дела, кроме альфы и омеги, в этой письменности нет букв. «Звездная азбука» двоична: солнце восходящее (красное) — солнце заходящее (черное), месяц ранний — месяц поздний, луна — месяц. Принцип чтения напоминает азбуку Морзе: тире и точка изображают любую букву алфавита. Сам человек поэтически мыслится как внутренняя сторона «небесного свитка». В нем написано то же, что и на внешней стороне — звездном небе. Об этом хорошо сказано у С. Аверинцева: «Римские солдаты

сжигали заживо одного ближневосточного книжника вместе со святыней его жизни — священным свитком. Его ученики сказали ему: «Что ты видишь?» Он ответил: «Свиток сгорает, но буквы улетают прочь!»

Советский философ А. Гурсунов пишет, что человек предстает микродвойником вселенной или, соответственно, «свитком», сохранившим описание всей природы. Однако он ошибается, считая, что такие представления характерны лишь для Среднего Востока. Это общие представления о мире и человеке, свойственные любому фольклору, и в особенности русскому.

Наша общая устремленность в космос на уровне поэзии, на уровне мысли продиктована тысячелетней традицией и сегодня доказана делом.

Порой получалось и получается так, что далекая тысячелетняя поэтическая метафора облекалась и облекается в плоть конкретной научной мысли. Моделируя космологию выворачивания на основе русского фольклора, я был очень удивлен, когда встретил такую логическую формулировку: «...когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю... и внешнюю сторону как внутреннюю... и верхнюю сторону как нижнюю сторону... тогда вы войдете в [царствие]». Этот отрывок из коптских текстов, найденных в 1945 году в Египте, что-то напоминал. И внезапно я вспомнил описание невесомости у космонавта Германа Титова: «Верха и низа в ракете, собственно, нет, потому, что нет относительной тяжести... Мы чувствуем верх и низ, только места их сменяются с перемещением направления нашего тела в пространстве».

А вот что сказал об этом ранее Циолковский: «...мне представляется... что основные идеи и любовь к вечному стремлению туда — к Солнцу, к освобождению от цепей тяготений — во мне заложены чуть ли не с рождения. По крайней мере я отлично помню, что моей любимой мечтой в самом раннем детстве, еще до книг, было смутное сознание о среде без тяжести, где движения во все стороны совершенно свободны и где лучше, чем птице в воздухе».

То, что чувствовал Циолковский в детстве, «еще до книг», это и есть внутреннее содержание фольклора, его общая метакодовая основа. Однако воплощение ее в реальность не случайно произошло впервые в ареале нашей культуры, где неустанно на протяжении многих столетий звучала мысль о равноправии человека и космоса:

Частица целой я вселенной,  
Поставлен, мнится мне, в почтенной  
Средине естества...

Я связь миров повсюду сущих,  
Я крайня степень вещества...

(Державин)

Ведь и это не из философских трактатов, а из самых глубинных истоков русского фольклора, где человек и космос — единое неразрывное тело, а мозг и сердце человека — в середине космического котла и чаши.

Многие фундаментальные понятия современной космогонии, будучи принципиально новыми, в то же время в чем-то соответствуют основным значениям, вывлеченным еще в фольклоре и первобытном искусстве.

Универсальная чашеобразная поверхность зеркала Искандера, Кощея, Марца, как это ни странно, может быть идеальной моделью, наглядно популяризирующей такие понятия, как «черная дыра», «антимир», «расширяющаяся вселенная», неевклидова геометрия, частица фридмон и т. п. Во всех этих случаях проход через горловину чаши как сквозь узкое пространство, ведущее к выходу в сферу с противоположной кривизной, совпадает, в свою очередь, с фольклорной моделью рождения, зачатия и смерти как выворачивания. Таковы же представления о расширяющейся и сжимающейся вселенной, то есть пульсирующей. В всяком случае, геометрическая модель здесь может быть та же самая — расходящаяся и сходящаяся к центру спираль или розетка, концентрические круги, расходящиеся от центра и сходящиеся к нему.

До сих пор эти спиральные узоры, распространённые во всех ареалах культуры, в том числе и в русском орнаменте, не без основания отождествлялись с изображением солнца. Как мы уже показали ранее, сфера солнца, так же как и сфера луны, земли и неба, при переходе в свою противоположность как бы выворачивается наизнанку. Проекция взаимовыворачивания двух сфер на плоскость как раз и дает рисунок такой спирали. Это земля — небо, солнце — луна, мужчина — женщина, человек — вселенная, малая матрешка в большой и большая в малой одновременно. Этой модели соответствует понятие об универсальной элементарной частице фридмон. Она же и частица (малая матрешка), но она же и вся вселенная (матрешка большая).

Представление об антимире и черной дыре в области соприкосновения их с нашим миром опять же напоминает нам уже знакомую модель чаши. Если представить вслед за многими популяризаторами гипотетическую возможность течения времени в антимире или в черной дыре в обратную сторону, а точку встречи двух миров обо-



значить через нуль, мы увидим две полусферы, обращенные выпуклыми сторонами друг к другу. В каждой полусфере время движется нормально из прошлого в будущее, но при взгляде из противоположной полусферы оно кажется текущим вспять — из будущего в прошлое. Причем луч света не может выйти из черной дыры, искривляется под воздействием сильного тяготения, то есть свет там как бы есть тьма, черное солнце. Перейти из одной полусферы в другую — то же самое, что вывернуться наизнанку, «родиться заново». Надо пройти через узкую горловину песочных часов, перескочить через нуль, «войти в одно ушко и выйти в другое», прошмыгнуть в трещину хрустальной горы Кощеева царства, пройти за нитью Ариадны по узкому лабиринту. В момент воображаемого перехода из одного мира в другой происходит все то, что и с героями фольклорного действия: тьма становится светом, свет тьмой, малое вместит в себя большее и большее уместится в меньшем.

Достаточно вспомнить эпизод из «Смерти Ивана Ильича» Л. Толстого, чтобы понять неуничтожимость этой модели на самых высоких уровнях литературы. Вот какво описание момента выворачивания-смерти у Толстого: «Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок, еще сильнее сдавило ему дыхание, он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то. С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление».

В этом отрывке есть все элементы, моделируемые при выворачивании во вселенную с противоположным знаком: тьма становится светом, узкое пространство (дыра) переходит в противоположное — светлое, и, что самое интересное, меняется вектор направления движения, а значит, и времени, что характерно для моделей перехода в антимир и пространство черной дыры.

«Он чувствовал, — пишет Толстой, — что мучение его и в том, что он всовывается в эту черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть в нее». Переход от тьмы к свету внезапен. Здесь мы соприкасаемся с другим фундаментальным понятием современной физики — с понятием квантового скачка. До появления этого термина внезапное превращение Иванушки-дурачка в Ивана-царевича, лягушки в царевну, а Кощеева царства тьмы в царство света, столь характерное для мифа, не находило адекватного обозначения в мышлении современного человека. Ведь по простому заме-

чанию, а через какой-то барьер нуль-пространства и времени должен перейти герой в противоположное состояние. И вот что интересно: пространственно-временная модель такого барьера напоминает модель светового конуса мировых событий. Котел, чаша, сужающиеся к центру, а затем внезапно расширяющиеся дуло или колодец, узкая трещина в горе, становящаяся широкой ходом, два ушка коровы, сквозь которые надо пройти Крошечке-Хаврошечке.

Современному человеку, привыкшему к принципиальному несовпадению научного и художественного мышления, конечно, не так просто преодолеть психологический барьер и увидеть генетическое родство модели пространства-времени в науке и художественном мире древней и современной литературы. Но только преодолев этот барьер, можно понять истинное значение фольклора, где нет мира, отчужденного от человека, и нет человека, отчужденного от мира.

Для понимания этого единства нужно опять же овладеть некоторыми методами мышления, ставшими открытием XX века. Это прежде всего принцип дополнительности Нильса Бора, поразительным образом соответствующий фольклорному взгляду на двуединство человека-космоса. Сам принцип появился в результате раздумий над странным поведением частицы, которая оказалась волной-частицей, что трудно представить в рамках обыденного здравого смысла. Если частица, то в определенной точке пространства; если волна — то во многих. Между тем именно так: волна и частица одновременно. Отношения человек — космос в фольклоре — такого же свойства. Он, человек, в одном определенном месте вселенной и он же — вся вселенная. Он — все люди, все звезды, весь род и он — один (зерно — колос).

Здесь особая сложность в последнем противопоставлении «один — все». На могиле Достоевского начертаны слова, взятые им эпиграфом к «Братьям Карамазовым»: «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». У зерна, в данном случае символизирующего человека, два тела. Одно — само зерно, погребенное во тьме, в чреве земли; вывернувшись наизнанку, рождает многое — колос, вселенную, множественность всех тел. «Зерно — колос» — идеальное единство, дающее возможность понять, что значит в фольклоре единое звездное тело. Небо — звездный колос в его отношении к зерну, конкретному человеку. Теперь понятно, каким образом общее

звездное тело было согласно фольклорным представлениям одновременно индивидуальным телом героя.

Перечислив все эти соответствия между некоторыми представлениями о космологии в сознании древнего и современного человека, хочется уяснить, в чем различие. А различие это фундаментальное. Модель одна и та же, но действующие в ней лица другие. В древней космологии — человек-космос, в современной — частица фридмон. В древней космологии выворачивание как смерть-рождение, как воскресение; в современной — квантовый скачок, расширяющаяся и сжимающаяся вселенная. Там роды, здесь материя. В древней космологии доминирует живое, оно творит мир. В современной доминирует неживое, которое творит живое.

Так ли безусловна во всем наша правота перед древними? Откроем труды академика В. Вернадского, в частности его книгу «Живое вещество». Вернадский обращает внимание на то, что наука знает множество фактов превращения живого в мертвое и не знает ни одного случая возникновения живого из мертвого. Не являются ли живое и мертвое двумя масками единой материи и не существовали ли они всегда?

Не затрагивая некомпетентным вмешательством вопросы о живой и неорганической материи и о происхождении жизни, скажем только, что взгляды Вернадского во многом гармонируют с древней космогонией. Итог такой космогонии в известной мере отражен в трудах поздних платоников: «Притом всякое тело движется или вовне, или вовнутрь. Движущееся вовне неодушевлено, движущееся внутрь — одушевлено. Если бы душа, будучи телом, двигалась вовне, она была бы неодушевленной, если же душа станет двигаться вовнутрь, то она одушевлена».

Как видим, выворачивание внутрь — человек живой, выворачивание вовне — его космос, неодушевленный двойник. Древний человек несет в себе живое и мертвое как два образа единого тела. Если вспомнить, что еще Нильс Бор предлагал распространить принцип дополнительности на понятия «живое» и «неживое», то станет очевидным, что космология древних содержит в себе не только отжившие, но и чрезвычайно близкие современному человеку понятия и проблемы.

Мы подходим к моменту грандиозного перелома в мышлении, который внезапно сблизил современное научное мышление с

древним космогонизмом. Этот перелом включает в себя всю сумму знаний современной науки, где особую роль играет картина мира, созданная на основе общей теории относительности и квантовой физики. Вспомним диалог Ивана Карамазова с чертом. Черт рассказывает Ивану о грешнике, который в наказание за атеизм должен шествовать по бесконечному мирозданию, где ничего нет, кроме неживой материи. У Достоевского шествие грешника было недолгим: прошел сколько-то световых лет и взмолился о пощаде.

Так вот грешник напрасно испугался. Ведь с точки зрения современной космологии никакой однородной мертвой материи нет. Через какое-то время он обязательно подошел бы, скажем, к черной дыре. Остановился бы, задумался, как богатырь на распутье, а дальше все как в сказке: внезапное превращение, то есть то, что в фольклоре обозначалось понятиями «смерть» и «воскресение». Да, черной бездны, столь пугавшей поэтов прошлых веков, попросту нет.

Время и пространство определяются там, где есть отношения между объектами: одушевленным и неодушевленным. Больше того, эти объекты взаимодействуют, то есть как-то реагируют друг на друга: тяготением, отражением, светом. Пространственно-временная бездна между ними зависит от многих взаимодействий. Время может растягиваться, пространство — сужаться и расширяться, словом, в космосе есть все процессы, характерные для художественного пространства сказки. Малая частица вмещает большую, время превращается в нуль на пороге светового барьера.

Отвлечемся сейчас от гипотетического и вспомним о несомненном. Несомненно, что в мировой культуре есть единый символический язык — метакод. Само существование его не только многое проясняет в загадках древних цивилизаций, но и открывает новые возможности в современном осмыслении единства человека и космоса.

Метакод — это система художественных символов, отражающая в художественных образах единство человека и космоса, общая для всех времен во всех существовавших ареалах культуры. Основные закономерности метакода, его художественный язык формируются в фольклорный период и остаются неуничтожимыми на протяжении всего развития литературы.

Его можно назвать генетическим кодом литературы.

# Ж Н И Ж Н О Е    О Б О З Р Е Н И Е

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Руслан Киреев.** Транзитом через жизнь.— **И. Винокурова.** «Есмь я, и буду...» — **А. Зверев.** Будни забытой улицы.— **Леонид Бежин.** Ответственность за слово.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Александр Егорунин.** Энергия наших побед.— **Айдер Курччи.** Восток: из средневековья в современность.— **Ю. Орфеев.** Что такое научный факт.

## Литература и искусство

### ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ ЖИЗНЬ

**Анатолий Курчаткин.** Через Москву проездом. Рассказы прошедшего года. М. «Советский писатель», 1981. 375 стр.

**Е**сть и у Курчаткина герои, которые думают о смысле жизни. Вечные задают себе вопросы. Не часто и без особой страсти, но задают-таки. Это прежде всего Виталий Вылегжанин, герой самого большого в книге рассказа «Гамлет из поселка Уш». Вот только Гамлет он, по собственным его словам, без шпаги, то есть его «быть или не быть?» не подкреплено материальной базой. Нечто вроде тракториста без трактора. Не оттого ли так рыхл и не грозен его основополагающий монолог? Так грамотно-литературен? Слово он, тридцатитрехлетний инженер, работающий рядовым электриком, отбывает некую повинность на интеллектуальном фронте по осмыслению действительности. Он бы, сдастся мне, и дезертировать не прочь, как это сделали другие курчаткинские герои, да кишка тонка. Бог знает что лепечет, бедолага, про какие-то надписи, которые им, человеком грамотным, «правильно прочтены», и оттого «все осуществлялось волею высшей, волею высших закономерностей и связей, смысл которых, как отпечаток ушедшей жизни в угле, можно прочесть лишь после, потом, и я — лишь перегой, из которого должно взойти что-то иное, что-то новое, неведомое мне и непостижимое сейчас моим тшедушным разумом». Это уже даже и не рефлексия, а тень рефлексии, ее затухающие колебания, один, может быть, из

последних рецидивов той долгой и изнурительной лихорадки, что в течение многих лет трепала нашу литературу. Жизнь... Смерть... Гармония... Высшая гармония... Высшее предназначение... Высший смысл...

Боясь сглазить, но, кажется, на убыль пошла эта прилипчивая болезнь. Или, точнее говоря, вышла из состояния затянувшейся стабильности. Выходит... В одних случаях явное обострение дает, взрываясь мифом, фантастикой, гротеском и притчей, в других наступает фаза надежного, усталого покоя. Так называемая бытовая проза... Никакими гамлетовскими вопросами ее герои не терзаются. Не алчут последней правды. Не обижаются ни на что. Их толкают, им наступают на ноги, а они, криваясь от боли, вежливо просят сойти с ноги.

Виталий Вылегжанин такой кондиции пока что не достиг. «Да какого дьявола!» — рычит он, когда ему отдавливают пальцы. Не в переносном — в прямом смысле отдавливают в очереди за квасом, некий «здоровый, под метр девяносто, широкий, как БелАЗ с карьера, мужик». Однако через минуту от всей его воинственности не остается и следа, поскольку мужику «никакого выяснения отношений... не хотелось, и моему раздражению тоже не требовался подобный выход». Но все-таки, заметим, наш Гамлет «выругался с не о жи-

данными (разрядка моя.— Р. К.) даже для своего раздражения злостью и наслаждением».

А вот чтобы вывести из себя фотокорреспондента Баддесова из рассказа «Розыгрыш», требуется уже кое-что посильнее. Шутник Жирнов делает из него, немолодого человека, посмешище, а он? «Ну что я тебе сделаю?.. За что ты так? Зачем?.. Это уж, извини меня, измывательство». Какая вялость протеста! Какой ослабленный тонус души, уже вроде бы и не способной к самозащите! Лишь под занавес Баддесов кричит через стекло водителю троллейбуса, вздумавшему насладиться музыкой: «Что вы, в самом деле... один! Вырубите эту... вашу!.. Уважать же... нельзя же таким... таким быть! Люди вы или нет?!»

Я не выпустил тут ни слова. Все многозначия — авторские, и передают они неуверенность, сбивчивость речи героя. Поразительно! Тридцативосьмилетний дядя, столетний журналист, которому, казалось бы, в самую пору задуматься о сложных проблемах бытия, становится беспомощно косноязычным даже на отдаленных подступах к ним. С непривычки? С усталости? С отчаянья, может быть? «Люди вы или нет?!» Это скорее крик боли, нежели попытка интеллигентного человека разобраться, что же подчас делает людей нелюдьями. И осталось ли в них, в этих самых сорвавшихся с орбиты, хоть что-то человеческое. А если нет, то чем живы они?.. И так далее — по наезженной, знакомой нам колее вечных вопросов. «...что это — бог, дьявол, стечение случайное обстоятельств? Почему им пала такая карта, и в чем ее смысл, и есть ли он, а если есть — дано ли будет понять его, или же так это все и останется тайной, опечатанной семью печатями?»

Это уже витийствует герой рассказа «Поездка», вдруг спохватившийся, что не худо бы и о боге подумать. Он грамотный, он книжки читает, вот и шпарит как по писаному.

Герой или автор? Вопрос этот вовсе не праздный, а очень даже существенный, особенно когда в иных статьях персонажи с такой безоглядной легкостью отождествляются с их создателем, когда сурово спрашивают с автора за все, что думает, и что совершает, и как чувствует его неидеальный герой.

Согласимся: банально думает, чувствует — вяло. Что же касается действия, то предпочитает и вовсе уклониться от него. По шапке ему за это — герою, автору, все равно кому.

Я понимаю, как важно не быть тут голо-

словным. Как важно не провозгласить, а доказать, что автор и герой не одно и то же. В пределах одной небольшой вещи сделать это бывает подчас трудно — не оттого ли и вызвали столько нареканий по отдельности появляющиеся в периодике рассказы и маленькие повести Курчаткина, но вот перед нами объемистая книга, и она-то дает основания для такого размежевания. Не только «Гамлет из поселка Уш» представлен в ней, не только инфантильные герои «Поездки» и «Розыгрыша», но, скажем, и Ноздрюха из одноименного рассказа. «Ей только исполнилось тридцать, а она уже похоронила трех мужей». Могла бы и четвертый обзавестись — хороший человек встретился, светлая голова и сердце золотое, — но сама не захотела, суеверно испугавшись: вдруг и этот помрет? Другая пригрела его, а Ноздрюха ни с чем возвратилась в родной городок, на родную камвольную фабрику. И хотя «ей давно уже было всегда печально», сработал своеобразный амортизатор. Ни сетований на судьбу, ни мучительных попыток понять смысл жизни. Вообще никакой склонности к запатентованной метафизике, против которой иные курчаткинские герои устоять не в силах. «...стала растворять окна, прибираться, мыть, вытирать пыль — облаживать дом заново к жилью, и думала она о том, что, ежели так покопаться-то, разобьются-то если, не особо у нее вовсе плохая жизнь, не особо, нет, самая обыкновенная».

Но Ноздрюха уже умудрена опытом, уже побита, да еще как, а вот у молодоженов из рассказа «Поездка», что легкомысленно отправились в Ленинград поразвлечься и отдохнуть, жизненного опыта куда нет. Ребеночка ждут, первенца... Как же болезненно (по всем литературным канонам) должны воспринимать они малейшие неудачи! Ан нет.

В дом, где они собирались остановиться, их попросту не впустили. Не признала в них родственников новая жена брата, сам же брат бороздил моря в далеких широтах. Ночевали на вокзале, и там их едва не забрали в милицию. А в самой милиции, куда они обратились утром за помощью, чуть ли не на смех подняли. И так на каждом шагу. Тем не менее никакой конфронтации с миром, никаких риторических вопросов типа «люди вы или нет?».

Да что же это, в самом деле! И уж не адресовать ли им самим этот вопрос? Люди вы или нет? Проснитесь. Возмутитесь. Топните ногой. Выложите хотя бы жене кавторанга, что вы думаете о ней.

А они ничего о ней не думают. Повора-

чиваются и уходят. Может, тут патология какая? Невосприимчивость к хамству, как у некоторых — невосприимчивость к физической боли? Ничего подобного. Стоило Андрею проявить бестактность по отношению к жене, как все в ней восстало. «Какой ты бесчувственный... Какой эгоист!.. Какой грубый... Я, знаешь, жалею. Обо всем жалею. И о том, что вышла за тебя замуж».

Так-то вот! Стало быть, видит прозорливый автор, что не атрофированы гордость и человеческое достоинство. Еще как, оказывается, восприимчива душа к обидам, которые — пусть даже без умысла — наносит близкий человек. Но только близкий. А вот козни «далних» воспринимаются спокойно. Амортизатор срабатывает. Этаким изоляционный слой с нулевой проводимостью. Мир — сам по себе, а человек — сам по себе, и болевых точек соприкосновения между ними почти нет. Интеллектуальных, как мы уже знаем, тоже немного.

«В юности я вел дневник,— сообщает Гамлет из поселка Уш, а дальше следует удивительное признание: — У меня не было никакой потребности вести его... Но усиленно штудлируемая мной мировая и отечественная классика недвусмысленно указывала мне, что, если я хочу развиться в достойную личность, я должен вести дневник. Толстой вел, Достоевский вел...» Узнаете? Своего рода самомотивация на тот самый фронт по осмыслению жизни.

Мы знаем, о чем писали в дневниках Толстой и Достоевский. Знаем, над какими проблемами ломали голову их герои. Какие мировоззренческие храмы возводили и какие одновременно храмы рушились. В какие мощные бинокли смотрели. А Виталий Вылегжанин, Гамлет без шпаги,— на что, интересно, нацелен его взгляд? Не на горизонт, нет. На разные мелкие штучковины, что в великом разнообразии попадают на пути его. «По литературе сегодня получил пятерку...— записывает он в дневнике.— Лида М. смотрела все уроки на Петрищева и отвечала на его записки. Я пригласил ее в кино...» Ладно, это в школе. А в институте? В институте то же самое. «Лекции по дифференциальному исчислению читает известный профессор Шинский. У него такая привычка: когда он начинает лекцию, он всегда говорит: „Ну-с, продолжим дело Пифагора“».

Разве не правда тут? Маленькая, но правда, и таких маленьких правд у Виталия Вылегжанина много, однако в сумме они не дают правды большой.

Мне кажется, слабая восприимчивость сегодняшнего литературного героя (не толь-

ко курчаткинскому) к тумакам, коими щедро награждает жизнь, объясняется ослаблением интереса к традиционным вечным вопросам. Что это? «Духовное тщедушие», как спешит определить писатель устами своего героя? Защитная реакция организма? Веяние времени, когда вечные вопросы утратили свою остроту? Или, напротив, вследствие наступившей наконец «полной ясности» их? Или (зайдем с другой стороны) резкого снижения их злободневности перед лицом иных проблем, отнюдь не академических? Смотрите, о чем думает — и это после всего, что приключилось с нею! — не склонная к философствованию Ноздрюха: «Главное, чтоб... от войны охоронили, хуже-то войны ничего нет, а охоронят да мир будет — вот и счастье, живирайся, чего еще».

Это надежда. А где надежда, там неподалеку и страх. Не он ли, этот страх, не боязнь ли заглядывать слишком далеко и притупили в конце концов способность нашего глаза к дальнему зрению, небывало развил в порядке компенсации пристальность и цепкость зрения ближнего?

Поначалу и впрямь дотошность автора, его пристрастие к необязательным вроде бы мелочам может и раздражать. «Усачев — тощий, жердястый, с прыгающими светлыми глазами на худом желтом лице — выскочил из двери с граненым стаканом в руках, сунул его под кран самовара, горячо забулькавший виной струйкой, стреляющей парком, покрутил кипятком по стенкам». Обратили внимание? Не просто струйка, а струйка витая. И не ополоснул стакан, а «покрутил кипятком по стенкам». Очень въедливый взгляд, и направлен он, между прочим, не только на внешний мир, но и на мир внутренний.

Приехавшей в село молодой учительнице неприятен ухаживающий за ней врач, но «ссориться с ним она боялась: все-таки врач, заболешь завтра, к кому пойдешь?» Это жестокая деталь, другой прозаик предпочел бы не заметить ее, а вот Курчаткин не убоился. Тенденциозности тут нет. В равной степени внимателен художник и к последнему, может быть, движению человеческой души, уже практически мертвой, уже необратимо удушенной хищной похотью приобретательства. Ничего живого, казалось бы, не осталось в хозяйке кооперативной квартиры, но вот:

«Элла... вынула сыну толстобокый красный помидор, захлопнула холодильник и открыла снова, вынула, положила на стол еще один.

— Съешь тоже,— сказала она вошед-

шей нянке.— С осени, наверно, не пробовала».

Это опять-таки зрение ближнее. Но вот писатель как бы переворачивает бинокль, и тот стремительно удаляет реальность, которая мигмом приобретает черты ирреальные. Какие-то странные фигурки движутся. Пейзажики странные... Странный воздух — слишком прозрачный для такого гигантского расстояния. Гигантского не только в пространстве, но во времени тоже. Без труда различаем мы стрелу, которая, скользя по ноге, «ударилась в железную попоную на лошади и, прогремев, бессильно скатилась под копыта. Почти под животом у лошади копошился, добивая кнехта, ополченец. Я вынул меч и косяк опустил его на плечо ополченца. На голове у него был покатым русским шлем с

пишаком, но больше ничего на нем не было, и меч развалил ополченца надвое. Я взглянул на меч — с него нитями стекла кровь».

Это из рассказа «Сон о Ледовом побоище», полусказочного рассказа, и эта фантастическая струя отнюдь не выглядывает в творчестве Курчаткина чужеродной. Мне кажется, она точно передает тягу современного человека к сверхдальному зрению (при частом отсутствии дальнего). Да-да. Одни слишком близко глядят, под ноги, другие — в запредельные дали. Вперед ли, назад — значения не имеет. Эта поляризация видения — один из любопытных (и тревожных) феноменов нашего времени. В новой книге Анатолия Курчаткина феномен этот убедительно отражен.

Руслан КИРЕЕВ.



### «ЕСМЬ Я, И БУДУ...»

Марина Цветаева. Сочинения в двух томах. Т. 1. Стихотворения. Поэмы. Драматические произведения. 575 стр. Т. 2. Проза. 543 стр. М. «Художественная литература», 1980.

Марина Цветаева. Мой Пушкин. Издание третье, дополненное. М. «Советский писатель». 1981. 223 стр.

«**К**ак должны писать женщины» называлось стихотворение, появившееся в середине прошлого столетия. Самой женской поэзии, по сути, еще и не было, но представление о том, какой ей должно быть, уже сложилось. Поэтесса Евдокия Ростопчина сформулировала «общий принцип»:

Чтоб внутренний порыв был скован  
выраженьем,  
Чтоб приличие боролось с увлеченьем  
И слово каждое чтоб мудрость стерегла.

Этот призыв был услышан и в XX веке. Одна замечательная поэтесса — Анна Ахматова — целиком приняла и блистательно его воплотила, другая — Марина Цветаева — безоговорочно отвергла. Одна традицию охраняла и продолжила, другая ее дерзко оспорила.

Не отстать тебе. Я — острожник.  
Ты — конвойный. Судьба одна.  
И одна в пустоте порожней  
Подорожная нам дана,—

обращается Цветаева к Ахматовой, и в таком контексте эти «странные» метафоры теряют свою загадочность. Сдержанная Ахматова — страж вековых представлений о женской добродетели, буйная Цветаева — отважный их разрушитель:

Уж и нрав у меня спокойный!  
Уж и очи мои ясны!  
Отпусти-на меня, конвойный,  
Прогуляться до той сосны!—

продолжает Цветаева, явно собираясь «убежать»...

Но ведь она, собственно, уже убежала, расставшись с уютным миром своих первых книг, славным миром профессорского дома, полудетских радостей и забот: «Темнеет... Готовятся к чаю... Дремлет Ася под маминой шубой. Я страшную сказку читаю о старой колдунье беззубой». Убежала отсюда в ночную мглу, в «переулочки» разгульной, «воровской» Москвы, ее объявив своим истинным домом:

Москва! Какой огромный  
Страннопримный дом!  
Всяк на Руси — бездомный.  
Мы все к тебе придем.

Все русское — противоположное прагматизму и рассудочности Запада, — все разбойное, удалое и бесшабашное она объявляет своим наследственным капиталом, судьбою, заложенной в генах. Реальная же судьба (и «милая Асенька», и «Давид Кошперфильд», и мальчики в матросках) забыта как отрезана, чтоб никогда в стихах и не быть вспомнутой. Навсегда ушел и «девичий» говорок, сладенькие суффиксы — все эти «головки», «глазки», «ручки» ее

ранних стихов,— интеллигентский шепоток сменился бойким напевом:

Как последний сгас на мосту фонарь—  
Я кабацкая царица, ты кабацкий царь.  
Присягай, народ, моему царю!  
Присягай его царице,— всех собой дарю!

Так кончается биография девочки Марины и начинается биография поэта Цветаевой, «мятежницы лбом и чревом».

Казалось бы, нечто похожее говорит в своей поэзии и молодая Ахматова. Но в ее словах нет ни удали, ни вызова, ни бахвальства. Есть зато горечь, болезненное ощущение несправедности своей реальной петербургской жизни, богемной и взбалмошной. «Осуждающие взоры спокойных загорелых баб», замеченные однажды, как бы все язвят ее, все мучат. Эти бабы олицетворяют ее, ахматовскую, Русь — строгую, патриархальную, крепкую именно своей патриархальностью. С оглядкой на эту Русь она и «подправляет» свою действительную биографию, превращая реального мужа-поэта в мрачного фольклорного ревнивца: «Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем...» Этот муж с узорчатым ремнем народных песен как бы персонализирует собою старинные представления о долге, чести, приличиях. Он вносит элемент стародавней добропорядочности в распатанный уклад людей начала века. Его суровость — оправдание «греховой» страсти, его отчаянье — действительный стимул побороть ее, преодолеть себя.

Цветаева мыслит иными категориями. У нее нет самого понятия адюльтера, самой этой ситуации, для Ахматовой столь мучительной. Любовь у Цветаевой как бы вообще не бывает преступной, греховой, разве что недостаточно сильна, недостаточно безумна, недостаточно неуправляема:

— Но я ее любил,  
Как сорок тысяч...—

говорит цветаевский Гамлет, споря с собственной совестью.

— Меньше  
Все ж, чем один любовник,—

получает в ответ.

Не случайно любимые героини Цветаевой — женщины, так и не смогшие превозмочь, преодолеть себя, убить свою страсть: Эвридика, Офелия, Федра. И даже королева, мать Гамлета, берется ею под защиту. Вот что говорит Цветаева устами своей Офелии:

Принц Гамлет! Довольно царицны недра  
Порочить... Не девственным — суд  
Над страстью! Тяжеле виновная — Федра:  
О ней и поныне поют.

Той же породы и лирическая героиня Цветаевой — безудержная, неистовая в страстях:

Любовь! Любовь! И в судорогах,  
и в гробе  
Насторожусь — прельщусь — смущусь —  
рванусь.  
О милая! Ни в гробовом сугробе,  
Ни в облачном с тобою не прощусь.

Чувства переполняют душу, бурно выплескиваясь в стихи, ломая традиционный синтаксис. И если Ахматова неизменно старается «сковать свой порыв выраженным», спрессовать эмоции в «тихое» слово: «Десять лет замираний и криков, все мои бессонные ночи я вложила в тихое слово...» — то Цветаева, наоборот, гордо заявляет:

И не на то мне пара крыл прекрасных  
Дана, чтоб на сердце держать пуды.

Ее цель — максимально точно, отбрасывая стыдливость и робость, передать страсть, зафиксировать в слове ее горячий трепет, ее неровное дыхание.

Всю громаду своих душевных сил Цветаева бросает в отличие от Ахматовой не на самообуздание (в редком ее стихотворении вы найдете следы борьбы с собой), а на покорение мира. По характеру Цветаева — дева-воин, Царь-Девушка из ее же поэмы-сказки. Тайное ахматовское желание «быть прирученной» («Этот может меня приручить») абсолютно не свойственно героине Цветаевой. И как Царь-Девушка завоевывает царевича, она «добывает» себе возлюбленного:

Есмь я, и буду я, и добуду  
Губы — как душу добудет бог...

Добывает «с бою», но почувствовав лишь малейшую фальшь, лишь малейшую усталость, тотчас же разжимает объятья, отталкивает от себя:

Было дружбой, стало службой.  
Бог с тобою, брат мой волк!  
Поддыхает наша дружба:  
Я тебе не дар, а долг!

Заедай верстою вёрсту,  
Отсылай версту к версте!  
Переглядила по шерстке,—  
Столковался по тоске!

Ее максималистский характер отказывается понимать и принимать естественный спад в отношениях, смириться с круговоротом естественных превращений: праздников — в будни, страсти — в привычку, радости — в долг. Она просто-напросто отказывается принимать эти «земные» законы, приноравливаться, приспособляться к ним:

Минута: мнущая: минешь!  
 Так мимо же, и страсть и друг!  
 Да будет выброшено ныне ж —  
 Что завтра б — вырвано из рук!

Минута: мерящая! Малость  
 Обмеривающая, слышь:  
 То никогда не начиналось,  
 Что кончилось. Так лги ж, так лести ж  
 Другим...

В этой отчаянной позе есть нечто идущее вразрез со здравым смыслом, с житейской мудростью. Причем Цветаева отвергает любые попытки искусственно остановить, продлить мгновение, любые ухищрения, пусть даже освященные тысячелетней традицией. Сами слова «брак», «дом», сами эти понятия, «закрепляющие», узаконивающие страсть, представляются ей пугающе-лицемерными. Жаждающей бури, накала чувств Цветаевой мало «любви, не скрашенной ни разлукою, ни ножом», ей пресно ежевечернее сидение у очага. Это не Ахматова, всегда стремящаяся примирить долг и страсть: «В церковь войдем, увидим отпеванье, крестины, брак, не взглянув друг на друга, выйдем... Отчего все у нас не так?» Именно то, что представляется Ахматовой счастьем, Цветаевой осмысливается как непоправимая беда:

Домом рушащимся, —  
 Слово: дом.

Поразительно: беда не в том, что не берут замуж, а в том, что берут, что прозвезено-таки «роковое» слово. «Он просит дома, а она может дать только душу», — объясняет Цветаева конфликт «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца», их трагический пафос. «Счастливый конец» всех любовных историй для Цветаевой становится концом любви, началом разлуки. Корчась от муки («Я не более чем животное, кем-то раненное в живот»), Цветаева тем не менее не идет на уступку «земному закону:

Но семьи тихие милости,  
 Но птенцов лепет — увы!  
 Оттого что в сей мир явились мы —  
 Небожителями любви!

Эти строки, однако, звучат у нее отнюдь не победно. Тема горней высоты духа, нравственной бескомпромиссности у Цветаевой неизменно окрашена трагически, неизменно связана с предощущением грядущих поражений.

Не случайно легендарного «несчастливица» Тезея, героя задуманной ею трилогии, она делает своим духовным двойником. Цветаева интерпретирует античный миф по-своему: ее Тезей бросает Ариадну не из страха перед богом (Ариадну оспари-

вает Вахх!), не из чувства самосохранения, а из высшей к ней любви, убежденный в тщете земного брака, тленности земных уз. Ее Тезей боится невольно обмануть Ариадну, обрекая вместо вечной радости на постылые будни:

Лба доверчивую кротость  
 Злыми бороздами опыт  
 Выбороздит. Гладь ланит  
 Жилами избородит...

Как и героиня «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца», Тезей находит в себе силы предпочесть разлуку брачному пиру, резкий разрыв медленному отчуждению. Комментируя в письмах его поступок, Цветаева пишет: «...ему — мало земной любви... которой он сам больше — раз может ее перешагнуть». Не случайно восхищенный Вахх бросает вслед уходящему Тезею: «Бог!»

Но за свое «небожителство», пользуясь словарем Цветаевой, Тезей жестоко расплачивается. Он расплачивается гибелью отца, утратой жен и сына... Все эти потери, выстраиваясь в один злосчастный ряд, означают неумолимое крушение дома, то есть той самой формы, от которой Тезей хотел, но так и не смог уйти. Вот что говорит несчастный Тезей над трупами Федры и Ипполита:

В новом образе и на новый лад —  
 Но все та же вина покарана.

Ценности, представлявшиеся эфемерными, вдруг оказались единственно важными. В этом, увы, запоздалом уроке — предостережение каждому, запальчиво отвергающему «браков и новобрачий отвращающую тщету», дерзко отталкивающему «семьи тихие милости».

И Цветаева-лирик как будто бы внимает Цветаевой-драматургу, внимает, но с какими оговорками! Уж если непременно дом, то принципиально неудобный, принципиально необжитой — словом, «мало домашний», как говорится в ее стихотворении «Дом». Вот он какой:

Не рассевшийся сиднем  
 И не пахнущий сдобным.  
 За который не стыдно  
 Перед злым и бездомным:

Не стыдятся же башен  
 Птицы, ночь переспав...  
 Дом, который не страшен  
 В час народных расправ!

Такой поворот темы очень характерен для Цветаевой, всей кожей чувствующей сквозняка чужих неустроенных судеб.

Заявив однажды:

Два на миру у меня врага,  
 Два близнеца — неразрывно-слитых:  
 Голод голодных — и сытость сытых! —



она доказала это своими «Заводскими», «Хвалой богатым», «Полотерской», «Поездом», «Поэмой Лестницы»... Поэзия Цветаевой насквозь социальна. Своим убийственным сарказмом она разит потребительство не только материальное, но и духовное:

О, урод, как водой туалетной — рот  
Сполоснувший — бессмертной песней!

Цветаева в отличие от Ахматовой не верит в изначальную справедливость, разумность миропорядка. Ее Спаситель равнодушный и немощный:

А бог? — По самый лоб закурен,  
Не вступится! — Напрасно ждем!  
Над койками больниц и тюрем  
Он гвоздиками пригвожден.

А потому она сама постоянно ожесточенно вступает за сирых, обиженных, отчаявшихся. Ей мало свободы лишь для себя, ей нужна свобода для всех!

Руку на сердце положи:  
Я не знатная госпожа!  
Я — мятежница лбом и чревом.

Каждый встречный, вся площадь, —  
все! —

Подтвердят, что в дурном родстве  
Я с своим родословным деревом.

Поэт Цветаева, лиру свою называющая мечом, а одежду — пурпуром воина, действительно в «дурном родстве... с своим родословным деревом». Вдохновенье стучится к ней не изнеженной музой, а врывается «всадником на красном коне». Он и увлекает свою избранницу в пекло ратных подвигов. «Святое ремесло» (эти слова Каролины Павловой Цветаева очень любит) требует от женщины мужского характера, мужской хватки, мужского досуга, наконец...

В своей очерке «Наталья Гончарова», где она воздает должное знаменитой художнице, правнучке знаменитой красавицы, Цветаева пишет: «Чисто-мужская биография, творца через творение...» Не без внутренней полемики она рассказывает о Гончаровой-художнице лишь как о мастере, авторе грандиозных полотен, намеренно игнорируя ее женскую жизнь, женскую судьбу. Догадаться, к примеру, что художник Ларионов — муж Гончаровой, из очерка Цветаевой вовсе не просто, ибо Ларионов фигурирует в рассказе лишь как друг, советчик, коллега художницы. Столь чуткой, столь пристально-внимательной к чужим страстям Цветаевой интересна в Гончаровой лишь ее страсть к работе, ее одержимость творчеством. Она исследует новый женский характер — характер мастера, профессионала. Пользу-

ясь совпадением имен и фамилий, Цветаева противопоставляет свою Гончарову той Гончаровой: художницу — красавице, мастера — «просто» женщине. И шутит тут же, что по духу ее Гончарова скорее правнучка Пушкина, нежели Наталии Николаевны.

Вспомним, кстати, что в стихотворении, обращенном к Пушкину, Цветаева писала о себе почти теми же словами:

Прадеду — товарка:  
В той же мастерской!

Она тоже ощущает над собою единую, нераздельную власть, власть «ремесла». Цветаева пишет в стихотворном цикле «Стол»:

К себе пригвоздив чуть свет —  
Спасибо за то, что — вслед  
Срывался! На всех путях  
Меня настигал, как шах —

Беглянку.  
— Назад, на стул!  
Спасибо за то, что блюл  
И гнул. У не вечных благ  
Меня отбивал — как маг —

Сомнамбулу.

Она тоже ощущает себя прежде всего мастером, поэтом, а уж потом женщиной, возлюбленной, матерью, женой... Ей мало «простой» женской доли. Стихотворение, характерно начинающееся: «Другие — с очами и с личиком светлым...» — Цветаева заканчивает знаменательной строкой: «Как будто и вправду — не женщина я!» Облечившись в плащ пророка, взяв в руки страннический посох (она любит эти романтические атрибуты), Цветаева причисляет себя тем самым «другому закону, чем человеческому». Эти слова, сказанные еще о Максимилиане Волошине, Цветаева распространяет на всех поэтов, которых знала, с которыми дружила.

Этот закон разрешает художнику быть вне общепринятых норм, условностей и приличий, вне общепринятой мудрости. А вернее, не просто разрешает, а обязывает выходить из «норм и ранжиров». Ибо Цветаева не признает известной двойственности в поэте, в свое время «узаконенной» Пушкиным.

Особенно пронзительно эта мысль звучит у Цветаевой в ее воспоминаниях о Бальмонте, в жизни на редкость беспомощном. Рассказывая истории, с ним приключившиеся, смешные и грустные одновременно, Цветаева решительно резюмирует: «Бальмонт — поэт: адекват» («Слово о Бальмонте»).

А потому, о ком бы из своих друзей-поэтов (а Цветаева — нежный, верный и пристрастный друг) она ни писала: о Мандельштаме ли, Волошине ли, Белом — она подчеркивает, иногда даже сильно утрируя, в их манере вести себя, говорить, одеваться прежде всего то странное, неприглядное, непонятное, что постоянно вызывало жадное любопытство обывателей. Так, описывая знаменитый наряд Волошина, начиная с узенького полынного веночка на необычайного завива кудрях и кончая белым парусиновым балахоном, Цветаева не преминет добавить, что дамы ожесточенно спорили, «есть ли или нет под ним штаны» («Живое о живом»).

В рассказе о Мандельштаме — незащитном, каком-то неприкаянном — роль «общественного мнения» играет владимирская нянька Надя. Цветаева с явным удовольствием воспроизводит характерный разговор: «— ...А я им: а вы бы, Осип Емельич, женились. Ведь любая за вас барышня замуж пойдет...

Я:

— И вы серьезно, Надя, думаете, что любая барышня?..

— Да что вы, барыня, это я им для утех, уж очень меня разжалобили. Не только что любая, а ни одна даже, разве уж сухоручка какая. Чуден больно!» («История одного посвящения»).

В Андрее Белом, по воспоминаниям Цветаевой, окружающим тоже дико все. От псевдонима: «...что же это за «Андрей Белый» такой, точно каторжник или дворник?» — до манеры писать письма: «Письмо это написано такой величины буквами, что каждый из тех немногих, которым я после беловской смерти его показывала: „Так не пишут. Это письмо сумасшедшего“» («Пленный дух»).

Казалось бы, зачем Цветаева столь педантично собирает все эти посторонние, чуждые ей мнения? А затем, чтобы немедленно пылко их опровергнуть, бурно доказать правоту поэта. А доказав, с облегчением вздохнуть: «Так-то, господа, мы в поэте объявляем сумасшествием вещи самые разумные, первичные и законные». «Сумасшествие» художника — отражение его внутренней свободы, свободы духа, его органической потребности «быть, а не казаться». «Сумасшествие» любимых поэтов — оправдание себе, собственной «безмерности в мире мер»:

Что же мне делать, певцу и первенцу,  
В мире, где наичернейший — сер!  
Где вдохновенье хранят, как в термосе!  
С этой безмерностью  
В мире мер?!

Неприкаянность любимых поэтов, трудность их судеб — утешение себе: «Ибо раз голос тебе, поэт, дан, остальное — взято».

Однако силу голоса поэта, его мощь, его власть над человеческой душой Цветаева отлично знает: «Все настоящие поэты знали себе цену, с Пушкина начинающая. Цену своей силе».

И не о том ли говорится в ее «Крысолове»? Ведь и гаммельнский флейтист, нищий, смешной в глазах обывателей, завораживает-таки своей волшебной дудочкой, уводит за собою, сманивая из добротного мира практических интересов, мешанских добродетелей. Поет его флейта, суля иные радости, обещающая иные утехи:

Есть у меня — не в службу, а в дружбу! —  
Для девочек куклы, для мальчиков  
ружья,  
— Глубокая ловля и быстрая гребля, —  
Для девочек — иглы, для мальчиков —  
кегли,

На-ряд и доспех,  
И — вафли для вех.

Птичкам — рошица, рыбкам — бзерце,  
На всё особи, на всё возрасты!

Младшим — сладости, старшим —

приятности, —

На всё тайности, на всё странности.

Но чей это голос? Чья это флейта? Не самой ли Цветаевой? Ее мир — мир открытых страстей — столь же запретно-притягателен, столь же неведомо праздничен, столь же сладостно-жгуч.

Но в то же время — трагичен: «Горечь! Горечь! Вечный привкус на губах твоих, о страсть!»

И все же дудочка поет, зовет за собою, уводит... Уводит... Но куда?

Утверждая всей силой своего могучего дара стихийную свободу чувств, не ведет ли Цветаева читателя в «омут», тот самый «омут», куда «флейтист из Гаммельна» некогда завел детей? Едва ли Цветаева, отлично знающая, как читают в России поэтов («...дают письмо Татьяны и удивляются, когда влюбляются (стреляются). Дают в руки бомбу и удивляются, когда взрывается»), не задается подобным вопросом.

Ведь гордое ощущение собственной новизны («Не хочу служить трамплином чужим идеям и громкоговорителем чужим страстям») порою горчит сомнениями:

Притвождена к позорному столбу  
Славянской совести старинной, —

пишет она в одном из стихотворений. Это ее собственная «старинная» совесть — от дома, матери и, главное, от той литературной традиции, что призывала к само-

обузданияю (Пушкин с его Татьяной, Достоевский с его пушкинской речью, Толстой с его Карениной), — пытается побить камнями ее вольное, природное, стихийное начало.

Но поздно, путь выбран «слепо и без возврата». Не случайно глагол *быть*, часто выделяемый Цветаевой графически, имеет в ее поэзии два устойчивых, неразрывно связанных смысла: во-первых, «писать» («Некогда — *быть*, некуда деться», — выкрикивает она в стихотворении, жалуемся на невозможность работать), а во-вторых, «отдаваться чувству» («Страстные, не *быть* упорствуем», — сетует она в «Поэме Горы»).

Не умеющая, да и не желающая *быть* иной, Цветаева чувствует тем не менее потребность «оправдаться». В этом споре со «старинной совестью», а вернее сказать с традицией, Цветаева выбирает себе в союзники... ее основоположника Пушкина! «Пушкин — тога, Пушкин — схи́ма, Пушкин — мера, Пушкин — грань...» — пишет Цветаева, предразнивая академическое мнение, подкрепленное, кстати, авторитетом Достоевского. Этому Пушкину она решительно противопоставляет своего Пушкина, певца страстей, певца стихии. Ее Пушкин — это прежде всего автор «Пира во время чумы», автор Вальсингамовой песни: «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю...» (Интересно, что Ахматова, тоже тщательно штудирующая «Маленькие трагедии», к «Пире...» подчеркнуто равнодушна, считая его «простым переводом».) Цветаева же как замороженная все время возвращается к песне Вальсингама. «Нигде никогда стихии так не выговаривались», — торжествующе замечает она.

Впрочем, она алчет не только деклараций, но и реального их воплощения, обнаруживая таковое в «Капитанской дочке». Цветаева пишет: «В «Пире во время Чумы» Пушкин нам это — сказал, в «Капитанской дочке» Пушкин нам это — *сделал*. «Сделал», то есть сам подал под власть стихии, под мощное ее обаяние в лице своего вожатого, своего Пугачева.

Цветаеву остро волнует «иррациональность» этой любви, ведь «Капитанская дочка» написана Пушкиным уже после «Истории Пугачевского бунта», Пугачева рисуемой низким злодеем. С дотошностью ученого Цветаева сравнивает эти пушкинские работы, выбирая наиболее яркие, наиболее контрастные места, доказывая с горячностью всю странность, всю удивительность превращения «историче-

ского» Пугачева в «сказочного разбойника». И не найдя объяснения такой метаморфозе, с гордостью подытоживает: «Пушкин Пугачевым зачарован». И продолжает: «Эту чару я, шестилетний ребенок... сразу почувствовала, под нее целиком подпала, впала в нее, как в столбняк. От Пугачева на Пушкина — следовательно, и на Гринева — следовательно, и на меня — шла могучая чара...»

Словом, Цветаева решительно утверждает, что именно Пушкин внушил ей любовь к стихии, зачаровав своим Пугачевым, твердо сказав устами своего Вальсингама: «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслаждения — бессмертья, может быть, залог!»

Таков, на ее взгляд, урок «у меня ишего мужа России», урок не менее важный, не менее значительный, чем тот, что преподает он читателю Татьяной Лариной.

Опираясь на своего Пушкина, Цветаева берется спорить с Пушкиным — «певцом Татьяны», утверждая, что смиренность, нравственная аскеза, воля к самообузданияю не несут ни счастья, ни внутренней гармонии, ни даже покоя. Судьба женщины, жившей (как и тысячи других) по пушкинской Татьяне, убеждает ее в этом.

В очерке «Мой Пушкин» Цветаева пишет: «...Татьяна до меня повлияла еще на мою мать. Когда мой дед, А. Д. Мейн, поставил ее между любимым и собой, она выбрала — отца, а не любимого, и замуж потом вышла лучше, чем по-татьянински, ибо «для бедной Тани в се были жребии равны» — а моя мать выбрала самый тяжелый жребий — вдвое старшего вдовца с двумя детьми...» Из чувства долга перед семьей она отказалась и от своего призвания, отказалась от блестящей музыкальной карьеры: «Ее отец стоял за домашнее воспитание и пребывание, и на эстраде она стояла только раз, вместе со стариком Поссартом, за год до его и своей кончины».

Ее мать умерла совсем молодою. Но воскрешая в автобиографической прозе детство, Цветаева как бы мучительнопытает мать: была ли счастлива? Была ли довольна? Ответ прочитывается между строк. Налаженная жизнь профессорского дома, наполненная важной и интересной работой («Ближайшим сотрудником моего отца была моя мать... Она вела всю его обширную иностранную переписку...»), общением со знаменитостями («— Муся! Ты видела этого господина? — Да, — Так это —

сын Пушкина»), нежной заботой мужа («Голубка я слово знала, так отец всегда называл мою мать...»), воспитанием детей («Главенствующее влияние — матери: музыка, природа, стихи...»), наконец, музичированием («Мать — залила нас музыкой»), — все это не сообщает ей живости, веселья.

«Несчастлива!» — сквозит в ее суровой непростоте с детьми («...мать нам словами никогда ничего не запрещала. Глазами — всё»), в изломанности характера («...почему цветы стояли за роялем? Чтобы удобнее поливать? (С матери, при ее нраве, бы стало!)»), наконец, в подчеркнутой аскетичности ее вкуса («Черная с белым, без единого цветного пятна, материнская спальня...»).

В своей прозе Цветаева исподволь внушает читателю то, что с предельной откровенностью было сказано ею в одном из давних писем:

«Мама умерла 37-ми лет, неудовлетворенная, непримиренная...»

Ее измученная душа живет в нас, — только мы открываем то, что она скрывала. Ее мятеж, ее безумие, ее жажда дошли в нас до крика.

«...Дошли в нас до крика!» Вот откуда, оказывается, сакраментальное цветаевское: «И на том же блаженном воздухе — „Пока можешь еще — греши!“», вот откуда вечная боязнь «не сбыться» в жизни и в слове...

Когда-то совсем еще молодая Цветаева попробовала представить себя в мире патриархального средневековья.

За девками доглядывать, не снис  
 Ли в жбане квас, олады не остыли ль,  
 Да перстни пересчитать, анис  
 Ссылая в узкогорлые бутылки,  
 Кудельную расправить бабке нить,  
 Да ладаном курить по дому росным,  
 Да под руку торжественно проплыть  
 Соборной площадью, гремя шелками,  
 с крестным, —

задумчиво перечисляет она свои гипотетические занятия, и эта тихая картина (шелка лишь гремят!) даже как-то умиляет, трогает ее. Умиляет, ибо этот удел безнадежно далек, словно бы подернут мифической дымкой. Удел же матери, иной, но тоже пугающе ограниченный, страшит Цветаеву своей реальностью. И пусть стезя «свободного художника» трагична, пусть полная подвластность стихии опасна, но и усмирение себя, но и победа над собственными страстями чревата поражением перед живую жизнью.

В своем творчестве Цветаева переворачивает традиционный взгляд на женщину, видя в себе прежде всего мастера, творца, личность вольную, сильную, независимую. Традиционным женским добродетелям — смирению, кротости, благонаравью — она противопоставляет дерзость и бескомпромиссность, отвагу и решительность.

Цветаева дает нам новую модель человеческого и творческого поведения, ибо бунтарская ее сущность порождает и революционную поэтику: вызывающе-непосредственную, сбивчивую, смятенную от напряжения и захлеба, полную неожиданных изломов, крутых поворотов речь. Ее поэзия, бьющая, как ток высокого разряда, демонстрирует то «равенство дара души и глагола», что отличает истинно великих художников.

Так Цветаева, чужающаяся внешних, сиюминутных, временных примет, живущая среди античных и библейских героев, выражает дух эпохи. Не случайно она и обращалась (несмотря на обилие явных и тайных посвящений) главным образом в будущее.

Моим стихам, как драгоценным винам,  
 Настанет свой черед, —

писала Цветаева, провидя времена, когда ее одержимость творчеством, ее боль, ее тревога потеряют экстравагантный привкус, когда ее уроки окажутся насущными для многих.

Но уроки Цветаевой несводимы, думается, лишь к урокам ее поэзии. Читая ее драму и прозу, мы понимаем, что, празднуя свободу, бунтарка Цветаева чувствует всю торность и трудность нового пути.

Цветаева-драматург, Цветаева-прозаик, Цветаева-лирик не просто дополняют, а объясняют друг друга. Из тесного единства этих трех ипостасей и возникает истинный лик большого трагического поэта.

Однако возможность увидеть такую Цветаеву у советского читателя появилась недавно. Эту возможность впервые дает нам двухтомник поэта, вышедший накануне ее девяностолетия. Он включил в себя не только лирику, среди которой, кстати, много и незнакомого, но и драму («Федра»), у нас еще не публиковавшуюся, а также прозу (автобиографические очерки, воспоминания, статьи), в целом малоизвестную читателю. Любовно составленный, тщательно подготовленный, талантливо прокомментированный этот двухтомник — событие в нашей культурной жизни.

И. ВИНОКУРОВА.



## БУДНИ ЗАБЫТОЙ УЛИЦЫ

Луи-Поль Боон. Избранное. Перевод с нидерландского. Составитель и автор послесловия Ю. Сидорин. М. «Прогресс», 1980. 383 стр.

Из современной бельгийской поэзии. Перевод с французского и нидерландского. Составители М. Кудинов, А. Орлов. М. «Прогресс». 1981. 287 стр.

Бельгия вызывает в нашем сознании ассоциации, воскрешающие детство: праздничные краски фламандских залов Эрмитажа, потрепанный том «Уленшпигеля», чудесный мир «Синей птицы» во МХАТе. Мы взрослеем, и все это куда-то уходит, отодвинутое другими переживаниями и впечатлениями. Лишь изредка, оживив ранние воспоминания, вновь представит нам искусство бельгийцев — и поразит устойчивостью своих коренных черт. Они угадываются даже в этих нечастых, почти случайных встречах.

Когда у нас гастролировала знаменитая труппа Мориса Бежара «Балет XX века», искушенный зритель и не заглядывая в программку почувствовал бы, что перед ним явление, вообравшее в себя фламандские традиции: эту острую гротескность художественного языка, это богатство светотени, и графичность линий, и пристрастие к иносказанию, и лаконизм штриха, за которым — сложный узел человеческих отношений.

Когда слушаешь записи Жака Бреля, невозможно не различить в простых сюжетах и приземленных, грубоватых метафорах его песен отзвуки фольклора Фландрии и приметы карнавальная поэтики, столетиями жившей на ярмарочных ее площадях, с присущей такой поэтике насмешливостью, резкостью контрастов, с ее удивительным смещением фарса и трагизма...

Но Бежар по рождению марседец, а по художественному воспитанию парижанин, оказавшийся в Бельгии уже зрелым мастером, хотя только на брюссельской сцене по-настоящему раскрылся его крупный талант. А Брель уехал в Париж совсем молодым, и вся его творческая жизнь прошла в концертных залах Больших бульваров, на киностудиях Монпарнаса, наконец, в «Комеди Франсез», где он сыграл Сида — роль, для французского репертуара такую же значимую и престижную, как Чацкий и Федор Протасов для русского.

Как типичны обе эти биографии для бельгийской культуры! Легко впитывая дарования, сложившиеся вне ее русла, она еще легче отдает другим культурам то, что по праву должно принадлежать ей са-

мой. Она открыта настолько, что для нее всегда реальна угроза утратить собственное лицо. Она не столько создает, сколько пропускает через себя веяния самой разной национальной и творческой природы.

И не отделаться от впечатления, будто здесь царство непрерывного транзита. Вечный транзит, десятилетие за десятилетием, так что невольно гложет чувство родных корней, а фламандский художник оказывается схож с Робинзоном без острова, описанным в стихах Гюста Гилса:

неузнанный робинзон в резиновых сапогах  
шлепающий среди  
портовых гигантов...

не находило ли на него такое что слезы  
катились из глаз?

Емкий образ. В нем схвачено нечто очень существенное для самосознания бельгийцев, да и не их одних. Бельгия — классическая «маленькая страна» со всеми особенностями, отличающими в наше время такие вот провинциальные уголки Европы. Впрочем, «особенности» в данном случае слово неточное, потому что примечателен как раз процесс стирания особенностей, на этих окраинах обозначившийся еще рельефнее и переживаемый еще мучительнее, чем в европейских столицах.

Запечатленный в бронзе карапуз Маннеке Пис, «самый древний гражданин Брюсселя», все так же беззаботно стоит на шумной площади, и все так же устраиваются в его честь шуточные карнавалы, а в Антверпене по-прежнему чтят Рубенса и Ван Дейка. Но не зря поэтов преследует чувство омертвения, скрытого за этими внешними знаками неиссякающей фламандской сущности. И тот же Гилс пишет, как «жизнь скроенная по мерке перешла в смерть скроенную по мерке», — не разобрав, кто «мертв а кто не мертв». У Пауля Снука есть притча о куклах для чревоушителей (японское производство, большой экспорт в Европу, «Бельгия и Нидерланды тоже среди импортеров»): чревоушитель умер, и никто из публики этого не заметил — кукла продолжала рассказывать

сомнительные анекдоты, у нее, оказывается, имелись легкие, голос и губы, она ничуть не хуже хозяйина, разве что ее приходилось заводить. А Хюго Клаус рассказывает о том, как ему живется в клетке: тесновато, но приемлемо — соседей, правда, уже охолостили, и они вполне довольствуются костью, которую бросает укротитель.

От подобного существования в незримых клетках и среди вполне зримой механистичности раз за разом и «находит такое», если не вызывая слезы из глаз, то уж непременно отражаясь в образе мира, который создают бельгийские поэты. У прославленного моряка из Йорка нынешние «неузанные робинзоны» переняли лишь чувство оторванности от привычной среды обитания. В этом смысле ситуация повторилась, хотя причины, конечно, совсем иные: там был необитаемый, но все-таки свой остров, здесь — ощущение полной отчужденности, настаивающее в сутолоке современного города-спрута, когда-то открытого для европейской поэзии бельгийцем Верхарном.

Его сегодняшними продолжателями город воспринимается как царство всеобщей анонимности и разделенности, как олицетворение стерильности духа, капитулировавшего перед потребительскими фетишами. Бродя по набережным амстердамских каналов, лирический герой Гилса задумается о том, что в них нельзя даже утонуть — ведь «дряхлая эта чем попало пресытившаяся вода больше не чувствует что ее принимают всерьез». Протагонист Клауса, «однажды вечером уплыл от Ничегожды и Никогдажды человеческих дел», попадает в Чикаго, где «под небом кривоверным железобетонных конструкций, посреди бельмастого миганья и желудочных коллик рекламы» еще острее, чем дома, ощутит, как исчезают последние иллюзии неповторимости его «я».

Один из сквозных мотивов этой поэзии — странствие. Оно, правда, вовсе не обязательно требует географических перемещений. Да его и не выбирают как судьбу, наоборот, сама судьба осознается как транзит, когда невозможна подлинная причастность к жизни, мелькающей за вагонным окном. Отношения к действительности, по сути, оказываются изоляцией от действительности, и, формулируя эту мысль, Клаус пишет вызывающе резко: «Никто не остров? Враки! Аз есмь остров».

Это не бравада индивидуалиста, а попытка осмыслить реальное положение вещей — спорная, конечно, но никак не случайная. В «маленькой стране» особенно на

виду самые существенные тенденции, которыми охвачен весь западный мир, — оттого и фрагментарность сегодняшней его жизни, механистичность контактов между людьми воспринимаются бельгийскими поэтами так обостренно, побуждая их к рискованным декларациям, в которых, однако, нельзя не уловить зловещий дух времени.

При всем различии творческих индивидуальностей центральная коллизия, в сущности, неизменна: действительность превращает человека в некую общеличность, в единицу сравнительно благополучной статистики, а душа бунтует, стремясь преодолеть эту обезличивающую усредненность, но все так же бьется в ее тисках, и лишь все более неотступной становится жажда полнокровного бытия вместо среднестатистического существования. Среди портовых гигантов или в горестном грохоте далеких городов ищет новоявленный робинзон то, что Клаус назвал последним семенем жизни, а жизнь все равно предстает ему только в виде «путаных троп» и «недожеванных кусочков», не складываясь в гармонию и целостность. И не приходится удивляться, что обычным итогом этой вынужденной робинзонады на современный лад становится умонастроевание скептическое, сумрачное и горькое до безысходности.

Не сказать, чтобы оно было специфически бельгийским, однако выражено оно так, что у Клауса или Гилса приобретает совершенно особый, фламандский колорит. Дело здесь даже не в особой окрашенности метафор или поэтического словаря, скорее дело в самом мироощущении. В чем необычайно глубоко укоренен столь характерный для художника из «маленькой страны» образ транзита — «безнадежного туризма», как сказано у Гилса, «водостояния и травотечения», как несколько парадоксально написал Клаус в стихах, где человек уподоблен острову. Оба эти поэта, как и Снук, представляют поколение, начинавшее в 50-е годы, и все трое пишут от имени тех, кого Гилс назвал качающимися на волнах обломками переживших войну, которая прокатилась по Бельгии тоже транзитом, но резко переломила привычное восприятие вещей и событий.

Насколько резко — можно судить и по скромной антологии, выпущенной издательством «Прогресс», где франкоязычная поэзия Бельгии представлена именами, широко известными еще в довоенное время: Морис Карем, Констан Бюрнио, Норж. Кажется, что с ними попадаешь в совсем

иной мир, многоцветный и солнечный, полный надежд, пусть даже речь идет о социальных несправедливостях и будничных драмах жизни. Контраст разителен. Быть может, всего выразительнее о нем скажут стихи, обращенные к детям. Стихи Карема о летающем верблюде, о блохе, которая катит в коляске слоненка, о том, что «хорошо улиткой быть: где угодно можно жить». И стихи Клауса «Книжка-раскраска». В этой книжке птичка с оторванным крылом, мужчина с оторванной головой. А в конце пронзительное: «Слышишь, как за окном зубы дождя вцепились в хрупкие кости птицы».

И сама поэтика принципиально несхожа в разноязычных разделах книги. Верхарн писал по-французски, но в антологии истинными его наследниками предстают поэты, пишущие на нидерландском. Все они приверженцы свободного стиха, построенного на сложной ритмике и звукописи, создавшей много трудностей перед переводчиками Д. Сильвестровым (Гилс), А. Орловым (Снук) и В. Топоровым, в переводах из Клауса, пожалуй, наиболее удачно передавшим смысловые и образные параллели, которые и становятся стержнем современного вер-либра. Все в большей или меньшей мере осознают опасность прозаизации, заключенной в поэтике, о которой в стихотворении-автокомментарии Снук сказал: «Нет, это не стихи. Это — текст». Преодолеть такие опасности удается далеко не всегда, но есть в книге и образцы подлинных свершений на трудном этом пути: «Речь» и «Остров» Клауса, «Комиксы без картинок» Гилса.

Поэты, пишущие на французском, предпочитают правильный стих, классическую строфику, рифму. Нашему читателю такая поэзия привычнее, легче для восприятия. Впрочем, эта легкость в немалой мере результат усилий М. Кудинова, подготовившего весь франкоязычный раздел. Переводческая индивидуальность М. Кудинова давно определилась и неизменно чувствуется во всех его работах. Он любит ясность, иронию, простоту, добываясь естественности звучания текста, к какому бы поэту ни приходилось обращаться.

Контраст французского и нидерландского разделов книги — прежде всего контраст эпох, которые в них представлены. Не только поэтических эпох. Сталкиваются и конфликтуют два типа мироощущения, сложившихся до и после обозначенного войной громадного исторического рубежа, о котором можно было бы сказать стро-

кой Брюсова: «Пять беглых лет — как пять столетий».

В прозе Боона этот рубеж чувствуется особенно отчетливо. Повесть «Моя маленькая война», с которой начался его творческий путь, Боон писал в годы оккупации, свой наиболее известный роман «Забытая улица» — сразу после освобождения. Духовная школа того времени продолжала напоминать о себе во всем, что выходило из-под пера писателя вплоть до его смерти в 1979 году.

Он был солдатом, пережив плен и концлагерь, помогал Сопротивлению, бедствовал вместе с другими в родном своем Алсте, типичном промышленном предместье, которое станет главным героем его первой повести. Хьюго Клаусу, который споря с Донном и Хемингуэем, возвестит, что человек не частица материка, но именно остров, было в ту пору всего двенадцать лет, а Боон уже задумался над проблемой, решенной поэтическими дебютантами послевоенного десятилетия столь вызывающе однозначно. И все его творчество оказалось поисками подлинно выношенного, неупрощенного ответа на этот вопрос, которому время придало такую повышенную актуальность: возможно ли движение от горизонта одного к горизонту всех, возможна ли не формальная, не механическая, а истинно человеческая общность, возможен ли прорыв от отчужденности к людскому братству?

Ответить он попытался уже «Моей маленькой войной». Боон написал очень своеобразную и значительную книгу о том, что значила фашистская оккупация для множества «маленьких людей» поработанной Европы. Он повествовал о самых заурядных обывателях, кому всего-то и хочется, «чтобы на столе у него было немножко еды и в печке немножко угля», ну а история пусть как-нибудь совершится сама собой. Гитлера они втайне ненавидят, еще бы: из-за него приходится терпеть столько лишений и неудобств. Но, узнав о Сталинграде, кое-кто ударился в панику: «Теперь к нам придут большевики». Оглядываясь по сторонам, шепчутся: вчера немцы отлавливали еврейских детей, запихивая их в поезда, которые, по слухам, отправляют газом. И тут же спешат друг друга успокоить. В конце концов, таких детей почти уж и не осталось. Да и про поезда эти мало ли что наговорят.

Английское радио сулит скорую высадку союзников. Ее ждут с нетерпением. Впрочем, не все. Для этой среды неизбежна и фигура булочника, который, контра-

бандой раздобыв муку, гребет денежки, пока другие копаются по помойкам, и фигура вчерашнего столяра, ставшего кол-лаборационистом — он теперь каждый вечер пьет с потаскухами и выгоняет на холод жену в одной рубашке, — и фигура сапожного мастера, работающего на вермахт: полюбуйтесь, отгрохал себе целую фабрику. Потом союзники побывали у этого обувщика. Премило провели время, вышли через час с сигарами в зубах. Подумать только, оказалось, что к концу войны он сделался патриотом из патриотов — на всех углах кричал, какие сволочи немцы, и пожертвовал бельгийской армии целых десять тысяч. То-то удивилась бы его соседка, все мечтавшая станцевать с американцами свинг. Она умерла от голода в самый день их высадки. Успела о ней узнать и напоследок попросила, чтобы ящик, в котором ее похоронят, накрыли национальным флагом.

Боон мог бы рассказать о гражданском сознании, пробудившемся в те грозные годы, о настоящих героях, о Сопротивлении. Он ведь с молодости тянулся к коммунистам. Кстати, и свою повесть он впервые напечатал в коммунистической газете.

Не случайна на его творчестве печать острой социальности. «Моя маленькая война» не просто картинка с натуры. Это прежде всего книга о том, как действительность проверила, прочны или случайны высокие романтические мечты целого поколения. Боон писал о предместье, вкладывая в это понятие, конечно, не географический, а социальный смысл. И кроме того, он писал о тех, чья юность прошла в этом предместье, совпав с эпохой между двух войн. Это было поколение, боготворившее Ромена Роллана и страстно откликавшееся на лозунг «нет — войне!». Оно штурмовало кинотеатры, где шла «Солидарность» Пабста, восторженно аплодируя последней сцене, в которой немецкие и французские шахтеры, спеша на выручку друг другу, пробивали разделявшую их перемычку.

Судьбой этого поколения оказались несколько дней фронта и растянувшиеся на годы «маленькие войны» — в нацистских лагерях, в буднях оккупации, когда легче выживали другие: не задумавшиеся, принимавшие «все, что бы ни предлагала им жизнь». Для предместья вроде описанного Бооном бельгийского городка война тоже была транзитом, только слишком многих из тогдашней молодежи этот транзит привел к опустошенности, неверию и в прошлое и в будущее: «Аз есмь остров».

Происходил жестокий перелом, многое определивший в последующей духовной истории Европы.

Он был засвидетельствован несколькими примечательными произведениями, созданными в годы войны или сразу после нее. Достаточно назвать «Чуму» Альбера Камю. Боон ограничился провинциальной хроникой, избегая философских коллизий. Но по-своему он тоже коснулся узловых проблем болезненно менявшегося мироощущения типичного европейца. И отверг уже наметившийся выход из противоречий, поняв, что этот выход иллюзорен. Ему не захотелось стать предтечей «неузнанных робинзонов». Он знал, что нельзя «прятаться в свою раковину, ибо самая упорная борьба, которая ведется в жизни, — это в конечном счете борьба за то, чтобы никто никогда не испытывал горечи».

Вот об этом мечтают и герои «Забытой улицы», странной книги, где смешаны черты утопии и натуралистического очерка, а композиция напоминает наспех смонтированный фильм, — мечтают о простом чуде, когда у людей появится общая цель и чувство необходимости своего бытия.

Строят железнодорожную эстакаду, и по небрежности проектировщиков тупичок на окраине оказывается забаррикадирован; выбраться в город возможно лишь крайне замысловатым и небезопасным способом, улица забыта и предоставлена самой себе, люди должны налаживать совместную жизнь, хотя годами, поколениями их приучали совсем к другому: «...каждый есть тот, кто он есть, а на остальное не обращают внимания». Они теперь, пусть вынужденно, маленькая планета людей, все эти обитатели стандартного, среднестатистического европейского города, всегда существовавшие в одиночку, словно иным и не может быть порядок жизни. Они теперь общество.

А быть сообществом для них трудно, почти невозможно. Конечно, ошибка в итоге будет исправлена: в бетонной стене, замуровавшей улицу, пробьют тоннель и транзитное существование коммуной завершится. Но до этого пройдет несколько месяцев. И все они окажутся заполненными мучительной борьбой двух полярных начал, которые живут во всех персонажах романа. Любому из них непривычно, непонятно соразмерять свои заботы и радости с тревогами и надеждами других людей. А вместе с тем какое это безмерное счастье — хоть на миг ощутить тепло истинной человечности и почувствовать, что ни-



кто не одинок на холодных ветрах жизни.

Так и раскачивается бытие Забытой улицы между двумя полюсами, которые исклочают друг друга. Один из героев рачше был донором, он-то и предназначен разрушить барьеры отчуждения, куда более крепкие, чем временная перегородка, отрезавшая улицу от города. Ему предстоит отдать живущим рядом всю свою душевную щедрость, как отдавал он им прежде свою кровь. Только хватит ли этой щедрости? Вызовет ли она встречное движение?

Поначалу мы видим совсем иное. Тихая улочка превращается в мертвую, люди немеют от ужаса. Неожиданно оказавшись в ловушке, они мечутся в ней, пока ненавистная бытовая необходимость не заставляет сбиться в кучу. А потом начинают догадываться, что «их улица — лишь крошечная частица огромного мира, полного боли, горя и нищеты», и что сама судьба им указала единственную для человека возможность выстоять в таком мире: преодолев этику безучастия и сплотившись с другими.

Разумеется, это невероятно трудно. Да этого так до конца и не происходит. Быт и психология не могут измениться в мгновение ока, и владелица кафе спешит воспользоваться благоприятной конъюнктурой, нежданно избавившей ее от конкурентов, а мадам Эстер ворует продукты, купленные на общие деньги, и кто-то еще занимается вымогательством, а кто-то обжужливает соседей, как привык годами обжужливать городские власти. Но исподволь многое изменилось. И когда над городом висит холодный дождь, обитателям Забытой улицы кажется, что им тепло в своем пенеале — ведь они «все больше общаются друг с другом, а ведь раньше это было невоз-

можно, тогда каждый сидел в своем доме». Им вечно не хватало даже на кусок хлеба, а теперь они делают все со всеми и больше нет голодающих. Страшно и сладко вообразить себе, что придет день, «когда весь мир станет одной забытой улицей»...

Боон был слишком трезвым и честным художником, чтобы представить эту мечту осуществленной — хотя бы на той окраинной улице, которую он описал. Финал романа трагичен: улица возвращена к нормальной жизни, завязавшиеся связи оборваны и, как снилось одному из героев, «все снова по-старому, вокруг — мир, полный безработных, толстых пасторов и нервных больных, шикарных автомобилей и трущоб».

Но осталась золотая крупница веры в человека — заурядного, вовсе не героического, скованного множеством заблуждений человека, который, волею писателя очутившись в условиях и исключительных и драматических, предстал не безликостью, а личностью, задумывающейся о том, чтобы горечи не испытывал никто и никогда. Опубликованная еще в 1946 году, «Забытая улица» сегодня воспринимается как веский аргумент в споре о человеке, о духовной ситуации в мире, в споре, который не затухает на страницах произведений художников Запада, волнует и тревожит бельгийских писателей, сумевших найти в этой полемике собственную позицию.

Боон говорил о себе как о художнике неприметных будничных драм предместья, каким ему виделась собственная страна. Но на этих драмах отпечаток больших духовных и философских коллизий времени. Фламандский ракурс помогает осознать и сущность таких коллизий, и их значение для нас всех.

А. ЗВЕРЕВ.



## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛОВО

Д. С. Лихачев. Литература — реальность — литература. Л. «Советский писатель». 1981. 215 стр.

Давно замечено, что за словом кроется жест. Иногда это жест совестливого самоуничтожения автора, продиктованный сознанием того, как много сделано его предшественниками и как трудно подняться на достигнутый ими уровень. К этому жесту охотно прибегали еще в прошлом веке — достаточно вспомнить привычные заверения авторов в том, что, сознавая недостатки своего труда, они уповают на

снисходительность читателя и просят его не судить их слишком строго. С этим же ритуальным самоуничтожением один из ведущих современных филологов назвал свой глубоко новаторский труд о поэтике византийской литературы подражанием «Поэтике древнерусской литературы» академика Лихачева. Разумеется, это было сказано с умыслом, и помимо искреннего преклонения перед работами замечатель-

ного ученого и присущей автору скромности в этом жесте легко обнаружить и элемент своеобразной игры. Упомянутая книга посвящена средневековой византийской литературе, а во времена средневековья на подражание смотрели совсем не так, как теперь, — оно было одним из ближайших синонимов творчества, и, раскрывая характер мышления ранневизантийских литераторов, автор как бы перевоплощался в своих героев. Любопытно, что перед соблазном такого перевоплощения не устоял и сам Дмитрий Сергеевич Лихачев в его новой книге «Литература — реальность — литература». Им было выдвинуто на передний план и заново переосмыслено не менее емкое понятие — комментарий. Сейчас комментарий чаще всего прилагается к научному изданию в виде справки, но когда-то в форме комментария к Древним текстам выражала себя смелая философская мысль, комментарий был самостоятельным и полноценным научным жанром, и думается, что книга Д. С. Лихачева возвращает нас к исконному пониманию комментария.

Это заметно с первых же страниц, и все-таки может показаться неожиданным, что автор обобщающих исследований по древнерусской литературе, разработавший целый ряд увлекательных научных концепций (настолько увлекательных, что на них откликнулись не только русисты, но и филологи самых разных специальностей — вплоть до востоковедов), вдруг обратился к сугубо конкретному жанру комментария. Книги Д. С. Лихачева (такие, как уже названная «Поэтика древнерусской литературы», «Человек в литературе древней Руси», «Развитие русской литературы X—XVII веков» и др.) всегда отличались широтой общественного звучания, умением затронуть острые идеологические вопросы, глубоким гуманитарным пафосом (вспомним его блестяще написанные «Заметки о русском»). И вдруг пусть заново переосмысленный, сюжетно завершенный, доведенный до законченности небольших литературоведческих новелл, но все-таки — комментарий. Нет ли в этом слегка озадачивающей метаморфозы? Безусловно, нет. Новая книга Д. С. Лихачева служит естественным продолжением его предыдущих исследований. На основе комментария к произведениям русских классиков автор развивает в ней концепцию конкретного литературоведения, обобщающую его опыт текстологического подхода к литературе.

В предисловии автор пишет: «Конкрет-

ное литературоведение... дает частные объяснения частным же явлениям литературы, причащает к медленному чтению, к углубленному пониманию произведений в реальной обстановке и к реальному пониманию стиля — не только его особенностей у того или иного писателя, но и к пониманию причин появления этих особенностей. Оно стремится к доказательности своих выводов, а не к конструированию гипотез или генерированию идей, столь иногда распространенным в нашей науке». Частное объяснение частных явлений — не с этого ли началась филология и в Греции и в Китае?! Со времени создания классических книг проходили века, и значение отдельных слов и выражений как бы выветривалось, становилось все более непонятным для новых поколений читателей, и, таким образом, возникала потребность в их истолковании — потребность настолько живая, что истолкование Древних текстов оборачивалось яростной полемикой между приверженцами той или иной комментаторской школы. Конечно же, древность знала примеры и обобщающих высказываний о литературе, но они как бы относились к ведомству философии, что же касается филологии, то ее охранительная миссия и заключалась в том, чтобы оберегать классический текст так же, как произведения искусства оберегаются музейными работниками. У Д. С. Лихачева об этом сказано так: «Точность истолкования произведения — это один из элементов сохранения его текста, сохранения литературного памятника как такового, охрана нашего литературного наследия. Как и всякая охрана, охрана литературного текста основывается на специальных исследованиях — на методике конкретного литературоведения».

Казалось бы, какая связь между скрупулезным текстологическим исследованием и столь жгучим, столь актуальным для наших дней вопросом об охране памятников, охране литературного наследия? А между тем осознание этой связи способствовало бы трезвому и уравновешенному решению вопроса. Конкретность научных исследований есть, иными словами, уровень гуманитарной культуры, без которой любые призывы оберегать классическое наследие звучат декларативно. Стремление сохранить и сберечь литературный памятник должно проникнуть в мельчайшие поры научного сознания, выразиться на текстологическом уровне, и только тогда оно станет действенным. Культура подлинно научного обращения с

текстом служит как бы гигиенической защитой и против азартного «генерирования идей», и против снобистского позитивизма, культивирующего стиль холодноватой и академически бесстрастной справки. Конкретное литературоведение находится между этих крайностей и, не жертвуя точностью филологических исследований, придает им широкий концептуальный размах. Доказательство тому — помещенные в книге очерки. Их автор снова демонстрирует живую и тонкую наблюдательность и остроту филологического зрения, умение дать пластически выпуклое, рельефное, почти художественное определение тех или иных литературных категорий. Всем памятно выдвинутое им ранее понятие литературного этикета, которым охотно пользуются филологи самых разных специальностей. В новой книге мы находим не менее интересные идеи. Как бы дополняя свои размышления в области литературного этикета, Д. С. Лихачев пишет и о борьбе с этикетностью в русской литературе, о присущей ей «стыдливости формы», о «небрежении словом» у Достоевского, о «ложной» этической оценке у Лескова. В небольшой книжке, по существу, представлен целый комплекс новаторски смелых идей и концепций.

Комментируя произведения русских классиков, автор не ограничивается лишь литературным материалом, его комментарий можно с полным правом назвать культурологическим — настолько свободно и непринужденно он пользуется примерами из области искусства. Объясняя смысл выражения «сады Лицея» (оно встречается в «Евгении Онегине»), Д. С. Лихачев совершает увлекательный экскурс в историю европейского садово-паркового искусства, рассказывает и о регулярном и о сменившем его пейзажном парке (позволим себе лишь внести одно уточнение: пейзажный парк не был изобретен в Англии — установлено, что англичане во многом заимствовали эстетику садового искусства в Китае), а раскрывая характер «летописного времени» у Достоевского, он приводит для сравнения обратную перспективу доренессансной живописи: «Одна часть композиции изображалась с одной точки зрения, другая — с другой. Стол изображался несколько сверху, чтобы видна была столешница, чтобы видны были лежащие на ней предметы. Выравнивались и величины согласно их внутреннему значению — дерево изображалось меньше, человеческая фигура больше. Менялись и места предметов. Че-

ловеческие фигуры изображались перед домом или храмом, в котором, предполагалось, происходит действие. Все это делалось для того, чтобы всесторонне и с наилучших позиций охватить предмет». И далее вывод: «...каждый персонаж, каждое событие показаны у Достоевского, как в доренессансной живописи, с нескольких сторон или с той стороны, с которой оно яснее всего обзревается». Столь же метко и проницательно роль повествователя в романах Достоевского сравнивается с ролью актеров в японском кукольном театре: «Повествователи романов Достоевского часто условны, о них необходимо в какой-то мере забывать. Это почти так же, как в японском кукольном театре, где актеры в черном передвигают кукол на сцене на глазах у зрителей, но зрители не должны их замечать и не замечают. Игруют куклы. Куклы могут иногда изобразить больше, чем живые актеры. Тех же, кто переставляет кукол, не следует принимать за действующих лиц. Автор и повествователи у Достоевского — это слуги просцениума, которые помогают читателю увидеть все происходящее с наилучших в каждом случае позиций».

Достоевский — один из центральных героев книги. Ему уделено наибольшее внимание, и думается, что конкретные и точные наблюдения ученого вносят много нового в понимание этого писателя. Рядом с Достоевским — по традиции — поставлен Толстой. Угол зрения на творчество Толстого примерно тот же, что и на творчество Достоевского: Д. С. Лихачев обнажает древнерусские корни мировоззрения Толстого, говорит о его отношении ко всей тысячелетней древнерусской культуре. Интересны конкретные замечания о символике неба и солнца в произведениях Толстого, генетически восходящей к древнерусским воинским повестям, о символическом мотиве ухода, о смерти в пути как разрыве с привычным укладом быта. Замечательны своим открытым публицистическим пафосом строки, заключающие статью о Толстом: «...смерть самого Толстого — это грандиозная, глубоко национальная эпопея. Толстой уходит из быта, из всего того внешнего, чем его окружила жизнь в Ясной Поляне. Он умирает в пути — буквально на железнодорожной станции. Он не допускает к себе жену — символ этого устоявшегося не только яснополянского, но и в целом русского быта. Это смерть льва, покидающего перед смертью свое логово, уходящего из жизни буквально». С тем же пронизывающим накалом и страстью ска-

зано и об уходе Пушкина: «Так ушел из своего страшного этикетного быта Пушкин, ушел на Черную речку, под дуло светского хлыща Дантеса...»

Среди других героев книги, принадлежащих классическому XIX веку русской литературы, встречаем Гоголя (Д. С. Лихачев исследует социальные корни типа Манилова, столь неожиданно и парадоксально связывая его с образом самого... Николая I), встречаем Лескова. Нет Тургенева. Конечно, вряд ли кто-нибудь станет всерьез настаивать на обязательности ряда Толстой — Тургенев — Достоевский. Вместо Тургенева здесь вполне может стоять и Лесков, как это, по существу, и сделано в книге. Совершенно естественно, что ее автор обращался к темам, выбор которых был продиктован его исследовательскими задачами (хотя возьмем на себя смелость предположить, что острое филологическое зрение Д. С. Лихачева обнаружило бы и в Тургеневе связи с древнерусской культурой), и лишь одна случайная ремарка позволяет судить о некоторых нюансах отношения автора к Тургеневу. Вот эта заключенная в скобки ремарка: «Ближайшие предшественники и современники Достоевского изображали время с одной точки зрения, при этом — неподвижной. Рассказчик как бы садился перед читателем в воображаемое удобное кресло (немного барственное, — допустим, у Тургенева) и начинал свое повествование...» Оборвем здесь цитату и отдадим должное и пластичной гибкости этой фразы, и этикетно-уклончивому «допустим», и, что самое главное, тонко подмеченному различию повествовательных методов Достоевского и Тургенева. Речь о другом. Книга Д. С. Лихачева дает как бы невольный повод (разумеется, никому и в голову не придет заподозрить автора в том, что он недооценивает Тургенева) сказать о весьма ощутимом веянии в области современного литературоведения в целом. Нынешний интерес к Достоевскому (а отношение самого Достоевского к Тургеневу было весьма сложным — достаточно вспомнить фигуру Кармазинова из «Бесов») несколько заслонил сейчас интерес к Тургеневу, а между тем поэтика Тургенева — особенно его поздних произведений — на наш взгляд, не менее вписывается в проблематику современного литературоведения, чем поэтика романов Достоевского. Поздний Тургенев как рассказчик странных историй (вспомним название одного из этюдов Иннокентия

Анненского) переключается и с загадочной фигурой Эдгара По, и даже с таким далеким от русской литературы писателем, как Пу Сунлинь, но это уже особая тема, не уместающаяся в рамки рецензии...

И все-таки мы не случайно наметили это сравнение (Тургенев, Эдгар По, Пу Сунлинь — три рассказчика странных и странных), именно подходя к заключительному разделу книги Д. С. Лихачева. В этот раздел включены статьи обобщающего характера, среди которых хотелось бы выделить одну — «Об общественной ответственности литературоведения». Статья эта коротка, всего лишь несколько страничек, но она привлекает широтой распахнутых в ней горизонтов. Сейчас входит в моду термин «прогнозирование»; по отношению к статье мы употребим более привычное выражение — устремленность в будущее. Подобной устремленностью отличались работы академика Конрада, и, кстати сказать, проблематика статьи Д. С. Лихачева близка конрадовской проблематике. Академик Лихачев ставит изучение русской литературы в контекст изучения всех мировых литератур: «Умение понимать древнюю русскую литературу открывает перед нами завесу над другими не менее сложными эстетическими системами литератур — скажем, европейского средневековья, средневековья Азии и пр... Человек, который по-настоящему способен понимать искусство древнерусской иконописи, не может не понимать живопись Византии и Египта, персидскую или ирландскую средневековую миниатюру». Казалось бы, что общего между русской иконописью и персидской миниатюрой, а между тем эта параллель не случайна и глубоко обоснована: перед нами явления одного типологического плана, различающиеся в своих конкретных проявлениях. Статья Д. С. Лихачева, как и статьи Н. И. Конрада, приучает нас к подобным аналогиям, делает их привычными. Общественная ответственность литературоведения, по мнению автора книги, заключается в том, чтобы противостоять чувству национальной исключительности, развивать в человеке «терпимость по отношению к другим культурам — иноязычным или других эпох». Высокой наукой называет Д. С. Лихачев литературоведение, еще раз подчеркивая, что только подлинная культура научной мысли может стать действенным средством в борьбе за культурное наследство.

Леонид БЕЖИЦ.



Политика и наука**ЭНЕРГИЯ НАШИХ ПОБЕД**

Рассказы о партии. Том IV. Составитель Л. Давыдов. М. Политиздат. 1982. 447 стр.

**В**первые двухтомник художественно-документальных «Рассказов о партии», охвативших время от рождения партии большевиков до окончания Великой Отечественной войны, вышел в свет в 1973 году. Затем появилось второе издание — с третьим томом, в который вошли рассказы о событиях послевоенной истории нашей страны до десятой пятилетки. Нынешнее издание состоит из четырех томов. Исторические границы четвертого тома от XXV до XXVI съезда КПСС включительно — важнейший период в жизни ленинской партии, всего Советского государства.

Однако какими бы ни были хронологические рамки «Рассказов о партии», все они объединяются одной основной мыслью: история КПСС — это история нашего времени, советского народа, страны. Причем история, если можно так выразиться, не парадная, а деловая, повседневная трудовая страда — так пишет составитель во вступительной статье, открывающей четвертый том.

Его авторам, известным советским писателям, удалось создать коллективный портрет коммуниста на фоне событий, которые развертывались у нас на глазах, в которых в той или иной степени участвовали и сами читатели. Это, естественно, создавало дополнительные трудности, ибо читатель вправе был ждать не просто описаний, констатации уже, как правило, известных фактов, но обобщения, анализа, свежей мысли. Была и еще одна трудность: большинство представленных в книге произведений — портретные, и здесь особенно важно было подметить не только общие черты, но и неповторимые частности, которые создают истинную психологическую полноту характеров.

Образ коммуниста всегда привлекал советскую литературу. И каждый писатель, каждый творец добавлял какие-то существенные штрихи к портрету коммуниста, ведь время не стоит на месте, а значит, изменяется и человек, по-новому раскрывается и образ коммуниста, отображающий глубину и значительность перемен в жизни нашего общества в разные периоды его развития.

Из каких слагаемых складывается сегодня духовный облик коммуниста? Какими новыми чертами отмечено его сознание в конце 70-х годов? В чем истоки его нрав-

ственной силы? На эти и многие другие вопросы отвечают авторы «Рассказов о партии». Большинству из них удалось воссоздать действительно героические характеры передовых людей нашей эпохи.

Основная отличительная черта героев книги — любовь к своему делу и высокий профессионализм. «Дело — вот оселок, на котором познается истинная цена человека», — писал Л. И. Брежнев. Пожалуй, именно в деле, в работе, выполненной на совесть, наиболее ярко проявляется чувство собственного достоинства этих людей, без которого, в сущности, нет и не может быть личности.

Вот слова нефтяника Героя Социалистического Труда Исафила Гусейнова: «Что значит любимая работа или нелюбимая? Всякая работа связана с людьми. Если кто-то, работая с людьми, не хочет по-настоящему постигнуть то, чем занимается сейчас, он и потом не отыщет себе любимой работы» (В. Проталин, «Между морем и небом»). Для Исафила Гусейнова, для его товарищей по труду, для всех героев этой книги работа уже давно стала не столько источником зарплаты, сколько средством самовыражения, самораскрытия личности.

Скажем, Петр Кондратьевич Колесников, о котором рассказ В. Даненбурга «Его настоящее место». Автор подробно описывает утро своего героя, начинающееся с пяти часов. Обычное утро заводского человека. Только этому рабочему — семьдесят пять лет. А он, ничуть не сбавляя темпов, продолжает трудиться строгальщиком на «Ростсельмаше». Или другой пример — Татьяна Михайловна Захарова, ленинградская работница, коммунист, депутат Верховного Совета РСФСР, Герой Социалистического Труда (Н. Яворская, «Время находит меня»). Жизнь и работа для Захаровой тоже неразделимы. Даже когда она говорит, казалось бы, лично о себе: «...да, это случилось в пятидесятых годах, а точнее, в шестой пятилетке, у меня в этой же пятилетке вторая дочь, Лена, родилась и сын Витя. Я ведь как на завод пришла, так время пятилетками и измеряю».

Однако нет ли в этих примерах, в описании судеб этих людей некоего упрощения? Не обедняют ли авторы своих героев, ведь не работой же единой жив человек? Вопросы на первый взгляд правомерные, и все

же герои «Рассказов о партии» далеко не одноплановы. Так, в повествовании о Захаровой мы узнаем о ней от самых различных людей, видим, как она работает, какой бывает дома, в семье. Порой автор отмечает даже, кажется, мелкие черточки характера Захаровой: например, то, что она пишет стихи — не для аудитории, для себя, так как без них тоже не может. Но это, конечно же, не мелочи, потому что в результате образ героини становится выпуклым, объемным, понятны и близки читателю душа и жизнь этого талантливого, увлеченного человека.

Возможно, и Захарова, и Колесников, и многие другие герои «Рассказов о партии» в чем-то максималисты, но их максимализм именно от увлеченности, от любви к делу, которому они служат. И не случайно подобные характеры, подчас вовсе не легкие, чрезвычайно привлекательны. И в жизни, и в литературе. Вспомним хотя бы романы В. Попова «Обретешь в бою», «И это называется будни», пьесы И. Дворецкого «Человек со стороны», А. Гельмана «Протокол одного заседания». Герои этих литературно-художественных произведений и герои документальных «Рассказов о партии» — люди действия, деловые, строго анализирующие и взвешивающие свои поступки. И все же в них живут и, мне кажется, должны жить своеобразный, я бы сказал — романтический, максимализм и нагульновская страстность первопроходцев. Без этих качеств в большом деле тоже не обойтись.

Может быть, поэтому о семидесятипятилетнем Колесникове говорят так, как сказал один из его учеников: «Пока вы рядом, нам всем легче работать». А учеников, или сыновей, как считают на заводе, которым ветеран «Ростсельмаша» помог найти дорогу в профессию, в большую жизнь, у Колесникова пятьдесят. И в этом тоже виден коммунист наших дней, всем сердцем стремящийся к открытию человека, его духовного мира, индивидуальных склонностей.

Авторы «Рассказов о партии» рисуют тип человека, который добровольно берет за решение сложных задач, стремится максимально проявить свои способности, остро ощущая ответственность перед людьми и обществом. Читая «Рассказы о партии», невольно вспоминаешь коммунистов, о которых писал в своих воспоминаниях Л. И. Брежнев, видишь преемственность лучших человеческих качеств партийных работников в наши дни и то новое, что приносит в их характеры, мысли и действия возрастающий масштаб коммунистического строительства. В то же время это живые

люди, у которых порой что-то не ладится, не получается, бывают и ошибки. Словом, перед читателями реальные рабочие, колхозники, специалисты, партийные работники со всей сложностью и даже противоречиями их характеров. Но главное в них — талант лидера, руководителя.

О таланте руководителя, о трудном, но необходимом для коммуниста качестве быть душой большого дела идет речь практически во всех произведениях сборника. Эти черты присущи и председателю колхоза «Советская Украина» Луке Алексеевичу Иванищенко (В. Большак, «Лука сказал...»), и директору псковского совхоза «Победа» Г. И. Гецентову (Ю. Куранов, «Самородок»), и секретарю райкома партии в Чувашии М. М. Ложкиной, о которой рассказал писатель Ю. Грибов, и многим другим героям «Рассказов о партии». Таким предстает перед читателями и секретарь райкома партии из Киргизии К. А. Акназаров в рассказе С. Сасыкбаева и Л. Давыдова «Дорогой жизни». В своей жизни он руководствуется формулой: «Я солдат партии. Куда она пошлет, туда и поеду». И действительно, Акназаров всегда работал там, где возникали горячие точки, где другие не справлялись, где нужен был умелый организатор, знаток человеческих душ.

Разные герои, разные судьбы. И в то же время одна судьба, одна жизнь — жизнь партии. И обобщающий (через портреты конкретных людей) образ коммуниста, его героический характер, проявляющийся в повседневности, сконцентрировавший лучшие человеческие качества, вобравший в себя все токи времени.

Органично вошли в книгу и два крупных публицистических выступления. Феликс Кузнецов рассказывает о своих личных впечатлениях писателя-коммуниста от работы XXVI съезда КПСС, о чувстве причастности к истории отечества и мировой истории, которые вызвала работа съезда, определившего дальнейшие пути нашей партии и страны на длительный период времени. В публицистическом обзоре художественной литературы, завершающем четвертый том «Рассказов о партии», Виталий Озеров анализирует произведения советских писателей, раскрывающие многогранную деятельность КПСС, авангардную роль, нравственные идеалы коммуниста.

Носителем этих идеалов можно по праву назвать всех героев книги «Рассказы о партии».

С выходом в свет четвертого тома этой своеобразной антологии завершена большая

работа многих писателей и составителя всего издания, создавших художественно-публицистическую летопись наиболее значительных событий в жизни партии — от «Искры» до наших дней. Завершение этого

труда особенно своевременно сейчас, накануне 80-летия со дня рождения большевизма.

Александр ЕГОРУНИН.



## ВОСТОК: ИЗ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В СОВРЕМЕННОСТЬ

С. Л. Агаев. Иран в прошлом и настоящем (Пути и формы революционного процесса). М. «Наука». 1981. 271 стр.

Мусульманский мир. 950—1150. Перевод с английского и французского. М. «Наука». 1981. 312 стр.

Рассказывают, что лет сто назад некий американец, наслушавшись проповедника, вернувшегося из стран ислама и плененного их экзотикой, распродал свое имущество и уехал на Ближний Восток. Он торопился увидеть своими глазами чудеса Востока, пока они не кончились. Не может быть, воскликнул он, чтобы это шоу длилось долго!

В ту пору, во второй половине XIX века, движение христиан, особенно пуритан, на Восток только начиналось. Одни устремились из Америки и Европы в Левант, чтобы поглазеть на «лавку восточных чудес», другие ради прибылей, третьи — проповедники и миссионеры — были всерьез одержимы идеей бескомпромиссной борьбы с заблуждениями чуждого им и «греховного» мусульманского мира.

Стрельба к борьбе с «предрассудками» исламской культуры и религии стала своеобразным знаменем американско-европейских представителей на Востоке в конце XIX века. И все же энтузиасты и миссионеры, немалая часть которых расплатилась жизнью и за свое любопытство, и за свое упрямое, вызвавшее резкий отпор Востока желание искоренять и перевоспитывать ислам, остались в памяти XX века не только именами, выбитыми на могильных плитах кладбищ Передней Азии. Их заметки, дневники, книги, полные интересных наблюдений и мыслей, — огромное подспорье нынешнему исследователю и читателю, имеющее непреходящую ценность живого свидетельства очевидцев, людей, своими глазами наблюдавших Восток конца XIX столетия.

В XX веке, особенно во второй половине, интерес к мусульманскому миру — вечный, как жажда в пустыне, интерес к тому, что было, есть и будет на Востоке, — превратился в своеобразную страсть. Причем, я бы сказал, эту страсть в большей мере удовлетворяла наука, востоковедческие дисциплины, а не искусство и литература; даже туризм с его эффектом присутствия,

пожалуй, лишь дополнял изыскания научные. В свою очередь, в востоковедении на значительный промежуток времени были выработаны прочные ориентиры, что считать главным, что побочным, сложилась и манера отношения к материалу: отрешенная, как у банковских служащих, с кропотливым изучением какого-либо одного исторического периода и как антипод — всезнайство, цветистое, словно ковровый узор. Однако в целом в работах ученых за редким исключением из истории Востока как-то исчезла, «ушла в песок» жизнь людей: Восток превратился в монолит без составляющих его конкретных судеб.

И все же постепенно в научной среде и в широкой читательской аудитории возродился интерес к тем незамысловатым запискам, которые оставили грубоватые миссионеры, энтузиасты и чудаки прошлых времен. Тут подспела и мода на старину, в том числе восточную, ориентальную, так сказать: ретро стало современным. Начали переиздавать и полузабытые, но читаемые книги, у нас это были, к примеру, книги Чихачева, Ирвинга, Мелвилла. В то же время спокойный, а на беглый взгляд, Восток вдруг взорвался активными социально-политическими и религиозными движениями.

Казалось, что старое и новое перемешалось не без пользы для дела изучения исламского мира, что современность освежит новые труды по древней и средневековой истории Востока, культуре исламского региона, что в них зазвучит повседневная жизнь людей XX века, что, наконец, все это придаст еще более яркий блеск, свойственный лучшим академическим работам школ традиционного, строгого востоковедения.

Что же мы находим в книгах, вышедших в свет в 80-е годы? Разные авторы, разные намерения, но зачастую произведения, адресованные современному читателю, подчеркнута актуальность, с аккуратно отсеченными от наших дней «участками», где

история сегодняшняя вроде бы решительно ни к чему. Именно так построена и книга «Мусульманский мир. 950—1150». Книга С. Агаева «Иран в прошлом и настоящем» написана иначе. Она вся в современности, репортаже, даже в некоторой объективной незавершенности отдельных глав, вся в полемике с идеями буржуазного модернизма или вестернизации Востока.

Речь, впрочем, идет не о сравнении этих книг или выявлении преимуществ одной перед другой. Речь об ином: насколько занятия академическим (если можно так выразиться, возвышенным, дифференцированным) востоковедением могут быть освобождены от современности? Ведь проблемы, скажем, VII века (эпохи начала ислама) или XI столетия (века «трансформаций») сегодня стали весьма злободневными, читатель ожидает от автора их анализа, обобщений, соотношенных с текущими событиями, происходящими на Востоке. С другой стороны, находит ли свое место собственно история, прошлое как источник бурных революционных процессов, которыми характеризуется сегодняшний мир, в книгах, написанных исследователями почти одновременно происходящему?

На первый взгляд объективность исторического факта, не зависящего от субъективной оценки, стала основой подхода авторов книги «Мусульманский мир...» к различным проблемам ислама. Книга эта возникла как отчет коллоквиума в Оксфорде, организованного Группой ближневосточной истории университета этого города и Ближневосточным центром Пенсильванского университета США. Коллоквиум собрал известных европейских и американских востоковедов и обсудил круг вопросов, связанных с культурой ислама, а также с политическими, религиозными и этническими особенностями Халифата, который к 1150 году превратился в конгломерат этносов, живущих в условиях социального «разнобоя».

Авторы книги в своих оценках и характеристиках, как правило, ярких, запоминающихся, казалось бы, беспристрастных, что в принципе, без сомнения, достоинство, присущее западному востоковедению. Но беспристрастность на этот раз приводит к довольно странному эффекту. Взгляд авторов (он, кстати, характерен для многих, особенно американских, изданий подобного рода) напоминает взгляд музейных посетителей. словно целая культура, насыщенный набор знаний выставлены под огромными сводами музея, где множество предметов равно освещены и равно удалены от

зрителя, который одинаково за- и незаинтересованно размышляет, перед чем бы еще остановиться. Приблизительно так можно передать ощущение, рожденное книгой. Ее беспристрастность превращается в отстраненность.

Дело, по-моему, в том, что текущий день мира ислама, день сегодняшний, наложил печать устарелости на это издание, безупречное с чисто академической точки зрения. Такое случалось и раньше, когда с научной сцены сходили многие монографии, в которых педантичные, академически отрешенные авторы с устоявшимся взглядом на прошлое как бы не замечали современные Египет, Сирию, Иран, Афганистан, Ливан (а говоря широко — весь мусульманский Восток), как только там начинались перемены, сдвиги, революции. В результате чувства, религии, культуры народов «третьего мира» считались чем-то забавным, а социальные традиции и политические институты — отсталыми, несовременными, годными лишь для исправления.

В свое время мусульманский Восток был описан восторженными пионерами, шедшими либо по стопам романтиков В. Ирвинга или Г. Мелвилла, либо гораздо более реалистически и в духе искреннего уважения к исламским народам, что было свойственно, например, русским писателям-ученым Евгению Маркову или Петру Чихачеву. Затем ученые-ориенталисты «отыскали» (как ни нелепо это звучит в отношении мира ислама, описавшего себя в географии, истории, воспевшего себя в поэзии и философии) новый огромный континент арабо-персо-тюрко-берберской культуры. Для европейской науки это было поистине открытие, открытие мира ислама как научной величины. Ученые отметили географическое, историческое, социальное, религиозное многообразие культуры ислама, ставшей важной частью и объектом европейской науки. К середине XX века ислам был окончательно разведен по разным отраслям востоковедения, и это классическое, я бы сказал, благополучное востоковедение оказалось наглухо отгороженным от насущных дел Ближнего и Среднего Востока.

Подчеркнем — «благополучное», ибо существовало и другое, представленное отдельными крупными именами. Например, одновременно с «Мусульманским миром...» в 1981 году на русский язык был переведен Г. Э. фон Грюнебаум, известный филолог и исламовед венской школы, специалист по арабо-мусульманской литературе и культуре. Его книга «Основные черты арабо-мусульманской культуры» (статьи разных



лет) прямо адресована читателю, желающему понять, «в чем там, на Востоке, дело». В целом же мусульманский мир в сознании большинства ученых из разных школ мира (московская и ленинградская школы были исключениями) оказался навсегда задвинут в средневековье. Ибо все, что имело выход к новому времени, точнее ко времени после XVII века (а на него приходился упадок Османской империи, расцвет колониализма, раздел Британией, Францией и Италией арабского мира, германский империализм в Багдаде и Тегеране и т. д.), словно и не существовало. Европейцы старательно избегали воспоминаний о малочтенных сторонах своей прошлой деятельности.

Так и на этот раз: в книге «Мусульманский мир...» избран период, отрезок в двести лет — 950—1150 годы, тщательно отгороженный от «до» и «после».

Разумеется, с исторической точки зрения двухсотлетний период исламского средневековья важен и сам по себе. Важен, положим, как источник многих устойчивых религиозных традиций мусульманских стран. Но только ли этим? Ведь не случайно же ислам стал таким влиятельным течением в государствах современного Среднего Востока, причем течением не исключительно религиозным, но и политическим. А как быть с волной перемен и революций на Востоке, прошедших через весь XX век? В рецензируемой книге нет попыток скорректировать исторические связи, выйти на причины подобных явлений. Ислам для авторов по-прежнему как бы начинается и кончается лишь в средневековье. Отстраненность авторов от перспективы собственных сюжетов оборачивается недостатком. Не потому ли, кстати, участники коллоквиума, обнаружив замечательную эрудицию в отношении социальных процессов XI—XII веков, прозевали иранскую исламскую революцию, как, впрочем, и ряд других важнейших событий, считая, что актуальная в прошлом тема исламской культуры растворилась в этнографии, быте, суевериях, из которых Восток выведет просвещение, доходы и шоссе-ные дороги.

Между тем эпоха 950—1150 годов давала возможность прояснить многие сегодняшние вопросы, зримо обозначила лицо сложной арабо-мусульманской культуры. Нам она знакома по именам Газали, только что изданного по-русски («Воскрешение наук о вере»), Хайама, Насир-и Хосрова, великого поэта-слеска аль-Маари. Это было трагическое время кризиса и надлома всех системных ценностей арабо-персидской культуры. Блестящий расцвет литературы,

историографии, архитектуры сопровождался неожиданно резкими конфликтами внутри ислама, который именно в эти двести лет окончательно потерял свое единство, расколовшись на ряд взаимоисключающих направлений, концепций, школ. И главное — у населения разных районов бывшего так недолго единым Халифата появились несводимые между собой мироощущения, в известной степени сохранившиеся и ныне.

К примеру, авторы (Дж. Макдиси, А. Лауст, Д. Сурдель) подробно обсуждают религиозную историю Ирана, Ирака, совершенно справедливо, без иллюзий оценивают неприглядные стороны сектантских религиозных течений исмаилизма и карматства, оппозиционная направленность которых далека от антифеодалного движения масс (ложь как принцип поведения и принцип исповедания, тесная связь с убийцами-террористами превратили эти секты в определенную асоциальную систему, в сущности напрочь отрицающую гуманизм). Но все же какое это имеет значение сегодня? Или каковы причины острых прорывов ортодоксального и не очень ортодоксального шиизма, подготавливающего собой, возможно, замену всей доктрины ислама? В чем сила хариджизма (республиканизма), победившего волею Хомейни, патриарха из священного города Кум, как его называла западная пресса? Некорректно требовать ответа на ряд подобных вопросов в книге девятилетней давности (английский вариант книги вышел в свет в 1973 году). Но определенно кажется, что, по мнению авторов, все религиозные распри остались в средневековье и похоронены там в виде клерикальных проблем.

Из сказанного не следует, конечно, что надо писать и читать только политические книги о современности — в них, мол, все разъяснено. Однако книга С. Агаева о прошлом и настоящем действительно полезна — это прочтение волнообразного движения ислама в контексте экономической и политической истории Ирана XX века.

Безусловно, мы мало писали раньше о клерикальных проблемах стран Востока, и трудно сразу найти верный тон, точные и убедительные формулировки, трактовку ряда исторических фактов. Далеко не все удалось и С. Агаеву. Но книги, подобные «Ирану в прошлом и настоящем», хороши тем, что они ищут нити, связывающие разные времена, и, как ни странно для книг на социально-экономические темы, возвращают историю людям.

У каждой исламской страны — Египта, Сирии, Афганистана, Ирака и других, — у

каждого из их народов свое отношение к истории, своя доля в культурном наследстве мусульманского мира и свои претензии на эту долю, которые осложнены необычайно оживившимися религиозно-историческими требованиями, адресованными общему мусульманскому прошлому. Так, сегодняшний Иран, немало в своей исламской революции наследующий из бурной революционной эпохи 950—1150 годов и времен более поздних, в истории XX века не вписался в западные образцы развития, в современные схемы, предсказанные западными востоковедами. В 1978—1980 годах иранцы, подчеркивает С. Агаев, отвергли чуждую им модель развития, не свойственную их традиции. Как отвергают и сектантский ислам — беханизм — с его жаждой адаптации к мировой культуре капитализма.

«Ислам — это все», — говорит Хомейни. «Ислам — это все», — повторяют мусульмане-шииты Ирана. И заодно добавляют: «Не правым, не левым, а исламу. Не Западу, не Востоку, а исламу». Что это означает? Только ли то, что народ воспылил страстью к богословским и догматическим тонкостям вероучения Мухаммеда? Разве дело в догматике? Где и когда ее, сложнейшую систему, изучать миллионам? Люди выбрали не слова и толкования, а мироощущение, благодаря которому бескомпромиссно отвергают ту действительность, где бытуют чуждые этнокультурные установки. И торжествуют не богословы, которые, надо сказать, сами объявляли мустазафин — обездоленных — символом перемен и лозунгом нынешнего Ирана. Неистовствуют простые люди, часто в самом деле обездоленные, почувствовавшие себя шиитами, хариджитами (вроде английских пуритан), для которых вера ислама свята, потому что привычна и проста, а все вне ее непонятно и, следовательно, враждебно.

Но стоит ли все это считать признаком особого мусульманского, исламского мира, экзотического, резко не похожего на все остальные миры? И да и нет. Изящные силуэты отелей, построенных по мировым стандартам, кварталы банков, крытые базары, современные магазины и автомобили, путеводители по мечетям и гробницам, дающие точный беспристрастный анализ выверенного прошлого, — это тоже Восток, но такой, какой можно найти и на Западе. И все же экзотика есть, ею полон «континент» от Марокко и Мавритании до Турции и Пакистана. Только под экзотикой прежде всего следует, пожалуй, понимать существование своеобразного, быстро меняющегося и одновременно законченного мира живых историко-культурных взаимоотношений на почве древней, четырнадцативековой исламской цивилизации, в которой собственно ислам — лишь один из индикаторов, а не итог этого мира. Время итогов, по-видимому, еще впереди, и, без сомнения, то будет время больших перемен при сохранении, разумеется, многих исторических и национальных традиций Востока.

Современная оценка этих традиций в научном востоковедении, изучение проблем воздействия ислама на современность уже начались. Так, в частности, советские востоковеды, авторы недавно вышедшего в свет сборника «Ислам в истории народов Востока», рассматривают влияние ислама на современную социально-политическую и духовно-культурную жизнь мусульманских стран. Ислам сегодня — это не только религия, господствующая в мусульманском мире, но и идеологическое, политическое, культурное, этно-правовое движение в большинстве стран зарубежной Азии и Северной Африки — от Алжира до Филиппин, Индонезии и островов Тихого океана.

Айдер КУРКЧИ.



## ЧТО ТАКОЕ НАУЧНЫЙ ФАКТ

В. П. Лебедев. Научные принципы и современные мифы. М. «Знание». 1981. 64 стр.

**Н**ЛО, Бермудский треугольник, лох-несское чудовище... Сторонники этих мифов порой выступают от лица науки и предстают в массовом сознании как создатели оригинальных теорий. Автор ставит вопрос: что такое научный факт? на какие факты опираются сторонники наукообразных мифов? и почему эти факты не могут быть признаны научными?

Имеется бесчисленное множество воз-

можностей для открытий несуществующих явлений и получения в эксперименте неправильных данных, не говоря уж о сознательной фальсификации. И самый внимательный исследователь может совершить ошибку. Процессы восприятия и наши органы чувств нередко позволяют увидеть то, что не существует на самом деле, или обнаружить объекты там, где их нет.

В. Лебедев показывает, например, что

признание способности точно предсказывать будущие поступки человека по фотографии, так называемая проскопия, или ясновидение, ведет к признанию абсолютной детерминации человеческих действий. Из этого неизбежно следует, что «отсутствие свободы воли человека ведет к лишению смысла понятия ответственности за свои действия и к ликвидации их правовой и юридической оценки...». Но он же признает: «Определенным талантом предсказателя-ясновидца обладали. Талантом высказывать смутную мысль в многозначительных и вместе с тем неопределенных выражениях, талантом находить необычные метафоры и образы, что в какой-то мере роднит их с поэтами». Быть может, не случайно М. Нострадамус (1505—1566), знаменитый ясновидец, интерес к которому не пропал и по сей день, создавал свои пророчества в поэтической форме.

В современной литературе, посвященной прогностике, существует понятие самоорганизующегося, или самоосуществляющегося, прогноза. Дело в том, что если человек или группа людей верят в какое-либо пророчество, то своей верой они могут способствовать его реализации.

При критическом анализе современных наукообразных мифов важно провести различие между мифическим и научным объяснением явлений. Но если на сторонний взгляд современная физика становится все более и более «окультурной» — черные дыры, «время, текущее в обратном направлении», элементарные частицы, как оборотни, превращающиеся друг в друга, — то современный мистицизм рядится в доспехи точного естествознания. Однако научное знание — это последовательность теорий и моделей, которые на каждом этапе все глубже и полнее отражают окружающий нас мир. Миф же с самого начала предстает в полном и завершенном виде. Он не самокритичен, он догматичен и в этом близок к религии. В науке самая прекрасная теория может быть опровергнута, если ее представления противоречат новым фактам. Наукообразные мифы неуязвимы для экспериментального опровержения.

Очень часто сторонники «таинственных» феноменов, упрекая официальную науку в догматизме, консерватизме, ссылаются при этом на спор, разыгравшийся в начале XIX века, о существовании метеоритов, «каменных, падающих с неба». В них отказывались верить французская, английская и американская Академии наук. Аргументация противников «каменных, падающих с неба», сводилась к тому, что отсутствие сви-

детельства, то есть доказательства, наличия метеоритов является «свидетельством отсутствия». Но как только в 1803 году во Франции упало большое количество метеоритов и был исследован их химический состав, большинство ученых изменили свое мнение.

Но современная наука не может признать пришельцев из космоса, лох-несское чудовище или снежного человека не из-за консерватизма, а потому что факты, на которые опираются сторонники подобных феноменов, допускают иную, и вполне убедительную, интерпретацию.

Миф об НЛО, который анализирует автор, интересен тем, что рожден на глазах нашего поколения. Этот миф широко захватил массовое сознание. Численность одной американской религиозной секты поклонников НЛО достигла около 15 тысяч человек. Проповедники этого культа говорили своим последователям, что НЛО возьмут их на небо, если они сумеют преодолеть все свои человеческие эмоции и земные привязанности. Некоторые последователи этого культа оставили хорошую работу, свой дом и даже маленьких детей и готовились покинуть на НЛО «эту планету» для того, чтобы совершить метаморфозу — превратиться в существ с неразрушимым телом. Другая секта, именующая себя «миссией божественного света», уже в 60-х годах в своем астральном собрании — Астродроме в Хьюстоне — соорудила специальную посадочную площадку для ожидаемого приземления НЛО.

К. Юнг первым из мыслителей XX века исследовал этот странный феномен. Он относил НЛО к редкой разновидности коллективных галлюцинаций, близких по своей психологической природе к видениям крестоносцев (они зрели небесный Иерусалим). Жизненную основу мифа, с точки зрения К. Юнга, как и прежде, составляет ожидание всеобщей гибели или спасения со стороны каких-то высших, сверхчеловеческих сил. По Юнгу, видения поддаются тем же принципам интерпретации, что и сны. НЛО и подобные феномены можно объяснить двояко: или некая объективно существующая аномалия в атмосфере или стратосфере создает основу для мифотворчества, или же аномалия играет роль только спускового механизма. Этим спусковым механизмом могут быть метеорит, ступени космических ракет (они иногда распадаются на части, горящие в атмосфере). Воздушные шары и самолеты также могут быть приняты за НЛО, если они будут не-

обычно освещены. Наконец, птицы, рой саранчи. Турбулентности-«волчки» в атмосфере...

Чем больше пресса сообщала об НЛО, тем чаще поступали сведения о наблюдениях феномена. Здесь нужно отметить одну особенность изучения феноменов типа НЛО, Бермудского треугольника, лок-несского чудовища, снежного человека: информация, на основе которой наука должна принимать решение, поступает обычно не из исследовательских групп, а от людей, далеких от науки, случайно наблюдавших то или иное явление. Эта информация в обществе часто подвергается искажению, она субъективна, противоречива. Все это создает дополнительные трудности в идентификации подобного рода феноменов и питательную среду для наукообразного мифотворчества.

В. Лебедев, говоря о культурологическом аспекте современных наукообразных мифов, утверждает: древнейший процесс мифотворчества продолжается и в условиях научно-технической революции. Автор, однако, точно подмечает, что никакой сторонник необычных феноменов не согласится с тем, что он мифотворец, а будет утверждать, что исследует неведомые современной науке явления. Но, по мнению В. Лебедева, «знание может быть осознано не только в научной форме, но также и в мифологической — тому имеется масса примеров: свойства магнита, целебных трав, гипноза, химических превращений и т. д. были известны в глубокой древности и

осознавались в донаучных формах мышления». Автор допускает, что мифы могут играть роль «психологических генераторов творческого мышления», стимулирующих появление новаторских научных идей, и даже приводить к результативной практической деятельности, как это произошло, например, со Шлиманом, отыскавшим легендарную Трою.

Современная наука не может претендовать на монополию всезнания. Нужен конструктивный диалог между наукой, ее проверенными практикой методами — и знанием, выявляющимся в ненаучной форме, которое в ряде случаев может выполнять эвристическую функцию. Действительно, миф об НЛО обратил внимание ученых на важность исследования определенных явлений в земной атмосфере. Миф о Бермудском треугольнике позволил открыть вблизи его одну из самых интенсивных магнитных аномалий во всем мировом океане.

Не могу не согласиться с мнением В. Лебедева, что, даже исследуя психокинез, можно обнаружить, конечно, не поле особой физической природы, но нечто новое в явлениях психики человека. А попутное с такими исследованиями обсуждение научных, методологических проблем неизбежно приведет к уточнению ряда сложных понятий — и к пропагандированию истинно научных знаний.

**Ю. ОРФЕЕВ,**

*кандидат философских наук.*



## КОРОТКО О КНИГАХ



**РАССКАЗ-80.** Вступительная статья В. Сахарова. Составитель В. Миряев. М. «Современник». 1981. 334 стр.

Сборник «Рассказ-80» по счету четвертый в серии, которую издательство «Современник» открыло в 1978 году и с тех пор ежегодно выпускает в свет по толстой книжке в яркой твердой обложке, где собраны, как определяет само издательство, «рассказы русских советских писателей, опубликованные в периодике Российской Федерации в минувшем году». Задачи, которые ставило здесь издательство, очевидны. Они определены и во вступительных статьях к сборникам, они же хорошо проявляются при знакомстве с произведениями.

Рассказ — жанр особый, мобильный, чутко улавливающий атмосферу общественной и литературной жизни, движение характеров. Он идет как бы в авангарде прозы, он ее разведчик, разведчик нового в жизни. И поэтому заявления авторов вступительных статей, что рассказ — это «постижение образа времени», «художественная летопись России», ее «творческое самопознание», не выглядят преувеличением, но накладывают большую ответственность перед читателем на составителей сборников. Надо суметь из того, что напечатано в периодических изданиях, отобрать наиболее талантливое, весомое, характерное — отражающее время, — дать, как пишет В. Сахаров, «групповой портрет» жанра.

Сборник «Рассказ-80» объединяет имена 26 прозаиков. Явное численное преимущество здесь за молодыми.

Значительность темы, находящейся в гармоническом единстве с художественностью исполнения, по-прежнему отмечаешь у старых опытных мастеров рассказа. Нет нужды разбирать, скажем, рассказ Федора Абрамова «Бабилей». Он был в свое время напечатан в журнале «Наш современник» и не прошел, не мог пройти не замеченным читателем. Написанный в доброй реалистической манере, рассказ раскрывает истинную глубину души русской женщины. К тем же классическим образцам я бы отнесла и рассказ Ю. Нагибина «Морелон» (тоже помещенный в сборнике). Из произведений более молодых прозаиков запоминается рассказ Ю. Гончарова «Во дни отчаяния и надежд» (по манере письма он ассоциируется у меня с чеховской «Степью»). Это о старике, потерявшем в дни войны дом, родных, близких. Здесь

есть пронзительно написанные строки, вызывающие в душе читателя ответный эмоциональный отклик. Не оставит равнодушным и рассказ В. Крупина «Картинки с выставки». При внешней неприятности сюжета и несколько отстраненном ненавязчивом письме он заставляет серьезно размышлять над такими вещами, как слава, успех, талант призрачный и подлинный.

В книге собраны рассказы, затрагивающие темы весьма разнообразные, касающиеся и нашей не столь уж давней истории, и жизни современника; рассказы принадлежат перу авторов разных поколений, разного жизненного опыта и мастерства.

Но при всем при том, читая сборник, вдруг обнаруживаешь в иных рассказах сходные сюжеты и проблемы, одинаково решаемые, героев, похожих друг на друга. Рассказы Ю. Авдеевко («Дожди по субботам»), А. Афанасьева («Знакомство»), Б. Василевского («Страшный человек Крейцер»), И. Евсеевко («Была пора отлета...») хотя и повествуют о вечно волнующей дилемме — любовь через страдание или очищение через любовь, — написаны пером умелым, легким, тем не менее ответной реакцией в нашей читательской душе не вызывают, тут нет того, что Толстой называл узнаванием («Да, это так, и я так думаю, ах, как верно он это подметил» и т. д.), нет сопереживания, когда при чтении мы волнуемся, тоскуем или радуемся вместе с героями... Более легкими, чем хотелось бы, представляются мне эти рассказы.

Думается, что составителям сборников рассказов, выход которых нельзя не приветствовать всемерно, в будущем следует стремиться давать как можно более объемный «групповой портрет» жанра и более широкую картину и постижения образа времени, и творческого самопознания.

Г. Койранская.



**ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА.** Майский сад. Стихи. М. «Современник». 1981. 61 стр.

Стихи Лидии Григорьевой отмечены своеобразием творческого почерка. «Жизнь моя — свет виноградный!» — вырвавшееся от полноты чувств восклицание. За строкой поэтессы — лирический образ мира, насыщенный теплом, спелостью плодов, из-

лучающих свет... Обретение себя в слитности с миром. И осмысление этой слитности, невозможное без нажитого опыта, работы души, развития:

Светится все безусловней,  
тихо струится вослед  
свет виноградный, сыновний,  
теплый младенческий свет.

Поэтессой запечатлено само это движение человека и мира друг к другу. Схватчен некий миг взаимодействия. Отсюда и внутренняя динамичность, пафосность стихотворения — ведь автором воссоздано особое, небудничное состояние и в природе и в душе лирической героини.

Как раз из этих небудничности, остроты жизнесприятия складывается лирическая мелодия «Майского сада». Реальность предстает у Григорьевой в живых, густых и чистых красках: «О, сирени полдненное зарево! Заблудившийся в зное закат!», «Полночная графика мощного мрака и света», «Летнее небо — голодная степь синевы», «...много желтоватых, как фонари в провинциальном прошлом, намокших, грустных, грузных хризантем...» в цветении, пышности земной растительности. Сада. Сад — пожалуй, центральный в художественной системе поэтессы образ. Явленный во многих ракурсах: «Над моей тоской напрасной нависает звездный сад»; или: «задворки сада бытия...» Как образ родственной природы, всепорождающей и в то же время сотворенной, заботливой и нуждающейся в заботе. Земля, жизнь, вселенная рождены, сотворены через рождение — в этом ощущении есть, на мой взгляд, нечто очень живое.

У Лидии Григорьевой восприятие жизни как «сада бытия» проявляется, пожалуй, во всех запечатлеваемых ею чертах окружающего. Вот в картину памяти развивается стремление «припомнить милую Украину», детство:

...и степь сухую, как ладони  
в бургах, морщинах и пыли,  
и голос: «Доля моя, доля...» —  
рассыпавшийся вдали...

Несколько скупых черт — и перед нами пейзаж не только наглядно зримый, но и, так сказать, исторический, включающий и психологический план: память детства... И так у Григорьевой повсюду — не вне, над, помимо личности, а только в ней самой жизнь являет свой цвет, форму, протяженность. «Ты открываешь дверь, и прямо в небо летят глаза и голоса детей...»; вновь психологический пейзаж — «Батумский дворик».

Лирические признания поэтессы Лидии Григорьевой несут в себе радость прикосновения к чуду вечно обновляющейся жизни.

Ирина Шевелева.



**ЛЕОНИД ПОПОВ.** От океана до океана. Стихотворения и поэмы. Перевод с якутского. М. «Художественная литература», 1979. 309 стр.

**ЛЕОНИД ПОПОВ.** Близкое солнце. Стихи и поэмы. Перевод с якутского. М. «Советская Россия». 1980. 318 стр.

**ЛЕОНИД ПОПОВ.** Стихи. Перевод с якутского. «Сибирские огни», 1981, № 9.

Люди отзывчивые, жизнерадостные, мужественные — главные герои его произведений. Те, что «привыкли будничное дело высоким смыслом овещать». И еще Север. Но он опять-таки «через людей»: «Лишь с виду Север крут, он сердцем — нежный, как люди, что на Севере живут».

Любовь к родному краю, родным людям — постоянный, самый глубокий и чистый источник оптимизма, душевной молодости, вдохновения. Не случайно одно из лучших стихотворений Л. Попова о Якутии так и называется — «Благодарность» (в переводе А. Преловского). И о чем бы ни писал поэт — о детстве ли, с которого начинается родина, о грозных ли годах военных испытаний, о любимой или о своем нелегком ремесле, — мотив этой вечной благодарности присутствует в стихах непременно. Родина и природа, красота и справедливость — все то, что так дорого каждому духовно здоровому человеку, естественно и прочно переплетается в образном строе стихов, поэт не мыслит себя вне этих категорий. Белая ночь, белый туман, кедр в зыбкой полумгле, луг, роса...

И теплынь и свет! И зрелость лета —  
Роста безоглядного пора.  
Свет с небес,  
И ты в потоках света,  
И душа раскрыта для добра.

В стихотворении «Жизнь» поэт поведал читателю свою заветную мечту: «На кратком человеческом веку от всех красот, от всех щедрот природы по капле взять, по крохе, по глотку». Это и есть для поэта жизнь, ощущение ее подлинности. При этом поэт хорошо понимает, что мир природы не только прекрасен, но еще и суров и жесток подчас, идет борьба, и другому быть не может. Безысходной болью, сознанием непоправимой вины отзывается в нем гибель любого, пусть даже самого малого, живого существа. Все мы — единое целое, и поэтому гибнет не кто-то сам по себе, но умирает часть нас.

А в чем помочь?  
Каких тут ждать чудес?  
Но твердо помню, что в беде мы были  
Тогда. И все о помощи просили:  
Я, люди, зайцы, озеро и лес...

Глубокий смысл в сборниках и публикациях талантливого якутского поэта Леонида Попова несут стихи, утверждающие патриотизм, гражданственность современника в их неразрывной связи с прошлым и настоящим своей родины, которая есть крыло большой России. Не на Севере ли, не в любимой Якутии берет свое начало Россия?

Тема нерушимой интернациональной дружбы советских народов звучит в стихах о Москве, Украине, в стихотворении «Карпатские горы» — важнейшая для каждого настоящего поэта тема! Преодолевая границы, стихи несут боль свою и утешение на берега реки Конго (стихотворение «Памяти Патриса Лумумбы»), на узкую полосу тихоокеанского побережья в Латинской Америке (стихотворение «Чилиец»). Залог и символ неизменной верности интернациональному чувству — горсть родной зем-

ли, которая вместе с лирическим героем преодолевает и земное притяжение, выходя в космические просторы, в межзвездные миры:

И если мне придется подниматься  
к таинственным заоблачным мирам,  
тот символ миролюбия и братства  
со мною вместе будет даже там.  
(«Горсть земли»)

Поэзия — «с людьми двусторонняя кровная связь». Все новые публикации стихов Леонида Попова, появляющиеся в литературной периодике (помимо «Сибирских огней», уже в нынешнем году появились стихи Л. Попова в одном из апрельских номеров «Литературной России»), подтверждают это. У меня отчетливое ощущение: в них эта «кровная связь» становится крепче, действенной. Михаил Зорин справедливо писал в предисловии к сборнику поэта: его стихи конкретны (в отличие от «многоглаголанья вообще») и неотделимы от жизни якутского народа.

Эдуард Провиловер.



**НИКОЛАЙ ПАНИЕВ.** *Болгария: годы и люди. Страницы из дневника советского журналиста (1961—1965, 1971—1981 гг.). М. «Мысль». 1981. 319 стр.*

«Как-то с группой зарубежных товарищей — гостей Всенародного комитета болгаро-советской дружбы я побывал в нескольких округах, в частности, в Пазарджикском — на многолюдном празднике советской книги, — пишет Н. Паниев. — Когда гости познакомились с новыми гигантами современной индустрии и агропромышленными комплексами, а в завершение всего стали свидетелями большого стремления людей всех возрастов к культуре, то, помнится, глава австрийской делегации воскликнул:

— Какие же это «задворки Европы!» Это сама Европа!

Его коллега из Франции добавил:

— Болгария — красивая улыбка на лице Европы!

Подумалось, что так за короткий исторический срок нелестное определение «задворки» обернулось в столь точные и лирические слова о Болгарии.

Если раньше корреспонденту-известинцу Н. Паниеву приходилось спорить с высказываниями западных политиков и прессы времен «холодной войны», что, дескать, болгары со своими «фангастическими задумками» напоминают «малолетних героев Жюль Верна», то теперь в досье автора, как он пишет, преобладают уже отнюдь не скептические высказывания, а признания болгарских достижений государственными деятелями, мировой прессой, деловыми кругами.

Мне довелось, работая в Болгарии, видеть, как двадцать лет назад началась корреспондентская деятельность в братской стране пытливого автора, как его ежедневная работа с годами трансформировалась в очерковые книги. Они стали прологом «главной болгарской книги» Н. Паниева.

Многочисленные очерки и репортажи Н. Паниева на страницах «Известий», «Недели» и других изданий, его журналистский ар-

хив оказались ценным материалом для хронологического повествования о том, как в братском союзе с нашей страной, в единстве действий БКП и КПСС трудящиеся Болгарии добились огромных успехов в социалистическом строительстве. В этом году исполнилось сто лет со дня рождения Георгия Димитрова. Вождь болгарского народа завещал за пятнадцать — двадцать лет достичь того, на что по старым меркам понадобилось бы столетия. Завет стал руководством к действию...

Конечно, трудно удержаться от соблазна расцветить книгу о столь красочной стране описанием удивительной природы, уникальных достопримечательностей и на этом выигрышном фоне вести свои путевые рассказы. Но в поездках вдоль и поперек Болгарии автора занимала не внешняя, легко воспринимаемая сторона, а все то, что находилось в процессе рождения, становления и развития. И потому, я думаю, удалось Н. Паниеву сочетать заинтересованное повествование с аналитическим подходом.

Он поэтапно показывает, как «многоголоскутное» болгарское село с его карликовыми наделами крестьянской земли становилось на путь кооперативного движения. Ныне же работа болгарских агропромышленных комплексов несомненно заслуживает самого внимательного изучения. Рассказано о них в книге со знанием дела, поучительно для тружеников сельского хозяйства: как в Добружде родились первые крупномасштабные специализированные комплексы по принципу «аграрное хозяйство плюс промышленность в селе», как Центральный Комитет БКП, генеральный секретарь партии Тодор Живков поддержали это новаторство, как по всей стране прокатилось движение за укрупнение кооперативов и работу по-новому... Болгария охотно делится своим опытом: поля, сады и фермы лучших хозяйств превратились в «учебные классы» для коллег из стран социалистического содружества и развивающихся государств.

Среди героев Н. Паниева — писатель и рабочий, секретарь окружка партии и первый болгарский космонавт, академик и генерал, член Политбюро ЦК БКП Цола Драгойчева и восьмимиллионный гражданин Болгарии Эмил Хаджиев...

Книга знакомит читателя с болгарскими самыми разных жизненных судеб, возрастов и профессий, которые помогли другу-журналисту создать эту своеобразную повесть о народе, идущем с нами плечо к плечу.

В. Павлов.



**Х. ЮКАВА.** *Лекции по физике. Перевод с японского. М. Энергоиздат. 1981. 127 стр.*

Весенними мартовскими днями 1974 года лауреат Нобелевской премии профессор Хидэки Юкава прочел в Токийском университете цикл популярных лекций по физике. Ученый рассказал молодежи о своих взглядах на современную науку, поделился

воспоминаниями о великих событиях в физике XX века, свидетелем и участником которых ему довелось быть. Профессор говорил легко, свободно, охотно шутил...

Читая восемь лет спустя русский перевод этих блестящих лекций, мы в состоянии заметить то, что порой ускользало от внимания аудитории, воспринимающей Юкаву на слух: его шутки содержат в себе изрядную долю ностальгической грусти. Особенно остро и конкретно выражено это чувство в рассуждении о коллективизме современной физики. Возможно, нечто подобное испытывает геолог, вернувшийся десятилетия спустя на некогда открытое им месторождение и нашедший на знакомом месте горно-обогатительный комбинат. Юкава горд тем, что деятельность огромных, хорошо организованных, оснащенных мощной техникой научных коллективов и предприятий выросла из его гипотез, теорий и идей, и одновременно с грустной иронией говорит о том, что не смог бы пройти курс подготовки сегодняшнего научного работника, начинающийся со спецшколы с ее «кошмарной дрессировкой», что он не годится для современной физики, что коллективисты не возбуждают в нем интереса.

В своих лекциях Юкава ищет ответ на вопрос, как, каким образом физики его и предшествовавших поколений ухитрились в одиночку, без помощи могучих ускорителей и компьютеров так глубоко проникать в тайны материи, что современным коллективам физиков нередко остается только восхищенно завидовать. В полном соответствии с традициями Востока вопрос этот трансформируется у Юкавы в попытку понять, что есть мудрость ученого, как надо

жить и чем действительно стоит заниматься физику. Юкава на различных примерах — от Ньютона до Паули — ищет связь между образом жизни ученого и образом его мышления, его научным творчеством. Он щедро делится со слушателями своими догадками, и это составляет едва ли не самую интересную часть его лекций.

Мы не найдем в небольшой книге Юкавы четко сформулированного ответа на занимающие его вопросы. Но в самом стиле лекций, в том, как прожил Юкава эти несколько часов перед студенческой аудиторией, в той свободе, с какой он обращался с физическими представлениями и понятиями, содержится уже некая подсказка. Такое свободное и образное мышление было в той или иной степени присуще всем выдающимся ученым героической эпохи физики. Придумал же, к примеру, Максвелл своего информационного демона, Эйнштейн — играющего в кости господ бога, а Шрёдингер — готового умереть в экспериментальной установке кота. Фантазия помогала ученым увидеть природу как бы изнутри, встать на «точку зрения» природы. И подобно тому как шутки Юкавы объединяли лектора и аудиторию, так в процессе формирования основ современной физики свободный «языческий» смех создавал единство спорящих между собой, ищущих истину людей, даже если они были индивидуалистами от науки. Знакомясь с лекциями профессора Хидэки Юкавы, мы можем приобщиться к этому единству, почувствовать и понять мудрость старого ученого.

А. Попов.

Новосибирск.



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**К. Маркс.** Гражданская война во Франции. 199 стр. Цена 3 р. 90 к.

**Ленин о Марксе.** Сборник. 111 стр. Цена 2 р. 70 к.

**Г. Кржижановский.** Великий Ленин. 120 стр. Цена 20 к.

**В. Осипов.** Подснежник. Повесть о Г. Плеханове. («Пламенные революционеры») 527 стр. Цена 1 р. 70 к.

**А. Ранитов.** Историческое познание. 303 стр. Цена 1 р. 30 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**М. Алексеев.** Драчуны. Роман. 319 стр. Цена 1 р. 40 к.

**М. Владимов.** Линия огня. Стихи. 80 стр. Цена 35 к.

**Н. Карпов.** Черничная поляна. Стихи. 95 стр. Цена 35 к.

**Поэзия.** Альманах. Вып. 32. 191 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Г. Резниченко.** Последние американцы. Очерки. 158 стр. Цена 25 к.

**В. Хайрюзов.** Почтовый круг. Повести и рассказы. 334 стр. Цена 1 р.

## «ПРОГРЕСС»

**А. Арма.** Целители. Роман. Перевод с английского. 324 стр. Цена 2 р. 10 к.

**Э. Базен.** Змея в кулаке. Смерть лошади. Крик совы. Романы. Перевод с французского. 507 стр. Цена 3 р. 40 к.

**К. Кабаяси.** Август без императора. Роман. Перевод с японского. 244 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Современный шведский детектив.** Перевод со шведского. 528 стр. Цена 3 р. 30 к.

**Л. Стефанова.** Превышение скорости. Избранная лирика. Перевод с болгарского. 151 стр. Цена 95 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Ю. Бондарев.** Выбор. Роман. 303 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Б. Галанов.** Души изменчивой приметы... Литературно-критические очерки. 247 стр. Цена 75 к.

**Н. Евдонинов.** Страстная площадь. Повести и рассказы. 327 стр. Цена 1 р. 20 к.

**М. Канат.** Колыбель Авиценны. Поэмы. Перевод с таджикского. 79 стр. Цена 65 к.

**В. Огнев.** Свидетельства. Дневник критика. 1970—1974. 470 стр. Цена 2 р. 20 к.

## «СОВРЕМЕННОК»

**В. Астафьев.** Царь-рыба. Повествование в рассказах. («Сельская библиотека Нечерноземья») 384 стр. Цена 1 р. 70 к.

**М. Ахмедова.** Отчий свет. Стихи. Предисловие Р. Гамзатова. («Первая книга в столпе») 63 стр. Цена 30 к.

**Ю. Гейко.** Сайга. Повесть, рассказы. («Новинки «Современника») 222 стр. Цена 70 к.

**В. Марченко.** Место встречи. Роман. 880 стр. Цена 3 р. 40 к.

**А. Усольцев.** Есть у меня земля. Повести. 256 стр. Цена 1 р. 10 к.

## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Г. Новицкая.** Звонкий день. Стихи. 96 стр. Цена 80 к.

**М. Пришвин.** Дорога к другу. Дневники. Составитель А. Григорьев. Последействие И. Мотягова. 175 стр. Цена 35 к.

**Рассказы начальной русской летописи.** Научная редакция, составление и послесловие Д. С. Лихачева. Перевод с древнерусского и пояснения Т. Н. Михельсон. 151 стр. Цена 2 р.

**Слово о Киеве.** Стихи и рассказы украинских писателей. Составитель Б. Чалый. 191 стр. Цена 70 к.

**И. Халифман.** Четырехкрылые корсары. Научно-художественная литература. 319 стр. Цена 1 р. 70 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**А. Зверев.** Выздоровление. Повести и рассказы. Предисловие В. Распутина. 286 стр. Цена 1 р. 10 к.

**А. Калинин.** Собрание сочинений. В 4-х тт. Вступительная статья Б. Примерова. Т. 1. 365 стр. Цена 1 р. 50 к. Т. 2. 383 стр. Цена 1 р. 60 к.

**В. Маканин.** Голоса. Повести и рассказы. 382 стр. Цена 1 р. 40 к.

**С. Чахчиев.** На второй день, утром. Роман. Перевод с ингушского Ю. Сенчукова. 175 стр. Цена 65 к.

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, И. Н. Бубнов, Ф. К. Видрашку** (зам. главного редактора),  
**Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов**  
(зам. главного редактора), **Д. Муддагалиев, А. И. Овчаренко,**  
**Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Ре-**  
**кемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29  
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
Москва К-6, Пушкинская пл., 5

Сдано в набор 25.06.82 г. Подписано к печати 4.08.82 г. А 08923.  
Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л.)  
27,82 уч.-изд. л. 8,5 бум. л. Тираж 350 000 экз. Зак. 2114.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии  
«Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5  
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна»,  
Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 03449.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1982, № 9, 1—272.